Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит...

Булат Окуджава

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

LIFE IMAGES
LITERARY ALMANAC

Ответственный редактор: **Алла Ходос**

Безответственный редактор: **Марина Золотаревская**

Технический редактор: **Любовь Шапиро**

Фотография на обложке: **Юрий Золотаревский**
Sitting on History by Bill Woodrow,
British Library, London
Сидя на истории
Работа британского скульптора Билла Вудроу
Библиотека Британского музея, Лондон

Заставки: **Алла Ходос**

Взгляды редакции не всегда совпадают со взглядами авторов.

Редакция не несёт ответственности за неточности и непроверенные факты в опубликованных материалах.

При перепечатке ссылка на альманах «Образы жизни» обязательна.

Альманах издаётся на средства авторов, проживающих в Америке и Израиле.

Редакция благодарит за сотрудничество
международный интернет-журнал «Интерлит» и российский журнал «День и ночь».

ISBN: 978-0-9832503-4-0
ISSN: 2167-0765

Сан-Франциско

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

2013

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Вячеслав Тюрин
Вавилонская молва
Стихи 5

Инна Лиснянская
Я сегодня срываю покровы
Стихи 9
Из писем к дочери 10

Елена Макарова
Загадка Терезина в четырех рассказах 14

Вадим Жук
Из книги «Жаль-птица»
Стихи 38

Рада Полищук
Муся, Мусечка 41

Иван Клиновой
На языке морфия
Стихи 50

Инна Мельницкая
Настасья и настасики 51
В защиту теоретических дисциплин 60

Мартин Мелодьев
Калифорнийское рондо
Стихи 63

Сергей Кузнечихин
Очевидец 66
Предложение 69
Провокатор 72

Мария Перцова
Сводная сестра
Стихи 79

Екатирина Короткова-Гроссман
Мужские слёзы смуты 81

Виктория Полищук
Уход – творение конца или начала?
Стихи 97

Лев Бертин
Советам мудрецов внимай вполуха
Стихи 98

Виталий Дашевский
Небо 100

Игорь Ильин
Ohamba noNembudu 105

Ирина Муфель
Подстрочники с неизвестного
Стихи 110

Светлана Саврасова
С чужого на свой и обратно 112

Наталия Литвинова-Гринберг
Мы свидимся в далях поэмы
Стихи
Предисловие Николая Сундеева 117

Александр Зевелев
Заявка на Нобелевскую премию по литературе
Стихи 121

Александра Зои Ландауэр
На розу огромную серый похож океан
Стихи 123

Вячеслав Новиков
Русский перевод 124

Александр Грич
В Светицховели поставлю свечу 137
Стихи

Алла Никитина
Другое измерение 139

Дед Славко
Так и так 146

Александр Немировский
Как солнце пыталось придать размер океану
Стихи 153

ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

2013

Семен Абрамович
На солнце окна, как блесна
Стихи 154

Хельга Ольшванг
Осторожнее, воздух разлит
наверху 155
Стихи

Алла Ходос
Мой хамелеончик
Стихи 157

ПЕРЕВОДЫ

Тум-балалайка
Еврейская народная песня
Перевод Марины Золотаревской 159

Мой чистый взгляд
Из осетинской поэзии XX
Переводы Марины Саввиных
и Ирлана Хугаева 160

Сол Арис
Мы — народ
Перевод с английского
Лины Марковой 166

Элин Пелин
Рассказы
Перевод с болгарского
Натальи Камовниковой 169

ИНТЕРВЬЮ

Меир Шалев:
Бабушка пела мне колыбельные
на русском языке
Беседу ведёт Анна Кононова 171

ОТПЕЧАТКИ ВРЕМЕНИ

Лина Маркова
Одиссея военных лет 174

Галина Курляндчик
Московские каникулы 185

ЧЕМОДАН ЭМИГРАНТА

Александр Трегуб
Мои университеты 192

Инна Трегуб
Ищу работу по специальности 200

КОЛЮЧИЙ ОЖик

Александр Трегуб
Правдивые истории о великих
физических открытиях
20-го столетия 208

Александр Зевелев
в содружестве с Натаном Щеглом
Великая тусовка 212

ЧИК-ЧИРИК

Игорь Ильин
О глупом крокодиле 213

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Юрий Золотаревский
Образы мира 215

Юлия Шапиро и Кристофер Пал
Прогулки по Южной Америке 218

ИСКУССТВО

Дмитрий Янушкевич
Живопись 216

Михаил Голубовский
Состукивание слов в жанре
анаграмм и палиндромов 219

Борис Бернштейн
Надя Виноградова. «Игроки» 229
Другое начало 233

Надежда Виноградова
Живопись 231

Сведения об авторах 249

Вячеслав Тюрин

ВАВИЛОНСКАЯ МОЛВА

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ВЕТКА

На пустынном вокзале художницы карандаш
изображает транзитного пассажира.
Беглый набросок выглядит, как пейзаж
осени. Ветви нищенствуют. И сыро

в воздухе. Проступает одна черта
за другою, как иероглифы листопада.
Гибнет улыбка в хищном разрезе рта.
Спят улитки в глазах усталого психопата,

размышляющего, как отличить искусство от ремесла.
Дескать, действуя по заказу, ваша кисть остаётся
мёртвой.
А та, ничтоже сумняшеся, на ватман перенесла
дремлющего пассажира. Совесть, –
вот контролер твой.

Отрывая взгляд от окна, вижу полупроводника –
полупризрака в износившейся кацавейке.
Спрашивает билет. Надрывает. И снова тоска.
Стоит уйти покурить, как заняты все скамейки.

В общем вагоне дорога делится пополам.
Исповедьми богата Восточно-Сибирская ветка.
Но радио начинает транслировать тарарам
и подпевает ему вполголоса малолетка.

Скоро все будем там, где выспимся, как сурки.
Что же нас гонит из дому? Внутренняя поломка?
Все мы паломники в мире, написанном от руки
тобою, прости, художница-незнакомка.

ВАВИЛОНСКАЯ МОЛВА

1.

Дитя трущоб в колготах «ора-роса»
готова стать игрушкою матроса
всего за несколько монет. И всё же
вам это обойдется не дороже,
чем напускная вежливость девицы,
с которой невозможно поделиться
последними грошами, потому что
ей нечто человеческое чуждо.

2.

Вот девушка в набедренной повязке:
совсем другое дело, право слово!
Без песни жить не может, как без пляски, –
в том смысле, что физически здорова.
Сучит ногами, схвачена сатиром:
козлобородым юношей, который
известен тем, что ходит по квартирам
и прячется – вот именно – за шторой.
(Либо в шкафу – смотря по обстановке.)
«Послушайте, какой же Вы неловкий!
И почему Вы дышите неровно,
держа не в той руке пустую вилку?
Не Вы конкретно, – все вы поголовно
зальете шар и лезете в бутылку».

3.

Свобода тела, торжество торговли!
Тут ловят кайф и люди в этой ловле
подпишутся на все во имя страсти,
кружа в калейдоскопе карнавала.
Достаточно зайти с козырной масти,
чтобы мадам тебя поцеловала.
Достаточно как следует влюбиться,
с цепи сорваться, выйти вон из ряда.
Тут Вавилон и можно заблудиться,
но публика тем паче будет рада
блуждающей звезде, надрыву скрипок
в оркестре, странствующем одиноко.
Дитя трущоб, не бойся: с нами Стрибог
и старая кремнистая дорога.

ИОСИФУ БРОДСКОМУ

Расположенье звезд над головой
способствует возникновенью песни.

Не во плоти, но всё-таки живой,
явись воображению, воскресни

в изломанной, как женская судьба,
строке, в неповторимости пейзажа.
Вся жизнь – одна случайная ходьба
по мукам и тяжёлая поклажа.

То, что дается с легкостью, беру
с таким же чувством, как берут невесту.
Стою, как изваянье, на ветру
в безлюдном сквере, бормочу не к месту.

Мне стало слышно, как бежит Нева
к заливу, дабы с морем породниться.
Как стиснута гранитом, но жива,
бежит вода – сама себе граница.

Ключ опуская в скважину замка,
никто не знает точно, что за дверью.
Возможно, просто козни сквозняка.
Возможно всё, как повод к недоверью.

Держась на недомолвках, эта речь
обращена к тебе, как русло к устью.
Как вариант одной из наших встреч.
Как монолог воды, чтобы привлечь
твое вниманье к захолустью.

Немудрено с тех пор, как для тебя
мир кончен и вопрос о нем исчерпан,
постигнуть, в рог отчаянья трубя,
луну с ее классическим ущербом.
Я вою, как гражданская война,
весь волчьим одиночеством охвачен,
шатаясь по настроившимся дачам,
ибо моя душа потрясена
и голос в основаньях поколеблен
холодными ветрами пустырей,
где редко попадается пырей,
а трын-трава к земле прибита стеблем.

Как трудно говорить издалека!
Но расстоянье – меньшая помеха,
чем мысленное чувство двойника,
похожее на то, чем дышит эхо
вне возгласа, глотая кислород,
как рыба на песке чужого моря;
что знает или думает народ,
которому и так хватает горя.

Мне любопытно, что бы ты сказал,
услышав мой косноязычный оклик.
Естественно, что вряд ли б на вокзал
отправился, дабы найти свой облик
уныло повторённым в зеркалах,
всё назначенье коих – сеять смуту,
плодить догадки, вызывая страх,
когда он отпускает на минуту.

И всё-таки, в тысячевёрстной мгле,
глагол осилит, если знает имя,
не то что расстоянье на земле,–
любое расстоянье между ними.
Другое дело, что всему тщета
поставила известные границы
и завела таможни. Лишь мечта
способна при досмотре сохраниться.

Мы часто подвергаемся тоске
за наше любопытство к миру в целом,
рисуя свои буквы на песке,
хотя другим могли б заняться делом.
Любить жену, воспитывать детей,
а на досуге петь, доску стругая
себе на гроб (об этом – без затей).
И жизнь была бы – разве что другая.

Люблю деревья, как они, ветвясь,
умеют делать выбор на распутье.
Корней с вершинами взаимосвязь,
молодняка воинственные прутья.
Всегда поблизости. Даже сейчас.
Изогнуты стволы, в листве темнее.
С помощью ветра шелестит рассказ
о женщине, послушавшейся змея.

Не то, чтобы с кончиною твоей
закончилась эпоха постмодерна,
либо, в знак скорби, сузился Бродвей, –
такое бы заметили, наверно.
Просто на голос мир осиротел…
Стихи твои читаю, как молитву,
и, наблюдая ход небесных тел,
пишу в силу приверженности ритму
тебе свое послание вослед.
Авось оно достигнет адресата.
Из ниоткуда стану ждать ответ.
Из глубины таинственного сада.

ЗАПОЗДАЛЫЙ ЗВОНОК

Комната смеха закрыта. Чертово колесо
остановилось. Я помню, как оно поднимало
нас над уровнем города, пасмурное лицо
полдня, твои глаза, голос. Не так уж мало
для награды за путешествие налегке
в общем вагоне, болтавшем одно и то же
со вспыхивающей лампой на потолке.
Утром меня встретил дождь, и он бил в ладоши.

Сонмы людей с вещами, бессонный гул
из репродуктора, тусклый запах еды в буфете;
стражи порядка, несущие караул;
между скамейками бегающие дети, –
все это, вместе взятое, действует на мою
голову так отрезвляюще, что все глуше
внутренний монолог. И вот он заглох. Я пью
казенную воду вокзала, как пес из лужи.

А затем выхожу наружу, закуривая на ходу.
В этом городе можно делать звонки бесплатно.
По крайней мере, было. В девяносто каком году,
незачем уточнять. Вместо дат остаются пятна
серого цвета, избранного средой
обитанья для самозащиты, когда поступки,
слова, либо мысли вслух отзываются чередой
угрюмых гудков на другом конце телефонной трубки.

***

Случайная ходьба, тоска да скука.
Да тень привяжется, как потаскуха.
Развалины, поросшие полынью.
Хотелось бы чего-нибудь иного.
Сейчас бы радугу сюда павлинью,
чтобы затих бред тяжелобольного
народа, напряжённого, как мышца.
Расслабься, большинство. Куда стремишься?

КАЛЕНДЫ НОЯБРЯ

Календы ноября! Ненастные календы.
Шуршат о чем-то зря надрывы киноленты.
Автобусы с утра качают незнакомца.
Всплывет из-за бугра вангоговское солнце.
«Порядок и закон» выкрикивает зомби,
плюется в мегафон, торчит на горизонте.
Размазано везде, куда ни тычет зренье –
как будто кто в беде – сквозное настроенье.

В подвал, где подают от Вакха анекдоты!
Накуренный уют и вспененные соты.
Достоинство бродяг, имеющих изжогу
житейских передряг, крепчает понемногу.

Снаружи листодер еще гнет ветлы долу,
а здесь уж разговор, уже тоска по дому.

Клеенчаты цветы на фартуках у женщин,
чьи помыслы чисты, но кругозор уменьшен.

Ноябрьская хмарь оглядывает окна.
Налей еще, корчмарь! Ты тоже одинок, но
зато невозмутим, что многорукий будда.
Сквозь узловатый дым виднеются, как будто
набросок от души, расплывчатые лица,
фиксатые мужи, чья цель – опохмелиться.

Погоде наплевать на содержанье сводки.
Скрипучая кровать, разбросанные шмотки,
бумага на столе, в углу – паучья пряжа.
Слегка навеселе идет ночная стража.

Как резвые чтецы своих произведений,
куда бегут часы, не знает даже гений.
И вынужден сновать туда-сюда челночник.
И мысль обосновать не может полуночник
о том, как далека другая половина.
О чувствах двойника, чья суть неуловима.

Разносчики дождя, меха с холодной хлябью
над площадью вождя, чью кличку помнит бабью
веселая страна, – висят, как дирижабли.
Смеркается. Луна блестит подобно сабле
над сетью фонарей. И путник угловато
замедлил у дверей, прославленных когда-то
способностью служить поющим бастионам
сердец, готовых жить по собственным законам.

И вот уже легли на клавиши те пальцы,
что некогда могли сыграть для постояльца
дешевых номеров – особенно под вечер,
когда закат багров и небеса как глетчер –
рэгтайм из рваных роз, забывчивых и нежных.
Расти, ночной рогоз, дождись весны, подснежник!

Так, с песней на устах, герой повествованья
отряхивает прах истлевшего преданья.

Днем облака плывут, и всадники на фризах
по-своему живут, а ночью –только призрак.
Мозаика бойниц остекленевшей груды
бетона, да возниц тугие перегуды.

Грохочут поезда на дальнем перегоне.
Я буду, как всегда, трястись в общем вагоне;
за тамбурной слюдой метаться, точно в клетке
испорченный средой пацан на малолетке,
покуда не возник из душного содома
лукавый проводник сказать, что вот и дома.

Шатается молва в бессонных переходах
вокзала, чуть жива. Неутомимый «кодак»
таращится на вещь из путаницы мозга,
как будто в этом весь смысл жизни, вся загвоздка.

О, вне календаря вы справлены по-царски,
календы ноября в ненастном Красноярске!

ПО КРАСНОЯРСКУ

Щелканье счетчика, нервное курево, ледник
города. Бублики клумб у подножия бледных,
истово рдеющих ангелов автопробега
по Красноярску, затравленно ждущему снега.

Не по себе даже псам от ноябрьской пудры.
Вряд ли согреются, точно последние шудры,
греясь на люках клоаки, твои старожилы,
город, где режут эмаль омертвелые жилы
по новостройкам, утянуты между столбами.
Глыбы домов основательно сдвинуты лбами.
Голуби зябнут под волнами кровельной жести.
Жаль тополей, что пилой ограничены в жесте.
Возле продмага, на улице лысого черта
пьяное быдло шатается разного сорта.
Кто-то толкает в плечо, наступает на ногу.
Холодно ли? Горячо? Да всего понемногу.

Гору Покровскую долго штурмует автобус.
Чувство, как будто все время на выход готовлюсь,
не отпускает в избушке, где смуглые ромы
знают пароль; это проще пакета соломы.
Ша, златозубый оскал индустрии порока!
Что говорит обо мне заводная сорока?
Что за последние сплетни дравидского юга
ты на хвосте принесла, дорогая подруга,
мне, кто зашоркал не первую пару ботинок
и с двойником во словесный вступил поединок?

Явь игнорирует то, что разыграно снами.
Время следит из-за всякого места за нами,
в глуби вскипая, как страшная месть океана
береговой полосе, где растет икебана,
сушатся сети на кольях и точатся лясы,
пишутся гэсэры, кетцалькоатли, манасы.

Что там еще? Проговаривайся, недотепа.
Весь околоток дрожит: это пьет дядя Степа.
Горе полковнику: был да и вышел в отставку.
Пленка порвалась, так дайте скорее заставку,
киномеханики гулкого летнего зала.
Что-то в гнезде музыкальном навзрыд отказало.
Хлопни же трижды в ладоши – забьется, хромая,
как клавесин растревоженный, хроника мая.
Солнцелюбивая пыль эрмитажного склепа
пляшет в луче, словно крошки насущного хлеба.
Цокайте, лодочки пышной уездной гризетки
за поводком натянувшимся куцой левретки
по местечковому брусу в каштановой пене,
по тротуару подсохшему, по светотени!

Пахнет Дрогобычем мята, лаванда, корица.
Сладкой отравы хочу, как ходжа, накуриться.
Как зульфикаровский дервиш; как литературный
шмель, родословье ведущий от парковой урны.

Лето в предместье, под долгие скрипы трамвая,
тянется к осени, листья ветвям отрывая
так незаметно, что даже закон тяготенья
не объяснит, отчего под ногами цветенье.

Что говорить, если корочки гну райсобеса.
Часто приходится, клекот услышав Ареса,
перемещаться туда, где хиппуют ашрамы,
недосягаемые для звонка, телеграммы
или брошюр ортодоксов, усердно ведущих
размежевание в кущах.

Осточертели прокрустовы дебри плацкарты
и примелькались железнодорожные кадры.
В лимбе вокзала, где нету свободного места,
в пьяной общаге, в сыром закоулке подъезда
поздно раскаиваться, нету смысла меняться.
Трудно любить, если не с кем любовью заняться.

Мне бы фонарщиком быть у старинного града,
замысловатого, как этажи винограда.

Рыжие сопки немного посыпаны белым
тальком, а день усыхает и крошится мелом
наземь, и клочья листвы превращаются в ужас.
Остекленели последние высевки лужиц.

Целыми днями тревожу пергамент осенний,
не соблюдаю суббот и не жду воскресений.

Ты в светляках и фиалках остался, стеклянный
идол, игрушка железная, дух конопляный!
Звякни во вторник, исполни желание третье.
По закоулкам аукается лихолетье.
Служба такая. Не знаю, кому. Только верю:
что-то случится сегодня. Подобное зверю,
по закоулкам аукается лихолетье
всеми бульварами, всей электрической сетью.
Зверю подобное, пьяному левиафану.
Не перестану шататься, не перестану,
калейдоскоп раскручу коридорами бреда:
школа, шары новогодние, драка, победа.
Пусть полыхает очаг удивленного лада!
Как я люблю твои зерна созвучий, Эллада,–
гибкая станом, речами богатая, песней
благоволящая путнику. Нету чудесней!

Да не разрушится город, устроенный крепко.
Город и мир, эта прочная римская лепка.
Счастье недолго спугнуть, ибо счастье – минута.
Времени лишь бы хватило на вечер уюта.
Пусть отойду, словно тень, если правда такая.
Все же, спасибо за пение, пена морская.

Инна Лиснянская

Я СЕГОДНЯ СРЫВАЮ ПОКРОВЫ

****

Эти дни октября золотые –
На балконе тепло
И деревья стоят как святые,
Мне опять повезло.
Нахожусь я на птичьем концерте –
Звонок их перелет.
Ветер праздные мысли о смерти
Точно листья метет.

17 октября 2013

****

И в эту осень поедем в гости,
Печаль развей!
Приедем в гости, сыграем в кости,
Попьем кофей.
Мы не миражи, мы в экипаже,–
Гони коней!
Мы в экипаже, как две пропажи
Среди теней.

17 октября 2013

***

Ветер бьёт по плащу,
Плащ вздымается,–
Ни о чем не грущу,
Называется.
Лишь жалею о днях
Неозвученных,
О стеблях и корнях
Перекрученных.

25 октября 2013

***

Я сегодня срываю покровы,
Вот душа, если хочешь, бери,–
У неё все повадки суровы,
Как погашенные фонари.
Всё, отлично, товарищ, отлично,
Так сложилось моё бытиё,
Что душа в моём теле первична,
И вторичны покровы её.

26 октября 2013

***

Пора старухе отдохнуть,
Не маять горя от ума.
Прости меня, последний путь,
Да и последняя зима.
Моя двуспальная кровать
Будто баржа плывет во тьму.
Ну что ж, довольно принимать
Всё близко к сердцу и уму.

26 октября 2013

Инна Лиснянская

ИЗ ПИСЕМ К ДОЧЕРИ

Прошло две недели со смерти мамы. Перечитываю ее письма. Это многотомное издание. В них уместилось ее бытие, гнездятся в них и стихи, и прозаические тексты, в дальнейшем преобразованные в статьи и повести. Мы с мамой нераздельны, и это не только связь матери-дочери, крепкая сама по себе, но и связь иного порядка. Летом 1998 года я работала над каталогом к выставке австрийской художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс, погибшей в Освенциме, и посылала маме все, что писала. Она в то же время решила взяться за прозу, и отправляла мне пробные шары. В письме под кодовым названием «Пуговица» 28 страниц. Я выбрала два фрагмента.

Елена Макарова

15 августа 1998

Леночка, дорогая моя!

Думала-думала и пришла к выводу, что во всем виновата пуговица. Если бы я умела писать прозу, я бы написала рассказ «Пуговица».

Не знаю, что такое распахнутый человек, могу только догадываться, ибо до конца распахнутой не бывала. Гораздо легче понять: застегнут на все пуговицы, то есть скрытный, но и не только. Скрытность скорее здесь означает собранность, самодисциплину, наконец, – некий твердый режим мысли и образа жизни, а также – разумные контакты с внешним миром и его обстоятельствами. Я же отношусь к тем «чудакам», которые застегнуты на одну пуговицу, причем, – верхнюю. Она приходится как раз на яблочко. На тебе – нечто вроде пелерины-крылатки, руки свободны и, кажется, сейчас ты ими взмахнешь и полетишь. Но не тут-то было! Именно при этом распахнутом жесте ввысь, в самое яблочко тебе впивается единственная твоя пуговица, давит на горло и не дает дышать.

Пуговица эта имеет свойство увеличиваться и принимать не только размер, но и форму и черты лица. К примеру, пуговица может обернуться Липкинским[1], лицом нравоучительным или Макаровским[2], нетерпеливо-раздражительным (в последнем случае, если острить, попадаешь туда, куда Макар телят не гонял). Эта же пуговица легко вырастает до размера и формы как государства, власти и черни, так и до необъятности космоса. И вот, в безумном желании отделаться от пуговицы ты скидываешь с себя одевку-крылатку, сидишь раздетая в комнате, а еще чаще – лежишь. Но что это? Пуговица становится невидимкой и продолжает с разной степенью настырности ограничивать свободу дыхания. Оказывается, что она, пуговица, давно уже не часть оболочки, а часть твоего существа. Нет, уж лучше быть застегнутой на все или ни одной не иметь. Тогда можно было бы хоть что-то путное написать. А я еще о прозе задумывалась, о мозаичной, анекдотически-воспоминательной, где моя нелепо-потешная жизнь перебивается разными судьбами (соседей, родных и чужих) и разными временными и пространственными ситуациями, в чьих меридианах-сетях бьются-колготятся мои герои-судьбы [3]. Сколько раз я про себя намечала и перебирала то, о чем напишу. Но сама видишь, что с этим мне не справиться, ПУГОВИЦА мешает.

А сейчас я нашла в себе силы застегнуться на нее, выйду-ка с Семеном на улицу, хоть синева меж зеленью опять исчезла. Целую. Твоя мама-пуговица.

Леночка, какой кошмар – опять прямо на моих глазах исчезло полторы страницы! Поискала – не нашла. Попробую повториться, хотя – трудно.

Доченька, описание дивно прояснившейся погоды опущу. Опущу и то, как звонила Маше[4], вернувшись с прогулки и обеда, и огорчилась: она только сегодня будет разыскивать Витю, а я-то думала, что сегодня получу распечатку твоих 90 страниц. Что ж, придется подождать день-другой. И уж коли так вышло, вернусь покамест к своим баранам, т. е. – к своей пуговице.

Видимо, еще в молодые годы я от этой пуговицы хотела избавиться и все что-то вертела-крутила в руках, словно желая ее оторвать: отвинтить, отвертеть, открутить. Думаю, я тебе рассказывала о случае в промтоварной лавке, так, назывался тогда маленький магазинчик. Повторюсь в письме. Повтор воспринимай как пересадочный пункт на пути от устного рассказа к письменному.

Лето 1948-го. Время действия устанавливаю для того, чтобы обратить внимание – мне 20. В то лето я приехала из Баку к маме в Люберцы, в то лето еще не было госкомпании «безродные космополиты», но все к этому плотно и густо приближалось, и

[1] Имеется в виду Семен Израилевич Липкин.

[2] Тут мама подтрунивает над моим мужем Сережей Макаровым, с которым у них были самые нежные отношения. В конце жизни она не называла его иначе, чем «ангел мой».

[3] На самом деле, мама с этим великолепно справилась в книге «Хвастунья».

[4] Маша Лыхина, добрый друг нашей семьи. Она помогала маме переправлять через знакомых письма в мою «заграницу».

случился случай, когда антисемитизм населения сыграл мне на руку. Но – по порядку.

В стареньком, не помню с чьего плеча, платье, в таком потертом, что болотного цвета искусственный шелк на свет был прорежен, я вышла из дому. Вышла из ведомственного дома, резко выделявшегося в тогдашних малорослых Люберцах своей пятиэтажностью и витриной продмага, где розовели три поросячьих рыльца из папье-маше. Дом, в котором жила мама, так и прозвали «Три поросенка». Вышла я на улицу не впервые, но впервые (ты же знаешь мое всегдашнее равнодушие к вещам с редкими вспышками интереса к ним) заметила пестровитринные лавочки в двухэтажных домах вдоль всей улицы, ведущей к станции. В послевоенные годы открылись и магазины со съестным по коммерческим ценам, но на то, что мне недоступно, я давно уже привыкла не заглядываться, даже слюнки не глотала, проходя мимо. Однако в тот день та редкая вспышка интереса втолкнула меня в лавку с тканями, во внутремагазинную толпу (в тесном помещении, вспомни: многолюдье особенное – сплошняк). Но это я ощутила потом, а пока, как завороженная, прибилась к прилавку, застыла и уставилась на штапель, ситец и сатин. До сих пор помню: разнокрасочные полосы тканей в горошек, клетку, цветочек, в какие-то завихренные листья и волны. Я разглядывала, мечтала, грезила и, (как ты догадываешься) что-то крутила.

И вдруг пронзительная боль – мою ру-ку крепко стиснули, что-то остро впилось, и одновременно я услышала крик: «Воровка! Держите ее! Цыганка!» Я оглянулась, ища глазами цыганку-воровку, и оторопела, – обо мне ведь: «Воровка! Цыганка!». Впритык к прилавку образовалась полукруглая, непросторная, орущая пустота, в которой две толстые рыжие тетки четырьмя руками держали одну мою левую и вопили с еврейским, усилившимся от напряжения, акцентом: «Дехжите Воховку»! Из их воплей всем и подоспевшему милиционеру, а в последнюю очередь мне, стало ясно, – я расстегнула ридикюль (веришь, он иногда снится мне: коричневокожий с распахнутым красно-подкладочным нутром и клык застежки, от нее еще долго на ладони оставался шрамик). Но почему «держите!»? Они и без того меня держали, и я еще продолжала озираться.

Кричали рыжие тетки, то сливаясь в моих глазах в одну приземистую громаду, то раздваиваясь на два схожих и потому почти не различимых лица, – может, сестры, а может, и вовсе двойняшки. Тетки кричали, пустота съеживалась, – с улицы сбегались на крик. Но общий ор начался с выступления сухонькой старушки пионерского вида: торчком седые косицы, торчком концы галстучно-повязанной на шее косынки, белые носочки над разнонаправленными тапочками. Старушка громко и часто зашепелявила, точно зубы у нее не сами повыпадали, а только что, молочные, вырваны:

– Ражвелись, шпасу от этих нету, таборы вшивые ражвели аж в городском саду. Ить с детями не выдешь. Ить, застыла патлатая, бесстыжая рожа! Ить застыла, даже не вырывается. На сообразительность я и вправду медленная. И все же, наконец, тупо смекнувши, что произошло, начала оправдываться, как заведенная:

–Я крутила, я крутила, я крутила…

– Она крутила, она крутила, она крутила!– хором возмутился народ моей наглостью, – теперь в тюрьме покрутишь! Патлы распустила, а рукой – в сумку! Чё смотришь? В милицию ее! Забирай!

Это уже толпа наседала на милиционера. Он, видимо, мой сверстник, веснущатый, со скромно вздернутым носом, застенчиво подошел ко мне, посмотрел деревенско-раздумчивами глазами в мои черно-раскосые и ухватил меня за короткий рукав. И вдруг (понимаешь, ну совсем как в сказке) в полукруглой, в исчезающей, пустоте возник, да что там возник, – возвысился Михаил Иванович Бузовкин, сосед с четвертого этажа под нами.

(Я оставляю в рассказе его подлинную фамилию, не потому что нынче писатели даже о живых принялись как угодно воспоминать, не меняя имен, а по прельстительной причине полного несоответствия тишайшего М.И. фамилии – Бузовкин, и еще потому, что ничего плохого, кроме хорошего о нем и выдумать невозможно).

Не только фамилия, но и внешность всегда опрятного, интеллигентного инженера-нефтеперегонщика была примечательна: все в его высокой фигуре было пропорционально вытянуто – ноги, руки, тулово, рано полысевшая голова, нос и даже уши.

И даже голос. Если крайне молчаливый Бузовкин начинал говорить, то все замолкали, ибо голос его был тонок и вытянут вверх, как струна. Рассказывали соседи, работающие с Бузовкиным, что в любой разгар спора и на заводе замолкали.

Замолкли и в лавке. Михаил Иванович (прямую речь его, уж извини, передать не смогу, – при вытянутости голоса она сжата) объяснял, что девочка, то есть я, очень славная, безобидная, но

слишком рассеянная, часто этажом ошибается, не в те двери звонит, что однажды ключ все вертела. Дальше я не слышала. Разве что ретроспективным слухом запомнила: сына моего Ильку шахматам учит, а сама ключ все крутит и крутит.

(Представь себе, как я напугалась, когда он про ключ начал, хорошо, что осекся и на шахматы перешел. Ключом я действительно вертела-крутила, но где? Да в ихней замочной скважине. Думала, что нашу дверь отпираю. «Инночка, вы что делаете?» – услышала я так высоко над моим теменем бузовкин голос, словно его второй конец ангел в небе держал. Я ответила, что вот дверь открыть стараюсь.

– Ваши двери этажом выше, как вы только в шахматы играете, этакая растеряха? – уже и вовсе заоблачным смехом засмеялся Бузовкин).

Меж тем, пока я тряслась от страха, услышав «ключ», в лавке нечто резко изменилось. Симпатичный мент еще держал меня рукав, но две рыжие тетки уже – нет. Они кричали на Бузовкина, замолкшего на словах «очевидно, она крутила». Они кричали, уже не наступая, а вопия к справедливости: «Что значит крутила? Мы ее за руку поймали. Не пойман – не вор! А она поймана вот этими руками! – протягивали они четыре согнутые в пальцах пятерни, неожиданно нежно-матовые, напоминающие чашечки лабораторных весов. – Вас тут не было, зато та дама – прямая свидетельница! – и, перевернув пятерни вверх дном, указали на старушку пионерского вида. А старушка, тряхнув косицами, как взорвалась:

– Дык, я вам, Сарам, никая не швыдетельница – ни прямая, ни кривая! Ить, разгулялись, шпасу от них нету, они и за прилавком, они и у прилавка. И в городском саду. Небось, швою сумку сами и раззявали, а на девчонку клевешштете! Цыганка! Какая она вам цыганка – застыла вся, не вырывалась даже. Товарищ милицанер, отпустите девушку, я ей – натуральная швидетельница – она крутила!

На мгновенье в магазинчике сгустилась многолюдная, грозно решительная тишина и тут же оборвалась хоровым дробным выдохом:

О-на кру-тила. О-на кру-тила, о-на кру-тила…

Рыжекрашенные тетки растерянно обвели печально-карим взглядом скандирующую толпу, потом посмотрели друг друга в глаза и, словно увидев в них нечто безутешно-спасительное, выпрямились и с неспешным достоинством вышли на воздух. Вышли на улицу и остальные. Вышли на улицу и мы с Бузовкиным. До наших «трех поросят», что шагах в пятидесяти от злополучной лавки, нас провожали застенчивый мент и старушка-пионерка. То ли по дороге им было, то ли каждый по-своему хотел убедиться в своей правоте. Перед самым подъездом милиционер подошел и не с того ни с сего откозырял Михаилу Ивановичу. А тот, втянув в себя весь свой голос чуть слышно прошевелил узкими губами: «Нехорошо закрутилось»…

17 Августа 1998 г.

Леночка, как жаль, что ты сегодня звонила, а я по телефону не смогла еще тебе сказать: доченька моя, нет у меня слов, чтобы выразить тебе то ослепительно-оглушительное впечатление, которое осталось от прочтения присланного тобой. Нет слов! По телефону я бы начала вот с этого: ты – гений! А сейчас я как бы онемела. Но при ослеплении – все вижу, но при оглушении – все слышу, и то и другое – всей душой. Нет слов! – и это правда. Буду писать тебе завтра. И дело не в том, что сейчас без десяти 12 ночи. Я еще никак в себя не приду, потрясенная твоим литературным подвигом. Твой писательский талант – все в этой книге объединяет: подвиг человека, педагога, историка, архивщика, искусствоведа, философа, стилиста. Спасибо! Трудно сказать, что я счастлива, что ты это написала, а я прочла. Я прожила заново много жизней (еще до гибели Фридл, ибо ее гибель ты сделала бессмертьем), в том числе – и свою жизнь и твою. Но дальше напишу 18 августа, которое уже наступило. Немного поостыну от потрясения и напишу тебе более осмысленно и подробно. Но чувство преклонения перед талантливо сотворенным тобой никогда уже и никуда не денется. Целую, мама.

Доченька моя! Сейчас 10 утра. В окне – чудный день – зелено-желто-синий. Ночью прошел, м. б. последний на этой неделе, так мне кажется, ливень. Но клочковатая желтизна на деревьях уже не только от солнца. Уж небо осенью дышало. На этой пушкинской строке (надеюсь, я ее не переврала) меня позвали к телефону, оказалось: ТЫ! Какое счастье – я сегодня и не мечтала тебя услышать. Все, что я разбросанно думала, я смогла тебе кратко высказать. Как хорошо, что ты и сама обмыслила первую часть каталога-КНИГИ. Тогда будет уже абсолютный шедевр! …

Солнышко моё, как же все в жизни связано одно с другим, и моя давнишняя теория парности, о которой я чуть ли не с юных лет говорила, вызывая

общий смех, теперь и учеными признана. И все совпадения не случайны. Так позавчера, размышляя о Вене и о том, что связано с Австрией в первой части твоей книги, я неожиданно выехала с Семеном на дачу к Коме Иванову – в первые гости за полгода. К ним пришел Аверинцев – безумный монологист, похлеще тебя, и Семена, и меня, вместе взятых. Он битых полтора часа говорил о Вене и австрийцах, иногда Кома вставлял какую-нибудь реплику о Лос-Анжелесе или Париже или…, но – коротко. Наконец, когда Аверинцев был на середине своего анализа нац. черт венцев и изменения этих черт и заметил, что в Австрии почти исчез юмор и его чувство, я подала
свою печальную реплику: а у нас, несчастных, если что еще и осталось, то это чувство юмора. Сергей Сергеевич понял меня неправильно: Конечно, Инна Львовна, с уничтожением евреев, в Вене – целого еврейского района, (у тебя он как-то иначе назван), исчезло и чувство юмора, которым так богат еврейский народ. Именно евреи подарили Австрии чувство юмора.

Аверинцев изъясняется медленнее и изящнее меня (даже свою книгу нам надписал с ятями). Но не понял, что мое «у нас» означает – в России. А у меня было не вполне осознанное ощущение, что я попала в среду вполне обеспеченных иностранцев и мне больно за нас, за русских. Вот еще одна не только парность, – и во мне – Вена Фридл, и в доме Ивановых, – но и совершеннейший абсурд: я себя ощущаю русской, а мои русские собеседники словно и позабыли, что они русские. Это как-то связывается и с фразой Фридл о «постыдном бегстве». Уж кому и надлежало бы бежать сейчас отсюда не ради денег, а ради жизни, то это нам с Семеном, хоть и старые. Хотя Иванов меня моложе всего на год, а Аверинцев тоже что-то вокруг моего возраста. Нет, пожалуй лет на десять моложе.

Вот кто печется и болеет за свой народ, так это Солженицын. О его истинном патриотизме говорит не тот факт, что он вернулся в Россию, а его книга: «Россия в обвале» – всё правда и все – горестно читать. Факт перемены места – не факт сознания. Вот и К. вернулся из Парижа и без конца говорит о том, как жутко живет русская провинция, а я, да простит меня Бог, ему не верю. Кажется мне, что вкачал он в себя надувной патриотизм с надувным же русским самосознанием. У Солженицына самосознание истинное, а потому – чистое и разумное. А если бы ты знала, как здешняя пресса на него накинулась – ужас один! Никому его взгляд на сегодняшнюю Россию не угоден и не выгоден – ни демократам, ни коммунистам, ни фашистам, никому. Да, обвал невероятный.

Вспомнив об обвале, поневоле задумаешься и о – денежном. Ведь половину за дачу я положила на книжки в двух банках. А банки-то могут и лопнуть. Ну что будет – то и будет. Никуда не денешься ни от внешних обстоятельств, ни от обстоятельств своего характера. Радует меня и то, что Семен не усугубляется по этому поводу. Хорошо, что мы оба верим в Бога и в судьбу. Судьба нам всегда делала пакости, а Бог держал на земле. Пусть так оно и дальше идет.

Солнышко мое, я – оптимистка чересчурная, рассчитывала на пять зелено-желто-синих дней, а небо уже заволакивается очередной серостью. Сейчас выйду на улицу немного поды-шать. А пока еще раз тебя благодарю за твою работу, жду не дождусь продолжения-окончания и первой, перерабатываемой тобой, части. Рада, что Мане и Феде [1] интересно отдыхается. Не очень поняла, какие советы дала Эдит [2] тебе насчет Манички и ее занятий живописью. Я же идею письма вперемешку с рассказами решила оставить, ничего путного у меня в прозе получиться не может. От моей «новелки» у меня осталось одно чувство вины перед теми двумя еврейками в лавочке. Ведь в тот злополучный момент я искренне радовалась, что вылезла сухой из воды, пойманная за руку из-за моего крутения. Тетки, действительно, были противные. Но я оказалась хуже. Не то что не вступилась, а как бы еще и злорадствовала, дескать, доорались. Я же сама на себе испытала антисемитизм за год до того (хозяйка общежития машиностроительного техникума), а через год после лавочки, в 49 году, меня вытолкнула проводница из отходящей электрички, тогда двери механически не закрывались. Так меня, наверное, Бог наказал. А м.б. мне все-таки написать о своей примечательной учебе и хозяйке?

Нет, пока тебе не отправлю письмо-«пуговицу», не осмелюсь пробовать прозу. Ты мне должна написать честно-жестко, без всякого человеческого, а тем более дочернего снисхождения, есть ли смысл в 70 лет осваивать какой бы то ни было новый жанр в жизни, кроме компьютера. Конечно, самый простой ответ есть: если можешь не писать, не пиши. Но то, что написано в «Пуговице», писалось с огромным графоманским подъемом, словно я стихи пишу. Даже с большим, – как со всеми неофитам и случается. Но подъем – еще не повод усаживаться за несвойственное тебе дело, подъема на Олимп не получится. Разве что на Эверест с хорошим проводником-альпинистом. А пока спущусь-ка я на землю, т. е. в переделкинский сад.

Целую со знаком бесконечности, которого нет на компьютерной клавиатуре. Мама.

---

[1] Мамины внуки

[2] Эдит Крамер (1916-2014), австрийская художница и арт-терапевт, у которой Маня училась с 18 лет.

Елена Макарова

ЗАГАДКА ТЕРЕЗИНА В ЧЕТЫРЕХ РАССКАЗАХ

(ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ РАССКАЗЫ)

ВСТУПЛЕНИЕ

В последние десятилетия Терезин[1] посещает множество туристов. Разумеется, не архитектура влечет их в серый гарнизонный город в 60-ти км от Праги, но загадка – каким образом люди, заключенные в промозглые казармы в 1941 – 1945 годах в ходе «окончательного решения еврейского вопроса», не впали в отчаяние от голода и холода, от страха перед депортацией «на восток»? Как сумели они найти в себе силы, чтобы:

Поставить 621 спектакль,
Сочинить более сотни музыкальных произведений,
Создать тысячи рисунков и картин,
Издать сотни страниц детских иллюстрированных журналов и взрослый – юмористический,
Написать 1000-страничные дневники - хронику событий и размышлений, сотни стихов, пьес, критических статей,
Прочесть свыше 2000 лекций…

К сожалению, о наследии Терезина мы можем судить лишь по тем материалам, которые сохранились в лагере к моменту освобождения его армией маршала Конева 8 мая 1945 г. Часть документов была найдена в Терезине через 20 лет во время капитального ремонта – например, дневник Эгона Редлиха. Обнаружилось и 5000 детских рисунков, сложенных в чемоданы самим педагогом Фридл Дикер-Брандейс – они были переданы в еврейскую общину Праги. А вот пьесы Карела Швенка, чешского режиссера и актера кабаре, так и не нашлись, видимо, он взял их с собой в Освенцим…

Люди уносили с собой дневники, рисунки, ноты… Иногда, уже на платформе, они спохватывались, вынимали свертки из рюкзака и отдавали на хранение тем, кто оставался в лагере до следующего транспорта. Так случилось с композитором Виктором Ульманном, оставившим связку нот и критических статей. Теперь их читают и исполняют во всем мире. Говоря о Терезине, Виктор Ульманн подчеркивает: “Мы вовсе не сидели сложа руки, не плакали на реках Вавилонских. Наша тяга к культуре была столь же сильной, как и наше желание выжить”.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ТЕАТР «ПОД ТРУБОЙ»[2]

ЗДЕНЕК ЕЛИНЕК: ПРОЛОГ К ПОСТАНОВКЕ ПО ПЬЕСЕ К.ЧАПЕКА “РОКОВЫЕ ИГРЫ ЛЮБВИ”

Арлекин: Придите, люди милые, придите к нам в театр. Что б жизнь нам не подстроила – не сгинем “Под трубой!” Зловредную историю, да ну ее совсем. Мы клином клин повышибем. Поднимем настроение, собравшись под трубой...

Нет чтоб в Китай отправиться – мы здесь, в Терезине... Живем теперь казарменно, работаем как

[1] Терезин (чеш. Terezín, до 1918 г. и в годы Второй мировой войны — Терезиенштадт, нем. Theresienstadt) — название бывшей крепости и гарнизонного городка в районе Литомержице в Чехии. Во время Второй мировой войны в Терезиенштадте было основано «образцовое гетто», в котором находилось около 140 000 человек (из них 33 000 умерли во время нахождения в гетто). В Терезинском гетто имелось самоуправление. Немецкие власти рассматривали Терезиенштадт как временное местонахождение для евреев вплоть до «окончательного решения», поэтому около 88 000 обитателей Терезиенштадта были постепенно депортированы в Освенцим и прочие лагеря смерти. К концу войны в гетто находилось 17 247 выживших.

[2] Многие театральные представления, лекции и концерты проходили на чердаках огромных казарм города-крепости. Мрачная ассоциация об уготованном узникам конце – газовых камерах и крематориях Освенцима-Аушвица – вряд ли могла прийти в голову Зденеку Елинеку. Правда, депортации в «улучшенное гетто на востоке» вызывали тревогу и страх. С начала 1942 по май 1945 года свыше 80 тысяч терезинских з/к были отправлены в лагеря уничтожения; 33 тысячи умерло в Терезине от голода и болезней; лишь 11 тысяч дождались освобождения советскими войсками.

лошади, того гляди, искусство мы забудем навсегда!

Вовеки не бывать тому! Да, вместо залов мраморных зовем вас на чердак… Зайдите - и увидите, что здесь живет театр. Здесь раньше мыши гадили, а нынче вот – спектакль! Мы все тут перестроили – гляди-ка, не зевай! Да, стало поуютнее, но все равно не рай. Сидеть вам не на атласе, да и к чему вам плюш? И в холоде, и в слякоти искусство говорит...

Афиша: “Роковые игры любви”

Мы с ветряными мельницами побьемся, посражаемся, звездою сверкать в грязи нам, и щит не запятнать. Вперед идем упрямо, и бури – не помеха нам. Мы держим путь, не дрогнув, до следующей грозы.

Художник беззащитный, он в постоянном бунте, и часто слепо верит, что творчество спасет. Мы остановим жернов, мы выйдем на свободу…

Все это я наговорил вам просто так, чтобы вас развлечь... И отвлечь… Идите же люди, идите к нам, в наш театр “Под трубой”...

*(*Входит *Капитан*)*:* Вот здесь я должен играть? Нет. Это невозможно. Мало публики, и сцена не годится... А это что – ресторан? О, да тут целое «Меню а ля Терезин»! (*читает*):

Супы: белый – aqua termalis с пузырями; серый – желудочный отвар с мраморными шариками.

Закуски: зевок на хворостинке, три ха-ха в тумане.

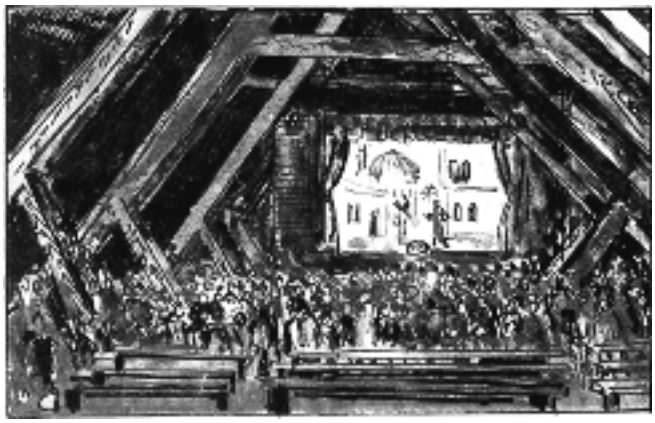
Заказные блюда: мушиная лапка на вертеле, грудь комара с начинкой, блошиный соус с козявками, нарисованный кабан (акварель), голубь на крыше собора…

Блюда без заказа: жабье колено в гипсе, рыбьи чешуйки с медом, веревочка от свиной колбасы, нежная пощечина с шишкой.

Сладкое: ветер, запеченный в сумерках, ломота в сиропе, сосулька с яблочной начинкой…

Ну вот, аппетит возбужден, пора приступать к еде и начинать представление…[1]

Терезинская «театральная газета» – каталог к выставке о терезинском театре в Иерусалиме, 2001


Чердачный театр

Представление во дворе казармы, рис. П.Кина

Обложка 4-й книги о Терезине

[1] Из «Терезинской газеты» «Да здравствует жизнь, или Танец вокруг скелета», посвященной театру и музыке в Терезине. Е.Макарова, «Verba», Иерусалим, 2001.

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ

ФРИДЛ ДИКЕР-БРАНДЕЙС, ОТ БАУХАУЗА ДО ТЕРЕЗИНА[1]

У меня часто возникает ощущение (и вот сейчас тоже), что я пловец, которого сносит диким потоком (я знаю, что умею плавать); на мгновение я подымаю голову над водой, пытаюсь ухватиться за ветку, зацепиться за камень в какой-нибудь заводи и успеть окликнуть пловцов... Однажды меня утопят как дикое, неразумное животное, и мой голос так и не достигнет тех, на другом берегу. Хорошо, что я не строю планов, даже на миг вперед.

Фридл Дикер-Брандейс
Из письма к Анни Моллер-Вотиц, 1922 г.

Маленькая Фридл с отцом и коллаж из ее жизни и творчества. (Из «послежизни»: афиша выставки Ф.Дикер-Брандейс в Париже, 2000. Куратор Е.Макарова)

Фридл росла с отцом. Ее мать, Каролина Фанта, умерла, когда дочери было четыре года. Глазастая, большелобая девочка осталась на попечении сорокачетырехлетнего Шимона Дикера, который торговал канцтоварами. В маленьком магазинчике пахло красками. С малых лет Фридл узнала краски, их цвета и запах. Цветные карандаши, ножницы, бумага и пластилин стали ее игрушками. Разумеется, в магазине нельзя было хватать с полок все подряд, нельзя было пачкать бумагу. Страх испортить дорогую бумагу преследовал ее всю жизнь; потрясающие рисунки углем, сделанные ею на упаковочной бумаге, ныне практически невозможно реставрировать.

Через год после смерти Каролины Шимон женился на Шарлотте Шён. По преданию, Фридл сама познакомилась с милой тетей в парке и «свела» ее с отцом.

Школа, где училась Фридл, была за углом, и она ходила туда сама. Чтобы к ней не приставали, она выполняла домашние задания и отвечала на все вопросы учительницы.

Она росла самостоятельной и упрямой. Сбегала с уроков, чтобы рисовать на улице или в книжных магазинах, где можно было часами рассматривать репродукции, позже, примкнув к экскурсии, проникала в Музей искусств, на концерты тоже научилась пролезать без билета. Звук скрипки, мазок на холсте, розовый куст, тень от дерева – во всем ей виделась тайна.

К 16 годам Фридл ушла из дому. В том же году получила диплом фотографа. Но дело это ее не увлекло.

...Фотография – схвачен один момент... Это лишь демонстрация того, что, собственно, сказать-то нечего, – отношение человека к среде и самому себе не может быть выражено в одно мгновение.[2]

Фридл хотела стать художником. Сначала она поступила на курсы профессора Франца Чижека, затем в частную школу Иоганнеса Иттена. Пройдя у Чижека сквозь царство «спонтанного самовыражения», она попала в иттеновский мир мистических законов, основанных на логике. Иттеновские штудии пришлись ей по душе. Ее врожденное чувство композиции, перспективы, соотношения света и тени, чувство ритма – всё на занятиях Иттена обрело форму. Анализ работ старых мастеров привел Фридл к пониманию целостности – спонтанность и логика не исключают друг друга, напротив, их единство и есть гармония.

В портрете художник уже делает выбор, возьми, например, портрет боттичеллиевой «Симонетты»[3]*, – это одновременно и архитектура, и скульптура, и портрет, и ландшафт, и символ; к тому же связано с классической мифологией, к тому же отражает точку зрения, отношение к жизни, философию того времени и в своем высшем значении являет нам идеал*

---

[1] Глава из четвертой книги «Искусство, музыка и театр в Терезине» тетралогии «Крепость над бездной». «Гешарим», Москва-Иерусалим, 2003 – 2008. Подробнее о Ф.Дикер-Брандейс (Вена 1898 – Биркенау, 1944), художнице школы «Баухауз» и педагоге терезинских детей см. в биографическом романе «Фридл» (Е.Макарова, «НЛО», Москва, 2012) (http://nlobooks.mags.ru/vcd-28-3-837/goodsinfo.html). Англ. издание: Elena Makarova: Friedl, Dicker-Brandeis, Vienna 1898 – Auschwitz 1944, Tallfellow Press, 1999.

[2] Из письма Ф. Дикер-Брандейс к Хильде Котны, 1940. Хильда Анжелини Котны (1909 – 2001), близкая подруга Фридл, химик по профессии. В письмах к ней Фридл суммировала свой жизненный и художественный опыт.

[3] Боттичелли, портрет Симонетты (1470), жены Марко Веспуччи.

красоты[1].

Деятельная и меланхолическая, порывистая и рассудительная, общительная и одинокая, Фридл была воплощением теории Иттена о контрастах: «Противоположное являет единство – без света нет тьмы». Говоря это, Иттен особо подчеркивал ритмическую последовательность переходов от света к тьме, градацию черного и белого. Юная Фридл разрывалась между светом и тьмой, «ритмическая последовательность переходов» ею была освоена позже, уже в Баухаузе.

Редкое наслаждение – тихие рабочие дни, – они меня полностью заполняют и одухотворяют... и можно временно не заглядывать в далекое и темное будущее, которое тем темней, чем светлее вокруг…[2]

В Баухаузе она становится Мастером.

Оформление журнала «Утопия», сост. И.Иттен, 1920

Директор Баухауза, знаменитый архитектор Вальтер Гропиус, писал о ней впоследствии: «Фройляйн Дикер отличалась редким, необыкновенным художественным дарованием, ее работы постоянно привлекали к себе внимание. Многогранность ее дарования, ее невероятная энергия – вот причины того, что она стала одной из лучших и уже на первом курсе стала преподавать начинающим студентам. Как бывший директор и основатель Баухауза, я с большим интересом слежу за успешным продвижением фройляйн Дикер».

Работая в самых разных материалах и техниках, она стремится *изобразить процесс движения. От плоскости к линии. Мне всегда хотелось самым что ни на есть полным образом передать вещь в ее развитии*[3].

В 21-м году Фридл обратилась к евангельской истории рождения Богоматери у пожилой бездетной пары – Анны и Иоакима. Она «пробует» тему «Святой Анны» в разных техниках: в живописи, графике и скульптуре.

…Будь у меня ребенок, я была бы побоевитей, я бы верила – с чем не справилась я, справится мой ребенок…[4]

«...Совсем в другом стиле составная скульптурная композиция «Святая Анна» работы Фридл Дикер, – пишет искусствовед Ганс Хильдебрандт. – Фридл Дикер принадлежит к наиболее разносторонним и оригинальным женским талантам современности. Благодаря современнейшему колориту и композиции, работа кажется частью архитектуры. Объединение таких материалов, как никель, черная сталь, бронза, стекло, белый и красный лак, столь же неожиданно, как и сами формы человеческих тел, сконструированные из труб, шаров и конусов. Спонтанность женской натуры, которая, вдруг став радикальной, освобождается от всего, что сдерживает ее энергию, ярко выступает в этом произведении, которое куда значительней, чем просто любопытный эксперимент»[5].

Графические и живописные работы из цикла «Святая Анна» разбрелись ныне по разным странам: наброски и коллажи в Швейцарии, пастель в Германии, акварели в Австрии и картина маслом в Израиле. Лишь если собрать их вместе, станет видно, как Фридл «формализует» тему, как «запаковывает» свои страсти в трубчатые конструкции, шары и конусы. Ее ангел бескрыл. Фигуры Марии, Анны и Христа вставлены друг в друга, как в детском конструкторе, который позже будет спроектирован и выполнен в «Ателье Дикер-Зингер» в Вене (1925 – 1931). «Источник творчества Фридл – невероятное художественное воображение, это видно и в сравнении ее работ иттеновского периода с работами других студентов. Бросаются в глаза уверенность ее графической техники и богатство переходов от белого к самому глубокому черному, насыщенность затененных мест, абсолютное владение светотенью... Но чем вызван этот выбор мрачно-визионерских тем в ее свободных композициях той поры?»[6]

Скульптура «Святая Анна», 1928

Одинокий пловец, уносимый потоком, должен бы думать лишь о том, как бы не утонуть. Фридл смерти не боится, она боится того, что ее *голос не*

---

1 Из письма Фридл к Хильде Котны, 1940.

2 Из письма к Анни Вотиц, 1921, Баухауз.

3 Из письма к Хильде Котны, 9.12.1940, Гронов.

4 Из письма к Анни Вотиц, 1921, Баухауз.

5 H. Hildebrandt, Die Frau als Kuenstlerin (Женщина как художник). Berlin: Rudolf Mosse Buchverlag, 1928.

6 Г. Хильдебранд, цит. по: Hans M. Wingler, Friedl Dicker-Franz Singer. Каталог выставки (Дармштадт, 1970), с. 7 – 8.

достигнет тех, на другом берегу.

В искусстве Фридл нет ни борцовского, ни апокалиптического настроя, характерных для художников той поры. При этом она чувствует личную вину и ответственность за то, что творится вокруг. Она вступает в компартию, в 1932 году создает серию антифашистских плакатов-фотоколлажей. В 1934 году во время путча в Вене ее арестовывают. Освободившись из заключения, Фридл эмигрирует в Прагу. Три картины под общим названием «Допрос», написанные там вскоре после приезда, передают тихую оторопь Фридл перед злом, затесавшимся в мир цветов и облаков и никак не желающим сдавать позиции. Зло ослепляет. Не потому ли на первых двух «Допросах» пусты глазницы вывороченного лица, а толстый слой белой масляной краски выглядит как оплеуха. На клавишах машинки нет букв – они слепы; машинка – хроникер истории–ослепла.

Допрос, 1934

«Фридл говорила, что во время допроса у нее горели уши и что она потела. Это то, что она потом нарисовала на картине, – красные уши»[1].

Единственный автопортрет Фридл, да и тот – спиной к нам. Четкая линия стрижки – «одним здесь ножницы даны, других здесь будут стричь»[2], красное ухо, часть стула почти того же цвета, что платье, в глубине – забеленное окно с алым росчерком.

Выйдя в 36-м году замуж за своего двоюродного брата Павла Брандейса и получив чехословацкое гражданство, Фридл в 1938-м отказывается от визы в Палестину. «Моя миссия – оставаться здесь, во что бы то ни стало»[3]. В Гронове, последнем пристанище на свободе (1938 – 1942), Фридл целиком отдается живописи. За спиной – сотни картин, архитектурных и театральных проектов, годы интенсивной работы с детьми. В 1940 году она отвергает приглашение на свою выставку в Лондоне.

... И хотя моя надежда достигнуть цели слабеет (а цель совершенно не ясна), я не хочу ни преподавать, ни заниматься какой-либо деятельностью. Я решила целиком отдаться живописи, чтоб реализовать то малое, чему я научилась. Не заниматься более аллегориями, выражать мир таким, какой он есть, не будучи ни современной, ни несовременной... При страстной любви к Клее я отказываюсь от его приемов – они изломаны своим стремлением к потусторонности... «Детский натюрморт» был моей отчаянной попыткой вырваться... Я видела синий бидон и писала его синим, с чувством, что лечу с четвертого этажа и вот-вот сверну себе шею...[4]

«Потусторонность» имеет свою топологию – это то, что по ту сторону жизни, по ту сторону сознания. Потусторонность – царство мистики. Фридл – «по эту сторону»; она упивается красотой чеснока на разделочной доске, свечением лимона на срезе, сахарницей, похожей на светильник. Почти в каждом письме из Гронова идет отсчет: останется полгода – буду рисовать, останется две недели – успею прочесть книгу… До того как ее «утопят», она еще успеет нарисовать своего мужа Павла и всех друзей, аллею под пологом изумрудных деревьев, разверстые поля, вид с пригорка сквозь корявые стволы деревьев… Свет, цвет, открытые глазу просторы, где гуляет ветер, где все еще можно дышать…

Павел Брандейс

Жизнь моя – живопись, коей я прилежно и серьезно занималась, вызволила меня из тысячи смертей, – похоже, я искупила вину, не зная, в чем она состоит[5].

В Терезине Фридл отказалась от работы в техническом отделе, куда ее распределили, и последние восемнадцать месяцев жизни провела с детьми.

Педагогом Фридл сделали тяжелое детство, одиночество и непонимание взрослых.

Сегодня мне видится существенным только одно – пробуждать тягу к творчеству, сделать ее привычкой и научить преодолевать трудности, незначительные по сравнению с целью, к которой

---

1 Из интервью с Хильдой Анжелини Котны, Генуя, 1993.

2 Из открытки, отправленной Фридл Хильде Котны с транзитного пункта, 16.12.1942.

3 Из письма Валли Нойман, 1938.

4 Из письма к Хильде Котны, 1941.

5 Из письма к Хильде Котны, 1942.

стремишься…[1]

Почему взрослые хотят как можно быстрей, в массовом порядке, уподобить себе детей! Но так ли уж мы счастливы и удовлетворены собой?[2]

Мечта бездетной Фридл о материнстве воплотилась в Терезине, где она стала матерью многим детям.

Рисунок Лильки Бобашовой (15 лет), Терезин, 1944

«У меня было от нее ощущение как от врача. Что она сама – лечение, сама по себе»[3]. «Дети, с которыми я работала, были в тяжелом душевном состоянии – на их глазах расстреляли родителей. Стоило Фридл лишь «прикоснуться» к ним, и они ожили, расцвели на моих глазах. Я спросила ее, как это вышло. Она ответила: «Они рисовали с удовольствием. Удовольствие пробуждает вкус к жизни»[4].

Уроки рисования превратились в терапию.

«Красота – таинственна, – говорила она детям в Терезине. – Красивая вещь – тайна. Неодолимое желание проникнуть в суть вещи может свести с ума. Красота – не слепок, не портрет природы, она в вариациях, в разнообразии. Нет вещей абсолютных и общепринятых. Самые известные явления, самые затверженные слова могут открыться с неожиданной стороны. Нет красоты остановившейся. Дыхание рисунка – в пропусках, в отказе от лишнего… Фридл как-то сказала, что в черном и белом много цветов. Я тогда не поняла ее. Теперь понимаю. Все, что она говорила, возвращается ко мне»[5].

Сама Фридл в Терезине рисовала не много. Ее рисунки не отражают действительность лагеря, они отражают действительность самой Фридл. А она верна себе. Отдает все свое время и силы детям, а для себя рисует цветы. Нет сил сводить счеты со злом, но есть силы любить то, что злу не подвластно.

… И когда уже невозможно найти в этой жизни смысл, остается одно – любовь. И она настолько чудесна…Так что не печалься, моя дорогая…[6]

8 августа 1944 года Фридл пишет Вилли Гроагу, руководителю детского дома для девочек: *… Сегодня ты помогаешь ребенку не упасть с утеса, а завтра он может разбиться о камень. Конца этому нет… На твой день рождения я желаю тебе всего наилучшего, а главное – длительного и глубокого дыхания, это и есть самое необходимое…*

Через два месяца Фридл уничтожат, лишив дыхания.

Умирающий кричит «воздух, воздух!», забыв о самом главном – чтобы избавиться от страха смерти, перво-наперво нужно дышать…[7]

Ф.Дикер-Брандейс. Лицо ребенка. Терезин, 1944

---

1 Ф. Дикер-Брандейс. «Детский рисунок». Терезин 1943. См. полный текст в КНБ-2, с. 272 – 283. Педагогическая деятельность Ф. Дикер-Брандейс всесторонне освещена там же, с. 262 – 339.

2 Там же.

3 Из интервью с Эдной Амит (раньше Лилькой Бобашевой), 1991. Израиль.

4 Из интервью с Эдной Амит (раньше Лилькой Бобашевой), 1991. Израиль.

5 Из интервью с Эдной Амит, 1991. Израиль, архив Е.М.

6 Из письма к Хильде Котны, 1941.

7 Письмо к Анни Моллер-Вотиц, без даты, архив Ю.Ф.А.

ВЕЛИКОЕ БЕЗМОЛВИЕ

И я принадлежу, точно раствор или камень, к маленькому зданию жизни.
Фридл Дикер-Брандейс
Из письма к Анни Моллер-Вотиц, 1938

Этот рассказ основан на документах и письмах Фридл. С 1938 года вплоть до депортации в Терезин 15 декабря 1942 года она написала своим подругам Анни и Хильде сотни писем о прочитанных книгах, об искусстве, педагогике, философии. Фридл дорожила каждым днем, отвоеванным у смерти.

ГРОНОВ

Вид Гронова, 1940

В 1938 году Павел заступает на пост главного бухгалтера текстильной фабрики «Шпиглер и сыновья». Они с Фридл поселяются на первом этаже дома № 481 по улице Моравского Братства, напротив железнодорожной станции Гронов.

...Дорогая Анечка!

Здесь спокойно. Все в глубоком снегу. Вчера началась весна. У меня что-то со зрением. Я больше не знаю, как выглядит пейзаж. Но каждый день слышу поющих птиц. Это неописуемо. Когда в семь утра я иду в булочную… я слышу кудахтанье и квохтанье в птичнике. Это так связано с детством, каникулами, счастьем и свободой. Слушая кукареканье петуха, я бы и в свой смертный час не поверила, что в мире творится что-то злое…Эта здешняя жизнь, в ее малости и красоте, мне точно по силам…[1]

Фридл гарантирована работа на фабрике. Она уже зарекомендовала себя участием в выставке тканей «Наход-38»[2], спроектировала для фирмы «Шпиглер» стенд, красиво расположила рулоны тканей. Как представителя фирмы Фридл наградили дипломом и золотой медалью.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

...Я сижу у двух свечек, тепло, печка поет свои длинные песни, – пишет Фридл Юдит Адлер в Лондон. – *После сотой поломки отопительной системы, после сотого короткого замыкания все же остались печка для обогрева, и свечки для освещения. Вопреки всему нужно всегда искать, что важнее. И идти на компромисс, «покупая» в придачу к «приятностям» теневые стороны этой жизни… Мне она с ее покоем гораздо приятнее, чем Прага и шум. Будь благословен Гронов. Когда взвешиваешь, как важное относится к неважному, когда «покупаешь» небессмысленно, то не следует так уж привередничать… в этом-то все и дело, в конце концов… Я сейчас упряталась в маленькую картину – рисую ее из окна. Она возникла из крошечного коричневого пятнышка, которое вдруг резко обозначилось на фоне розового и голубого свечения снега (розовый стелется по горизонтали, голубоватый – под углом, а темно-синий – стоймя, вертикально уходит в глубокую тень), и в этой необычайной снежной нежности деревья выходят темными, а густая синева придает близким к нам деревьям темно-коричневый цвет. Но это не выглядит скучно, поскольку коричневый – рядом с фиолетовым, и дымовые трубы того же цвета, только они более объемные, и при этом эти торчки не выпадают из картины, и знаешь почему? А потому, что светло-коричневое и очень элегантное знамя дыма связывает их с вершиной холма, что напротив. Дым разрезает небо светло-серой полосой, – и это является противовесом снегу на первом плане… И так я рисую и рисую, и вдруг спохватываюсь – а куда же запропастилось это маленькое коричневое пятнышко? Его нет…*

Ко мне ходит в гости крошечный восьмидесятилетний старичок. На нем старая рабочая, но очень чистенькая голубая блуза. Он очень беден и вынужден просить милостыню (фактически он получает 1 крону в день). И вот он сидит у меня, что-то бормочет беззубо… Когда он думает, что я его рисую, он подбирает отвисшую губу, приводит свое лицо в порядок. Такое симпатичное лицо! С огромными темнокожими ушами и мутно-голубыми глазами. От раза к разу он выглядит все «приличнее», в последний раз, о ужас, он пришел в стоящем колом белом воротничке и галстуке с прищепкой, к тому же подстриженный и гладко выбритый. Он у меня

[1] Письмо к Анни Моллер-Вотиц, Гронов, 2 марта 1938. Анни Моллер-Вотиц (1900 –1945), художница, подруга Фридл с 1916. Юдит Адлер (урожд. Моллер, род.1926), дочь Анни Моллер-Вотиц. Архив Ю. Адлер.

[2] Выставка проходила в Находе с 19.6 по 21.8.1938.

пьет кофе или рюмочку водки и рассказывает о своих невзгодах, этого ему не занимать. Боже, когда я буду такой старой, я, наверное, и ползать-то не смогу и буду полной маразматичкой… Еще я учу чешский, при этом не особенно ломаю себе голову – так что и успехи, увы, соответствующие. Иногда мы ходим гулять, и это так прекрасно, пару раз мы катались при луне на лыжах. Пегги похрустывает снежком, а мы идем тараканьим шагом сквозь тихий лес и великое безмолвие[1].

ПРОТЕКТОРАТ

15 марта 1939 года в «великое безмолвие» вступает армия Гитлера. Все происходит быстро, как в страшном сне. Но нужно пробудиться и понять – нет больше страны «Чехословакия», отныне они живут в «Протекторате» рейха.

Георг Айслер: «Пауль Венграф, преуспевающий торговец искусством, знал Фридл еще по Вене. У него была галерея в Лондоне, «Аркадия». Он приглашал Фридл приехать в Лондон, где он готовил ее выставку. Это была весьма уважаемая галерея, которая вполне могла бы продвинуть Фридл в Англии как художницу-беженку. Но она не приехала… Может, если бы они остались в Праге, в подполье, это бы их спасло… Но в этой деревне она была обречена»[2].

Воскрешение Лазаря

Лондонская выставка Фридл состоялась в августе 1940. На ней были выставлены цветы, пейзажи, натюрморты, «Воскрешение Лазаря» и одна работа из серии иллюстраций к «Бувару и Пекюше» Флобера. Большинство из этих работ известно нам сегодня лишь по фотографиям.

ПИСЬМА К ХИЛЬДЕ[3]

Хильда перечитывает письма Фридл, Генуя, 1993

Если бы у одного человека было две жизни, тогда из одной можно было бы наблюдать другую… Отказавшись от Лондона, Фридл подписывает контракт со смертью. Сроком на пять лет. Из них три года она, насколько позволяют все ухудшающиеся условия, живет полной жизнью. При ней – любимый Павел. Она рисует, читает, думает, пишет письма.

Хильда: «…Фридл решила учить меня искусству. Целые лекции в письмах. С приложением «картинок» и репродукций. Я должна была читать письмо и смотреть на картинку. После чего картинку вернуть. Если собрать эти «лекции» отдельно – выйдет история искусств по Фридл, написанная для таких невежд, как я. Она читала философов томами, и жаловалась, что мало знает. Например, она была без ума от Кьеркегора. Но у меня не было ни времени, ни энтузиазма его изучать. В письмах она постоянно его цитировала. Ее обуревали вопросы, и она читала и читала. К сожалению, я оказалась единственным человеком, с кем она могла говорить все это время».

Моя дорогая Хильда!

…Сегодня я пишу тебе письмо, не живописное, потому что с 5-го числа все серо, туманно, один лишь ветер и летучий снег, не философское, потому что на человека иногда находит столбняк, и даже не человеческое! Главное, я не хочу, чтобы оборвалась нить или чтобы ты не думала, что я не думаю о тебе. Но мне очень грустно и я просто застыла, и, когда я думаю о тебе, моя славная, мужественная девочка, о том, как ты там сидишь одна и старательно и упорно работаешь, мне жаль, что я не могу завести граммофон и поставить для тебя прекрасную увертюру «Леонора» или просто тебя приласкать...

---

[1] Письмо к Юдит Адлер, 7.1.1939, Гронов. Архив Ю. Адлер.

[2] Из интервью с Г. Айслером. Георг Айслер (1928 – 1998) – известный австрийский художник, сын композитора Ганса Айслера. Будучи ребенком, занимался у Фридл в Вене и Праге. Архив Е.М.

[3] Немецкие оригиналы писем см. http://www.makarovainit.com/friedl/hilde.pdf.

Я теперь не в состоянии писать картины (именно потому, что застыла), но зато нашла в тебе свою публику, т.е. адресата, к которому могу обратиться, когда хочу что-нибудь сказать. Когда ты в следующий раз приедешь, мы будем более обстоятельно беседовать о модернизме. В нем ведь так много предугадано…

Фридл, около 1940 г.

Как только я отправлю это письмо, начну другое… там пойдет речь обо всех пустяках и мелочах, которые можно насобирать в этой пустыне, в этой красивой пустыне…[1]

В эту «красивую пустыню» Хильда часто наезжала: «Никто не знал, что я делала, и никто не знал, куда я ездила. Никто не имел права знать об этом. Но когда мы собирались вместе, мы были так счастливы… Мы постоянно что-то праздновали. Фридл все превращала в театр. Помню Рождество в Гронове… В ту ночь Фридл была в ударе, она всех пыталась нарядить в костюмы, мы еле вырвали из ее рук ножницы – она собиралась из образцов фабрики Шпиглера скроить маскарадные одежды. Потом она схватила катушку с черными нитками, сунула ее себе под нос и произнесла поздравительную речь от имени Гитлера. Мы покатывались со смеху. После этого она заставила всех рисовать углем под звуки ее голоса, она нарочно с такой скоростью меняла высоту и ритм… Наверное, ей было забавно глядеть на нас, размазывающих уголь пальцами по обойной бумаге, – это был какой-то сумасшедший выброс энергии… Фридл забылась, она видела себя в Баухаузе, со студентами… Она стремилась освободить нас от скованности. Мы казались ей заторможенными. И это правда, никто не мог жить полной жизнью в нацистское время, и она чувствовала себя освободителем. И тут я, чтобы перебить «урок», запела: «Цитравели-цитравели»… И Фридл пустилась изображать какого-то маленького человечка, который дирижирует большим симфоническим оркестром… Иногда она бывала ужасно-ужасно веселой»[2].

Разрешение на «увеселительные» поездки Хильде доставал через гестапо отец, завкафедрой сельскохозяйственных наук в университете в Брно. В 39-м году Хильда уехала в Германию, во Франкфурт, где получила работу аптекарши. Бывало, она ездила в Протекторат в сопровождении гестаповки. Она была связной не только в антифашистском подполье, но и между всеми друзьями Фридл.

«Фридл очень огорчалась, что ей не пишет Маргит Бушман[3]. Но Маргит и не могла ей писать в это время. Я ездила к ней в Берлин и даже попала в одну историю. Дело в том, что Маргит (ей удалось скрыть свое еврейство) со своим мужем Хуго Бушманом, немцем, работала в подпольной организации советской разведки «Красная капелла». Группа была арестована, Маргит и Хуго попали в тюрьму гестапо. Мать Маргит, боясь, что ее арестуют и она не выдержит пыток, попросила меня достать ей яду. Я работала провизором у одного нациста и могла это сделать. Чудом Маргит и Хуго вернулись из тюрьмы и нашли свою мать дома мертвой».

Кроме нацистской цензуры, через которую проходят все письма, существует цензура подполья, даже близким – ни слова, под пытками они могут погубить себя и товарищей. Так что Хильда не может рассказать Фридл об этой истории ни в письмах, ни устно.

Хильда помогает своим друзьям-евреям, чьи права ограничены нюренбергскими законами и расистскими законами Протектората, – снабжает их едой, витаминами, книгами; каждый месяц отправляет посылки депортированным в лагеря. Хильда кооперируется с братом Павла Отто Брандейсом, который работает в еврейской общине Праги по инвентаризации еврейского имущества. Перечень изымаемого обширен; проще было бы назвать то, что не подлежало изъятию. На этой должности Отто продержится до февраля 45-го. Благодаря ему сотни посылок достигли своих адресатов.

Письма Хильды к Фридл не сохранились. Равно как и весь личный архив Фридл, который находился в Ждарках, в семье Йозефа и Власты Книтл. В последнее лето Фридл и Павел свезли в этот тайник «все бумаги». В период массовой депортации евреев из области Градец Кралове Книтлы уничтожили архив.

ВОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ

Фридл – Хильде: *… И когда уже невозможно найти смысл в этой жизни, остается одно – любовь. И она настолько чудесна… Так что не печалься, моя дорогая. Если бы я смогла воздвигнуть тебе памятник, я бы на нем начертала следующее: «Смотри, вот*

[1] Письмо к Хильде Котны, Гронов, 19.1.1940.

[2] Из интервью с Х. Анжелини-Котны,1990, Генуя.

[3] Маргит Тери-Адлер (1892 – 1977), художница, подруга Фридл, они вместе учились в Вене у Иттена и в Баухаузе.

человек, который живет»…

То, что я в промежутках между письмами все время думаю о тебе, говорю с тобой, представляю себе твою жизнь, раздвигает вокруг нас пространство, как если бы никогда не кончалась сказка «Тысяча одной ночи», – ведь Шахерезада неистощима, как сама жизнь...

Ты дала мне необходимую ясность и покой (одна бы я не справилась), я нашла конец нити, которая поведет меня по лабиринту. Это невозможно в беседе лишь с самим собой. Человеку нужна аудитория…

Благодаря тебе, я вновь обрела способность говорить...

На это у меня прежде не было времени, зато теперь – вот уже целых три года! Когда придет час, вспомни об этой примечательной детали[1].

Хильда: «Все для нас было важным, все! … Я доставала, с кем-то присылала или сама привозила книги, которые она просила. Наверное, если пройтись по всем письмам, то получится целая библиотека по философии, истории искусства, литературе, естествознанию – это был мой главный интерес – и педагогике».

...Можешь ли ты одолжить для меня Дворжака и Ригля (все равно о чем, потому что там идет речь о методе работы, хорошую историю искусств, соответствующие книги с историческим фоном)…. Прочти «Идеи» Гердера! Я немало дала бы за то, чтобы их получить. ...Достань «Воспитание чувств» Флобера. Есть ли у тебя Кляйст? Я его уже нашла, и, если хочешь, пришлю тебе. ...Страстно благодарю за Гердера! Он прибыл как раз в тот момент, когда я особенно горячо его желала...

...Надеялась послать тебе Дега, но не смогла достать. Посылаю Мане, издание отвратительное, краски плохие, серая бумага… Получила ли ты неудачные серые репродукции Пауля Клее вместе с картиной Руо? ... посылаю Кафку, прочти его. Если у тебя не такое настроение, прочти главу «Собор»[2] *и переправь это Маргит, от которой ничего не слышно*[3].

[1] Письмо к Хильде Котны, Гронов, 23.6.1942.

[2] Глава 9 романа «Процесс» Ф. Кафки называется «В соборе».

[3] Письмо к Хильде Котны, Гронов.

АННА СЛАДКОВА[4]

Анна Сладкова: «Она как-то дала мне прочитать «Процесс» Кафки. На меня книга произвела очень гнетущее впечатление, не хотелось дочитывать. Кафка и эта реальность – это было слишком… Она очень любила Клее. Помню, как она расстроилась, когда узнала от Ганса Бекмана, что Клее умер».

1995 год, Наход. На стене в ателье Анны Сладковой акварель – банка с полевыми цветами и ключом. Привет от Фридл из Терезина… «После войны я навещала Лауру Шимкову[5] и купила у нее эти цветы. Лаура объяснила, что это ключ от комнаты Фридл, что у нее была своя дверь, и это ей было важно – дверь и собственный ключ.

В 40-м году я только вышла замуж. Павел и мой муж Эмиль Тильш, художник, работали вместе на текстильной фабрике. Так мы были приглашены к Фридл и Павлу в гости. Это было в их первом по счету доме. Окна выходили на вокзал, и, увидев приближающийся поезд, можно было выскочить из дому и успеть на него.

Она была маленькая, как ребенок, с большущими глазами, встретила нас радостно, велела проходить в комнату, и комната эта потрясла, зачаровала меня. Я никогда не видела ничего подобного. Мебель очень современная, очень практичная, все было как бы одного габарита. Когда ей нужно было переезжать, то это все можно было легко сложить, перевезти на другое место и там расставить. Мебель, как она объяснила, еще из ателье – Зингер[6] ее придумал, а

[4] Анна Сладкова (1917 – 1996), чешская художница, родилась и умерла в Находе. Далее все интервью, архив Е.М.

[5] Лаура Шимкова (1902 – 1965) и Эльза Шимкова (1898 – 1951), сестры, подруги Фридл. С Лаурой Фридл работала в детском доме девочек L 410.

[6] Франц Зингер (1896 – 1954), архитектор, возлюбленный и коллега Фридл с 1918. Они вместе учились у Иттена в Вене и в Баухаузе, вместе работали в Берлине над театральными и дизайнерскими проектами. В Вене у них было ателье Дикер-Зингер. Эмигрировал в Лондон в 1935, умер в 1951.

она украсила. Уникальный дизайн. Стулья были как ящички, можно было сидеть на любой высоте, это как-то очень просто регулировалось. Там было много картин, ее и ее друзей. Оазис покоя…

Когда приезжали гости, мы составляли столы в длину. Тогда, в первый раз, меня все это вместе потрясло – и образ Фридл, и обстановка, это было нечто целое. В темное, зловещее время она была полна энергии, мудрости, дружелюбия – чувства тогда забытые – из другого мира. Она всех вдохновляла, всех, и простых людей и художников.

В этом доме сейчас живет пожилая пара, хозяин работал электриком и познакомился с Фридл, когда она съезжала отсюда, Фридл должна была ему объяснить где какие выключатели. У нее постоянно замыкало электричество…

Она столько рисовала! Даже когда готовила обед, рисовала из окна, чтобы не терять времени. Она любила цветы, и они ей с радостью позировали. Она ходила рисовать далеко, часто вместе со Зденкой Турковой.

Зденка помогала Фридл по хозяйству. Носочки, которые Фридл связала ее дочкам к Рождеству, хранятся у дочери, самой Зденки уже нет на свете. Носочки с вышивкой, в них Фридл насыпала конфеты…»

Зденка: «…Как-то мы хотели сделать подарок священнику[1], он переезжал из Гронова в Кутны Горы, так Фридл сказала – скажите, что мне ему нарисовать, и я нарисую. И она вот здесь сидела и рисовала «Вид на Осташ», пастелью, масляные краски были не по карману. Я, не знаю уж зачем, сказала Фридл, что в народе гору Осташ сравнивают с гробом. А она была такая чувствительная, и картина вышла темной. Павел спросил Фридл: «Почему у тебя так черно?»[2]

ПРЕОБРАЖЕНИЕ БУДНЕЙ

Дорогая Хильда!... Я с таким упорством ищу путь, который помог бы привести тебя к искусству. ...Иногда достаточно одного лишь (ничем не мотивированного) преображения будничного – и ты от созерцания переходишь к видению.

...Из психологических наблюдений: человек видит, скажем, с четвертого этажа лежащий на земле предмет, отливающий коричневым блеском, и он принимает его за осколок керамики; вдруг кто-то говорит ему – смотри-ка, я выбросил кусок жареного шпига и он все еще валяется; и на глазах человека предмет, не имеющий ни формы, ни цвета, ни смысла, преображается в кусочек жареного шпига.

Пауль собирается заняться столярным делом… Я очень много работаю с обманчивой надеждой – может, удастся писать портреты или еще что-нибудь продать. Может быть, что-нибудь могло бы получиться и в рейхе… Весьма вероятно, что и это невозможно, у людей теперь другие заботы… У меня в работе сразу четыре вещи – одна полностью в моем вкусе, вторая вовсе не выходит, третья – просто безумная, а о последней я вообще не представляю, что может получиться...[3]

26.4.(1940). Моя дорогая старушка! Не удивляйся, что я так долго молчала. Только сейчас я пишу тебе 16 страниц. Павел в конце этого месяца увольняется (тогда он сразу же перейдет на плотницкую работу, чему очень радуется); у меня это все очень медленно просачивается через много слоев, хорошо подбивается ватой, такая уж я есть… смерть мужа Дивы[4] *меня подкосила…*

Анна Сладкова: «Как-то мы пригласили к себе Фридл и Павла на выходные. Обычно мы их приглашали с ночевкой, а сами уходили спать к моей маме… Вышел такой замечательный вечер… Мы говорили открыто обо всем. Нам было ясно, что война проиграна, мы уговаривали друг друга, что все изменится к лучшему, надо продержаться… Там был еще молодой педагог, пианистка, мой муж тоже был музыкант, не только художник, и мой брат, который учился оперному пению. Учитель играл на пианино, все пели, лишь Лаура была грустна.

На следующее утро, когда я пришла домой, там уже все было чисто убрано, очень чисто, Павел пылесосил. Он отозвал меня в сторону и сказал, что мужа Лауры забрали (позже он был убит)».

Фридл: *...На лето мы, вероятно, переедем в деревню* [Ждарки], *это час отсюда. Я хочу много работать и зимой быть либо здесь, либо в Находе. Возможно, мы снимем только одну комнату, чтобы не было так много хлопот. Теперь у меня в Праге есть картины*[5]*; я с нетерпением жду, каков будет успех. Насколько ты обжилась, как с твоей работой, доставляет ли она тебе удовлетворение и интерес?*

Пиши в любом случае поскорей и побольше… читай прозу Лессинга. Гердера ты скоро получишь назад…[6]

У КНИТЛОВ

Йозеф Книтл (1988, Ждарки): «Да, тут вот они и жили… Моя жена была поваром у Шпиглеров,

---

1 Священник Ян Дус; его сын, тоже священник Ян Дус, живет в Праге.

2 Интервью с З.Турковой, 1988 г., Наход, архив Е.М.

3 Письмо к Хильде, Гронов, 1940

4 Лауры Шимковой.

5 Фридл через пражских друзей переправила работы для лондонской выставки.

6 Письмо к Хильде Котны, Гронов, 26. 4. 1940.

от них она иногда приносила еду, и мы делились с Брандейсами. Потом Шпиглер сбежал, работы не стало. Павел выучился на плотника. Мне помогал – косил, столярничал… С непривычки он сначала то косой порежется, то с лесов свалится. … А пани его все рисовала. Тихая была такая. Правда, с нами ей было не поговорить – мы с женой два слова знали по-немецки, а она столько же – по-чешски. Еще у них была собачка, не помню, как звали, вот она и ходила с собачкой по горам, с этюдником. А потом, помню, вышел указ, что евреям нельзя держать собак… Они как раз возвращались в Гронов. Я говорю пани, оставьте ее здесь. Нет, прижала к себе песика, и так они и пошли вниз, с горы – Павел, нагруженный как вол, а пани его – с папкой и песиком на руках. Другой раз без собачки приехали. Оказывается, пришлось все же им ее отдать. Подруга забрала, что ездила к ним из Германии. Немка. Но летом им здесь было хорошо. Ягоды собирали, пани «варила варенье», и все к моей жене бегала советоваться, сколько сахару класть… А сахару-то у них и не было…»

С горы сквозь деревья видны холмы, широкая панорама с домиками в подножье, покой, тишина, только ветер свистит без устали, обвевает хозяйский дом на вершине, Фридл и Павел живут пониже, в хлеву, переоборудованном под жилое помещение.

...Родная моя, какую радость доставляет мне твоя заинтересованность искусством… Это и для меня такая интересная задача – познакомить с искусством человека непосвященного, не рисующего, к тому же на расстоянии. Ты заставляешь меня упорядочивать разные вещи, и я вижу, сколько мне предстоит исправлять в своем методе преподавания. (А теперь я должна тебя поскорее обнять.)

...В квартире наступил глубокий покой. Между дневной суетой и тихой, тихой ночью вставлена цезура стирки белья. Мать и Павел спят, тикает покой, и я с большим наслаждением снова сажусь за письмо к тебе; время от времени до меня доносится тихое добродушное ворчание Павлова храпа.

...С 1 июня Павел будет работать у одного крестьянина и только осенью начнет столярничать. В деревне, где Павел будет работать, мы сняли домик, состоящий из одной комнаты-хлева для коз (там сейчас четверо очаровательных козлят), сеней, уборной. Если мы не найдем здесь другого жилья, мы переедем осенью в Наход или же в Нойштадт. В домике нам ничего не нужно – там есть все необходимое. Свою мебель мы храним на складе, чтобы не быть связанными…[1]

[1] Письмо к Хильде Котны, Гронов, 1940.

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

5.9.40 ...Про Сальвадора Дали… Не стоит рассматривать его картины с той точки зрения, повесила ли бы ты их в своей квартире. За себя могу сказать – ни за что на свете. Но наступит время, и они будут висеть в музее вместе с картинами величайших представителей духовной культуры своего времени… И если эти картины не доставляют удовольствия, то дело не в художнике, а во времени, которое он представляет.

...Современность в картинах Сальвадора представлена, например, в изображении рояля с ужасным существом под крышкой, или автомобиля, едущего через разрушенный мост, или женщины с вырезом в теле, служащим пространством для изображения ландшафта, или маленького ребенка в матросском костюме с какими-то нечистотами на голове, или железной дороги у греческой колонны, или коллекции наколотых бабочек на фоне морского пейзажа, – означает 1) созвучность всех этих вещей эстетическому сознанию, 2) полную свободу от всякого стеснения и комплексов…

...В этом смысле Сальвадор – крайний, если не клинический случай… где эстетика является единственной, хотя и не самой надежной защитой от хаоса. Эстетика – последняя инстанция, движущая сила, мотор, способный создавать продукцию, защищающую человека от сил, над которыми он не властен…

...Могу напомнить тебе о нашей собственной любви к обломкам, фрагментам, о том удовольствии, которое мы получаем, покупая ненужный хлам на ярмарках. То же можно сказать о цирке и разнообразных ревю (что до цирка, мне сейчас пришло в голову, что там мы видим клоуна рядом со знаменитостью, и клоун, оказывается, в сто раз талантливей звезды; льва, который послушен человеку…) Все это театр жизни…

Примечание писавшего: возможные ошибки – результат жуткого холода в комнате, пальцев, привыкших к вилам и расчетам… Обращай внимание на содержание, а не на внешний вид, Павел».

У Фридл – авитаминоз сетчатки. Хильда приняла все меры, прислала нужные лекарства, но временами Фридл не может ни читать, ни писать. Павел читает ей вслух и пишет за нее под диктовку.

...Я устала сверх всякой меры. Поэтому отвечу на вопросы коротко. Выражение «импрессионисты» происходит от названия картины «Impression» – впечатление[2]*. Позже так стала именоваться группа художников, чьей задачей было передать ощущение,*

[2] «Impression: soleil levant» – «Впечатление: восход солнца» (1872), картина Клода Моне дала название течению импрессионизма.

впечатление. Другая группа – экспрессионисты – выражают то, что происходит в них при формальном взгляде на вещи. Оба эти течения, как ты видишь по их названиям, имеют чисто личностную природу, т.е. являются психологически исключительно чистыми и честными… Далее идут футуристы, которые, собственно говоря, то же самое, что и импрессионисты, только они сосредоточены на «объектах» и их динамике, движении. Почти каждая современная картина модерн в той или иной мере кубистична. У сюрреалистов есть своего рода четкая программа, они преимущественно любят изображать нечто психологическое, включая психоаналитические вещи, такие как видения во сне, то есть то, чего не существует в действительности, а также все, что оптически для глаза привлекательно и волнующе – кристаллографию, рентгенологию, звездное небо или увеличение обыкновенных вещей. Они устанавливают связи и контакты с вещами в реальности не совместимыми, переосмысляют их, например, пейзаж с деревьями, на ветвях которых висят тряпки из теста, часы, которые тоже изображены как тряпка, висящая над креслом, и выражают одновременно их отношение ко времени. Однако среди всех этих «истов» слишком мало крупных художников, но слишком много имен… Вместе с тем снова появились «чистые художники», без литературных претензий, но их до смешного мало.

Трагическое время предъявляет к художнику свои требования. Только те, у кого искажено восприятие величины и пропорций, все еще пытаются «создавать мелочи». Но быстро сникают. *Их ничегонеделание – это результат отсутствия продуктивной ярости… Кажется, мне удалось выскользнуть из сети, и у меня еще достаточно сил для работы. Видишь мою бодрость в «Авто», видишь, как я решительно настроена.*

Дама в авто. Гронов, 1940

Дама в берете, с алым пятном рта, прислонилась к стеклу автомобиля. Она смотрит вперед, на дорогу, а мы видим то, что остается за ее спиной, мы – свидетели ее прошлого, – улицы, дома с алой крышей, уплывающие в перспективу, и настоящего – на шее голубой платок, в разрезе голубого пиджака – белая блуза почти того же цвета, что и небо в заднем окне. Экран неба – осколок вечности, ему ничто не угрожает. Дама, отделенная от мира прозрачным стеклом, в приятной задумчивости совершает путешествие в сиреневом авто. Счастливый миг созерцания и неучастия. Будущее – перед колесами машины, оно неведомо нашей даме.

...Прошел еще один день… Я сижу в деревенском замке у керосиновой коптилки, сейчас гроза и кругом более глубокий (чуть не написала мир), стало быть, глубокий покой. Ты бы неистовствовала от волшебства здешнего ландшафта… и я смогла бы показать тебе все направления искусства, чтобы прочувствовать, понять лучше, чем написано в этих письмах-руинах, в мыслях-лохмотьях; кроме того, мы собрали вместе ровно за пять минут 6 кг шампиньонов и приготовили блюдо, которое было бы пиком совершенства, если бы кто-нибудь из тех, кого мы любим, мог бы им насладиться вместе с нами…

...Читаю интересную книгу о воспитании... Помню, как я думала в школе, вот вырасту взрослой и буду уберегать своих учеников от неприятных впечатлений, от неуверенности, от отрывочности знаний. Сегодня мне видится существенным только одно – пробуждать тягу к творчеству, сделать ее привычкой и научить преодолевать трудности, незначительные по сравнению с целью, к которой стремишься…

...Мне сейчас очень трудно живется! Я кажусь себе зверем в клетке и так себя и веду. Это такие приступы, но они проходят. Надеюсь, что я не совершу никакой глупости, хотя у меня именно такое настроение. Я не работаю уже пять месяцев или даже больше… Не знаю, что будет дальше с нашей квартирой. Опять все отменилось таким же гнусным образом, люди нынче не в цене.

Длинное письмо к тебе я выбросила при подготовке к переезду, в пылу сборов. В нем была масса уточнений к предшествующим, весьма сумбурным письмам. Я спрашиваю себя, будет ли вообще существовать искусство в новом режиме. Жертвы, которых он требует, настолько огромны, настолько непомерны, что, возможно, все это просто исчезнет за ненадобностью…[1]

Можно ли приобрести репродукцию (открытку или что-нибудь в этом роде) картины, которую фюрер купил на выставке 1939 года – аллегорическая фигура обнаженной со шлемом?[2]

[1] Письмо к Хильде Котны, 1940.

[2] Письмо к Хильде Котны, 1941.

9.12.40… Мой отец тяжело болен. Ему 84 года – боюсь, что с учетом всей сложности обстановки я его больше никогда не увижу[1]*. Мы как бы прошли мимо друг друга, я всегда была настроена против него… моя фантазия увидеть его теперь неуместна, невыполнима… Я так хочу быть с ним, чтобы он знал, как благодарна я ему и как буду благодарна, если доживу… Мне никто не будет благодарен. Постарайся родить ребенка…*

ВТОРОЙ ПЕРЕЕЗД. ФЕВРАЛЬ 1941 ГОДА

Павел: «…Из нашей квартиры мы переехали в маленькую комнату с кухней в соседнем доме. Этот факт не имел бы такого значения, но обстоятельства и условия, при которых мы об этом узнали, и сама форма переговоров были столь унизительны, что мы уже неделю не можем прийти в себя… Несмотря на неприятности (горе, убожество, нужда), мы не унываем и не малодушничаем, лишь настроение несколько испорчено. Есть ли известия от Маргит? Фридл очень нервничает. Забудь, что Фридл тебе не ответила, напиши ей вне очереди. Если тебе уже невозможно приехать в Прагу или сюда, то мы сами приедем местным, не вместе. Это уже невозможно. Дорога с местными жителями не приносит большой радости, как ты сама можешь догадаться…»[2]

Уже нельзя выйти без звезды – они выдаются в Градце Кралове[3], за ними надо стоять в очереди… Павел привез «комплект» с подробной инструкцией по нашивке на одежду. Уже нельзя ездить в вагоне с местным населением, только в последнем, особом. И за покупками – только в определенный час и с определенными талонами. Теперь их «спасает» провинция – простые люди, с их добротой и бесстрашием.

Лидия Гольцнерова: «Люди нам очень помогали. В Гронове в период Протектората евреи могли жить только в еврейских домах, а у нас был большой дом на Палацке 3, у театра, и мы сдали комнату Лауре. Мне тогда было 11 лет. Я не знала немецкого, и Лаура меня учила по книге, которую написал американский еврей, – «Приключения тети Салли в Америке». В ней рассказывалось, как евреи всего мира поселились вместе, развели коммунизм... Лето мы проводили в маленькой деревне (4–5 домов) на границе с Польшей, там жила Зденка Туркова, которая раньше работала у моего отца. Мы с Лаурой, Зденкой и Фридл ходили пешком по шесть километров, она останавливалась и рисовала природу. Есть у нее красивая картина «Изба Книтла»[4].

Зденка Туркова помогает евреям. Йозеф Вавричка, продавец в магазине, готов даром отдавать Фридл вещи, художница Анна Сладкова и ее муж, художник Эмиль Тильш дарят Фридл ее любимые «книги с картинками»… И еще стал ходить к ним часто Йозеф Дуфек, регент.

Зденка: «Фридл его учила рисовать. Он ей рисунки свои носил, а она исправляла. Все ему исправляла. И критиковала за ставни закрытые, говорила – окно, чтоб смотреть на мир. Сама Фридл ничем никогда окна не прикрывала. Так и жила, в открытую. И у Масарика не было ставень…

Мой муж помогал Фридл и Павлу переезжать, возил их вещи на тачке; их гоняли с места на место, пока в такую дыру не загнали…»[5]

ТРАНСПОРТЫ. ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА

В августе 41-го Фридл посылает Хильде инструкцию по кройке и изготовлению кожаного футляра для ключей: *Часть, к которой крепится кольцо для ключей, кроится вместе…, сбоку оставь отверстие, через него кольцо с ключами можно будет вытащить за ремешок…* В конце подробнейшей инструкции написано: *Не пришивай на футляр звезду – с 19-го числа здесь всех евреев заставили носить звезды…*

Лизи Дойч депортирована в Лодзь[6]. Эльза[7] и Лаура пока в Гронове.

…С тем мы и успокоились, по-видимому, еще ненадолго здесь останемся… Первый раз в жизни я по-настоящему потрясена, опустошена и доведена до крайности.

Хильда: «Отто Брандейс помог мне с отправкой посылки в Лодзь. Он работал в синагоге при еврейской общине Праги – с восьми утра до шести вечера он таскал на себе мебель, конфискованную у евреев… Лизи прислала ответ: «Спасибо. Привет мяснику и булочнику. Благодаря всем вам я поправляюсь, уже вешу 36 кг». И подписалась «Элизабрэд», то есть она просила хлеб… Так мы впервые узнали о страшном голоде… А Лизи была сильной, она должна была выжить…»

---

1 Шимон Дикер с супругой Шарлоттой депортированы в Терезин 14.7.1942. Шимон умер 13.8.1942, Шарлотта – 19.2.1943.

2 Письмо Павла Брандеса Хильде Котны, 13. 2. 1941.

3 Градец Кралове, чешский город в 100 км от Праги.

4 Лидия Гольцнерова (1928 – 1996), интервью Е.М., 1994, Прага. Крестьянин Йозеф Книтл жил на горе на хуторе Зады у деревни Ждарки, близ Находа. Отважный Книтл поселил у себя еврейскую семью; Павел помогал ему по хозяйству, а Фридл рисовала.

5 Из интервью 1989 г., Наход, архив Е.М.

6 Лодзь, польский город, где во время Второй мировой войны был концлагерь для евреев.

7 Эльза Шимкова, сестра Лауры.

...И еще новость – моя золовка [Мария, жена Отто] остается в их квартире, а ее муж [Отто] с дочерью [Эвой] не имеют право жить с ней вместе. Его брат [Бедржих] с женой [Йозефой] и ее матерью тоже подлежат регистрации... У другой моей знакомой тоже муж еврей, у них двое детей, одному из них год, а с собой разрешается брать детей старше двух лет... Что ж, требования, которые предъявляет нам жизнь, мы выполним, в противном случае мы будем сломлены, приговорены – и это мы тоже должны будем вынести...

... Дива сшила мне прекрасное летнее платье, из двух старых. Из-за ужасного холода я не могу пока его надевать, но оно такое славное...

...Что касается твоей комнаты, пришли мне ее план и укажи: где печка, какова глубина окон и дверных проемов, в какую сторону открывается дверь?... Павлу нужна серая шапка. Для прогулок нам не хватает только рюкзака и двух пар шерстяных носков. Кроме этого все есть.

Если бы у нас было еще полгода, было бы совсем хорошо. Как только наведу порядок, буду много рисовать – заполнять невыносимую пустоту... Ах, как я мечтаю напиться с тобой чаю, воды или пива и наесться рыбки... Я смотрю из уединенного окна на черные деревья и мягкие белые крыши... Когда-нибудь придет такое время, когда мы с тобой будем сидеть в тишине и смотреть в окно...[1]

Анна Сладкова: «Во втором доме Фридл тоже много рисовала. Всякий раз, как ни приду, вижу уже законченные и только начатые работы...»

Посылаю тебе несколько контакт-копий, их нужно рассматривать через увеличительное стекло: а) для тебя – «негатив» и «позитив» формы силового поля и вьющаяся лента» (не ищи особого смысла, поймешь потом, когда увидишь вещь в цвете); б) влтавский пейзаж, с Вышеграда (к сожалению, переписала по памяти); в) египетский рисунок – в доказательство пространственного мышления: пять портретов девушек перекрывают другие пять, потрясающая вещь!; г) «Резчик по камню» – интересное пространственное мышление, три креста образуют замкнутое пространство, почти что комнату, фигура на первом плане композиционно связана с практически бездонным фоном...[2]

К счастью, «контакт-копии» сохранились. Так же как и оригиналы первой и второй работы. «Негатив» и «позитив» формы силового поля вырезаны в днище картины, «негатив» – вогнутый, «позитив» – выпуклый. Между ними – проволока, свитая в прямоугольную форму, по ней «идет ток», она образует полярное по цвету силовое поле, поверх него вьется красно-синяя лента. «Контакт-копии» связаны одной идеей – выражение многослойного, многогранного, многофактурного пространства. Глубина во влтавском пейзаже подчеркнута тонкоствольными деревьями, в египетском рисунке – ритмом перекрывающих друг друга фигур. Мысль об одновременном существовании в разных пространствах не умозрительна. Вокруг война, они с Павлом в каком-то маленьком городе, в тесной комнате, токи жизни связывают их друг с другом, их жизни переплетены, все вокруг как бы не существует, но оно есть – лишь вынесено пока за пределы композиции…

ПЧЕЛА

Весна 1942-го… Прозрачное небо… Фридл сидит на солнышке с Павловой трубкой в руке… Иногда на нее вдруг нападает желание курить. Вот уже несколько месяцев она не может ни читать, ни рисовать. Болят глаза. Хильда привезла лекарства. Отругала ее за то, что яйца, которые она еле довезла из Брно, Фридл вмешала в масляные краски. Но зато из круп, которыми отец Хильды потчует подопытных крыс, они с Павлом каждый день варят каши.

Отовсюду страшные вести. В Польше, что с ними по соседству (до границы не более десяти километров), происходит нечто кошмарное… А здесь – *первая пчела ползет по оконному стеклу, жужжит озабоченно. Весело смотреть, как это глупое создание рвется в стекло, не в открытое окно.*

Дорогая Хильда, – диктует Фридл Павлу, – *в действительности же я совершенно подавлена, и это выражается в таких «запрещенных», но инстинктивных маленьких радостях, которые отделяют меня от всего мира с его страстями, заботами, самодовольством; одновременно и наказанием и раем являются для меня угрызения совести (а вот и вторая пчела). В данную минуту я абсолютно удалена от всех, и в этом мы схожи с пчелой у оконного стекла, разница лишь в том, что у меня нет выбора, мое сознание усыплено... человек, который не боится, чаще всего поступает правильно: я бы выбрала открытое окно... (вот и она нашла его и улетела)...*

Приковыляла больная собачка, Фридл посадила ее себе на колени. *Еще я хочу написать тебе о Юленьке. У нее обострение молочницы... Я отварила ромашку. Видела бы ты, с какой доверчивостью она распластывается, чтобы я приложила ей тампон, и, выпрямившись вдруг, ласково лижет мне руку. Сейчас краснота уже сошла, но температура еще повышена...*[3]

---

[1] Письмо к Хильде, Гронов, конец 1941.

[2] Письмо к Хильде, Гронов, 1940.

[3] Письмо к Хильде, Ждарки, апрель 1942.

– Счастливы люди, живущие не образами, а плотью!

– Это тоже писать?

– Нет… Странно, почему нельзя просто жить, ни в чем и ни в ком не отражаясь? Почему мне постоянно нужен посредник? Как приблизиться к желаемому образу жизни?

– К какому? – спрашивает Павел. Он берет трубку из рук Фридл, закуривает. – Твоя история напоминает мне гиперболу. Она бесконечно приближается к оси. Хозяин идет, а собака бежит в ту точку, где хозяин в эту секунду находится. Но хозяин успевает уйти вперед. Так они никогда и не сойдутся.

– Это как романы Кафки… Не хватает только сил и зрения, чтобы это воспроизвести, и нет настроения, побуждающего творить… А линия может быть любой – прерывистой, дрожащей, уверенной и четкой, и все равно собака не догонит хозяина! Как же я запуталась, Павел… Мне нужно работать, и это избавит меня от мрачных фантазий… Я вспомнила сон, про Хильду, это, пожалуйста, напиши ей, *будто мы ехали по железной дороге, скрылись от всех, от краха, опять были вместе, блуждали по какому-то готическому городу, это было какое-то озарение, вспышка молнии, как на распятии Брегеля, – вокруг нас звучали песни гитлерюгенда, потом мы оказались в поезде… и ужасно смеялись над твоей безумной элегантностью…*[1]

– Давай-ка я припишу ей что-нибудь веселое: «Фридл своими руками заштопала мои брюки. Это приводит в экстаз. Для этого я специально сидел на диете – у нее не хватало ниток. Теперь я строен и нравлюсь ей еще пуще. Приезжай, убедишься сама. Павел».

Весна 42-го… В Праге Адела Брандейсова[2] собирает старшего сына Бедржиха с женой Йозефой на транспорт… Уж лучше бы ехала с ними, было бы спокойней… Бедржих и Йозефа будут отправлены блиц-транспортом из Терезина в Избицу, Йозефа погибнет там, а Бедржих, через три месяца, в Майданеке. Через месяц Аделу депортируют в Терезин, где она уже не найдет сына со снохой. В октябре 1942-го из Терезина Адела будет депортирована в Треблинку – сразу по приходу в лагерь транспорт будет отправлен в газовую камеру.

ИТОГИ

Накануне дня рождения Фридл пишет Хильде очередное «итоговое» письмо. *…Если человеку дан один день – он должен его прожить…* В слове «прожить» – и полнота осмысления, и внезапные озарения, «как на распятии Брейгеля». Фридл не переносит «застойных» состояний. Вечером, борясь с усталостью, она подводит черту дню. Писала ли она дневники?

29.7.42

Все что ты придумываешь на тему религии, ад и прочие ужасы, для меня не существует… То, что ты говоришь о форме жизни (Иисус и апостолы), – она вовсе не такая, как ты себе ее рисуешь… Они не жили на необитаемом острове… (Мастер Экхарт: чистая созерцательность есть эгоизм.) Впрочем, каждый из нас живет на том острове, на котором хочет…

Форма совместного существования учеников Иисуса базируется на тех же принципах, которые и мы считаем правильными, но не исходит только из одного правила. (Жить по правилам, как ты это описываешь, – это скорее монашество). Люби ближнего своего как самого себя, не меряй разными аршинами… – вот принцип поведения верующего. Но если веруя, ты все же сомневаешься, поступай по велению совести. (Пожалуйста, не раздражайся словом «милосердие», оно нормальное, вовсе не «сверхчеловеческое».)

Свод этических правил необходим, их содержание человеку знать важно… «Форма» выражения может быть разной, она не статична – как не статичен сам человек.

Огромное спасибо за бланки [для отправки посылок в лагерь], *по ним мы регулярно посылаем Лизи. Писать ленивица не пишет… Если хочешь, мы пошлем Лизи за тебя парочку веселых страниц, пусть повеселится…*

…В свое время мне так хотелось быть в курсе всего…Но я разрывалась между работой за кусок хлеба, уроками, беготней, живописью и личной жизнью…[3]

Фридл если и жалеет о чем-нибудь, то о непрочитанных книгах и мыслях, которые, может быть, и не удастся додумать до конца. Раньше она была слишком занята работой. Половину из того, что она делала, можно было и не делать – все разрушено, люди покинули «интерьеры» с ее гардинами и обивками… Иногда ее посещает уж совсем безумная мысль: если бы ей сейчас запретили держать краски, карандаши и бумагу, как запретили держать собачку Юленьку, считала бы она свою жизнь исчерпанной, не имеющей смысла? Или пока она жива – жив и смысл?

Павел поедет, вероятно, на несколько дней в Прагу…

В Праге Павел помогает Отто с письмами и посылками, они распродали все, что у них было – на хлеб, консервы, сахар.

[1] Там же.

[2] Адела Брандейсова – мать Павла.

[3] Письмо Хильде Котны из Ждарок, лето 1942.

ПО ЭТУ СТОРОНУ

Теперь время не для уточнений, а для обобщений… лучшего ждать не приходится…

Фридл пытается объясниться с Хильдой по поводу центральных и периферийных идей, отделить центральные – жизнь, смерть, Бог, любовь – от периферийных – коммунизм, социальное равенство, партия…

…Они говорят, что человеку дана одна жизнь. Для того чтобы умереть. Так давайте же умрем за Правое Дело! ... И это сопровождается такими ужасающими последствиями, как в мире Гойи, неслыханным количеством жертв… – считать осколки – не слишком плодотворное занятие, но я их считаю…

У нас не было никакой возможности подтвердить практикой наш порыв… Это был именно порыв, и мы всё принимали на веру, лишь бы не утратить энтузиазм ... Мы делали Дело и старались особенно не углубляться, чтобы не отпугнуть друзей… вопрос «культа личности» заключается не только в самой этой личности, но и в нас, прикрывшихся лозунгами и лицемерием. В конце концов, стало невозможным иметь личное мнение. И вот результат – мы потеряли направление… То, что трудно для одного, гораздо легче переносится всем человечеством, хотя трудности переносит каждый человек в отдельности, – поэтому один произвол следует за другим…

...Моя «мания преследования» заключается в том, что я боюсь обмануть друзей, которые мне доверяют, или быть застигнутой ими врасплох… ты призываешь меня к ответу, но сомнения охватывают меня с такой силой…– проще столкнуться с предстоящими трудностями, чем сделать выбор… Зачем человеку верить в рай? …пока мне помогает рисование и пребывание на свежем воздухе… Человек ищет какую-то инстанцию, которая была бы неподкупна и отвечала самым высоким требованиям. Для этого человеку и нужен Бог! ...Но если ты и в этом сомневаешься, поступай по велению совести…

Ни один человек не имеет преимущества над другим, ни одна нация – над другой. Невозможно использовать в качестве меры что-то такое, что произвольно меняется… Я верю, что конструкции в отдельности могут быть правильными, и в тех областях, где выше точность, выше успех. Однако объединение этих конструкций в целое неосуществимо, так как никакая конструкция не охватывает полноты сущего… Я чувствую себя голодной ослицей между двумя пучками сена… С другой стороны, в любом месте, где ты находишься, ты можешь делать добро…

Неуклюжие мысли спотыкаются одна о другую, Фридл пишет, плотно заполняя листы, – спорит, негодует, просит прощения.

Жаль, что тебя так рассердило мое письмо. (Эта форма не мной придумана писать 1 и 3 стр. нормально, 2 и 4 поперек. Но сегодня я купила промокашку.)

Посылаю эти несколько слов с письмом, разрешенным властями. Время не пройдет бесследно. Прощай. Не терзайся бессмысленно. Ты ничего не понимаешь[1].

ТРЕТИЙ ПЕРЕЕЗД. СЕНТЯБРЬ 1942 ГОДА

24.9.42

...Нет ли у тебя еще каких-нибудь книг Тротта? Я бы почитала с удовольствием. Павел уже пять дней болеет, упал на доску и ушиб ребра. Но он все еще полон благих намерений. Благодаря ему я еще могу дышать и сохраняю остатки равновесия. Убираю единственную комнату, читаю между делом, стоя как гусь на одной ноге, пока меня совесть не начинает разбирать, потом опять начинаю что-то делать, штопаю, готовлю, дел не так уж много... за последнее время я разобралась со старым хламом, – из-за хозяйства не могу отлучаться от дома, несколько раз удавалось послушать лекции по искусству. Учила английский, но бросила из-за раздражения, нехватки денег и учебников. Много раз бралась за чешский – постоянное чувство, что надо что-то делать, и я делаю, – последние 14 дней мою ступени и двор перед домом, каждый пятый день хожу за покупками… Вижусь с одной приличной женщиной, к сожалению, только раз в неделю.

«Приличная женщина» – это Анна Сладкова. «К третьему переезду, в сентябре 42-го (Гронов, 332), они уже отказались от всей этой чудной мебели, для нее не было места. … Как здесь все заросло! А какой был прекрасный сад... Как-то я пришла, дверь открыта, а Фридл нет. Ну, думаю, буду ждать. Прождала часа два. А Фридл, оказывается, была в глубине сада, с кем-то там разговаривала. Да, это было незадолго до конца. Тогда она и увидела у меня «Историю искусств», которую я купила, когда мне было 14 лет. Она нашла там что-то, что не помню, и попросила меня привезти ей эту книгу, когда я к ней поеду. Кажется, ей хотелось что-то оттуда срисовать. Вскоре до меня дошла весть, что Фридл получила повестку на транспорт. Я собиралась к ней и думала, брать книгу с собой или нет. Не самое подходящее время. … И сделала ошибку – не взяла книгу.

Стоило мне переступить порог, и она спросила: «Вы принесли книгу?» Я была очень огорчена,

[1] Письмо Хильде Котны из Гронова 29.7.1942

но было поздно. На следующий день они уехали в Градец Кралове, оттуда – в Терезин. … Я была уверена, что мы расстаемся ненадолго, что она вернется, столько в ней было сил, воли к жизни, и никакой тревоги за свою собственную судьбу».

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

16 ноября 1942

Моя дорогая девочка!

...Кругом бело, лыжня восхитительна… Одно из очаровательнейших мест, «Пекло» [по-чешски] *означает ад. Хотя все, начиная от прекрасной еды до прелестных горок, не похоже на «пекло». ... По вечерам отважные речи, болтовня и – мгновенное легкое опьянение… У тебя скоро день рождения, желаю тебе всего, что ты заслуживаешь, пусть все будет хорошо. Я тебе опишу все, что тебе достанется от нас в подарок, поскольку не знаю, когда все это случится и как именно… От Павла милый оттиск с эль-грековской «Дамы», от меня Тинторетто и дурацкая, но, как мне кажется, симпатичная брошка, и картина, которую я когда-то начала для Уточки* [Лизи]. *Ее завершение зависит от яичных белков. Не знаю, может, в итоге лучше пошлю ее отцу; ты, наверное, помнишь – человек с книгой, детская кроватка с ангелочками Рафаэля и Гением парижской Триумфальной арки…*

Ты спрашиваешь, что для меня Бог? Едва ли я смогу ответить. Мне мог бы помочь Кьеркегор с его четким определением трех областей – эстетики, этики и лишь затем религии, и Даллаго с его спокойной широтой понимания... Для меня Бог 1) некий масштаб, без которого все косо и неопределенно, 2) направление движения, ибо без направления любое движение произвольно и бессмысленно и 3) жажда «милосердия», ибо его недостаток сводит с ума. Не знаю, почему вера моя пошатнулась; может быть, я ставлю Ему в упрек размах нынешних страданий.

Ты правильно почувствовала по последнему письму, что судорога отпустила; в большой мере благодаря тебе – от всей души спасибо. Тем печальнее, что во всех твоих трудностях не находится человека, к которому ты можешь обратиться, как я к тебе… Твое утверждение, что вера пассивна, мне кажется ложным. Во все времена были воинствующие верующие. То, что вера может сохраняться в пассивности, лишь одна из 100 возможностей, и причина, здесь вероятно, не в этом. М. [Маргит] *сама написала о твоем визите. Она, кажется, в уравновешенном состоянии. Я рада.*

Комнату Дивы по непонятной злобе не топят, и она три недели не может работать. Как раз сегодня там ставят печку. Слава богу; потому что просто нет слов, какой это был ужас и бесчеловечность. Дорогая моя! напиши ей, хоть она не сразу ответит… человеку нужно время согреться… Ее сестра Фрида сейчас уезжает туда… Фрици[1] *с недавнего времени не в Праге.*

...С Юленькой все не так просто! Маргит написала о смерти Юленьки, Павел нечаянно распечатал письмо и очень плакал.

Все, что ты пишешь про одиночество, я понимаю слишком хорошо!

...Я тем временем нашла возможность добыть материал для резьбы, надеюсь со следующей недели начать работать. Еще раз пока.

ДЕПОРТАЦИЯ

Йозеф Вавричка: «Как-то раз она пришла ко мне в магазин и говорит: Гитлер приглашает меня на свидание, нет ли у вас чего теплого. Я ей дал серое пальто, теплое и немаркое. Я говорю, не надо мне за это ничего, не надо! А она мне картину принесла «Вид через окно на Марианские Лазни». Такую картину за пальто! А она говорит – я эту картину всего час рисовала, пальто шить дольше»[2].

Хильда: «Я получила письмо Фридл о депортации и немедленно выехала из Гамбурга. В Берлине я зашла к друзьям и посоветовалась с ними, может, где-то спрятать Фридл и Павла. Они готовы были помочь. Через границу еще можно перебраться, но из-за непрерывных военных досмотров практически невозможно было перевезти Павла на поезде в Берлин. В Праге мне чудом удалось купить гуся. Но как его везти? Отыскался мусорный ящик, в нем я его и привезла. Гусь был очень ценной вещью. Отто своим глазам не верил, когда увидел меня в Гронове с рождественским гусем. Мы так смеялись… И не оттого, что я с гусем, и не оттого, что гусь – в мусорном ящике, а оттого, что все мы опять встретились. Что мы видим друг друга.

Последние месяцы Фридл не рисовала. Людей отправляли на транспорт, у нее опускались руки… Отто через общину узнал о судьбе Бедржиха и Йозефы, страшным ударом были сведения об Аделе.

Мы запаковывали и перепаковывали все без конца, это выглядело как репетиция к спектаклю, который никогда не состоится. Мы писали списки,

---

[1] Фредерика Хауэр (1900 – 1944), врач, пражская подруга Фридл. 24 октября 1942 была депортирована в Терезин

[2] Из интервью с Йозефом Вавричкой, 1989, Гронов, архив Е.М.

то я, то Павел: шарф – 1, фартук – 2, ложка, вилка, бандаж, сухой спирт… На каждого по 50 кг. Павел должен был и в лагере, на работе, выглядеть хорошо. Ему непременно нужны костюм и три белые рубашки. Остальное белье и простыни Фридл покрасила в разные цвета, чтобы меньше была видна грязь. Фридл сразу решила, что простыни понадобятся ей для спектаклей, которые она будет ставить с детьми, например, зеленая простыня будет представлять лес... Она была настроена на одно – работать с детьми, и волновалась, хватит ли на первое время бумаги и карандашей.

…Нужно было обдумать столько мелочей, времени на страх просто не оставалось. Мы уставали и засыпали… Мы шили, и шили, и шили тряпки и другие вещи, которые бы там пригодились. Мы готовили и ели, иногда, ни с того ни с сего, Фридл закатывалась от смеха.

Мы нашли время прочитать часть «Замка» Кафки. Наша беспомощность перед судьбой очень напоминала состояние героя Кафки господина К., который не мог выбраться из кошмарных сновидений.

Отто с Марией приехали помогать. В квартире уже сделали инвентаризацию, так что нельзя было взять что-то другое, но все-таки мы еще меняли вещи, лучшие на худшие. Собиралась и Лаура, она постоянно прибегала советоваться, какой материал и какую бумагу лучше взять с собой. Иногда мы выходили на воздух, проветриться… шли гуськом, на расстоянии друг от друга, – мы не имели права быть вместе.

Настал тот день. Я ночевала у нашей общей приятельницы Труды и в четыре утра пришла к Фридл. Фридл лежала на диване в пальто. Она плакала… Тогда она плакала… Она боится меня потерять, как я вернусь в Гамбург под бомбежкой?!

Все это было как взрыв. Мы попрощались в школе, где был сборный пункт. Я пошла на станцию и по дороге сказала себе: я ее больше никогда не увижу… Я стояла на вокзале, не понимая, куда мне теперь – в Прагу, в Брно… Состояние, как под анестезией. Такое прощание нельзя описать…

Так она и стоит в моей памяти доныне – в школе, на первом этаже, в сером пальто, и смотрит на меня. Так смотрят, запоминая».

Последний натюрморт в Терезине, 1944

Из «послежизни»: коллаж серии выставок Фридл в Японии, 2002. Куратор Е.Макарова

РАССКАЗ ВТОРОЙ

«БОЛЬШАЯ ТЕНЬ»[1]

Семейство Редлихов[2] проживало в городе Оломоуце, тогдашней столице Моравии. Эгон, пятый по счету и самый младший ребенок в семье, родился в разгар Первой мировой войны. В этот же год умер кайзер Франц Иосиф, предоставивший евреям гражданские права: “Его правление ознаменовало

[1] Из первой книги «Терезинские дневники» тетралогии «Крепость над бездной». «Гешарим», Москва-Иерусалим, 2003 – 2008.

[2] Из всей семьи выжили двое – отец Эгона Максимилиан и брат Павел, который умер вскоре после войны. Остальные родственники, а также сам Эгон Редлих с женой Герти и сыном Даном, погибли в 1941-1945 гг.

поворотный пункт в еврейской истории Европы”[1].

Эгон Редлих
(1916 – 1944)

После провозглашения в 1918 году Чехословацкой республики Моравия вошла в состав новой страны. Чешский язык, долгие годы притесняемый немецким, взял верх, но евреи Моравии остались верны “духу великого кайзера” и, в отличие от основного населения Чехии, почитали немецкий за родной язык. В этом отношении дом Редлихов был исключением. Родители Эгона, ассимилированные евреи, переехали в Оломоуц из чешской глубинки и поселились на окраине города, среди *гоев*[2]. Отец Максимилиан держал кондитерскую, и все его заботы были связаны с закупкой и продажей сладостей. “Сладким” было и детство маленького Гонды. Домашние звали его уменьшительным именем – Гонда[3]. Так это имя за ним и закрепилось. В характере Гонды причудливо переплелись отцовское упорство и целеустремленность с материнской застенчивостью и терпением[4]. Будучи малорослым еврейским мальчиком, он одерживал победу в уличных играх и драках, умел постоять за себя. Страдая сильной близорукостью, он много читал, был отличником в школе и азартным спортсменом.

Буржуазное благополучие иногда порождает натуры страстные, амбициозные, знающие, как надо жить другим. Из Гонды вырос вождь сионизма. Поворотным пунктом в становлении его идеологических взглядов стал летний лагерь “Маккабиха-Цаир”[5]. Там он встретился с Маней Эдельштейн[6] и сестрами Бергер – Дитой и Стеллой[7]. Под их влиянием он, ранее увлекавшийся коммунизмом, обратился к сионизму.

Из рядовых вожатых Гонда выдвигается в лидеры «Маккаби ха-Цаир». Юные воспитанники с восторгом слушают его лекции об истории еврейского народа. По субботам он для порядка прогуливается с девочками, хотя они нисколько его не занимают, – у него есть Стелла, ей он адресует “идейные” письма с налетом юношеской влюбленности.

“Гонда был миниатюрным. Розовые щечки, светлые шелковые волосы, которые он постоянно убирал с высокого лба тыльной стороной ладони, серые, почти прозрачные глаза, глядящие прямо на тебя поверх старомодной оправы. Он умел краснеть как стыдливая девица. Иногда он напоминал маленького принца из сказки, иногда ребенка, изображающего профессора. Поражали в нем контрасты: холодный взгляд – горячее рукопожатие, нелепая одежда – грациозные движения, хрупкое тело – сильные мышцы, стыдливость – и язвительность”[8].

Получив аттестат зрелости, Гонда раздумывает, что делать: податься в Палестину и стать первопроходцем – *халуцником*, или пойти работать к отцу в кондитерскую. В 1935-м, после года колебаний, он принимает решение учиться на юриста.

С осени 1939 года *алия* в Палестину была прекращена, но подготовка к ней не утихала. “Не сейчас, так в скором будущем”. Никто из них, юных сионистов, и представить себе не мог, как долго будет продолжаться война, и сколько жизней она унесет.

В конце 1939 года Гонда переезжает в Прагу, где, под прессом оккупации, кипит еврейская жизнь, а эпицентром кипения является дом неподалеку от Карловой площади, ул. На Здеразе, 14. Здесь, в меблированной штаб-квартире сионистской организации “Хе-Халуц”, и поселяется Гонда. С его воцарением меняется и сама атмосфера, – умозрительные размышления, семинары и собрания сменяются практической деятельностью. Гонда

---

1 Хуго Фридман. “Экскурсия по архитектурным достопримечательностям Терезина”, 1943 г., Яд Вашем, файл 074. Х. Фридман (1904-1944) прибыл из Вены в Терезин в 1942 г., его отношение к кайзеру Францу Иосифу типично для уроженцев Австро-Венгерской монархии. “Давайте надеяться: дух великого кайзера, который незримо присутствует здесь, с нами, в его крепости, не покинет нас в беде, – пишет далее Х.Фридман… – Будем верить в то, что пленение в историческом обиталище Иосифова духа вскорости для всех нас станет историей!”

2 Т.е., нееврев.

3 Уменьшительная форма, образованная в соответствии с чешской ономастикой: Антон – Тонда, Эгон – Гонда.

4 Мать Э.Редлиха умерла в 1941 г., имени ее установить не удалось.

5 Сионистская молодежная организация с уклоном в физическое и спортивное воспитание, основанное на социалистических принципах.

6 Жена Я.Эдельштейна.

7 Дита и Стелла эмигрировали до войны в Данию и оттуда в Палестину.

8 Вилли Гроаг “О Гонде и его дневнике”, Редлих, стр. 8

организует “школу сионизма”, “Ноар Оле”[1], где он и его друзья изучают и преподают иврит, еврейскую традицию, штудируют Герцля и вместе с тем, как и положено *халуцникам*, проходят трудовую практику в деревнях.

По окончании учебного года он привозит группу “В пути”[2] в деревню Чермны – работать у крестьянина Янса, приобретать трудовые навыки. Бок о бок с Гондой трудится теперь и его подруга Герти Бек, с которой он познакомился и сошелся в квартире На Здеразе.

“Жизнь в жестком ритме: чтение по-английски, 50 стр. Бёма[3], 2 страницы французских слов, час иврита, 10 минут любви”[4].

Приятель Гонды Вилли Гроаг вспоминает: “В ноябре 1941 года Гонда, поздравляя нас с Маней[5], пишет: “За что нам эти идиотские, ужасные времена? Чудовищные и невнятные. За что эти резкие, контрастные тени – и пугающе яркий свет? Может, чтобы стереть старые мелочные чувства… и дать возможность новому заполнить образовавшуюся пустоту?”[6]

4 декабря 1941 года из Праги на станцию Богушовицы, что в трех километрах от Терезина, прибыл поезд. Он привез председателя пражской еврейской общины Якоба Эдельштейна со свитой; Редлих входил в ее число. “Они прибыли в гетто Терезин на обычном поезде. Их не конвоировали, они были с маленькими чемоданами и выглядели обычными туристами. Группа, состоявшая, в основном, из соратников Эдельштейна, была обеспокоена лишь одним – как найти дорогу в Терезин...”[7].

В Т. Редлих возглавил Отдел по работе с детьми и молодежью и вошел в комиссию Совета старейшин по составлению списков на транспорты. В “сценарии Терезина”, составленном Эйхманом и Гюнтером и принятом Эдельштейном, о транспортах на восток не было ни слова. Первый же транспорт из Т. поверг руководство гетто в отчаяние. “Настроение у нас кошмарное, – пишет Редлих 5 января 1942 года. – Готовили транспорт. Работали всю ночь. Мы с Фреди <Хиршем>[8] добились одного: детей в этом транспорте не будет”.

Обложка 1-й книги тетралогии о Терезине, 2003. В ней впервые на русском языке опубликованы дневники Э.Редлиха и других терезинских узников.

С первого января 1942 года Редлих ведет дневник. Он пишет для себя, зная при этом, что дневник обретет истинное значение только в будущем[9].

“Для Гонды – амбициозного человека с пуританскими взглядами – не было лучшего пути для самовыражения, чем дневник»,– говорит Вилли Гроаг во вступительной статье к ивритскому изданию дневника[10]. Гонда писал на иврите, однако в субботу

1 Ноар Оле (ивр. букв. «Восходящая молодежь») – школа, где молодежь готовили к алие в Палестину.

2 “В пути” (ивр. Ба-Дерех) – одна из групп, принадлежавших движению «Ахшары», задачей этого движения была подготовка молодежи к киббуцному движению.

3 Adolf Boehm. “Die zionistische Bewegung (1935-1937)” (“Сионистское движение”, 1935-1937 гг.).

4 Эти слова Редлиха без ссылки на источник приводит его друг Вилли Гроаг в предисловии к ивритскому изданию дневника - Редлих, с. 9. Здесь и далее принят сокращенный способ ссылок на часто встречающиеся источники, см. «Источники» в конце книги.

5 Свадьба Вилли Гроага и Мани Штейн.

6 Редлих, там же.

7 Bondy Ruth. The Elder of the Jews. Jacob Edelstein from Theresienstadt. (“Еврейский староста” – Якоб Эдельштейн из Терезинштадта), New York: Grove Press, 1989, p. 3-4.

8 О Фреди Хирше, см. в биографии Редлиха, с. 52.

9 Там же – о судьбе дневника Редлиха (примечание 101).

10 Вилли Гроаг, друг и соратник Эгона Редлиха, родился в 1914 г. В Терезин В.Гроаг работал воспитателем, в 1943 г. сменил В.Фройда на посту заведующего детского дома девочек L 410, после войны занимался репатриацией терезинских детей в Палестину. Благодаря В.Гроагу сохранилось 5000 детских рисунков и множество важнейших документов и произведений. После войны семья Гроагов репатриировались в Эрец Исраэль, где жена Вилли Мария

делал записи по-чешски, чтобы не осквернять праздник. Редлих, знаток еврейской традиции, не мог не знать, что в субботу еврею писать запрещено – на любом языке[1].

Листки отрывного календаря... В них Гонда обращается к своей Бечульке[2], он ждет ее и раздумывает, когда ей лучше приехать в Терезин: в апреле, когда отменят пропуска на вход и выход из казарм, или дождаться, когда перестанут отправлять транспорты... "2.5.1942. Милая, я бы хотел, чтобы ты приехала. Не знаю, мне и самому неясно, правильное ли это решение, но иначе я не могу…"

Герти приезжает 14 сентября 1942 года, в разгар депортации стариков, слепых и сирот. "Милая, милая моя, я так рад, что мы снова, дай нам Бог, будем жить вместе и будем счастливы", – записывает он в этот день. Семья Редлиха разрастается, приезжает множество родственников, с обеих сторон. Редлих прикладывает все усилия к тому, чтобы никто из них не был отправлен в Польшу. "24.3.1943. Вписали в транспорт и мою тещу. Я ее спас через час после того, как ее записали; я так испугался, когда она пришла ко мне ночью и сказала, что она все еще в списке на транспорт. Друг моего брата принес мне еду, но когда понял, что я не могу спасти его от транспорта, сказал: "Еду взял, и не помог…"

"13.3.1943. Теща моего брата написала домой письмо, полное злости в мой адрес. Не знаю, но думаю, что после войны многие мои знакомые будут обвинять меня в том, что я о них не заботился, не помогал им".

"9.7.1942. …Люди надеются на мою помощь. Но каковы мои возможности? Что делать? Похоже, сердце мое очерствело."

Кажется, одна Бечулька любит его и все ему прощает, хотя и журит за холодность и даже черствость по отношению к "просителям".

Трудно представить, что человеку, который возложил на себя ответственность за судьбы стольких людей, всего 25 лет. Сам ли он взвалил на себя эту ношу, или она свалилась на него, он должен нести свое бремя. Гонда работает дни и ночи напролет. Прибыли сироты из Франкфурта, куда их? Два мальчика украли чемоданы, их нужно судить. На собрании преподавателей – ругаться с коммунистами: дети не знают "Шма-Исраэль"![3]

Гонда организует детские дома, тщательно отбирает воспитателей, инспектирует работу, разрешает конфликты, насаждает иврит, отменяет празднование Рождества и вменяет справление еврейских праздников, присутствует на детских спектаклях, аплодирует незамысловатой детской сказочке, разыгранной на самодельной сцене, пробует себя в драматургии, пишет пьесу "Большая тень", присутствует на открытии выставки в детском доме девочек, – от его взора не уходит ни одна история, – он понимает, что терезинский опыт послужит в будущем материалом для обширного исследования по психологии, социологии, праву.

Свое педагогическое кредо Гонда формулирует в лекции «Об образовании (три принципа обучения молодежи)», которую он читает на семинаре педагогов в июле 1943 года.

«Наша ситуация напоминает состояние пловца, пытающегося достичь берега во время шторма. Результаты собственных усилий он сможет оценить лишь когда, оказавшись на берегу, взглянет в лицо бушующей стихии, с которой он только что сражался не на жизнь, а на смерть.

Точно так же сейчас невозможно оценить результаты нашей работы – куда проще говорить о задачах. В какой степени они будут выполнены, мы поймем позже.

Работу с молодежью, которую нам поручает руководство гетто, уместно разделить на три пункта:

Первое: борьба за улучшение условий жизни детей. В нормальной жизни родители сами решают, что ребенку можно позволить, а что нельзя; здесь же выбор делает коллектив, который вынужден в чем-то отказать детям, дабы обеспечить их самыми необходимыми вещами. Наша действительность такова, что мы не в состоянии полностью удовлетворить все потребности... Отдел по работе с детьми и молодежью стоит на стороне детей, борется за лучшие условия, жилье, еду, гигиену.

Второе: выбор воспитателя. Это, пожалуй, самая трудная задача. Во всех наших детских домах воспитателю приходится быть одновременно и учителем, и врачом-гигиенистом, и, до определенной степени, отцом и матерью... Таких универсальных воспитателей довольно мало. Истинная любовь и вдохновение – на вес золота. И отдых воспитателя – на вес золота. Он же выматывается до потери сознания. Воспитатель не имеет права хоронить свою творческую волю на

(Маня, Мадла) вскоре умерла от полиомиелита. Всю свою долгую жизнь Вилли провел в киббуце Маанит, где и умер 10 октября 2001 г.

[1] Записи Гонды, сделанные на иврите, нередко грешат стилистическими ошибками и повторами. При переводе дневника, ради документальной точности, мы их не сглаживаем. Ошибки в датах исправлены в соответствии с исследованием, проведенным историком М.Крылем.

[2] Бечулька – Герти, Гертруда Бекова, жена Э.Редлиха.

[3] Основная молитва в иудейской литургии

кладбище бюрократических инструкций, но при этом обязан быть дисциплинированным и служить примером как детям, так и взрослым.

Здесь мы подходим к самой важной проблеме, к задачам самого воспитателя. Миссия, возложенная на воспитателя в гетто, ответственнее, чем в обычной жизни. Здесь, под натиском трудностей, мораль становится относительной и необязательной. Воспитатель должен этому противостоять. И шаблонные фразы здесь не помогут – ему необходимо завоевать доверие детей: ведь наши дети не слишком доверчивы, во всяком случае, они отличаются от тех, кто живет нормальной жизнью. Здесь общение воспитателя с детьми не может сводиться к паре уроков в школе. Он живет вместе с ними, между учителем и учениками исчезает дистанция, ребенок перестает идеализировать воспитателя. С другой стороны, под напором трудностей ребенок ищет опору и гораздо теснее сближается с воспитателем, что дает преподавателю большой шанс.

Помню, как однажды, еще на воле, я, уходя с футбольного матча, увидел в толпе плачущего ребенка, потерянного, затолканного толпой. Я вызволил его из этого кошмара, он был мне так благодарен, что никак не хотел со мной расставаться. В Терезине я часто вспоминаю об этом случае. Наш, терезинский ребенок затерян и затолкан в огромной толпе, как в буквальном, так и в переносном смысле.

У воспитателей нет возможности проводить систематические занятия. Занятия запрещены, и тут кроется труднейшая задача для воспитателя: дать ребенку в руки книгу, чтобы он сам читал и расширял свой кругозор.

Многие наши воспитанники достигли возраста полового созревания, когда закладываются основы. Хороший воспитатель способен откорректировать ошибки предыдущих поколений – тех поколений, которые наивно думали, что несколько десятков лет призрачной свободы снимут с них груз тысячелетней еврейской судьбы. Тех поколений, которые, замкнувшись в кругу семьи, взирали со стороны на еврейские проблемы, относясь к ним невероятно безответственно. Если воспитателю удастся побороть эту ограниченность, подвести ребенка и юношу к осознанию того, что жизнь это не шаблон, вырезанный по образцу одной семьи, что жизнь одиночки неотделима от жизни народа, от судьбы всего человечества, что платонических рассуждений о социальной справедливости недостаточно, за нее надо бороться, – вот тогда мы будем довольны результатами нашей работы. Но судить об этом мы сможем лишь позднее».

Гонда полагается на будущее – оно рассудит. И при этом неустанно вопрошает. Кого? Себя? Совет Старейшин? Человечество? Создателя?

Умению правильно ставить вопрос учит еврейская традиция. Но как применить это учение здесь, где сама ситуация неправильная? Ведь никто не спрашивает, зачем отправлять на смерть ни в чем не повинных людей, спрашивают, кого отправлять?!

“Не подходим ли мы к последней черте?” – вот первый по счету вопрос в дневнике, он задан Гондой во время отправки первого транспорта в Польшу и одновременно с этим – вынесения смертного приговора еврейским юношам за нелегальную переписку. Вопросы риторические как правило, ответа не имеют. Но и конкретные вопросы – тоже.

“Кого освобождать от транспорта? Молодых? Стариков?”

“Куда девать тех, кто приедет? На чердаки? Но что будет зимой, когда будет еще холодней?”

Время! Редлих постоянно жалуется на его нехватку, оно идет, летит, бежит, несется, плывет, уплывает… При этом он успевает писать пьесы, изучать *Талмуд*, брать уроки арабского, хотя и дается он ему с трудом, читать литературу на иврите, выступать с лекциями, решать конфликты между сионистами, коммунистами и чешскими патриотами, заседать в суде по делам несовершеннолетних, работать в саду и даже играть в футбол. Семейная жизнь радует его, хотя и отнимает время от учебы.

Почти целых шесть месяцев Редлихи утаивают Бечулькину беременность, но вот “преступление” раскрыто, Гонду вызывают к начальству и заставляют подписать бумагу, где он дает согласие на “убийство своего ребенка”. К счастью, этого не происходит. Благодаря тому, что еврейский врач спас при родах немецкую роженицу, нацисты разрешили нескольким женщинам родить.

16 марта 1944 года у Редлихов рождается сын – Дан Петр Бек. С этого дня Редлих ведет два дневника, свой и Дана; по-чешски он больше не пишет.

“Желание документировать, запечатлевать – дань гимназической традиции довоенной Европы, – пишет В.Гроаг. – Истории о семьях, разлученных волею судьбы, повторяются в различных вариациях и напоминают Гонде сюжеты древнегреческих трагедий. Так, например, К. Р.[1] танцует перед немцами, чтобы спасти свою мать – “сюжет для пьесы”, похоронная

[1] Камила Розенбаумова, балерина и актриса, участница постановок театра и кабаре в Терезине. См. запись в дневнике Редлиха от 20.3.1942 г.

процессия выходит в ночь – “только в пьесу”. Истории из каждодневной жизни гетто часто начинаются со слов “История N.”, будто они предназначены когда-нибудь стать “историями внутри истории” как в «Декамероне» Бокаччо.”[1]

“Хочу написать пьесу на следующую тему: проблема человека, который против своей воли был избран для выполнения определенной задачи. Он оказывается в ситуации, в которой вынужден делать нечто противоречащее его мировоззрению для того, чтобы спасти несколько человек. Люди считают, что он отрекся от своих идеалов и относятся к нему недоброжелательно. Единственный сын, и тот восстает против отца. Но, несмотря на все, человек остается на занимаемом посту”.

Пока Гонда собирал материал для будущей пьесы в жанре древнегреческой трагедии, – трагедия писалась сама. В ней Гонде была уготована роль главного героя, “человека, который против своей воли был выбран для выполнения определенной задачи”.

Кем выбран?

Для выполнения какой задачи?

Редлих видит себя избранным Творцом для выполнения миссии: спасения своего народа из вековечного плена. Миссия толкает Редлиха на компромиссы, восстанавливает его против своих же друзей и близких – в несчастье и унижении люди не видят дальше своего носа, но Редлих видит – его народ, путем страшных жертв, обретет свободу и Родину: “Может там, в *Эрец Исраэль*[2], мы приблизимся к воплощению нашей мечты. Подчеркиваю: приблизимся. Поскольку человек не есть создание совершенное и безупречное”.

Провидение Редлиха о еврейском государстве осуществилось. Его вера в Израиль сравнима разве что с верой самого праотца Моисея, и в этом отношении судьбы их сходны, оба вели свой народ в “Землю Обетованную”, обоим не суждено было ее увидеть.

Дневник Редлиха – новый литературный жанр. Это – документальная трагедия, в которой герой и автор – одно лицо. Жизнь гетто, выведенная им в дневнике-пьесе, полна нескончаемых драматических конфликтов. Они разрешаются трагической гибелью занятых в пьесе лиц. Роковая сила представлена нацистами. Иногда Редлих называет их просто “*они”*: *они* решили снять фильм, *они* хотят, чтобы мы улыбались в камеру, *они* посылают еще один транспорт туда, где уже и так нечем дышать. Чьи же *они* посланцы? Парки? Сатаны?

Огромное несокрушимое зло – “они”. Им противостоит молодой человек, всеми силами борющийся против “них”. По условиям жанра борьба эта обречена на провал.

Вилли Гроаг: "Последний раз я встретил Гонду в тот день, когда он получил повестку на транспорт. Он искал меня и обрадовался, что нашел.

Он сказал, что им обещали место в пассажирском вагоне и разрешили взять детскую коляску. Не может быть, чтобы их ждало что-то дурное, если разрешили взять детскую коляску, правда?

Зачем он меня искал? Все годы пребывания в гетто он писал дневник и теперь спрятал его в дамской сумке на чердаке. По окончании войны один из нас заберет дневник из тайника. И еще один наказ – навещать Редлиха-отца в доме для стариков.

Вскоре после войны я уехал в Израиль, не сдержав обещания, данного Гонде. Сумочку с дневником обнаружили чешские строители в 1967 году.”

---

1 Редлих, с. 10.

2 Эрец Исраэль (ивр.), также просто Эрец – Земля Израиля, возвращение в которую проповедовали сионисты.

Вадим Жук

ИЗ КНИГИ “ЖАЛЬ-ПТИЦА”

***

Это присказка всё, а не сказка,
Беготня, сочиненье стихов.
Эта жизнь пожилого подпаска
Средь солидных друзей-пастухов.
Хоть пускают в высокие двери
Под высокий значительный кров,
Но пасти никогда не доверят
Настоящих священных коров.
Не запомнят ни облик, ни имя,
Не посадят на бархатный пост,
Ни священное выдоить вымя,
Ни чесать выдающийся хвост
Не дадут. Только детской лопаткой
Убирать можно важный навоз,
Но – чтоб вместе смиренные пятки
И носки, разумеется, врозь.
Ничего. Мы сожмёмся пружиной,
Проживём в воробьиной судьбе.
И оставим для будущей жизни
Путешествие в город Бомбей.

***

Судьба стучится в дверь, а я не открываю,
Она стучит сильней, я сделал вид, что сплю.
Успеть сообразить, кому я успеваю
Еще проговорить, что я его люблю!
Покаяться теперь в унынии и лени,
И что украл кольцо, и что обидел мать.
А как себя вести? Я рухнул на колени.
Судьба стучится в дверь. Сейчас начнет ломать.
И вот она пришла, ужасная минута,
Холодные персты вот-вот коснутся лба.

О Боже! Я судьбу со смертью перепутал.
Да встань же ты с колен, подумаешь – судьба.
Вот выдумки – судьба. За шесть десятков с
лишним
Каких только судеб я пережить не смог.
Дверь за собой закрой. Садись за стол, судьбишка,
Рассказывай себя, развязывай мешок.
Ты, что ли, не одна? Там кто-то есть в передней?
Откуда этот чад и холод января?
Ты хочешь мне сказать, что твой приход последний?
Что прошлое – не в счёт? Что всё, что было – зря?
Что этот день пришёл? Что этот час неровен?
Что больше никогда – по лестнице бегом?
Судьба стучится в дверь. Оставь меня, Бетховен!
Распахнутая дверь. За дверью никого.

***

Господи, как всё вокруг неторжественно:
Этот рабочий старик иудей,
Эта недавно родившая женщина,
Этот клюющий зерно воробей.
– Что ж ты у нищих воруешь последнее?
Ты, бедолага, послушай меня –
К Ироду, к городу лучше последуй,
Там на конюшнях полно ячменя.
Здесь даже малая крошечка ценится,
Лишнего здесь и ненужного нет.
– Зернышко съел, разве что-то изменится? –
Весело он прочирикал в ответ.
Тут и Мария взмахнула ресницами:
– Тоже мне, место для спора нашли.
Что вы пристали к нам с этою птицею!
А вы бы, Иосиф, воды принесли.
Худо. Тревожно. Промозгло и ветрено.
Пахнет навозом. Ребёнок кричит.
Разве что звёздно. Да проку-то с этого?
– Дай ему титьку, – Иосиф ворчит.

***

Нам охота, чтоб поэты
Скопом шли под пистолеты,
Чтоб им жёны изменяли,
Чтобы власти их гоняли,

Чтобы жили на гроши,
Чтоб на нарах жрали вши,
Чтоб этапы и срока,
Жить – не больше сорока!

И чтоб строчки горлом, с кровью…
Мы же к ним со всей любовью,
Мы же им судьбы хотим,
Чтобы поклоняться им.
Так что, милые поэты,
Вы уж прочитайте это,
Вы уж нас не подведите,
Правильно себя ведите.

Ну а мы ваш бюст поставим
В славный садик с соловьём.
Табуретку вам подставим
И верёвку вам совьём.

***

Подумать – как будто и вправду мы глыбы ворочали,
Искали свободы по всем затенённым углам.
Да бросьте. Мы девушкам головы складно морочили
И пили весёлую водку с пивком пополам.

И взносы исправно платили свои комсомольские,
И слушали, руки по швам, сообщения ТАСС.
А всей-то провсей-то свободы – журнальчики польские,
Штаны не по форме, в эфире украденный джаз.

Куда теперь денешь карманы, прожжённые фигами,
От собственных вовремя в землю опущенных глаз
Куда убежишь? Мы встречались с запретными книгами,
Но площади нашей страны пустовали без нас.

А тех, кто умел выходить на пустынные площади,
В плохую погоду, в своих неприглядных пальто,
Давно затоптали большие чугунные лошади.
Да их, если честно, теперь и не помнит никто.

***

По-английски не прощаясь
И по-русски матерясь.

Из прозы эмигранта А. Хургина

Мозг ветшает, жизнь нищает,
Бросить эту тишь да грязь,
По-английски – не прощаясь
И по-русски матерясь.
Вариантом облегчённым
Оказаться вдалеке –
На дороге облучённой,
С дураком на облучке.
Голышом катиться облым
От объеденных столов,
Да от матушки от воблы,
Да от детушек коблов.
От отёчной этой бездны
И от батюшки царя, –
От Отечества любезна,
Покороче говоря.
А оно вослед стозевно
И заливосто лаяй…
И не молвишь ты царевне
Хоть какого-то гудбай.
И писать – не обещаясь,
И с потерями – смирясь,
По-английски не прощаясь
И по-русски матерясь.

***

Как эти умницы звуки друг с другом кумятся!
Как уминаются в твой наобумный размер!
Как они учат (тебя-то, отца-то) смеяться!
Вся эта глупость, пинь-пинь, тарарах, зинзивер.
Дети, ей-богу. Вот так заиграешься с ними,
этому бѐлку, другому волчок да свисток...
После опомнишься, взор от бумаги поднимешь,
хочешь избавиться. Где там! уже кровоток
ими пленён, переполнен, волнуем, направлен,
ими влеком по корягам, песку, валунам,
ими очищен, но ими смертельно отравлен,
как ты доверился им, сосункам, пацанам?
Щёлкают челюсти, крутится грозная лопасть,
Сцилла-Харибда, бездонная древняя пасть,
снасти изломаны, ухает тёмная пропасть,
чуть зазеваешься — вовсе рискуешь пропасть!
Хлопнешь глазами, и станет смешно и неловко,
что ж ты на ровной равнине настроил страстей?
Вот они — ластятся, вертят кудрявой головкой,
все по кроваткам, зевают и просят сластей.

***

Размером с лепешку от божьей коровки,
Бесстыжие щурила глазки свои,
Слова говорила и хмурила бровки,
И все зазывала на край полыньи.
И горечью пахнуть умела полынной,
Мускатным орехом и детским стихом,
Поила собою, как чаем с малиной,
Была потаенным кадетским грехом —
Где тратят на девку что дали на булку,
И в гулком подъезде таясь, торопясь,
Слюнявят ей шею и смуглую скулку,
А после дружкам заливают про связь
С известной актрисой, со светскою дамой...
Уже попрощались. В окне ее свет,
Пока не погас. За оконною рамой

Все ищешь глазами ее силуэт.
Пробор соблюдала на круглой головке,
Просила, чтоб я ей достал анашу.
Находка, загадка, паршивка, дешевка.
Наверно, любил. Потому и пишу.

***

Тянет из садика малость дерьмом,
Малость сиренью.
Мимо пройдем или может зайдем,
Стихотворенье?
Что ты молчишь, что воротишь свою
Лисью морденку?
Ну-ка, присядем на эту скамью
С этим подонком.
Он на такие контакты горазд,
Житель скамейки,
Он нам маманю родную продаст
За три копейки.
Он и сидел, и в Афгане служил,
И на подлодке,
Он и с Володей Высоцким дружил —
Вот он на фотке.
И на ментов он с прибором ложил:
“Бля, падла, буду!
Ты на бутылку бы мне одолжил —
С бабками худо.
И без обидок, браток, не пыли —
Ты бы смотался.
Верка, зараза, взяла костыли —
Чтоб не шатался.
Я ее дома пришпилю, браток,
Рыжую суку!”
Глядь да поглядь — у подонка-то ног
Меньше на штуку.
И под умывшую грязный стакан
Мертвую водку —
Все было правдой — тюрьма и Афган,
И про подлодку.
Вместо закуски ремень он вдыхал
Черный свой, флотский.
Лишь про Высоцкого, точно, соврал,
Бог с ним, с Высоцким.
Вечер нам голый фонарь осветил
Белым гореньем...
Видишь, а ты не хотело идти,
Стихотворенье.

***

Вот и новое время явилось, май лав,
Скалит зубки да ладит удавку.
Вам на плечи бросается век-волкодав,
Нам на сдачу оставили шавку.
Сомасштабную нам — до седин пацанам,
Пожилым посетителям титек,
Нашей мелкой трусце, нашим стрюцким штанам,
Нашей власти и нашей элите.
Похитителям слов, повелителям блох,
Попивателям аперитива...
И прожить не смогли, как задумывал Бог,
И, конечно, умрем некрасиво.

***

Бегущая строка замедляет движение,
Ты не на старте, а на финише замер,
И уже предлагает себя припадочное предложение
С пустыми белесыми северными глазами.
Остановись. Оставь эту прыть начисто
Переписывающему в тетрадь романсы
гостинодворцу.
Сохрани, для себя сохрани это качество –
Необязательность стихотворства.

***

Когда мы новый мир всем миром строили,
Когда мы защищали этот мир,
Начальники кормили нас героями,
Живыми или мёртвыми людьми.
Герой не виноват в идеологии,
Герои закрывают грудью ДОТ,
Взрываются, горят, ползут, безногие.
И дружно попадают в анекдот.
А анекдот сильней, чем Геродот.
Такой мы, видно, сволочной народ.

***

Не выправить помарок, и подарка
Не выпросить, всё решено.
Крути, тамарка-санитарка-Парка
Своё веретено.
Пейзаж застыл в вечернем освещенье,
И ты постой, достаточно кружить,
И радость жить с предсмертным ощущеньем
Попробуй заслужить.

Рада Полищук

МУСЯ, МУСЕЧКА

Ворона натужно каркала не своим голосом, в горле у нее скрежетало и скрипело, и твердое «кар» на себя не походило – так, нечто нечленораздельное. Но исправно и исступленно, через равные промежутки времени, словно выполняя какую-то важную миссию, выдавливала она из себя этот отвратительный, как ножом по стеклу, звук.

Леонид остановился и поискал глазами ворону. Она сидела на нижней ветке дерева, почти у него над головой, и, вздрагивая всем телом, скрипела, скрипела, скрипела...

Леониду показалось, что ворона тоже заметила его, во всяком случае, она кокетливо встрепенулась и даже голос немного окреп. Ей, как и всем, нужен был слушатель. А может, вообще этот сольный номер был приготовлен специально для него. Не зря же именно он остановился под деревом, обтекаемый с двух сторон непрерывным потоком прохожих, которые безоглядно неслись мимо него в будущее, только почему-то в разных направлениях. И никому не было дела до него, ни с того ни с сего зазевавшегося на ворону посреди городской суеты.

«Ворона каркает – быть беде», – явственно услышал Леонид тревожный шепот, щекочущий ухо, и луком жареным запахло, и защемило в груди, и страшно сделалось, и радостно, как будто вжался лицом в потом пахнущую теплую Мусину подмышку.

Муся, Мусечка, няня, нянюшка, рябая, толстая, зеленоглазая – звезда и любовь его странного детства, вместе с которой постигал он многие таинства жизни, природы, женственности и мужского начала в себе самом.

С крестьянской простотой и откровенностью рассказывала Мусечка ему, несмышленому малышу, не сказки дивные про волков и царевен прекрасных, а невыдуманные истории из жизни своей и своих всех в войну сгинувших родичей. И про то, как насиловали ее, девчонкой, солдаты немецкие, поведала, горя сухими от ненависти глазами, заключив с протяжным, горестным вздохом: «В живых-то оставили, но бабу во мне навсегда сгубили». И притискивая к себе Ленечку, обожаемого любимца своего, жадно вглядывалась в его лицо, словно бы чего-то ждала от него – опровержения ли, совета ли, помощи?

А он, вжимаясь всем телом в большую и мягкую Мусечкину грудь, невинно, как младенец, и в то же время стыдливо и жарко, как взрослый мужчина, не понимая еще в себе этого и смутно лишь сознавая непоправимую Мусечкину беду, плакал ночами от бессильного желания помочь ей, защитить, отомстить всем виновным, покарать их страшною карой, восстановив тем самым попранную справедливость. Думать так он, конечно, еще не умел, но чувствовал что-то болезненно и пронзительно острое, и оттого по ночам ему бывало страшно.

Он спал в своей детской, отделенный двумя залами и холлом от Мусечкиной смежной с кухней каморки, единственной из всей огромной квартиры оставшейся в памяти живым и теплым уголком детства. Каморка была наполнена запахами Мусиной стряпни, косыми солнечными лучами, падающими сверху, из маленького оконца под потолком, их секретами и ожиданием чего-то прекрасного впереди, от чего щекотно делалось его воображению и хотелось смеяться.

Вся прочая жизнь, происходившая в доме и вне его – мама, красивая, стройная, вечно окутанная, как облаком тумана, папиросным дымом, отчего ему казалось, что она живет и плавает в этом облаке и является ему изредка, как дивная фея из сказки; папа, широкоплечий, с гордо откинутой головой и цепким взглядом больших настороженных глаз за толстыми стеклами очков; их гости, невнятные отзвуки их споров, нестройной разноголосицей проникающие в его с Мусечкой уединенность – все это было лишь фоном, неотъемлемой, но не насущной частью его бытия.

Потому, быть может, а также по причине своей малолетней неразумности не сразу осознал он большие перемены, происшедшие с ним и вокруг него. Заметил лишь, что они с Мусей в тот

год необычно рано переехали на дачу – кругом еще лежал снег, и, несмотря на наступившую по календарю весну, было по-зимнему холодно. И дача была не та, не своя, где жили они в прошлом и в позапрошлом и, наверное, в прежние годы тоже, с большой остекленной цветными стеклышками верандой и открытой террасой с деревянными резными перильцами и балясинами, а совсем другая – подставленный со всех сторон ветрам маленький убогий домишко на краю безлесного поселка. Кроме него и Муси, были здесь еще Хозяин и Хозяйка, чужие, неприветливые люди.

Он ничего не понимал тогда в происходящем, но, даже и не понимая, чувствовал, как поселились в нем и рядом с ним, непрошенными и жалкими постояльцами, как они с Мусечкой, бесприютность и грусть; глаза все время были на мокром месте, он беспричинно капризничал и часто болел ангинами. Муся с ангельским терпением и покорностью поила его душистыми и горькими отварами и сносила все его выходки, сделавшись еще более ласковой, чем прежде. Он же, не будучи в силах постигнуть, за что она так любит его, невыносимого, становился еще невыносимее, доходя до исступления в непреодолимом стремлении вывести Мусю из себя, чтоб она, наконец, накричала на него или даже побила.

Они теперь спали с Мусей в одной постели. Засыпая, привычно примостившись в удобной излучине большого Мусиного тела, он видел чудный сон, как бы являвшийся продолжением его бесплодной и изнурительной дневной борьбы: невесть откуда явившиеся мама и папа вырывают его из сильных Мусиных рук в тот как раз момент, когда она уже готова опустить на его голую спину сильно скрученную веревочную петлю, которой стегала Хозяйка козу и корову и соседских мальчишек, кого ни попадя. Он вздрагивал во сне от этого несостоявшегося удара и еще теснее прижимался к Мусе.

Ненароком подслушанный разговор неожиданно переменил все к лучшему.

– Да не ее это ребенок, не знаю, чего она с ним мыкается, – говорила Хозяйка, зло поджимая губы. – Сирота он. Родители, говорит, померли. Да что-то я не верю.

– А что так? – загорелась любопытством соседка.

– Да ежели померли, чего ж квартиру ихнюю городскую бросила?

– Ну?

– Больной, говорит, мальчик, воздух ему нужен. Больной-то, может, и больной. А вещи где? А деньги? Нет, что-то здесь не так.

– И правда, – растерянно протянула соседка, видимо, как Ленька, не понимая хозяйкиных намеков. – В приют бы что ль отдала, чего мучиться, – невпопад закончила она, потеряв интерес к раз-говору.

И Ленька беззаботно побежал было дальше, на ходу забывая услышанное, как вдруг резко остановился, чуть не упав, пораженный внезапной догадкой: это о нем и о Мусе говорила Хозяйка, это он сирота, его родители померли. Это все о нем, и в приют тоже надо отдать его?

И со всех ног, обжигаясь крапивой, падая и обдирая в кровь и без того разодранные коленки, ничего не видя от застилавших глаза слез, чувствуя на губах их солоноватый вкус и слизистую слякоть под носом, машинально размазывая все это по лицу рукавом рубахи, он мчался к дому, к Мусе, за правдой.

Муся гладила, стоя к нему спиной. Он врезался в нее сзади с размаху, обхватил руками, чувствуя, как бьется, клокочет в горле сердце от бешеного бега и раздирающий душу тревоги, выдохнул:

– Мусечка, где мои мама и папа? Где они?

Муся долго успокаивала его, вздрагивающего и всхлипывающего, утирала ему слезы, от которых промокло уже ее платье, и тихо, напевно и бесконечно шептала:

– Они приедут, они приедут, уехали и вернутся, обязательно вернутся... А мы с тобой их ждать будем... Мы будем их ждать, и они вернутся...

Он так и уснул под это «приедут-приедут»... «вернутся-вернутся», как под перестук колес, убаюкивающий, успокаивающий.

В марте Леньку должны были принимать в пионеры. Не умея объяснить себе, чего именно ждет он от этого события, не понимая, что изменится в его жизни после того, как будут произнесены давно уже выученные наизусть слова торжественного обещания: «Я, юный пионер Советского Союза...», – он страстно мечтал об этом дне. Он даже ложился спать пораньше, обманывая время и себя, чтоб сократить расстояние, отделяющее его от заветного дня. Несколько раз тайком от Муси он примерял перед зеркалом свой новенький шелковый галстук, сам себе отдавая пионерский салют, и сердце восторженно замирало от сопричастности чему-то великому, постичь которое он был не в состоянии, но от чего все время теснило в груди и губы сами собой складывались в улыбку.

Но вот, наконец-то, не после-после-после, а уже завтра, и в предвкушении этого завтра он не спал всю ночь.

А утром все пошло шиворот-навыворот.

Вместо радости – слезы, вместо красного гал-

стука – красно-черный бантик, вместо торжественной линейки – траурный митинг. И главное, вместо радостного воплощения – горькое, как Мусины отвары, разочарование. И обида, и злость, и досада, бессильные, неизвестно к кому обращенные и оттого еще более острые, жгучие. И слезы, слезы, слезы...

В этот день плакали все. И в этом всеобщем плаче, как в большом хоре, Ленька неожиданно потерял свой голос, свою мелодию.

Ему расхотелось плакать до такой степени, что когда во время траурного митинга в школе большая и толстая директриса, взобравшаяся на табурет для зачтения некролога, грохнулась на пол, издав странный булькающий звук, словно захлебнулась всхлипом, оборвавшимся на высокой ноте, Ленька громко рассмеялся. Это было, в самом деле, ужасно смешно: и то, как она вскарабкивалась на табурет, и как стояла на нем, с трудом сохраняя равновесие, напоминая дрессированного льва на тумбе, которого когда-то давным-давно видел он в цирке, и уж тем более ее падение. Он никогда в жизни не видел ничего более уморительного.

На него испуганно зашикали со всех сторон, по залу короткой дробью пронесся смешок, Ленька стиснул зубы и до конца митинга давился смехом, аж вспотел от натуги.

А вечером он вдохновенно лицедействовал перед Мусей, изображая падение директрисы, и они хохотали до слез, и Муся зажимала ему и себе рот ладонью и, кивая на перегородку, за которой жили хозяева, шептала: «Тише, тише».

Глаза у нее были веселые-веселые, брызгами летели ему в лицо смешинки, как конфетти из новогодней хлопушки.

Леньке тоже сделалось совсем весело и легко. Он вспомнил, что когда у соседки напротив в прошлом году умер муж, разноголосые причитания и душераздирающие вопли два дня заглушали все уличные шумы, а на третий день к вечеру оттуда долетали оживленные вразнобой голоса, смех и даже пение. И Ленька подумал, что сегодняшний день уже прошел, и значит послепослезавтра он, может быть, станет пионером. Чего тогда убиваться.

Уже почти засыпая, он вдруг спросил:

Мусечка, а ты почему сегодня не плачешь? Все плачут, а ты нет?

– Не знаю, миленький, – серьезно и задумчиво произнесла Муся. – Мне кажется, что все будет хорошо.

Она помолчала еще и сказала, словно разговаривала сама с собой:

– Не знаю, но мне почему-то так кажется.

Таким неожиданным разговором закончился этот день, памятный тем, что он не стал пионером, день несбывшейся мечты, непраздник. И легкой поземкой клубится из того марта в сегодня досада, сродни затаенной детской обиде, на того, кто своей неожиданной смертью однажды испортил ему праздник.

Через год вернулись родители. Сначала отец, а через некоторое время мама. Леньку это очень удивило, раньше, насколько он помнит, они всегда приезжали вместе, и он считал, что отпуск – это так же, как Новый год или день рождения, праздник, когда в доме гости и весело и много подарков. Это были неясные, почти утраченные, но собственные Ленькины воспоминания о прежней жизни – загорелые, радостные, взволнован-ные лица, диковинные угощения, которые тут же надо было отведать, суета, суматоха и смех, и поцелуи, и объятия и громкие, бестолковые восклицания, когда никто никого не слышит, и все охвачены общим возбуждением.

Все остальное Ленька помнил Мусиной памятью, по ее рассказам, обстоятельным и живописным, с множеством удивительных подробностей. Он перебирал ее рассказы, как картинки детского лото, выбирая самое интересное, воспроизводил эти картинки в своем воображении, и позже ему уже казалось, что он, в самом деле, все это видел. Пожалуй, это была самая любимая его игра.

С возращением родителей игра закончилась.

Вообще это событие внесло полную сумятицу в его жизнь, изменило все и отнюдь не в лучшую сторону.

Надо сказать, что Ленька не скучал без родителей, не ждал их, и, если б не Муся, постоянно напоминавшая ему о них – то просто разговорами, то неожиданно маленькой пирушкой по случаю маминого дня рождения, то подарком ему от мамы и папы, – он бы их забыл. И жили бы они вдвоем с Мусей замечательно хорошо, и никто никогда не помешал бы им.

Но родители приехали.

Ленька не узнал их. Сначала отца, потом и маму. И не просто в первый момент не узнал, потому что отвык и фотографий все эти годы не видел, а в воображении жили послушные персонажи, которые видоизменялись в зависимости от обстоятельств, что нисколько ему не мешало, а, напротив, делало игру более привлекательной – он не узнал их совсем и навсегда. Эти чужие, некрасивые, чем-то неприятно выделяющиеся среди всех окружающих люди были ужасно несимпатичны ему, хуже даже, чем Хозяин с Хозяйкой.

Обросший клочковатой бородой, но совершенно при этом лысый отец, почти ослепший, с гнилыми зубами, он был невысок и худ и ничем, даже отдаленно, не походил на того, кого теперь, казалось Леньке, он хорошо помнил, и знал, и любил. А мама, господи, эта жалкая старуха с впалой грудью, с кожей, цветом и сухостью напоминавшей пергаментную бумагу, с изуродованными, распухшими руками и невыносимым кашлем, то и дело душившим ее долгими, изнурительными приступами, – какие бантики! какие рюшечки! какие кудри! Он нарочно выуживал из своих и Мусиных воспоминаний эти милые и тем более неуместные сейчас мелочи, собирал их в гирлянды и мысленно примерял к ней – о, боже, как это все ей не шло.

Ленька изо всех сил старался делать вид, что ничего не произошло: ну, приехали, ну, кашляет, ну, тесно стало. Ему-то что? Он посвистывал, независимо засунув руки в карманы брюк, и старался как можно меньше бывать дома. И только подгоняемый Мусиными шлепками и тычками, ее нешуточно сердитым шепотом, нехотя подходил к отцу или к матери, показывал свой дневник и, невыразительно глядя в сторону, говорил:

– А я сегодня две пятерки получил, по географии и по алгебре.

Отец как-то нарочито оживлялся и восклицал:

– Да? Ну-ка, покажи, сынок.

Будто вид этих пятерок мог что-то объяснить ему.

А мать протягивала к нему дрожащую руку и гладила по волосам или, что того хуже, пыталась обнять его. Он весь выгибался, стремясь выскользнуть, увильнуть, это объятие пугало его. Он звал Мусю, ища у нее защиты, но та говорила недовольно, подавая ему за спиной матери какие-то знаки:

– Да что ты такой дикий, Ленька, обними маму покрепче.

Мать вздрагивала, оглядывалась, опускала руки, глаза ее наполнялись слезами, она еле слышно шептала:

– Он меня не любит, боится, боится и совсем не любит.

И она начинала кашлять.

А Ленька мчался прочь, подальше от душу разрывающего кашля, от этой старухи, обнять которую боялся из страха превратиться в нечто такое же безобразное, как и она сама, от сострадания и любви, которых не понимал, но чувствовал мучительным до тошноты желанием расколдовать ее, чтоб оборотилась она тем прекрасным и нежным, что в их с Мусей воспоминаниях звалось «мама».

Но он был уже взрослым и знал, что никакого колдовства не существует. И потому мечтал, чтоб она исчезла. «Пусть лучше ее не будет, раз она такая», – эта мысль пришла ему в голову в тот день, когда он впервые увидел мать.

Она неслышно возникла на пороге комнаты, обвела всех блуждающим, медленным, словно ищущим чего-то взглядом и сразу же зашлась в кашле. У Леньки что-то оборвалось и сдвинулось в душе от этого кашля, и он хотел зажать уши руками, но Муся, крепко схватив его за запястья, сдавила их, как наручниками, и долго не отпускала.

Мать перестала кашлять и, словно повинуясь этому сигналу, отец, с трудом передвигая ноги, подавшись всем корпусом, будто пересиливая какую-то невидимую силу, пошел ей навстречу. Сойдясь почти вплотную, они припали друг к другу с бессильно обвисшими вдоль тела руками и надолго застыли в этой неловкой и молчаливой неподвижности, словно играли в «замри» и «мол-чанку» одновременно. В комнате было тихо-тихо, и только Ленькино недовольное сопение да Мусино сдавленное рыдание, прорывавшееся сквозь плотно прижатую ко рту ладонь, выдавали здесь чье-то присутствие.

Ленька не понимал, отчего плачет Муся. Почему настойчиво отворачивает его голову в сторону и чем так притягивают его взгляд эти две странно оцепеневшие фигуры. Бессловесные, бездыханные, словно бы неживые, слившиеся в несуразном необъятии, безмолвным своим присутствием они давили на Ленькину психику. Ему сделалось страшно, страх пробрал его до самых кишок, и его ни с того ни с сего вырвало.

Вокруг него засуетились, забегали, он испытал, как обычно бывает после рвоты, легкость и освобождение, словно выплеснул вместе с блевотиной то необъяснимое, что чуть не задушило его.

И с этой минуты он стал страстно мечтать о том, чтобы родители снова исчезли, как несколько лет назад, незаметно и надолго. Тогда он опять с наслаждением слушал бы Мусины рассказы о них, упоенно сочинял бы сам, давая волю своей фантазии, все по-прежнему было бы окутано пеленой таинственности из-за строжайшего Мусиного наказа ничего не говорить о родителях. И, верный данному ей слову, он гордо нес бы в себе свою тайну, не пустячный секрет, который есть у каждого мальчишки, а настоящую – он это нутром чувствовал – взрослую тайну. И даже можно было бы ждать их, только чтоб они подольше не приезжали, не разрушали волшебное очарование игры и этого таинства.

Это была, наверное, самая заветная мечта его жизни. Ни о чем более он не мечтал уже после с такой

яростной одержимостью. И именно этой его мечте суждено было сбыться в то время, как совершенно иная участь постигала одно за другим прочие его стремления, вожделения и страсти.

Правда, и она все же сбылась лишь наполовину.

Словно откликнувшись на его молчаливый призыв, ушла из жизни его мать. Она тяжело и долго болела, сотрясая своим кашлем хлипкий домишко одинокой глуховатой и слегка тронутой в уме старухи, у которой поселились они после очередного скандала, учиненного Хозяйкой.

– Люди добрые! – вопила та, выскочив на улицу. – Помогите, люди добрые!

Можно было подумать, что ее режут, хотя Муся, выбежавшая за Хозяйкой следом, лишь тянула ее за рукав к дому и что-то тихо и миролюбиво шептала.

Здесь любили скандалы, и соседи повысыпали из домов, привлеченные ее криком. Когда зрителей набралось достаточно, Хозяйка оттолкнула Мусю и заорала, тыча ей в грудь пальцем, как пистолетом:

– Мало ей того, что шпионов в моем доме поселила, мало! Так они же еще и чахоточные.

Она набрала воздуху в легкие, словно собираясь нырять, и снова открыла было рот, но Муся, размахнувшись, изо всех сил ударила ее по лицу, и, не оборачиваясь, пошла к дому. Ленька обомлел от страха, но скандал неожиданно прекратился. Оторопевшая Хозяйка, стоя посреди двора, хлопала себя руками по бедрам, будто изображала курицу, и безмолвно разевала рот, соседи стали расходиться, неудовлетворенные зрелищем, а они начали увязывать узлы, готовясь к переезду.

Новая хозяйка все время невпопад улыбалась, выпростав из-под платка уши, чтоб лучше слышать. Но, видимо, все равно ничего не слышала, ничего не понимала, и в этой ее отрешенности от всего сущего была какая-то притягательная сила. Леньке она даже нравилась, он называл ее «бабуся» и, глядя на нее, тоже улыбался, как и она, бессмысленно и неуместно.

Если бы не она, ему не пережить бы, наверное, те дни одинокого страха перед непостижимостью происходящего.

Страх этот скользкой гадюкой вполз в него в ту минуту, когда Муся, глотая слезы, шепнула ему, без голоса, одними губами:

– Ленечка, иди простись с мамой, она умирает.

Гадюка холодным клубком свернулась в животе, и, боясь ее потревожить, Ленька застыл. Словно окаменел, и сколько ни трясла его Муся, оставался недвижим и глух, и нем.

– Оставьте его, Муся, не заставляете делать то, чего он не хочет.

И после короткой паузы:

– Ты прав, мой мальчик, твоя мама еще не вернулась.

Этот голос, знакомый, звонкий, чистый, прорвавший из туманного далёка, заставил его вздрогнуть, гадюка мгновенно развернулась, гадючье жало вонзилось ему в сердце. На какое-то мгновение Ленька словно бы отключился, уносясь вслед этому голосу, стремясь настигнуть, поймать, удержать, а придя в себя, услышал надсадный кашель, тяжкие, долгие всхрипы и затем громкий, взахлеб Мусин плач. Она, наконец, дала себе волю и выла, изливая слезами и криком свое горе, сострадание, жалость, все напряжение последних лет и страх перед будущим и что-то еще, чего Ленька не понимал, о чем он и думать не мог по недомыслию.

Ленька же не плакал вовсе, он ждал, когда гроб заколотят и закопают в землю, и все это, наконец, кончится. И начнется другая жизнь. Конечно, остался еще отец, но отец – это ничего, он им не помешает, будет сидеть в своем углу и читать и что-то записывать и снова читать. И пусть Муся с ним сейчас не разговаривает, это пройдет, она все забудет, в конце концов, нет ничего особенного в том, что он не стал целовать умирающую, тем более – она сама призналась, что она ему никто.

И все же вместо радостного и утешительного облегчения от того, что ее больше нет, он пребывал в состоянии бесчувственного отупения и вместе с тем какого-то цепенящего, неопознанного предчувствия. Так бывает – пробуждение среди ночи спасает от неминуемой, казалось, катастрофы, чуть не поглотившей тебя, а что это было – неизвестно. Только бешено коло-тится сердце.

Он неотступно ходил за бабусей-хозяйкой, то и дело заглядывая ей в лицо, с которого не сходило выражение безмятежной ясности, будто смерть так же проста, и естественна, как пение птиц и лай собак, и дождь за окном, и весенняя трава на дворе, пробивающаяся сквозь омертвелую прошлогоднюю листву, и весь окружающий мир, и она в нем со своей затянувшейся, как долгая осень, старостью.

Она часто и мелко крестила то себя, то покойную, шептала что-то неразборчивое, но утешительное, ритмом ли, тембром ли, задушевностью. Отец несколько раз пытался прервать ее: “Не надо этого, не надо”, – но она знала, что делает, и ни в чьей указке не нуждалась.

С тех пор, как мать положили в гроб, Ленька старался не смотреть в ту сторону, и только в последнюю минуту, как будто повинуясь чьему-то повелению, поспешно заглянул под опускающуюся крышку. И такой закатил рев, до икоты, до судорог, что его, дылду, пришлось нести домой с кладбища

на руках.

И на всю жизнь наказал себя этой поспешностью, потому что, сколько бы и когда бы ни пытался он вспомнить после мамин облик, специально настраивая себя и подготавливая, видел лишь это искаженное болью, перекошенное в невысказанном крике, напряженное и несчастное лицо.

И всякий раз, бывая на чьих-нибудь похоронах, он пристально и пристрастно вглядывался в безмятежные и отрешенные лица покойных, отринувших от себя все земное и принявших смерть в открывшейся им истинной ее сущности, остающейся тайной для всего живого. И с горечью думал о том, что только его бедная мать и там не обрела этот вечный покой, к которому испокон веку стремится душа человека.

И винил в этом почему-то себя. В первую очередь себя.

Впрочем, реестр своих вин он вел в высшей степени педантично, время от времени пересматривая его и дополняя, дабы самый взыскательный и дотошный ревизор, ежели бы такой вдруг объявился, не смог бы обвинить его в сокрытии и фальсификации истины.

И хоть вины эти были большей частью нечаянные, непредумышленные, проистекающие в основном, от незнания и неразумности, он не склонен считать свое тогдашнее несовершеннолетие смягчающим и объясняющим все обстоятельством. Сегодня, в сорок шесть, он полагает, что и в шестнадцать человек тоже обязан думать, владея достаточно развитым мыслительным аппаратом.

А тогда, собираясь получать паспорт, он, досадливо морщась, как при любом разговоре с отцом, нетерпеливо выслушал его неожиданную и странную просьбу. От волнения сбиваясь и путаясь, то переходя на шепот, то напряженно взвизгивая, отец просил, чтобы он записался в паспорте на отцовскую фамилию.

–Теперь можно, теперь все хорошо, – счастливо улыбаясь твердил он, и совал Леньке в руки какие-то бумажки.

– Теперь все хорошо, – он смеялся и смахивал слезы. – Бедная мама не дожила.

Муся тоже что-то говорила и тоже протягивала ему какой-то документ.

Ленька знал, что носит Мусину фамилию, когда-то она рассказала ему, что выправила его метрику, и, пока мама и папа не приедут, он будет Леонид Федорович Попов.

Леньке новая фамилия сразу же пришлась по душе. Это позже он узнал о знаменитом однофамильце – изобретателе радио и насчитал как минимум двадцать Поповых, вписанных в Большую Энциклопедию: академиков, художников, писателей и даже революционеров. Тогда же он лишь с облегчением подумал, что дразнить его будут, в крайнем случае, только попом и ничего обидного и унизительного в этом не будет – ну, поп и поп.

А со старой фамилией Беленький ему с его смоляными кудрями доставалось такое, что и вспоминать страшно – и мелом посыпали, и известкой мазали, чтоб привести в соответствие, и всякие другие пакости придумывали. А он, маленький и беззащитный, терпел и даже Мусе не смел пожаловаться, потому что самый старший из его мучителей третьеклассник Васька Вдовин, рыжий и косой, приперев его к стенке, странно вращая своими косыми глазами и зловеще улыбаясь, говорил, безобразно картавя, бог знает кого при этом передразнивая, так как сам Ленька давно и чисто выговаривал букву “р”:

– Ну, что, еврреечик, бррынзы хочешь? Накоррмлю, если пикнешь!

И хоть Ленька знал, что брынза – это почти что сыр, ему делалось так страшно, что он готов был умереть, только чтоб это никогда больше не повторилось. А вокруг все веселились и прыгали, и строили дурацкие рожи, будто им показывали веселый аттракцион.

Отцу он ничего объяснять не стал, только, молча, вернул ему сохраненную Мусей подлинную метрику и две отпечатанные типографским способом справки, выданные гражданину Беленькому Якову Ильичу и гражданке Беленькой Лилии Семеновне в том, что... и далее со ссылкой на статьи и параграфы Уголовно-процессуального кодекса РСФСР – полностью реабилитированы.

Репрессированы, реабилитированы – два этих слова, противостоящие друг другу в своей изначальной сути, в системе нравственных оценок человеческих поступков, вопреки их истинному смыслу, стояли для него в одном ряду событий странных, необъяснимых, окруженных кривотолками и разноречивыми суждениями. Он отторгала от себя всю эту неразбериху, не желая, чтоб это имело к нему какое-то отношение.

– Я не буду менять фамилию. Мне это ни к чему, – спокойно сказал он и только годы спустя понял, какую смертельную рану нанес отцу.

Только годы спустя.

Муся потом рассказала ему, что вскоре после этого разговора отец сжег свои дневники и письма, долго глядел на догорающее пламя, затем сгреб золу в совок, ссыпал в ведро и глухо, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Прижизненная кремация, акт самосожжения. Пусть будет так.

Муся старалась передать отцовские слова дословно и, чуть споткнувшись, сказала “креминация”, и он помнит, как пронзила его жалость к ней, малограмотной, сумевшей, однако, все понять и совместить в своей душе, и к отцу, который, несмотря на ее преданность, нес до конца крест своего гордого одиночества.

С Ленькой отец в последние годы жизни практически не разговаривал, только по общим бытовым надобностям. Да и ему не до того было. Детство кончилось, и время понеслось вскачь.

Хотелось все охватить – увидеть, услышать, прочитать; он, как губка, впитывал в себя окружающий мир, пил его взахлеб, залпом, поперхиваясь, не чувствуя вкуса и утоления. Одолевала жажда – еще, еще, еще. Все приходилось брать штурмом, и он не жалел усилий, подстегиваемый азартом толпы. Казалось, насыщение никогда не наступит, он чувствовал себя на гребне событий и мечтал совершить что-нибудь достойное происходящего.

Он был молод, полон сил и весь устремлен вперед, вперед в манящее и многообещающее завтра. До прошлого ли тут, до углубленного ли анализа эпохи, странной, страшной, великой. Не ума, а времени не хватало – так бы, наверное, подумал он, явись ему этот вопрос тогда. Главное было – не упустить сегодняшнее, злободневное.

Это в эпохальном, так сказать, масштабе. А окрест себя, в таком возвышенном настроении, что мог узреть он, кроме пресного и нудного бытия, в котором и было всего лишь – отцовское демонстративное молчание, будто он постоянно бросал ему перчатку, не замечая, что Леньке некогда принимать этот старомодный вызов, да Мусечкино страдальческое брюзжание, что невнимателен к отцу, который для него... для которого он... А что они друг для друга – не помнит, не слушал, не до того было.

Он мнил себя настоящим интеллектуалом, самоучкой и самородком, еще чуть-чуть и интеллигентом. И вдруг понял, что круглый дурак.

Только понял это слишком поздно. Уже не было в живых ни отца, ни Муси, не было полюса, по которому он мог бы держать стрелку своего компаса. И он остался один в дремучем лесу своего вдруг открывшегося ему невежества, неведения и мучительных сомнений. И дорогу искал на ощупь, шаг за шагом, боясь сбиться с пути еще раз и навсегда.

А когда умер отец, он был выпускником физфака МГУ, влюбленным и счастливым, собирался жениться и перебраться из общежития в большую четырехкомнатную квартиру своей невесты в доме на 1-й Мещанской улице, который почему-то называли “кремлевским”. Тамара жила вдвоем с матерью, ее отца, генерала, к тому времени уже не было в живых, и посему он абсолютно не возбуждал Ленькиного интереса.

Леньку удивило, что на похоронах отца было много незнакомых ему людей, которые помнили маленького Леньку, и маму, и их старую квартиру. Поминки затянулись, много говорили о прошлом и плакали, объединенные какой-то общей болью. Он чувствовал себя чужим на этой тризне и только целуя на прощание распухшее от слез, несчастное и потерянное Мусино лицо, полное, мягкое и родное, он прижался к ней с внезапно из детства нахлынувшей жаркой нежностью и подумал, что вот она осталась совсем одна и кроме него теперь некому о ней позаботиться.

И сгоряча ляпнул:

– Мусечка, ты будешь жить с нами. Для чего нам на троих столько комнат. Внуков будешь нянчить, Мусечка. А по ночам мы будем с тобой секретничать. А, Мусечка?

И что-то размякло в груди и ощутил голыми пятками скользкую прохладу паркета и мурашками по спине холодок страха, и затаенную гордость, что вот опять преодолевает себя и идет через темную, полную таинственной тишины, таящей в себе бог знает какие опасности, зловещую пустоту квартиры, и наградой ему будет Мусина радость, которую не сможет она скрыть самой строгой строгостью. И обогреет его, и обласкает, и уложит поудобнее, и нашепчутся они вволю, о чем никому другому неведомо, кроме них, и после она отнесет спящего Леньку в его кроватку со всеми необходимыми предосторожностями, чтоб эта их тайная ночная жизнь никогда никому не открылась.

Сокровенная тайна. Только с Мусей узнал он, что это такое. Только Муся и могла бы после смерти отца рассказать ему о том, что теперь, с таким опозданием, мучило его. Но и Мусю он ни о чем не спросил. Не до того было.

Женитьба, защита, теща, первенец-сын, названный именем покойного тестя, покупки, поездки, кандидатский диплом, снова ребенок, на сей раз девочка, тещиным именем одаренная. Столько всего навалилось, событие за событием, шагом, рысью, галопом – все казалось важным и все хотелось успеть, не упустить свой шанс, не отстать от других, быть лидером, форвардом, флагманом.

Быть может, он загнал бы себя в этой бешеной гонке, а может, обрел бы в ней истинное свое счастье, обыкновенную человеческую радость или желчную горечь неудачника, или спазматическую неудовлетворенность середняка, может, что-то из

этого уже и состоялось, сбылось или вот-вот должно было состояться, только еще не оформилось до полного осознания.

Но тут случилось неожиданная остановка на полном ходу, как будто стоп-кран сорвали. Причина самая что ни на есть житейская – он получил телеграмму, что Мария Федоровна Попова скончалась и похоронена тогда-то и там-то, а перед смертью наказа-ла сообщить ему, что и было исполнено. И кое-какие еще подробности излагались в пришедшем следом письме: Муся оставила ему какое-то имущество, и его просили приехать или выслать для оформления необходимые бумаги.

Муся, Муся, Мусечка!..

Он был контужен Мусиной смертью. Не убит, не ранен, а именно контужен, но последствия этой контузии сказались не сразу.

Поначалу он горевал и корил себя, как часто бывает перед лицом смерти, за то многое, к чему уже давно привык, перестал придавать значение и даже начал понемногу забывать.

Конечно же, Муся не переехала в “кремлевский” дом. Она тогда же сразу, уверенно и спокойно сказала, как отрезала:

– Да что ты, миленький, не примут они меня. Я же им никто.

А он, в душе уже благодарный ей за то, что отказалась, отвергла его столь опрометчивое и непродуманное, ни с кем не согласованное предложение, принялся с пылом и жаром уговаривать ее, убеждать и настаивать.

И наперед уверенный в Мусиной правоте, привыкший доверять во всем ее чутью, безошибочному, будто она ясновидящая, он все же ошеломил будущую тещу и жену своей дерзостью.

– Да ведь она тебе никто, Леонид. С какой же стати? – сказала будущая теща Мусиными почти словами, но с интонацией безоговорочного неприятия.

– Ну, почему же никто, мама. Она его мачеха, –сказала любившая во всем точность Тамара, не переча, однако, матери, не выставляя этот довод в противовес сказанному, как контраргумент.

– Она не мачеха, – вскинулся Ленька, хотя какое это имело значение, все и так было ясно.

– Ну, как же не мачеха, ведь твой отец жил с ней, – продолжала вносить ясность Тамара.

– Он с ней не так жил, – почему-то покраснев, пробурчал Ленька.

– А как же? – вкрадчиво и неприятно улыбаясь, уточнила Тамара.

Он смешался, а будущая теща, привыкшая всегда побеждать, удовлетворенно подытожила:

– Ну, вот я и говорю – никто.

Этот разговор оставил двояко неприятный осадок – и оттого, что не сумел отстоять Мусю, оставив ее с глазу на глаз с ее непоправимым и незаслуженным одиночеством, и оттого еще, что Тамарин намек на Мусино сожительство с отцом неожиданно зацепил его, пробудив запоздалую ревность – к отцу или к Мусе, не мог он понять. И к этой необъяснимой ревности примешивалось совсем уж нелепое чувство, что его одурачили, обвели вокруг пальца.

Абсурд и бред, конечно, но на какое-то время помогло – усыпило взвинченную совесть. А дальше все как-то пошло-покатилось: намерения чаще всего оставались намерениями, словами – пустыми звуками или знаками в зависимости от формы выражения, от всякого недовольства собой находилось лекарство. Не он первый, не он последний.

И все казалось легко поправимым.

Теперь душа выворачивалась наизнанку от горечи и боли. Их с Мусечкой близость, сродство, его пылкая и тайная любовь к ней, все светлое и нежное, надежное и доброе, его защищенное и спасенное детство – все это она, Муся. Мусечка! Его обнаженная душа, как выпотрошенная курица, зияла неестественной и неприличной пустотой.

“Оборвалась связь времен,” – слова были чужие, а ощущение от них до одури свое. Без Муси он был никто, ничто, ничей, без роду и племени.

Его никто не понимал, он всех раздражал своей ипохондрией. Тут и начали проявляться первые признаки контузии.

Дома ли в кресле, в полной расслабленности и отключенности от всех раздражителей, один на один с телевизором, в театре ли, в кино ли, в суете и праздничной приподнятости какого-то торжества, во внешне сухой и деловитой, но раскаленной изнутри добела всякого рода невысказанными противоречиями атмосфере очередного сверхважного совещания он вдруг, не ощутив никаких симптомов физического преображения или признаков перемещения в пространстве и и во времени, обнаруживал себя на краю безлесного поселка в маленьком убогом домишке, подставленном со всех сторон ветрам.

Он видел отца, который часами, сидя у маминых ног, целовал и гладил ее изуродованные руки, а мама говорила тихо и быстро, часто вздрагивая и оглядываясь, будто за спиной у нее стояло что-то зловещее и угрожающее, что могло помешать ей договорить. Но ей мешал лишь собственный кашель. Отец никогда не перебивал ее, понимая ее потребность выговориться.

В то время Ленька жил под постоянный аккомпанемент маминого возбужденного шепота.

Иногда, даже ночью, проснувшись по нужде, он слышал тот же шелестящий звук. Он помнит, как это раздражало его, хотелось сделать что-нибудь, сломать, как ломают надоевшую заводную игрушку, чтоб она перестала трещать.

Но мамин завод оказался недолгим, она замолчала навсегда.

Тогда заговорил отец, и в шумовом оформлении Ленькиной жизни изменились лишь частота и тембр звучания, да добавились неумелыми аккордами Мусины охи, ахи да всхлипы.

В своих неожиданных галлюцинациях Леонид и теперь все видел, слышал и даже обонял так же остро и четко, как тогда: раздражающий, влекущий со двора в дом запах жареной картошки, скрип половиц, треск продавленного матраца и мамин шепот. Каждый звук, но ни одного слова.

Он напрягался до полного изнеможения, пытаясь усилием памяти, воли, очнувшегося, наконец, от летаргического сна сознания восстановить утраченные, пропущенные, не услышанные слова, такие теперь необходимые, обретшие высший смысл, важнее которого не было ничего в его жизни.

От бесплодных усилий у него вконец расстроились нервы, и заботливая теща расстаралась – его отправили в какой-то закрытый санаторий. Там его нашли в полном порядке, только чуть подуставшим, окружили вниманием и заботой по высочайшему разряду. Он принимал предписанные процедуры, не смея никому признаться в том, что пытается услышать прошлое, и потому все изыски и деликатесы фешенебельного курорта бессильны помочь ему. Он мучился там, что занимает чужое место, и с нетерпением невольника ждал конца срока пребывания.

Он был уверен, что его болезнь неизлечима. Однако, месяц роскошной и праздной жизни, пусть и отягченной внутренними противоречиями, не прошел бесследно. Он несколько успокоился и примирился со своим душевным разладом, пришел к выводу, что, в конце концов, никому не дано возродить прошлое, отреставрировать его, как старую заезженную граммофонную запись. И любой здравомыслящий человек не может не считаться с этим.

И все же, и все же...

Ликованием и гордостью наполнялось его сердце, когда в насупленном от обиды изломе тонких белесых бровей своей дочурки узнавал он мамино силившееся казаться строгим лицо, или в походке и фигуре старшего сына – отцовскую уверенную поступь и стать. Он искал это сходство, ловил в нюансах и ракурсах, в непроизвольном движении или взгляде, не надеясь, что это может послужить ему хоть каким-то оправданием. Нет, конечно же, нет, он просто находил в этом самому себе непонятное утешение, приют.

И потому с трудом сдерживал себя, когда во всем старавшаяся угодить мамаше Тамара с умилением щебетала:

– Гляди, дочурка – вылитая мама, не правда ли? А сынуля – копия моего отца, да, мамочка?

Они посягали на тайное его прибежище, хотели лишить последнего оплота. Но он не желал сдаваться и занимал круговую оборону, прекрасно, впрочем, понимая, что его агрессивность к окружающим объясняется лишь полным и ясным осознанием своей вины, единственно и только своей.

Его контузия, носящая волнообразный, сезонный, как аллергия, характер, особенно в полную силу проявлялась ранней весной.

Едва лишь наступил март, черной ниточкой связывающей многие события его жизни, последним из которых в цепи уже случившихся была Мусина смерть, он начинал бессознательно, как четки, перебирать эти черные бусины, нанизанные на черную нить, и словно бы становился дальтоником. Если бы его спросили, какого цвета март, он, не задумываясь, ответил бы: “черный”.

И вместе с тем у него обострялось зрение и слух: он видел то, чего не было, и всякий раз ему казалось, что вот-вот и услышит то, что невольно когда-то прослушал.

Вот и сегодня, кроме монотонных пассажей охрипшей вороны, услыхал он Мусино испуганное: “Ворона каркает – быть беде” и мамино, звонко-смеющееся: “Не дурите ребенку голову, Муся, ворона вовсе не виновата, что иначе говорить не умеет”.

И час или день, или жизнь простоял он так, посреди уличной толпы и сколько раз предстоит ему еще пережить все заново, услышав тревожный, как набат, зов своего прошлого, которое, вопреки всем законам природы, с каждым мартом становится ему все ближе и ближе...

Иван Клиновой

НА ЯЗЫКЕ МОРФИЯ

***

Жизнь каждый год упирается в день рожденья.
Вот и сидишь в тупике и жуёшь седины,
подсчитывая свершенья и несвершенья,
весь такой мамонтёнок на шаткой льдине.
Люди вокруг меняются, как перчатки
или картинки в детском калейдоскопе,
успевая лишь отпечататься на сетчатке,
но не задержаться иконками на лэптопе.
А в тупике в седине хорошо сидится:
можно стихи вышёптывать и кромсать,
цветика-семицветика ждать или пера жар-птицы,
или конца.

***

Тебя арестуют за счастье в общественном месте,
Засунут в какой-нибудь грустный, как дог, автозак,
И только сержантик, присутствовавший при аресте,
Стыдливо опустит глаза.

Тебя увезут не в сизо, а куда-то за город.
Поставят к мифической стенке и сделают залп.
И дождь беспрепятственно будет
ссыпаться за ворот,
И ты не закроешь глаза.

МОРФИЙ

You talk in morphine...
MJ

Сегодня с самого утра
Во мне лишь хрипы да курлыки.
Вколи мне морфия, сестра,
Пока я корчусь безъязыкий,

Чтоб я оттаял и прожёг
Упавшей накривь сигаретой
Дыру меж этих самых строк
До самого живого лета.

Сестра моя, не жмись, вколи!
Ну, обеднеешь ты на кубик,
Так всё равно пора валить,
Куда не одиссеил Кубрик,

И там, вдали от комелька,
Расклёшить мысли, чтоб не страшно
И только с краешку мелькал
День обезжизневший вчерашне.

Достав из моего нутра
Все эти хрипы да курлыки,
Вколи мне музыки, сестра,
Пока я корчусь безмузы́кий.

***

Человек с разорванным лёгким садится жить.
И не жить, а так, посидеть чуть-чуть на скамейке,
Поглядеть на новую стройку и старые гаражи...
Впрочем, весь город выглядит, как в дурном ремейке.

Оттого человек и сидит, и хрипит гармонью,
Что ему претят все эти «гет ап», «камон», «йоу».
Но, увы, пересадка лёгких – нелёгкий трип.
Остаётся сидеть со сжатой в кулак ладонью
И смотреть бесконечный рекламный клип.

Поутру его обнаружат всё в той же позе
С устремлённым в прошлое взглядом
и пеною на губах.
Капитан Очевидность найдётся среди зевак
И чего-нибудь обязательно да сморозит.

Инна Мельницкая

НАСТАСЬЯ И НАСТАСИКИ

Как это существо вошло в нашу жизнь?

Все произошло совершенно неожиданно. Однажды вечером раздался настойчивый звонок в дверь, я открыла, и в переднюю ввалился Васька – мой бывший одноклассник, бывший – безуспешный – соискатель моей руки и сердца, а впоследствии ворчливый, но верный друг, с которым мы общались редко и преимущественно по телефону.

Приходил он всегда неожиданно и, казалось, только затем, чтобы сказать мне какую-нибудь гадость. Я не обижалась: мне в таких случаях всегда почему-то становилось жаль его, и я отшучивалась. Но оба мы знали: если тебе трудно – другой всегда придет на помощь.

На этот раз Васька явился с какими-то большими сумками – по дороге откуда-то забежал, что ли? Однако сумки он почему-то не оставил в коридоре, а втащил в комнату – зачем? Задать этот вопрос я не успела. Конфузливо взмахнув мохнатыми ресницами, которые в школе среди девчонок были предметом всеобщей зависти, и густо, виновато краснея, Васька буркнул:

– Слушай, выручай!

Я изобразила вопросительный знак.

– Понимаешь, меня в госпиталь кладут, а мне на день рождения щенка подарили. Охотничьего! Норного! А с кем я его оставлю? Ирка категорически отказывается с ним возиться.

Ирка – это Васькина старшая дочка. Когда он разводился с женой, Ирка ушла вместе с ним и даже по охоте была ему товарищем – Васька купил ей охотничье ружье! – но характер у нее был не шелковый. Если Ирка сказала: «Не буду!» – значит, хоть трава не расти!

Еще раз обмахнув лицо ресницами, Васька виновато забубнил:

– Ты же еще в школе была собачницей, ты меня поймешь. Я же помню: у тебя Нерка была! Я ненадолго – как выпишусь, так сразу заберу, Ирка про собаку и слышать не хочет.

– Ну ладно, давай – так где Оно?

Ослепляя нас обоих благодарным сиянием, Васька расстегнул сумку, ту, которая поменьше, и извлек Нечто, совершенно неописуемое. Впрочем, попробую.

Основной частью этого организма был живот: круглое розовое пузико, поросшее редкими белыми шерстинками, с симметричными черными кармашками по бокам и плоской розовой пуговицей в качестве пупка. Пузенко увенчивалось тяжелой головешкой неопределенного цвета и неопределенной конфигурации, отдаленно напоминающей гибрид крокодила и ламповой щетки – знаете, были такие ершики, для керосиновых ламп? Заднюшка существа заканчивалась короткой палочкой-хвостиком. Да, еще: по бокам этой конструкции были приделаны четыре лапки с розовыми подмышками и розовыми подушечками-ладошками.

Васька осторожно посадил существо на пол. Оно тут же пустило лужку – то ли от волнения, то ли от полноты душевной. Бедный Васька ужасно смутился и вытер лужку носовым платком.

– Вы не думайте, я тут чехол от байдарки принес; сейчас простелем. Это пока она маленькая, а недельки через две ее можно уже будет выгуливать. Я тут еще мисочку ей прихватил из-под химреактивов – устойчивую, чтоб не перевернула.

Он торопливо разостлал по комнате большущий резиновый чехол, выставил тяжелую стеклянную посудину, усадил существо рядом с сосудом и с надеждой поднял на нас несчастные глаза. Ну что ты будешь с ним делать!

– Ну ладно, – сказала я без энтузиазма. – Пускай остается.

Сами понимаете: у меня не было никакого сомнения относительно того, кому придется вытирать все бесчисленные лужки – не говоря уже о прочих подарках судьбы. Но Васька так благодарно расцвел, что я не стала жалеть о сказанном. Существо сидело как-то совсем не по-собачьи, свесив тяжелую башку набок и вытянув

вперед задние ноги.

– Ни дать ни взять старуха-негритянка на африканском базаре, – глубокомысленно заключил Володька.

Трудно сказать, откуда у него возникла такая ассоциация, но возражать я не стала, а осчастливленный Васька заторопился домой. Едва за ним закрылась дверь, как на пороге возникла Володькина мать, сгоравшая на кухне от нетерпеливого любопытства. Окинув державным взором перемену декораций, она незамедлительно изрекла свой вердикт

– Двері за собою зачиняйте, щоб ота паскуда по хаті не лазила, а то чиїсь хахалі усяке паскудство понатаскають, а баба прибирай!

«Чиїсь хахалі» – это понятно в чей адрес; «баба» – это она себя так называет; ну, а кому вообще прибирать приходится, с собакой и без – это и без слов вам ясно. Ладно, переживем.

Пока Баба широким, степным голосом развивала идею вселенской справедливости, собачий детеныш наблюдал за развитием событий из-под коротких белых ресниц внимательными, грустными глазами. А когда, победительно шваркнув дверью, она выплыла из комнаты, в обрушившейся на нас тишине вдруг раздался слабенький, жалобный скулеж – точно осиротевший собачик понял все нелестные слова, прозвучавшие в его адрес. И сердца наши тут же растаяли, как мартовские сосульки на солнечной стороне. Особенно мое – ибо по понятной причине я ощутила некое родство наших судеб и, соответственно, наших душ. Однако, порываясь утешить приемыша, мы спохватились, что не спросили у Васьки, как его зовут и чем его кормить.

По телефону выяснилось, что и о том, и о другом у Васьки у самого было весьма смутное понятие. Поскольку Оно оказалось дамой, он предложил назвать ее Найдой, а кормить всем, что сами едим: умная собака сама разберется, что ей годится, а что нет. На том и порешили – только имя, по-моему, не понравилось ни нам, ни той, кому оно предназначалось. Во всяком случае, она никак на него не реагировала. Ну, что ж – Васька ей хозяин, его мнение решающее. Найда – так Найда.

Есть Найда ничего не стала – наверное, в новой обстановке детенышу было непривычно и неуютно. Мы уложили грустное существо на стеганую подстилочку, которую прихватил для нее заботливый хозяин, и пожелали спокойной ночи. Утро вечера мудренее!

Вообще-то да – утро вечера мудренее, но вот про ночь в пословице ничего не сказано, а зря! Хорошо Володьке: он спал всю ночь сном праведника, а бедный щен всю ночь робко и горестно поскуливал: то ли не спалось бедняге, – может, голодно было и неприютно, то ли снилась грозная Баба или что-нибудь еще страшней. Кто их знает, какими они бывают – детские собачьи сны?

Так я и проворочалась всю ночь, а если и случалось так, короткими перебежками, подремать, мне снился серый резиновый чехол с бесчисленными лужками и горестные щенячьи глаза в белых ресницах.

Сон оказался в руку: просто непостижимо, как в таком махоньком тельце умещалось столько жидкости! Наверное, в воспитательных целях надо было натыкать ребенка в лужки носом и выразить строгим голосом свое недовольство, но, во-первых, я не знала, какую положительную программу предложить взамен, а во-вторых, ужасно жалко было это нелепое существо.

Володька, быстренько, как всегда, перекусив на кухне, умчался на работу – мне же предстояло спешно протереть разостланный на полу чехол, выслушать все, что Баба думает обо мне, моих друзьях и моих родителях, и главное – когда Баба, исчерпав свой запас красноречия, гневно удалится в свою комнату, – прихватить на кухне что-нибудь съедобное, чтобы разделить завтрак с голодной Найдой. Ох, как не шло ей это имя!

На работу я отправилась, плотно притворив за собой дверь нашей комнаты: просто страшно было подумать, что может случиться, если, не дай Бог, Оно отважится выйти!

Володька, спасибо ему, ухитрился прийти с работы раньше меня, и вернувшись домой, я застала его стоящим посередине свежевымытого чехла. Он был явно потрясен собственным благородством! У его подножия в той же задумчивой африканской позе сидела наша квартирантка.

– Представляешь, – сказал Володька потрясенно и даже, как мне показалось, с некоторым уважением, – представляешь, их было аж семнадцать штук!

– Кого их? – не поняла я.

Ничего себе! Опять- таки – где оно в ней помещается?

Однако на следующий день, после работы, мне самой представилась возможность убедиться в необычайных способностях этого создания.

Баба молча отворила мне дверь и, не говоря ни слова, прошествовала на кухню, но уже по тому, какое торжествующее злорадство было написано на ее лице, я поняла, что меня ждет сюрприз. Однако, то, что я увидела, превзошло все мои ожидания.

По всему периметру чехла, по краям его, были расположены – нет, не то чтобы кучки, а так – некие миниатюрные монументы, числом опять таки семнадцать (мистика?). Ну, а что касается лужек, то здесь не просматривалось никакой системы – просто вдохновенная небрежность! А уж количество – так тут, пользуясь Бабиной терминологией, их было «нищотно раз»!

Судя по композиции этого несравненного натюрморта, у автора была своя, особая, эстетическая концепция и особое отношение к магии чисел. Но это еще не все! В тот день нам было суждено лицезреть еще одно чудо: когда дверь отворил ко всему готовый Володька, Существо поднялось и заковыляло ему навстречу! Более того: по-моему, оно даже в знак приветствия пару раз дрыгнуло палочкой-хвостиком! Как там у летчиков: Контакт! – Есть контакт!

С этого дня мы терпеливо и, к Бабиному горькому разочарованию, безропотно убирали все лужки и кучки, которые ожидали нас в нашей комнате после работы. В конце концов, две недели – это только четырнадцать дней! Можно и потерпеть.

И он наступил, Пятнадцатый День – торжественный день выхода в свет! Мы надели своей питомице первую в жизни обновку: персональный ошейник из старого Володькиного ремешка, и подарили ей новое имя. В самом деле – ну какая она Найда? Никто ее не терял и никто не находил. Мы решили, что Васька не очень на нас обидится, если она будет Найка – всего только и разницы что одна буква!

Спуститься по лестнице с пятого этажа оказалось для Найки нелегкой задачей: разноцветная башка почему-то перевешивала туловище, поэтому выход обернулся выносом. Но как только Найку поставили на землю, то есть на травку, молодую и зеленую, – все! Началась новая жизнь! Запахи – сколько запахов! Все надо понюхать, а на некоторые – ответить! Пространство – а его-то как много! И все – новое, все – разное, незнакомое! Первые несколько неуверенных шажков – и смешное, трогательное существо побежало – нескладно, неуклюже и счастливо, неведомо куда!

– Найка, назад! Ко мне! Найка! Найка, Найка!

Куда там! Она ведь не знает, что ее теперь так зовут!

Нет, остановилась. Оглянулась на голос, подумала и – ура! – потрусила ко мне. На последних шагах засомневалась – я правильно поняла? Ты звала меня?

– Да-да, все правильно, уродец ты мой!

Уродец тычется влажным носишком в мою ладонь, подставляет крутой белый лобик – ну погладь же! – и – брык! – переворачивается на спинку, задрав все четыре розовые ладошки. Мне остается только почесать розовое пузико с редкой белой щетинкой – и все! Пакт вечной дружбы заключен! Щен поднимается, отряхивается и – кто сказал, что Васька ее хозяин? Это моя Собака!

С Володиным приходом торжественный вынос тела повторяется: эффект тот же!

Еще три дня – и серый чехол решительно сворачивается и за ненадобностью водворяется в родную сумку. Пару дней мы еще выносили Найку, так сказать, стихийно, при любой возможности – и ученица оказалась сообразительной: на третий день она сама подошла к двери и недвусмысленно пригласила на выход. Больше проблем с лужками – не говоря уже о кучках – у нас не было.

Далее собачий интеллект развивался просто стремительно. Техноложка, тенистый парк Политехнического института, издавна служила местом встреч и прогулок всех собак, собачников и влюбленных нашего района. Найка оказалась наблюдательной: через несколько дней она по собственной инициативе подобрала какой-то прутик и поднесла Володьке – другие собаки носят палочки, а я чем хуже? На, кинь! Потрясенный Володька взял, кинул – и гордая Найка достойно принесла брошенное и вручила Хозяину. Да-да, так в дальнейшем и распределились наши роли: Володька – Хозяин, верховное Божество; я – закадычная Подружка, а Баба – некая грозная Неизбежность. Правда, надо сказать, то обстоятельство, что я оказалась не на первом месте, Бабу несколько смягчило.

Неопрокидываемая емкость из-под химреактивов перекочевала на кухню, рядом поселилось осиротевшее блюдечко из-под погибшей чайной чашки, и Найка, когда считала должным, приходила, инспектировала свою законную посуду и, если та оказывалась пустой, молча укоризненно взирала на Бабу. Баба хмурилась, произносила какую-нибудь экспрессивную вокабулу, но тем не менее наполняла оба сосуда чем положено: один водой, другой – едой.

Тем временем Васька не появлялся, но на дверях подъезда появилась бумажка, требующая, чтобы жильцы, имеющие каких-либо домашних животных, явились по такому-то адресу, для регистрации оных. Васькин телефон безмолвствовал. Животное было у нас налицо, но ИМЕЕМ мы его или НЕ ИМЕЕМ, было абсолютно не ясно. Так или иначе, поскольку оно реально существовало на нашей жилплощади,

дворничка велела его зарегистрировать. Мы повиновались должностному лицу. Найка получила официальную прописку, персональный жетон и стала стремительно формироваться как личность.

Осознав, что мы обязаны ее выгуливать, она, в свою очередь, считала своим долгом напоминать нам, где выход и где висит поводок. С Володей она выходила торжественно и чинно, и не позволяла себе никаких вольностей. Со мной она уже на лестнице то начинала прыгать, легонько покусывая меня за руку – причем обязательно за правую, то, ухватив зубами поводок, делала вид, что хочет его у меня отнять, то бочком, бочком тащила меня куда-то, словно это не я ее, а она меня ведет на поводке гулять.

По-видимому она была убеждена, что всякая уважающая себя собака должна солидно носить палочку, а если палочки не дано, надо ее раздобыть – а то без нее как же! Поэтому, выскочив из дверей и отдав неотложный долг природе, она сразу же неслась в Техноложку на поиски очередной палочки. Найдя желаемое, тотчас устремлялась к хозяину: вот, как видишь – я не хуже других добытчица! Бросай, пожалуйста! Если же на обратном пути ей попадалась палочка побольше, а значит получше, она без сожаления бросала первую и подхватывала новую, чтобы с гордостью преподнести ее повелителю. Случалось, что трофей оказывался больше ее самой – тогда она перехватывала драгоценную ношу точно посередине, чтобы сохранять равновесие концов. Ну кто осмелится после этого утверждать, что у собак нет мышления, а есть только рефлексы! Более того: если с силой брошенная сухая палка разбивалась надвое, Найка непременно выбирала больший ее кусок!

Однажды– каюсь! – я умышленно подвергла ее коварному испытанию: когда она приволокла откуда-то толстую палку, метра в полтора длиной, я швырнула это сокровище через ограду парка. Ограда была решетчатая. Настька, как всегда, стремительно, проскочила между прутьями, схватила свою драгоценность, как и следовало, строго посерединке и рванулась назад – но не тут-то было! Эта длинная дылда, естественно, застряла поперек отверстия – и что вы думаете? Найка положила ее на землю, взяла за один конец, аккуратно протащила между прутьями, а затем, снова перехватив посередине, с достоинством, как ни в чем ни бывало, положила передо мной. Это что, по-вашему, – рефлекс? По-моему гениальность!

Из уморительного уродца Найка незаметно переросла в трехцветного жесткошерстного фокстерьера, из Найки, как вы уже заметили, в Наську, а затем в Настю, а из квартирантки в члена семьи – а Васька все не подавал признаков жизни. Телефон его по-прежнему безмолвствовал. И, честно говоря, мы с Володей не очень-то огорчались по этому поводу, потому что каждый день открывали в своей питомице новые и новые таланты.

Однажды утром я вывела ее, как всегда, в родную Техноложку. Все шло, как обычно: пока Настасья считывает со столбиков свежую информацию и оставляет, где находит нужным, свои сообщения, я делаю легкую зарядочку – разминку перед очередной баталией – и мы, совершив прощальный круг по аллее, возвращаемся домой. Все у нас было четко отработано – однако в тот раз, закончив разминку, я не обнаружила Насти поблизости. Странно – непорядок! Посвистала, окликнула – нет Настасьи! И вдруг откуда-то сверху, из густой листвы доносится решительное, нетерпеливое: «Ввуфф!» Задираю голову – конец света! На дереве, как-то косо выросшем у обрыва, высоко, чуть ли не у самой верхушки стоит гордая Настя и восклицает: «Ввуфф!» Нет, скажите – вы видели когда-нибудь, чтобы собака лазила по деревьям? Сама, по собственной инициативе, поднялась по наклонному стволу – тут было чем гордиться!

Честно говоря, я испугалась: а вдруг упадет? Но надо было подыграть этой циркачке – надо быть достойной ее! И я подняла какую-то палочку, постучала по основанию ствола и скомандовала: «даун!» – то бишь «вниз!» И Настя гордо прошествовала вниз. Хотите верьте, хотите нет, но я поняла, что просто обязана отработать с Настей этот цирковой номер. Подняла руку, постучала по стволу, скомандовала «ап!» – и Настя взбежала наверх. «Даун!» – и Настя неторопливо спустилась и подошла ко мне с вопросом: «А как быть с палочкой?»

В тот день мы обе поняли: она рождена быть артисткой!

Надо сказать, что в сырую погоду наши взгляды на палочкокидание и палочконошение несколько расходились. Пачкать руки о мокрые, грязные палочки и оттирать с плаща дактилоскопические отпечатки Настиных восторженных ладошек, сами понимаете, удовольствие сомнительное – поэтому обычно между нами начиналось препирательство:

– Настя, это плохая палочка!

Настя бросает отвергнутую палочку и бежит за новой.

Так повторяется еще несколько раз, и в конце концов Настя с негодованием взвивается вертикально вверх, носом в зеленую листву:

– Ну вот же тебе – не видишь, сколько хороших

палочек растет?

Нечем крыть – на дереве палочек действительно предостаточно!

Так что это по-вашему – рефлекс?

После нескольких дождливых дней, в течение которых Настя терпеливо разъясняет мне, что чистые палочки в достаточном количестве произрастают на деревьях, я постигаю, что она обладает непостижимой, несравненной прыгучестью. Так рождается новый, необычайный цирковой номер, который она с удовольствием демонстрирует окружающим собакам и собачникам, а также замирающим в восторге случайным зевакам. Следите: командуя «ап!» (Заметьте: Настя не нуждается в переводчике!), я поднимаю палочку высоко перед собой – и моя артистка совершает неимоверный по красоте прыжок. С места, без разгона она взвивается вверх – выше моей головы! – переворачивается в воздухе и плавно приземляется на все четыре лапы.

Но ей и этого мало. Где-то через неделю или две она предлагает новый, опасный трюк. Вручив мне солидную, прочную палку, она хватает зубами ее конец и делает вид, что хочет ее у меня отнять: свирепо мотает головой, упираясь задними ногами, кружит меня – и я подчиняюсь: я начинаю вращаться вокруг своей оси – и Настя взлетает в воздух, уцепившись зубами за конец палки и вытянув в полете все четыре лапы и категорический образочек хвоста.

Мы становимся легендой нашего района. Кому там нужны мои статьи по теории перевода и психологии творчества, какие-то там стихи и рассказы! Солидная дама, доцент нашего химфака, с которой я полгода сидела за одним столом на курсах кройки и шитья (и которая тем не менее, встречаясь со мной со мной в университете, здоровалась через раз), встретив меня с Настасьей в Техноложке, воскликнула в благоговейном восторге:

– Так это Вы хозяйка знаменитой Насти!

Таким образом, благодаря Насте, и я удостоилась славы! Воистину, перифразируя мусульманское «Нет Бога кроме Аллаха!» я могу воскликнуть: «Нет собаки главней фокстерьера, и нет фокстерьера лучше Настасьи!» Даже Баба, возвращаясь с прогулки, не без удовольствия рассказывала, как ее подружки на лавочке судачат о летающей собаке.

Неожиданно возник Васька – Настасья встретила его холодно. Подошла, понюхала – и отошла. Наверное, у каждого из нас на какое-то мгновение ревниво сжалось сердце. Сжалось – и отпустило, потому что стало ясно: Настасья сделала свой выбор! Конечно же, Ваське было обидно, но он понял: в четырехкамерном собачьем сердце для него не осталось вакантного места. Но он умел держать удар. Он сказал:

– Ну вот! Такая моя планида: не любят меня женщины! Но, как я понимаю, чехол от моей байдарки вам больше не нужен?

С облегчением, но не без угрызения совести мы отдали ему чехол, и он ушел, пообещав навещать свою крестницу – ведь теперь у него был лишний повод для визита!

А Настя приступила к несению службы.

Теперь, когда она окончательно утвердилась в качестве члена семьи и, следовательно, уже не квартирантки, а полноправного квартиросъемщика, постепенно утвердился и Устав караульной службы – Настины законные права и обязанности.

В будние дни голосистый московский будильник заводился на двадцать минут седьмого. Ровно за две минуты до звонка Настя просыпалась, сладко зевнув, делала «потягусики», подходила к Володькиному изголовью и со звонком трогала его лапой: пора вставать! Будильник был дешевый, ненадежный, и вскоре сломался, но и без него ритуал исполнялся с точностью до секунды: на работу Володька ни разу не опоздал.

Чувство времени у нее было необъяснимое. Когда подходила суббота, спать нам разрешалось до семи, но если завтрак затягивался до после девяти, Настя начинала волноваться: вы что – забыли, какой сегодня день? Надо же на дачу собираться! Вот ваши кеды, вот мой поводочек, вон на гвоздике твой рюкзак!

Первая прыгала в машину и занимала штурманское место: сиденье она уступала мне, но правое боковое стекло неизменно украшал отпечаток Настиного мокрого носа.

Уходя куда-нибудь, нужно было непременно сказать: «До свидания, Настика, я на работу», – тогда она отворачивалась и отходила с сознанием необходимости временной разлуки. Если же с ней не попрощались, она скорбно ложилась у дверей, уткнувшись мордой в лапы, и спускаясь по лестнице, мы слышали ее горькое всхлипывание, а приходя, заставали ее на том же месте и в той же позе.

Встречая нас после работы, она первым долгом несла нам тапочки; приглашая на прогулку – подавала кеды: она точно понимала, что к чему. Возвращаясь с прогулки, она прямиком следовала в ванную «мыть ручки»: и прыгала на специально для нее поставленную перед раковиной табуретку: нельзя же заходить в комнаты с немытыми ногами! Если я при этом замешкаюсь, она требовательно восклицала: «Ввуфф!»

С передними лапками никаких сложностей не возникало:

– Настя, дай левую!

Пожалуйста.

– Дай правую.

Вот правая.

– Дай заднюю!

Вот это уже гораздо сложней: надо повернуться задом к умывальнику, по-балетному вытянуть назад заднюю лапку, а это совсем не так легко, как вы думаете. Но сказано «надо» – значит, надо. И бедная Настя со скорбным лицом (вы думаете, я оговорилась? Ничего подобного! Не могу же я сказать о Насте «морда»!) протягивает сначала одну заднюю, потом другую – и наконец с облегчением прыгает на пол. Теперь все!

Если у нас с Володькой возникали какие-то нескладушки (у кого не бывает!), Настасья выступала в роли миротворца. Она ходила от одного к другому, убеждая враждующие стороны: ну чего вы, в самом деле? Прямо как маленькие! А ну-ка помиритесь! Ишь чего вздумали!

Если какая-то сторона упорствовала, можно было поскрести упрямца лапой, толкнуть носом, легонько потрепать зубами брючину или подол – и в конечном счете инцидент был исчерпан.

С Бабой ситуация бывала посложнее – расклад сил был иной. Чтобы не дать врагу торжествовать, мне иной раз приходилось ретироваться в ванную: там я закрывалась на крючок, пускала воду, как будто я моюсь, и садилась грустить на стиральную машину или на Настину табуретку. Через несколько минут в дверь тихонько царапалась конфиденциальная дружеская лапа. Я открывала – и Настя, просочившись в щель, клала мне на колени какую-нибудь свою игрушку– мячик или пискунчика, или даже – оцените ее благородство! – косточку: на, не реви!

Случись у меня или Володьки какая-нибудь неприятность на работе, Настя с порога это определяла: ткнет тебя влажным носом, подставит крутой лобик, тапочки подаст – глядишь, и отпустит! В самом деле – что такое чье-то мелкое хамство в сравнении с вечностью!

Как-то меня угораздило простудиться. Тридцать восемь и пять, сопли в три ручья – а в доме ремонт, и притом своими силами! Причем Баба считает, что малярные работы – это мое призвание. На этот раз мой священный долг – выполнить масляной краской панели на кухне, в туалете и в ванной.

Володька пришел с собрания поздно, увидел, что глаза у меня красные, как светофор, и вообще – вид на море и обратно, и, естественно, предложил:

– Знаете, что, давайте это дело отложим – вон как ее развезло!

– Та куди там, – уличает меня Главнокомандующий, – просто їй у нашій хаті прясти не з руки! Баба нехай колотиться як чорний віл, а жіночка за свої книжечки – і не собака в двір, бо вона, бач, хвора!

И удаляется в свою комнату, как всегда, когда желает дать понять, что какие бы то ни было дискусии неуместны.

В скобках замечу, что с ее возникновением в нашей семье водворилось своеобразное двуязычие: Володька, с малых лет воспитывавшийся в детдоме, говорил, как и я, по-русски; его мать изъяснялась на сочном наречии, которое сама гордо именовала «озюмська говирка». О сыне она вспомнила и воспылала к нему любовью, когда он уже женился – и тут для меня возникли великие трудности. Володька, в должности «сЫночки», имел право говорить на языке, к которому привык в детдоме, а вот «невістка-чужа кістка» обязана была в знак уважения обращаться к ней на ее языке. Был бы это привычный украинский – кто бы возражал! Но Баба утверждала, что украинского «вона з вилупку не чула» и , когда я пыталась говорить с ней нормальным языком Гончара и Копыленко, она говорила, что я «з неї здіваюся» – то-бишь издеваюсь. Ну, со временем я усвоила, что вместо «не можна» следует говорить «ніззя», вместо «думаю, вважаю» – надо «щитаю» , но как, скажите, может человеку в здравом уме и трезвой памяти прийти в голову такое, к примеру, лингвистическое чудо, как «заздря причини»? Представляете, каково мне было? Откуда мне, рядовой среднестатистической единице, знать, что вместо элементарного, безгрешного , повседневного «тісто» надо говорить «кісто»? Зато некоторые выражения просто умиляли неожиданно свежей образностью – как, например, то, которое натолкнуло меня на это лирическое отступление. Ну разве не прелесть – ЇЙ У НАШІЙ ХАТІ ПРЯСТИ НЕ З РУКИ!

А вот « І НЕ СОБАКА В ДВІР» – это как понимать? Может, что-то вроде «и трава не расти»? Иди знай! Во всяком случае, это в мой адрес, а раз так – добра не жди. Надо принимать меры!

Володя, не допив чая, валится с ног – день выдался тяжелый. Спи, бедняга! Из Бабиной комнаты уже доносится богатырский храп – и я берусь за работу. Краска воняет немилосердно, даже насморк не смягчает впечатления. Пока я работаю в кухне, это еще ничего: я открыла входную дверь и над плиткой

– вытяжка, а вот в закрытом пространстве туалета и ванной – просто караул! Но я работаю остервенело и старательно – наплевать на температуру! Все должно быть готово к утру – и не просто готово, а в лучшем виде! Только так – І НЕ СОБАКА В ДВІР!

Последний кант, тоном гуще фона (по-моему, красиво!) я довожу в без четверти шесть. Убираю разостланные на полу газеты, оттираю краску с рук, отмываюсь по возможности в ванной, где запах краски просто осязаемо плотен, выхожу в коридор – и с тайным торжеством вижу растерянное лицо своей врагини! Ага, нечем крыть! Вот тут, наверное, как раз подходит І НЕ СОБАКА В ДВІР! Но сказати почему-то ничего не получается: из горла вырывается слабенькое шипение, и я погружаюсь в какое-то безвоздушное пространство. Хочу вдохнуть – не вдыхается, Из нашей комнаты, зевая, выходят Володька и Настасья, Володька ахает:

– Ты что – и не ложилась?

Я пытаюсь ответить – звуки не могут вырваться!

Баба седлает своего конька:

– Ба, як придурюється!

Я понимаю, что надо бы, наверное, огрызнуться, но нет сил, и вообще уже, наверное, все равно. Володька еще о чем-то спрашивает, но дыхания нет даже на шипение. Слава Богу, на кухонном столе завалялся огрызок карандаша, и я пишу на кромке вчерашней газеты: «Вызывай скорую – скорее! Я задыхаюсь – не могу дышать!».

Меня увозят. Хорошо – районная больница рядом. Суета, уколы, капельница, и когда, наконец, я ощущаю, что воздух в природе все-таки есть, врачиха – усталая молодая женщина – стаскивает с русой головы шапочку, неуставно вытирает ею пот с лица и с шумным вздохом облегчения говорит:

– Ну, все. Считайте, что вы второй раз родились. Если бы мы приехали на десять минут позже…

После этого меня еще месяц чинят, потом выпускают домой с длинным списком всяческих «нельзя». А потом в городе объявляют эпидемию какого-то экзотического гриппа, на что общественность города с готовностью откликается – ну, а я, разумеется, «впереди планеты всей». Такое уж мое цыганское счастье. А на эпидемию, как положено, бросают всех врачей без разбора: стоматологов, травматологов, окулистов… Ко мне по вызову приходит – кто бы вы думали? Та самая аллергологиня, которая вытягивала меня из анафилактического шока. Настика встречает ее вполне радушно, даже повиливает виртуальным хвостиком, но врачица меняется в лице и восклицает:

– Слушайте, это же недопустимо! Вы же погибнете! Собаку надо немедленно убрать! С такой аллергией! Ни кошек, ни собак – вам даже хомячка нельзя держать! Мы и так вас еле выходили – во второй раз может не получиться.

Ей-богу, Настя понимает, что о ней говорят! Прижав уши, сгорбившись, как-то даже уменьшившись в размере, она толкает лапой дверь и понурив голову выходит.

– Что вы, доктор, – жалобно взываю я, – она очень хорошо на меня действует! Любой стресс снимает…

Истинную правду говорю, но куда там! Вершительница наших судеб неумолима:

– И речи быть не может. Категорически настаиваю: собаку убрать, причем немедленно! Я даже в истории болезни особую пометку сделаю: снимаю с себя всякую ответственность, – безапелляционно произносит она и достает ручку из портфеля.

Я понимаю: раз речь зашла об ответственности – значит, дело безнадежное. Но тут щель в двери увеличивается и в комнату входит Настя. Все так же сгорбленная, старательно не глядя в мою сторону, она подходит к докторше и кладет ей что-то на сапог. КОСТОЧКА! Нет, вы слышите? Конец света! До чего коррупция дошла – собаки взятки дают: на, возьми самое дорогое, только не говори, что меня надо убрать!

Короткая пауза – изумления? Восхищения? И я наглею:

– Ну, доктор, вы же сами видите – все ясно без слов! Разве можно отказаться от такой собаки?

И моя безжалостная спасительница, мой милый доктор, обращает ко мне смеющееся лицо и, безнадежно махнув рукой, роняет:

– Да ну вас! Вот тут я написала, что принимать.

И поднимается уходить. А Настя первый раз оглядывается на меня: разве я не умница? И – хотите верьте, хотите нет – улыбается!

А потом для Настасьи настает время замужества. Жених Кеша – чистопородный жесткошерстный фокстерьер «из хорошей семьи», добродушный и покладистый. Мы с нетерпеньем ждем прибавления семейства. Подходит срок – и тут, по закону бутерброда, я опять попадаю в больницу. К счастью, в отделении есть телефон-автомат, и я каждое утро звоню домой и справляюсь, как идут дела.

И вот, наконец, однажды утром Володька праздничным голосом сообщает: уже, родила!

Ночью! Троих! Девочку и двух мальчиков!

Подробности некогда – опаздывает на работу.

Как только закончился обход, я бросаюсь к телефону – за подробностями! На удивление голос свекрови отозвался вполне дружелюбно:

– Ну, Вова ж тобі вже казав: розродилася Настя. Трійко їх: одне біленьке, а двоє з карманчиками. Вовка, щитай, і не спав зовсім., бо вона з вечора забезпокоїлася, все мостилася – і час вже підійшов. Отож уночі почув – щось вона вовтузиться, засвітив – і якраз вчасно. Першим народилося біле. Вона його облизала, однесла на подушечку, а тоді... Ну, там такого сміху – не повіриш! М'ячика йому принесла: на, пограйся, а я до роботи! І пішла родити тих двох. Ось зажди, я піду подивлюся.

Пауза – и через несколько минут потерянный голос:

– Слухай, а їх там шестеро!

Фантастика! Ну, шестеро – вообще-то это в порядке вещей, но почему квантами, с интервалом в несколько часов? И как тут, скажите, утерпеть, чтобы не удрать – посмотреть на это чудо? Еле дождалась ухода врачей – и через черный ход!

Настя встречает меня счастливая и бочком, бочком зазывает: пойдем, пойдем, посмотри, какие они у меня красавцы!

Вы знаете, как собаки умеют улыбаться?

Ну конечно, красавцы, Настика! Замечательные дети! От детей рябит в глазах; счастливая мать растягивается рядом с ними на своей подстилке и оглядывается на меня: извини, пожалуйста, сама видишь – я не могу сейчас уделить тебе должного внимания!

Дети тычутся слепыми мордашками в теплое пузико мамы; трехцветный красавец, заметно крупнее других, первым нащупывает сосок. Этот будет лидером! Оказывается, они все разные: две девочки и четыре мальчика, но карманчики есть у всех, кроме той, что родилась первой. Зато у нее, у одной, у основания хвостика рыжее колечко! Такого украшения нет ни у кого. Вторая девочка – вся в мать: грязновато-рыжие ушки и черные кармашки, а тот шустрик, который крупнее всех – вылитый отец в миниатюре: у него черные кармашки эффектно окаймлены рыжиной. Еще два мальчика – как зеркальное отражение друг дружки: у одного карманчик справа, у другого – слева. И последний – без особых примет, мальчик как мальчик. С двумя кармашками, но без отделки. Ты, Настика, мать-героиня!

Но мне надо бежать в больницу, а то, как говорит Баба, «чого доброго!»

Выписываюсь я скоренько, через несколько дней: куда тут лечиться, если дома «ціла псюрня»! Первым долгом надо раздать детям имена: первая, согласно «цвету лица», будет Бланка; большенький, по сходству с родителем, будет Кешей – Иннокентий Иннокентьевич (ну прямо Смоктуновский!); «зеркальные» близнецы, согласно различиям, будут Райт (по-английски «правый») и Гоша – от французского «гош» (левый). Последнего, без особых примет, называем просто Тоби. Имя за второй девочкой не успело закрепиться: позвонили друзья-москвичи, давно влюбленные в Настю, и, услыхав о пополнении нашего семейства, попросили подарить им ту, которая похожа на мать – и можно она тоже будет Настя? Ну конечно – Настасья Настасьевна! Бланку, по неписанному закону собачников, мы отдаем хозяину папы-Кеши, так что в дальнейшем Насте предстоит заняться воспитанием и обучением четверых сыновей.

Нет, вы себе не представляете, что такое собачий лицей! Тут у Насти обнаружился еще один – несомненный педагогический – талант! Из четверых она безошибочно выделила наиболее восприимчивого – им оказался Иннокентий Иннокентьевич. Занятия проходили как в доме, так и на свежем воздухе, куда семейство приходилось выносить в большой дорожной сумке. Как только ученики рассыпались по траве, начался первый урок, темой которого был священный долг – Ношение Палочки! Подхватив достойную палочку, Настасья раз и два гордо промчалась с нею мимо своих наследников, но поначалу это почему-то их не впечатлило. Тогда она назидательно положила свою ношу на землю перед Кешей, снова – демонстративно! – подняла и глядишь – понятливый ребенок сам ухватил какой-то прутик и устремился за матерью! Постепенно урок усвоили и остальные. Только Тоби, родившийся последним, оказался наимение способным учеником. Зато у него проявился отменный аппетит, чем он, по очевидному родству душ, вызвал особую симпатию у Главной Кормилицы, упорно именовавшей своего любимца Бобиком.

В плохую погоду уроки проводились дома: дети учились нападать на врага. Настасья несколько раз, легонько куснув Кешу за загривок, толкала его плечом, недвусмысленно подставляя свою шею. Намек был понят не сразу – но после третьего или четвертого толчка гениальный ребенок радостно вцепился острыми щенячьими зубками в материнский загривок. Цель была достигнута: к концу дня у всех детей, включая даже неповоротливого Бобика-Тоби, пасть была полна материнской шерсти, а холка счастливой

матери была вся в крови. Одно было непонятно: ведь Настя росла у нас, без родителей – откуда у нее самой взялись эти навыки? Уж ее-то никто не мог научить! Гены? Код наследственной информации? Очевидно, так – потому что, когда дело дошло до охоты на лис, Настика в учебе не участвовала. В качестве лисьей норы фигурировало подкомодное пространство, куда Настя, по причине взрослых размеров, влезть никак не могла. Туда забрались два зеркальных братца, Левый и Правый, а Кеша, как истинный фокстерьер, норная охотничья собака, азартно пытался их оттуда вытащить. Визг и тявканье стояли невообразимые, а Настя в восторге задрала к потолку улыбающуюся морду и запела от счастья.

Говорят, жильцы соседнего подъезда ужасно возмущались: мол, что за люди такие – развели дома целую свору собак и не кормят их; бедняги воют от голода! Чудаки – не могут отличить голодный вой от счастливой песни, гордого гимна торжествующей любви!

Но близилось неотвратимое расставание: Володины сослуживцы, завзятые охотники, не давали ему покоя. Он не умел отказывать людям – но жаждущих было больше, чем щенят. Что же делать? Бедняга маялся: кому дать, кому не дать? Ведь обязательно кто-то обидится!

Я безжалостно отстранилась от решения жгучего вопроса: твои сослуживцы, тебе и решать. Только помни: собаку, как книгу, можно отдавать только в хорошие руки! И еще – без меня!

Не знаю, как Настика переносила разлуку с детьми. Володька утверждал, что спокойно, но я подозреваю, что он просто успокаивал меня или себя самого. Бесстрашная Настя стала бояться утрат. Если Володя уезжал в командировку, пока его не было, Настя не отходила от меня ни на шаг. Зайду я к соседям – Настя следует за мной; сяду – укладывается под моим стулом; умощусь с ногами на диване – Настя, резонно рассудив, что босиком я никуда не уйду, на всякий случай ложится на мои тапочки! А в жаркие ночи, когда я, спасаясь от духоты и громоподобного храпа Володькиной родительницы, вытаскивала раскладушку на балкон, Настика устраивалась рядом, на досках, оставшихся от какого-то ремонта. Спать на досках было очень неудобно: твердо, а главное – узко, нельзя свернуться калачиком, но она героически терпела, по-человечьи вытянувшись вдоль раскладушки на спине или на боку.

Если я, ворочаясь во сне, не дай Бог, нечаянно разбужу ее, она, проснувшись, лизнет меня горячим язычком, убедится, что я на месте, и, успокоенная, шумно вздохнет: все в порядке! Можно спать дальше.

Маленькая, отважная, она бросалась защищать нас, как завещано, не щадя живота своего. Однажды к нам на дачу приехала одна знакомая с великолепным доберман-пинчером. Настя встретила их сдержанно: неприятно, конечно, но что поделаешь – долг гостеприимства!

На всякий случай мы их все-таки развели: Володя с Настасьей пошли вниз, к пруду, гостья со своей доберманшей отправилась рвать терен на опушке леса, а я с чем-то возилась на огороде. Все было тихо , мирно и солнечно: «на земле мир и в человецех благоволение», как сказано в Писании. Я собрала поздние помидоры, распрямилась – и с горбочка увидела внизу Володю с Настей. Они шли в другую сторону, и я им свистнула: вот, мол, я – куда вы? Доберманша, услышав свист, решила, что зовут ее, и понеслась ко мне длинными оленьими прыжками. Моя верная маленькая защитница со скоростью света кинулась меня спасать. По-моему, несколько метров она просто пролетела по воздуху и впилась в загривок черной великанши. Та, не стерпев такой дерзости, сбросила Настю на землю и принялась яростно рвать дерзновенную малявку, Но Настика, вся окровавленная, вырывалась – и снова бросалась на врага; доберманша, оскорбленная, озверевшая от неожиданности нападения, снова швыряла ее на землю, рвала ей уши – мы втроем едва растащили дерущихся ! Истерзанная, дрожащая, вся в крови, Настя рвалась у меня из рук – рвалась в такой неравный бой, просто на смерть, защищая меня от черного чудовища!

С того дня у нее навсегда сохранились натянутые отношения с большими черными собаками.

Если вы спросите, что собой представляет жесткошерстный фокстерьер, я скажу вам: это большое сердце, горячее и верное, в маленьком мускулистом тельце, обернутое в жесткую белую шерстку с черными кармашками по бокам. Я могла бы еще долго-долго рассказывать о Насте – только одного я никогда не расскажу. Я не стану рассказывать вам, как она умирала – потому что хочу, чтобы она осталась для вас такой, какой живет и всегда будет жить в моей памяти – мудрой, веселой и отважной, любящей и любимой.

А вы любите собак?

В ЗАЩИТУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Мои студенты, юные гуманитарии, избравшие объектом изучения английский язык и литературу, частенько жалуются, что зря тратят свою молодую жизнь на такие дисциплины, как теорграмматика или история языка. Дескать, кому они нужны, такие знания, если их никогда не придётся применять на практике? Меня они при этом не стесняются, потому что ни одна живая душа, в том числе я сама, не может с полной уверенностью сказать, к какому разряду учебных предметов – к теоретическим или практическим дисциплинам – относится романтический курс, который я у них веду, ибо он беззастенчиво называется «теория и практика художественного перевода».

Безусловно, время у нас настало особенное, прагматическое настало время, поэтому мои воинствующие прагматики так настойчиво сетуют на бесполезность теоретических дисциплин – но я им убеждённо возражаю: НЕ СКАЖИТЕ!

И привожу неопровержимое доказательство из личной практики.

Это было в эпоху энергичного слияния и укрупнения колхозов. Как известно, все революционные преобразования производятся во имя достижения какой-нибудь благородной цели и неизбежно приводят к какому-нибудь результату – иногда неожиданному и не всегда удобоваримому. Надо сказать, что в ту пору обязательным и первоочередным элементом учебного процесса являлась поездка в колхоз, «на картошку». Правда, «картошка» иногда оборачивалась свёклой, кукурузой или вообще строительными работами, но ежегодное приобщение студентов к общественно-полезному труду на лоне Матушки-Природы – при всех условиях, несомненно, дело святое. Опять же – свежий воздух, бесплатная кормёжка и здоровый физический труд.

Поскольку координация и контроль деятельности студенческих бригад – миссия нелёгкая и весьма ответственная, доверялась она, как правило, преподавателям мужского пола, и они самоотверженно, не щадя, как говорится, живота своего, осуществляли это руководство из соответствующего райцентра, избрав своей штаб-квартирой какую-нибудь чайную. Ну, а что касается дамского педагогического контингента – те, естественно, внедряли руководящие указания непосредственно в поле или на току – это уж как придется, как кому повезёт.

Меня в тот сентябрь послали с двумя группами студентов в глубинку, в самый что ни на есть укрупнённый колхоз, на самую что ни на есть отдалённую усадьбу. Не знаю, наверное, в этом укрупнении и был какой-то, невидимый простому глазу, смысл, какая-то, невидимая простому глазу, польза, но лично для меня и моих поварих это были скорее невидимые миру слёзы. Мне на наряд надо было километра четыре (до центральной усадьбы) топать пешком, а поварихам моим – за продуктами на тридцать человек – надо было клянчить подводу.

Все эти подробности выявились потом – а в первый день, растроганные сердечным приёмом, мы безмятежно доедали припасённые из дому харчи, запивая их кипятком, настоянным на «холодній м'яті» и вишнёвых веточках.

Я провела коротенькую летучку, объяснив в общих чертах нашу почётную задачу, назначила (на добровольных началах) артельных поварих. На две группы девчонок нам достался один интеллигентный мальчик Женя. Женя писал стихи и носил очки со стёклами минус шесть – причём он утверждал, что это его единственный минус. Не знаю, насколько это соответствовало действительности, но, поскольку он, с его единственным минусом, был у нас тоже единственным, было негласно решено беречь его и лелеять.

«Картошка» наша оказалась кукурузой. Мои умудрённые сельскохозяйственным опытом третьекурсники бодро сказали, что это совсем неплохо – могла быть и свёкла, не к ночи будь помянута! На этой оптимистической ноте мы разошлись по отведённым нам хатам, почти довольные судьбой.

Назавтра в шесть утра явилась дебелая молодая огородница, отвела нас на наш участок, сообщила нам нашу дневную норму, и моя доблестная рать отважно ринулась в бой. Нам предстояло срезать или обламывать початки с высоченных, жёстко шуршащих стеблей и сапетками [1] сносить свою добычу на заранее подготовленную площадку. После чего, в далёком (судя по размерам участка, едва обозримом) будущем, надо было ещё очистить початки от их зелёной обложки и влажных зелёных и коричневых волосьев. Кукуруза, которую нам отрекомендовали как Одесскую-8 (впрочем, может быть, цифра была другая, но едва ли это имеет значение для нашего рассказа), была такой высоты, что, как только мои девочки углубились в отведённые им ряды, я сразу же их потеряла – остались только невидимые голоса. Единственный наш Женя, со

[1] Сапетка – здесь: корзина. *Прим. Ред.*

своими шестью отрицательными диоптриями, обеспечивал площадку для наших трофеев.

Когда, наконец, общение с невидимыми голосами выкристаллизовалось в определённую систему, я вернулась на исходные позиции, к своей хате: надо же было проверить, как там дела у поварих. И вернулась как раз вовремя: они тут же возникли передо мной, растерянные и зарёванные.

По согласованному с вечера сценарию им должны были дать подводу, чтобы привезти с центральной усадьбы выписанные на нас продукты. Как бы не так!

На конюшне им сказали:

– Он віз, он коняка – бери й запрягай.

Ну чем они виноваты, городские девчонки, что, может, сроду не видели той коняки в натуральную величину? А ведь время идёт – чем наших работяг кормить будем?

Разъярённая, несусь на конюшню – аж дым из ноздрей! Девчонки мои за мной. Влетаю. Двое здоровых парней лежат на соломе и лузгают семечки!

Воззрились на меня с интересом: а это что за птица? И что теперь будет?

Надо, как говорится, принимать решение в соответствии с обстановкой: нельзя терять темп! И я вопрошаю, решительно и строго:

– Де віз? Де коняка? А збруя де?

Конюхи, ошарашенные напором, ответствуют:

– Коняка ось, а бестарку бери оту...

– А хомут?

– Та ондечки ж висить!

Господи, Господи, хоть бы не осрамиться!

Когда-то, давным-давно, ещё до начала студенческого житья, до начала интеллигентной преподавательской деятельности, доводилось мне – правда, не так чтобы часто – и запрягать, и ездить верхом – так когда ж это было! Стараясь сохранять компетентный, уверенный вид, лихорадочно пытаюсь вспомнить, что, куда и как. Коняка сохраняет философское спокойствие, а я кожей спины ощущаю, что за мной наблюдают с неослабевающим интересом. Однако пока, видимо, всё правильно, потому что один из парней приподнимается и вполне дружелюбно говорит – что бы вы думали? Он говорит:

– Ну, давай вже я супонь затягну.

Победа! И я с великолепным презрением отвергаю его помощь:

– Не треба, я сама, – и упираюсь в коняку коленкой, или чем там и во что можно упереться – и силой

всей своей ярости затягиваю ременную супонь.

Парень окончательно встаёт, наверное, чтобы посмотреть, как там я скрепляю все составные части конструкции – коняку, упряжь и бестарку. Видимо, всё в порядке, ибо конструкция не разваливается, и я, не без внутреннего трепета, вывожу коняку с конного двора. Девчонки мои, сбившись в кучку, с благоговейным ужасом следят за моими действиями…

– Садитесь, чего же вы, – говорю я как можно обыденней.

Они беспрекословно повинуются. У ворот к нам подходит крепенькая жиночка и спрашивает:

– До центральної усадьби підвезеш?

– Та сідайте, – великодушно разрешаю я.

И мы трогаемся с места – но только трогаемся, потому что конячка, этакая гладкая, блестящая гнедая шоколадка, делает несколько шагов – и в раздумье останавливается.

– Н-но, – восклицаю я солидно.

Коняка поводит ухом, хвицнув[1] хвостом, сгоняет с крупа назойливую муху и нехотя делает еще несколько шагов.

Я нащупываю под ящиком, на котором сижу (кажется, в литературе это называется облучок), гибкий прутик – наверное, он символизирует собой орудие лошадиного воспитания – и… и что дальше?

Откуда-то – из литературных источников или из опыта далёкой юности – я помню, что самое чувствительное место у лошади – это подбрюшье, но у меня же рука не поднимается ударить эту ленивую скотинку!

– Н-но, пошла! – грозно выкрикиваю я, со свистом рассекая прутиком воздух над лоснящимся крупом. Всё напрасно! Кобылка лениво переступает ногами, похлёстывая хвостом нахальных мух – и ни с места!

---

[1] Хвицнув – здесь: дёрнув (укр.). *Прим. Ред.*

И тогда моя многоопытная пассажирка рассудительно замечает:

– Так то ж Циганка! Вона без матюка не піде.

За спиной у меня ощущается явное оживление: любознательность – она ведь в природе человека!

Не то чтобы я была совсем не знакома с экспрессивной лексикой – где-то в пределах пяти языков я способна идентифицировать этот языковой пласт, но потребности прибегать к ней у меня как-то не возникало. Что же делать?

Я понимаю, что в эту минуту вечность смотрит на меня с вершин египетских пирамид – и тут меня осеняет! Даром я, что ли, целый год жевала теоргграмматику, не говоря уже о прочих теоретических дисциплинах? И, потрясая окрестности громовым басом, я ору:

– А-ах ты, *к-к а т е г о р и я с-с о с т о я н и я* !

Есть, знаете ли, в английском языке такая грамматическая категория.

Бедная коняка, ошеломлённая неслыханным матюком, содрогается, срывается с места и, прижав уши, попукивая и ёкая селезёнкой, пускается в бешеный галоп! Бестарка тарахтит по просёлочной дороге, комья сухой грязи барабанят по облучку, как осколки снарядов.

Мы несёмся, как гоголевская птица-тройка; из-под Цыганкиных копыт во все стороны в панике шарахаются собаки, кошки, гуси и деревенские пацаны. До центральной усадьбы мы долетаем in no time, как говорят англичане. Перед крыльцом конторы я шикарно осаживаю своего скакуна и, захлестнув на кол поводья, величественно поднимаюсь по ступенькам крыльца…

С этой минуты слава о моих подвигах разносится по всем трём усадьбам укрупнённого колхоза. Все аборигены со мной почтительно здороваются, деревенская пацанва (не говоря уже о моих студентах) взирает на меня с нескрываемым восхищением, а бригадир Иван Миронович, приняв на грудь «оковитої», твердит:

– От Нінка! Ото людина! І запрягати вміє, і робить, як чорний віл, і матюкається не по-нашому! А то понаїжджають образовані, що не знають, де в коняки хвіст росте!

Не знаю, правда, радоваться или огорчаться, что мой завкафедрой не слышит этой характеристики.

А вы говорите, теоретические дисциплины не находят применения на практике!

У этой истории есть маленький постскриптум, который вниманию студентов обычно не предлагается.

По истечении положенного срока мне на смену прибыла ещё одна коллега: её на белой ухоженной «Волге» привёз супруг, известный журналист. Он же, как предполагалось, на обратном пути должен был прихватить меня: мы жили в одном районе, в центре города.

Проводить меня и ввести в курс дела мою сменщицу прикатил, как всегда немножко под градусом, бригадир Иван Миронович; за спиной Мироновича, в бестарке, сияли на солнце зелёные бока кавунов. Бригадир долго тряс мою руку своими лапищами, проникновенно убеждая, что если меня снова пошлют в колхоз, «так тільки до нас, бо ми з дорогою душею».

Потом обернулся к кавунам и щедро махнул рукой: «А це тобі. Повезеш додому». – «Ой, да что вы, Иван Миронович, куда мне столько!» – слабо протестовала я. – «Нічого, нічого, не буде мало, – прогудел он тоном, не допускающим возражений. – Куди їх?»

Супруг моей сменщицы радушно распахнул заднюю дверцу машины, и полосатый груз шустро перекочевал в чрево белой красавицы. Ещё пара минут, пара напутственных слов, взмах руки и – прощай, укрупнённый колхоз!

Дорогой, глядя на строгий профиль молчаливого водителя, я думала: «Хороший человек. Надо непременно поделиться с ним арбузами».

Известный журналист галантно довёз меня до дома и, аккуратно закрыв за мной дверцу машины, пожелал мне всего хорошего.

«А как же арбузы?» – мелькнула у меня застенчивая мыслишка.

Словно услышав робкий писк моей души, он секунду поколебался, затем перегнулся к заднему сиденью, выбрал среди прочих один – такой себе полосатый арбузик, умеренных размеров, с жёлтой лысинкой на боку – и протянул мне. Я растерянно поблагодарила – он кивнул и нажал на газ…

Впрочем, как вы понимаете, это уже вариации совсем на другую тему.

Мартин Мелодьев

КАЛИФОРНИЙСКОЕ РОНДО

***

Все тоньше нить, что связывает нас
с той стороной Земли, где ночь зажглась:
в домах — огни, на улицах мороз…
А мы с тобой приехали в Форт-Росс.

Трехцветный флаг на башне крепостной
и трилобиты шишек под сосной;
вдоль склонов гор — сухие шланги троп,
морские звёзды с клёнов хлоп да хлоп —
и синей жаброй дышит океан
сквозь ржавый эвкалиптовый туман.
Форт-Росс… здесь нить, что связывает нас
с той стороной Земли, — оборвалась.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Египетского Ордена Розенкрейцеров
музея в Сан-Хосе, посвящённые женщинам

" Сто лет одиночества "
Маркс

Этот мир пирамид, Эхнатона с козлиным лицом —
свои тайны хранит этот маленький мир пирамид,
деревянных скульптур, погребальных вдоль Нила фелук

Неожиданным эхом во мне откликается вдруг
над фигурою женщины, месящей тесто в тоске
на доске, где извёстка муки как налёт на прибрежном песке, —
этот маленький мир старой бронзы и ржавых зеркал,
перепаханный вдоль-поперёк и ограбленный тысячу раз.

Девятнадцатым веком... на голых плечах сарафан;
лепка нежных ключиц... Сорок восемь столетий любви.
Египтянка! Каких бы стихов я о ней ни писал —
сорок восемь веков между мною и нею легли.

Перед входом в музей, где сплетаются роза и крест,
я стою, размышляя о том, как люблю я всех вас!
Даже если она: та, которой давно уже нет,
вдохновила меня, как сказали бы тут, на romance.

БОЛГАРСКИЙ СБОР

Сан-Хосе,11 мая 1997 г.

Белое мерцанье цикламен,
Синее мерцание фиалок …
Что предложишь миру ты взамен
этой жизни… Боже, как ты жалок!

На болгарском сборе, где оркестр:
два кларнета, тепан и годулка,
Вечный жид, на медный глядя крест,
я стою, и на губах моих — улыбка.

Промотавшись, век свой проморгав,
покупатель рыб у рижского базара —
вспомнил я Пицунду, храм, орган.
Юг… Что я о нем скажу болгарам?

Там земля красна. Там горький запах роз.
Море блещет утром, как шкатулка.
Там поют… Там всё поют всерьёз
два кларнета, тепан
и годулка.

* * *

Как жаль, что Вас не было здесь поутру!
И Вы бы увидеть могли б,
как рыжие листья шумят на ветру
гирляндами вяленых рыб.

Двойным полукружьем стекают холмы,
как свечи, в долины без рек.
И здесь никогда не бывает зимы —

лишь прошлое сыплет, как снег.

Осенних гуашей плакат разорви:
от третьего повесть лица.
В кустах ежевики живут воробьи,
и камерно блеет овца.

И нежно-оранжевый лист на спирту
горит, как печальная весть.
Как жаль, что Вас не было здесь поутру!..
Что вряд ли Вы будете здесь.

SANTA CRUZ

"Здесь шумят чужие города…"
Р. Блох

Чёрные деревья, склянь ветвей;
в небе зажигаются огни.
Спой мне… не смотри, что я Орфей.
Обними меня покрепче. Обними.

Здесь шумят чужие города,
с высоты полёта видятся орлу
океанских пляжей борода,
крест, упавший камнем на скалу.

Ветер белкой шастает в листве,
облака; то ватой, то кирзой,
как десант на Мемельской косе,
обагряющие горизонт.

Санта-Крус. Испанская страна.
Целую империю — отдать!
Впрочем, наше дело сторона…
Наше дело небом торговать.

Здесь на чёрном кружеве ветвей —
звёзды, жемчугами Низами.
Спой мне… Ну какой же я Орфей?!
Обними меня. Покрепче обними.

* * *

"Расскажите мне о Сан-Франциско…"
Расскажу, как я считаю нужным.
Этот город кажется мне вечным
и скорее северным, чем южным.

В нём дома нежны и анемоны,
церкви в нём застенчивы и строги.
В нём растут во двориках лимоны,
толстокожи, словно носороги.

"Расскажите мне о нём попроще…"
Это можно, если постараться.
Вся в бездомных бронзовая площадь: [1]
знак если не равенства, то братства.

В нём живут лифтеры и калифы,
королев приветствуя при встрече,
и стоят, как цапли, эвкалипты,
в чёрно-красный врезанные вечер.

"Расскажите мне о Сан-Франциско…"
В нём Есенин с Анненским не в споре.
Я его люблю не потому, что
никогда я не был на Босфоре.

Расскажите мне
о Сан-Франциско.

ФЕШИН

Не имея пристрастия к теремам,
жить здесь можно — пусть и не как в раю.
… Мастер Фешин по тем же ходил холмам,
на которых и я стою.

Ту же зону Залива обозревал,
то же небо. Ну разве чуть голубей.
…На его натюрмортах лежит Урал,
фрукты светят, как стадо цветных камней.

Быть эстетом опасно, и неспроста
над художниками Дамоклов нож…
Вдоль пролёта ржавеющего моста
перекатываясь, клубится туман, как ёж.

Здешний климат помог ему, но не спас.
Отлетая на север, душа, как лист
побледнев, прошептала: "In God we trust."
…И вдали засмеялись: "Ну ты артист!"

Не отыщешь в музеях сухую трость.
Не тряхнёшь, как термометр, сухую кисть.
И грачи не обрушат сухую грусть,
потому что грачи не бывают здесь.

Но вздохнёт любознательный ротозей:
(в Калифорнии птица такая есть)
"Мастер Фешин, художник цветных камней,
призрак сих виноградных мест".

***

Я в комнате Тани Алфано в приюте «Retirement Inn».
Два кресла, кровать, фортепьяно, и мы говорим, говорим...
На стенах, в тяжелом багете, Венера и князь Мономах;
в углу образа, на буфете — последний российский монарх.
Взгляните на фотопортрет бийчанки Татьяны Алфано
в Харбине: как это ни странно, был город, и вот его нет.
Мне сорок, ей, может быть, вдвое... Какими ветрами судьбы
свело во вселенском прибое две жизни?.. Взгляните и Вы —
пусть Вам и покажется странным ловить улетающий дым —
на комнату Тани Алфано в приюте «Retirement Inn».

---

[1] United Nations Square

МОНТЕРЕЙ

В четыре такта клекот голубей,
даль розовата в бухте Монтерей,
и чайка вздрагивает, медленно упав
в ковры лиловых и лимонных трав.
Ракетка пляжа чуть наклонена,
над ней Луны серебряный волан;
неторопливо — за волной волна —
накатывает океан.
Холодными ладонями воды
пасьянс коры и водорослей стерт,
и облака сбиваются в ряды,
сбавляя ход.
Неотразим классический изыск
фонтанов черных скал и белых брызг
сквозь сосны, обступившие фривэй
над бухтой Монтерей.
Нестройные: порядок здесь таков —
деревья скроены лекалами ветров.
О чем же ты грустишь, воздушный змей,
над бухтой Монтерей?

АРБА КАДАВРА

Мне снилась арба, на которой меня хоронили,
серебряный бор в пелене сан-францисского дня —
и так же, как с вечера старые песни томили,
виденья минувшего вновь обступили меня.
Готическим замком — крылатая ель... все так просто,
Андреевским флагом в скрещеньи лучей — паруса,
и в рыбьих глазах отражается ложное солнце
стихов незнакомца эпохи начала конца.
Вернуться домой, где по-прежнему вертит зонтами
все тот же четвертый, идущий до рощи, трамвай
и давняя осень, то ржавая, то золотая,
у ветра в руках, как на блюде резной каравай.
Вернуться домой... Там латаются в дырах прорехи.
Там женщина вдруг улыбнется, как русская речь.
Домой...
Еще можно прийти, но уже невозможно приехать,
вернуться, остаться... Такая вот странная вещь.
Ну что она мне, Алибасов, сия антреприза?
Сиреневый камень, обмылок души, чароит...
В потертом цилиндре Тургенев, как бедная Лиза,
широкое небо, как фокусник ленту, хранит.

***

Когда-нибудь — хоть в этой круговерти
«когда-нибудь» звучит почти как нет —
устав играть подрамник на мольберте
в балете «Тихий дон и конь Мольберт»,
умру и я, ведь в этой круговерти
«когда-нибудь» как «песня и балет».

Ой, мать сыра-земля! — глухой и темный
запев забытых богом деревень,
а здесь весна, и по тропинке горной
сошел, как будто снизошел, олень.
В Сибири до сих пор стоят морозы,
прислушиваясь к пушкинским стихам,
а здесь цветут горчичные мимозы
и горизонт в малярных кистях пальм.
Над океаном тучи бродят, чалясь
к вершинам гор небесной красоты —
и только ты все смотришь, опечалясь,
в лесу на эти синие цветы.

Что ж милая ты смотришь, опечалясь,
на эти, иностранные, цветы!?
Не для тебя ли в эту ночь качались
араукарий длинные хвосты?

В испанском стиле, азбукою Морзе,
вдоль берега как ряд радиограмм
стоят дома... скульптурно вьются розы
и шелестят сухие кроны пальм.
И пересмешник свистнул неубитый
над этой жизнью, прожитою, ... зря.
Глаза мои открылись, я увидел
тебя, американская земля!

В Сибири до сих пор стоят морозы,
...умру и я, вернув кукушкам слезы.

ТАНГО ЗАЛИВА

У побережья есть свои каноны
сюжетные: кула ни бросишь взгляд —
земля и небо, каменный цукат
Президио … марина, тропы, склоны.

Стрелковым тиром пахнет эвкалипт,
растущий в изобилии повсюду,
похожий на разбитую посуду
в обрывках этикеток... Многолик
и этот город, ветреная гейша,
продев гостям навстречу утром рано
в шиньон залива гребень Голден-Гейта
работы инженера У.Тамаро.
Цветными штукатурками домов
полуфанерных — на волнах холмов
уставленный. Каникулы в яхт-клубе.
Любимый Чайне-таун, толчея.
Две барышни гуляют лесбия,
якут Агава, затужив по клюкве
отечественной, прыгает с моста,
перебирая на пленере строфы.
И лишь гора Сан-Бруно, дочь Голгофы,
стоит как жизнь, сравнительно пуста.

Сергей Кузнечихин

РАССКАЗЫ

ОЧЕВИДЕЦ

Помнил ли он? Больше, чем помнил. Этот день неотвязно следовал за ним, чуть зазевался, а он уже перед глазами – здравствуйте, вы не забыли меня? Ладно еще, если один на один, так он и при людях норовит в самый неподходящий момент. Так врезался, что ни стереть, ни смыть, ни закрасить, ни вытравить.

Их рейс задержали на три часа, и самолет взлетел уже ночью. Сразу после набора высоты в салоне выключили свет. За иллюминатором было темно: ни звезд, ни облаков – сплошная непроглядная чернота. Он закрыл глаза и опустил спинку кресла, но под ребра уперлись колени сидящего за ним акселерата. Какой уж там сон. Пришлось доставать карты и раскладывать пасьянс, более надежного способа скоротать время он не знал. Включая лампочку индивидуального освещения, он по ошибке нажал кнопку вызова стюардессы. Извиняться за ложный вызов с картами в руках он посчитал неприличным и спрятал колоду в карман. Но стюардесса не спешила, и досаду на собственную рассеянность сменило желание нажать кнопку повторно и выговорить этой размалеванной девице, как следует обслуживать пассажиров. А когда в его спину очередной раз толкнулись чужие колени – подумал, что и этому длинноногому не мешало бы объяснить, что воспитанные люди должны думать о том, чтобы не докучать попутчикам излишками своего тела. Кнопку он, конечно, не тронул и выговаривать никому не стал. Только удивился своей раздражительности. Еще подумал, с чего бы такое или – к чему. Отгоняя дурные мысли, он вернулся к пасьянсу. И тут появилась стюардесса. Она подошла неслышно, и ее появление даже немного напугало его, ну, если не напугало, то привело в растерянность.

– Вы меня звали?– спросила она шепотом, чтобы не беспокоить спящих.

– Извините, пожалуйста, я нечаянно нажал на вашу кнопку, когда включал свет.

Она посмотрела на карты, разложенные на столике.

– Ну как? Сходится пасьянс?

Спросила и улыбнулась. И сочувственный голос, и простоватая улыбка словно застали его врасплох. Не ждал он такого интереса к себе. И ему захотелось вдруг понравиться девушке без всяких, разумеется, продолжений, просто оставить хорошее впечатление.

– Пока не сходится, но будем надеяться.

– А можно загадать на него желание?

– Конечно, можно.

Ей очень шла форма, подчеркивала и поразительно узкую талию, и высокую, еще не расплывшуюся грудь. Насчет размалеванности он тоже перегнул, совсем наоборот: очень приятное и свежее лицо, немного деревенское даже. Впрочем, это могло ему показаться из-за плохого освещения, недаром же оно размылось в памяти, а фигура и осанка запомнились четко.

– Загадывайте,– сказал он.– Пасьянс довольно-таки сложный, зато, если сойдется, желание обязательно сбудется. А я постараюсь, мне хочется, чтобы сошлось.

Ему и желание хотелось узнать, но спросить не решился. Жалко было, что место рядом с ним занято, иначе бы она непременно присела. Он же видел, как ей интересно. Но рядом с ним размеренно сопела пожилая и на самом деле размалеванная дама. В самолете вообще не оставалось свободных мест. Он сам видел, как люди просились на этот рейс, а им отказывали.

– А когда можно узнать, сошлось или нет? До посадки успеете?

– Буду стараться, а не уложусь – сяду в зале ожидания и не уйду, пока не получится,– пошутил он.

– Смотрите, не обманите, я на вас надеюсь.

Стоять долго в проходе было неудобно да, наверно, и неприлично. Стюардесса ушла к себе, а вернулась уже перед началом снижения.

– Ну как? Сбудется мое желание?

Пасьянс не сошелся, но он все-таки обнадежил ее.

– Обязательно.

– Вот спасибочки. Не забудьте пристегнуть-ся, идем на посадку.

Очень милая девушка, но ремнем он не пользовался никогда, из суеверия: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет»,– говорил он обычно в таких случаях.

Самолет сделал круг над аэродромом, но не сел и пошел на второй заход. В хвостовой отсек торопливо прошел человек в летной форме, скорее всего, бортмеханик. Потом появилась стюардесса с привычной программой.

– Граждане пассажиры, не забудьте пристегнуть ремни, температура в городе...

Договорить она не успела. Самолет дернулся от резкого удара. Стюардесса вскинула руки. Колени длинноногого врезались в его ребра. Он подскочил над креслом. И тут же погас свет. Но не надолго. Ему показалось – всего на секунду. И снова вспыхнул. Только это уже был настоящий, живой огонь.

Горели обломки самолета.

Он стоял по пояс в снегу и ничего не слышал, ничего не понимал. Снег от огня окрасился в бледно-розовый цвет. На нем чернели человеческие тела. Все казалось неподвижным. Все, кроме пламени над обломками. И тишина, подозрительная, совсем ненужная, пугающая тишина. Он крикнул, но голоса своего не услышал. Он крикнул еще раз, и еще, и еще. Плясал огонь, розовел снег, метрах в пяти от него стоял лысый мужчина и размахивал руками. И вдруг обрушился рев, мощный, до боли в ушах, словно где-то повернули регулятор звука на полную мощность: вой сирены, стреляющий треск пламени, стоны и чей-то дребезжащий голос, может быть, и его собственный.

Потом появилась машина, забегали люди с носилками, а за ними – и он: кому-то помогал, подставлял плечи под чью-то руку, вел к машине и снова брел на чей-то крик или стон.

Глубокий снег спас его и еще многих, но передвигаться по нему было невыносимо тяжело, особенно на обратном пути, когда приходилось тащить на себе человека. Это в кино красивый мужчина берет на руки больную женщину и несет без отдыха долгие километры, а здесь волоком, пятишься, вцепившись в воротник. Хорошо, если повезет и выберешься на уже проторенную тропу, а – нет, тогда ползком, проклиная каждый метр.

Совсем рядом с одной из таких троп он увидел распластанное тело. Ему послышалось, что его зовут. Но он ошибся. Человек лежал неподвижно и уже успел закоченеть. Но не смерть его испугала, а вывернутые карманы: кто-то грабил мертвецов. Он начал присматриваться, надеялся застать мародера за его подлым занятием. Вот уж на ком следовало бы отыграться. Однако помощь была нужнее мести. И он снова тащил кого-то к машине, временами сам теряя сознание.

Потом ему рассказали, что их самолет разломился пополам, поэтому и уцелела часть пассажиров из среднего салона. Поиски раненых продолжались до утра. Но никто не смог объяснить ему, сколько времени продержался он сам. Час? Два? Очнулся он в больнице, через день. Последнее, что он помнил из кошмарной ночи, – тело стюардессы. Верхнюю часть ее прекрасного тела. Разрубленного по талии.

Домой он возвратился спустя месяц. Посмотрел в зеркало и не узнал себя.

В больнице он с трудом вспомнил, что зовут его Александр Матвеевич, а фамилия у него Коншин. Зато слишком помнил другое. Больше, чем помнил. И уживаться с такими воспоминаниями, держать их в себе было страшно...

И вот он сидит в гостинице затерянного на отшибе от города рабочего поселка, а какой-то холеный красавчик рассказывает об этом рейсе, на котором якобы должен был лететь, но заболела супруга и так далее, и тому подобное. Рассказывает ему, Коншину. Что за несуразицу он несет? Какое имеет право? И тогда Коншин обрывает его.

Он – о ч е в и д е ц.

Нет, он не выставляет себя героем. И если упоминает, что помогал собирать раненых, то не с целью самовосхваления, а потому, что сам не понимает, за счет чего держался. Правда, врачи объяснили, что в шоковом состоянии подобное случается. Врачам виднее. Остается им верить, а что делать, иначе можно сойти с ума. Он почти не останавливается на том, как ползал по сугробам. Зачем? Холеный чистюля с породистым лицом наверняка думает, что и он бы так поступил. Коншин, конечно, сомневается. Но, опять же, не в этом дело. В памяти встает мертвый человек с вывернутыми карманами. А чему удивляться: северный рейс, и каждый второй бумажник туго набит если не четвертными, то червонцами обязательно. Денежки – они не пахнут. Вот для чего нужна смелость. Холеный собеседник смущен. Живых грабить страшно, а мертвых еще страшнее. Глаза мертвых страшнее суда и тюрьмы. Слушателю не по себе от таких слов, он не может понять, куда клонит Коншин. Не у всякого хватает смелости совершить подлость, а вот способных на подлость ради своей

шкуры – предостаточно. Значительно больше ожидаемого. А это страшнее, чем мародерство. Он, Коншин, видел, как люди дрались из-за места в уезжающей машине. И не те, кому помощь нужна была в первую очередь. Те драться не в состоянии. А среди тех, кто дрался, было не только отребье, но и вполне уважающие себя люди. Вы думаете, если у Коншина – бельмо, значит, он ничего не видел. Все видел. Оно не смогло помешать. А может, его и не было – этого ужасного бельма. Коншин сам его обнаружил только после выхода из больницы. Так что, уважаемый счастливчик, случайно не попавший на аварийный рейс, не отводите взгляда, рассматривайте, не бойтесь обидеть Коншина. Вы, конечно, сочувствуете ему, жалеете. А кто дал вам право его жалеть? Жалеют бедненьких, слабеньких, обиженных. А Коншин не бедненький. Он богаче вас. Он сумел побывать в аду и вернуться оттуда. Сумеете ли вы? Холеный тяжело переваривает услышанное: впечатлительная натура. Он потрясен и растерян. И еще он напуган возбуждением, охватившим самого рассказчика. Он достает из портфеля коньяк, припасенный на случай делового визита. Он хочет помочь человеку, который оказался на том рейсе, может быть, вместо него. В возможности такого совпадения Коншин не сомневается. Он в него не верит, только и всего. Чудес не бывает. Ну, а коньяк не помешает, вместо снотворного, но рассказывал он не ради выпивки. Да и откуда ему знать, что припрятано в чужом портфеле.

Рассказывал он для того, чтобы этот холеный мужик не завирался. Или – знал свое место. Так ближе к истине. Но, главное, что ему не под силу держать в себе увиденное той ночью. Оно требует выхода. И он рассказывает...

Какой-то плешивый экспедитор ничуть не удивился появлению мародеров. И обнаженная грудь на обрубленном теле юной стюардессы оставила его совсем спокойной. Интерес вызвало совсем другое: возместил ли Аэрофлот убытки или нет? Ведь у пассажиров в аварии пропал багаж, могла пострадать и одежда. А если возместил, то каким образом? Можно признаться, что добра в чемодане было на тридцать рублей, а можно и на тысячу замахнуться. Как проверить? Вопросы рассердили Коншина. Кого не оскорбит человеческая черствость? Но с другой стороны – кто про что, а вшивый про баню – стоит ли тратить нервы на всякое ничтожество? Коншин летел в командировку на пять дней, и в его портфелишке, кроме бумаг и смены белья, ничего не было. Да разве в этом дело? Разве о барахле он думал? Но экспедитор гнул свое и рассуждал о компенсации. Коншину даже показалось, что ему не поверили.

Кончилось тем, что они поссорились.

После встречи с мнительным экспедитором Коншин зачастил на барахолку и сумел купить форменный полушубок. Отдал двести пятьдесят рублей, а в его рассказе появилась новая деталь: когда его выбросило из кресла, пальто лопнуло на спине и, что характерно, не по шву, а поперек. Разумеется, он узнал об этом лишь при выходе из больницы, когда после долгих извинений ему вручили новенький полушубок. А за потерянный портфель выплатили четыреста рублей.

Находились и другие подробности, более яркие. Он почти не вспоминал о вывернутых карманах, зато появился щупленький мужичонка в мутоновой шубе с рукавами, свисающими почти до земли.

Но маловеры попадались редко. Да и не с каждым встречным делился Коншин своей историей, приглядывался, выбирал момент. Лучше всего располагали к беседе провинциальные гостиницы и привокзальные буфеты. И, конечно, обязательное отсутствие знакомых. И вообще, прежние знакомые стали его тяготить. Специально он ни с кем не ругался, но раздражительность свою не старался сдерживать. Их разговоры казались ему скучными и пустыми. Если он оказывался в гостях, то чаще отмалчивался, сидел с мрачным лицом, листал газеты и разве что изредка зачитывал заметки о происшествиях. Никому не понятная новая манера Коншина быстро надоела, и его стали избегать. Разладилось у него и с сослуживцами. К тому же он стал попивать, пусть в меру, не теряя памяти и контроля над собой, но регулярно. Работу выполнял рассеянно, путал документацию, ошибался в расчетах. Натянулись отношения с начальством. После очередного объяснения он подал заявление и ушел работать заготовителем, без обид, без сожаления. Через месяц он уже и не вспоминал, что когда-то звался инженером-проектировщиком.

В новом коллективе Коншин старался держаться ровнее, не выделялся и с достоинством, но не грубо, отводил любые попытки сближения. Потому и удивился, когда у дверей конторы к нему шагнул молодой парень.

– Здравствуй. Не узнаешь?– спросил парень.

Обращение на "ты" насторожило Коншина.

– Нет, не припоминаю.

– Странно. Год назад мы встречались в Салаирской гостинице.

Коншин действительно не помнил его, хотя в Салаире он был, и время совпадало, но парень ему не нравился.

– Ошибаетесь. Я не знаю никакой Салаирской

гостиницы.

– Рад бы ошибиться. Только должочек за мной.

– Какой долг?– Коншин силился вспомнить и не мог, но усмешка парня его тревожила.– Вы спутали меня с кем-то.

– Ты же рассказывал, как в аварию попал?

– Какую аварию?– Коншин притворился удивленным.

На парня это не подействовало.

– Контору сменил. Следы заметаешь? А я в прошлом месяце в том же Салаире встретил человека с твоей прежней работы. Савельева знаешь?

Савельева Коншин знал и понял, что его продали, но отчитываться перед этим сопляком не собирался – много чести. Он развернулся, но парень загородил дорогу и цепко схватил его за руку.

– Постой! Я и так в третий раз прихожу. Так вот, Савельев сказал мне, что ни в какую аварию ты не попадал. Это был совсем другой человек. И было там совсем по-другому. А ты, гнида, если не видел, так не плети на людей напраслину. Тоже мне – мужик в женской шубе. Уж не с бельмом ли он был?

На них оглядывались. Коншин вырвал руку и шагнул было мимо парня, на тротуар, но тот успел ударить его в лицо. Коншин упал.

– Вставай!

Коншин услышал приближающийся топот и решил, что парень побежит: народ же видел, кто затеял драку.

– А ну вставай! Легко захотел отделаться! – Убегать он явно не собирался.

И тогда побежал Коншин.

За ним никто не гнался. Но все-таки заскочил в первый же троллейбус, не обращая внимания на маршрут, лишь бы ехать, лишь бы подальше от опасного места. Очень хотелось пить и не чего-нибудь, а пива. Пива, и как можно больше.

А уже через неделю в тамбуре плацкартного вагона он объяснял простодушному деревенскому старичку, почему, несмотря на спешку, едет на поезде. Но в его истории появился новый герой – молодой парень, вырывающий сережки из ушей мертвой женщины. Коншин хорошо запомнил его лицо и надеется его встретить, вероятность, конечно, мала, но должна же быть справедливость.

Старичок торопливо соглашается. Взгляд его полон сочувствия. Он немного напуган, этот уставший от поездки в шумный город человек, но ему не терпится услышать, что было дальше.

И Коншин продолжает свой рассказ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гостиница в праздничные дни пустовала, и дежурная светилась радушием. Наверное, ей самой нравилась эта непривычная роль доброй хозяйки. Воркующим говорком она перечисляла всевозможные удобства, ожидающие гостей, и разве что на мгновение, когда Валентин попросил одноместный номер, оценивающе скользнула взглядом по приезжей парочке, и в лице ее появилась привычная администраторская брезгливость. Но Верочке хва-тило и беглого взгляда.

Когда вошли в лифт, Валентин, подражая голосу дежурной, стал нахваливать гостиницу:

– К вашим услугам холодильник с температурой в морозильной камере плюс пятнадцать градусов по Цельсию и ванна с температурой минус пятнадцать. Кроме того – замочные скважины укомплектованы увеличительными стеклами, а койко-места – сигнализацией.

В другое время Верочка и подыграла бы ему, но не теперь. Совершенно не было сил. И Валентин мог бы это заметить, поберечь свои шуточки на более спокойные дни и совсем уж не обязательно было упоминать о гостиничных койках.

Две недели назад в неопрятной поселковой гостинице к ним в дверь барабанила дежурная и требовала, чтобы посторонняя освободила мужской номер. Дежурная была молодая, голосистая, она постоянно кокетничала с жильцами, и все знали, что ее зовут Оксаной Петровной. Так совпало, что оба соседа Валентина улетели на два дня в тундру, и Верочка осталась у него. Единственный раз за всю месячную командировку, но нюх у Оксаны Петровны был не хуже, чем у тренированной служебной овчарки. Голос за дверью прогремел на весь коридор, и Верочка готова была прыгать со второго этажа, только бы не выходить под любопытные взоры. Валентин подождал, пока она оденется, и впустил дежурную. Верочка так и не повернулась к ним, стояла у окна и наблюдала за мигающим на ветру уличным фонарем. Ждала, что он вот-вот погаснет, но после каждого провала в темноту лампочка загоралась снова. Напрашивалось красивое сравнение с ее, Верочкиными чувствами, но женский голос за спиной все низводил до циничной похабщины. А Валентин как-то сумел успокоить Оксану Петровну. На этого увальня невозможно было кричать. Тяжелая фигура и большое неподвижное лицо создавали образ абсолютно непрошибаемого человека. Дежурная даже извинилась перед уходом и сказала, что она все понимает, но порядок есть порядок. Только что могла понимать эта молодая и красивая бабенка?

Ну, поймала в мужском номере образованную тридцатидвухлетнюю очкастую худышку, а Верочка была уверена, что дежурная обязательно помнит о ее дипломе, ну, унизила ее, а на прощание вдруг захотелось прикинуться понимающей – нет уж, извините, Оксана Петровна, но понять вам не дано, потому что вы слишком цените свое пышущее здоровьем тело и никогда не смогли бы три с лишним года делить с мужчиной все трудности, вы бы или женили его на себе, или занялись поисками более удобного варианта. Верочка сама не понимала, почему крики через дверь задели меньше, нежели попытки высказать понимание. Разумнее было бы поскорее забыть Оксану Петровну, но не получалось. Нервная взвинченность не отпускала ее до конца командировки, и самое тяжелое было в том, что агрессивность ее замыкалась на Валентине.

Открыв свой номер, она подошла к зеркалу и, рассматривая себя с безжалостно близкого расстояния, выговорила: «Ты устала, Верочка, а тебе нельзя быть усталой, это слишком шикарно для тебя. Иди умойся и приведи себя в порядок, а еще лучше – ложись в ванну и не вставай, пока не помолодеешь на десять лет».

Но разлеживаться было некогда. Валентин всю дорогу мечтал добраться до гостиницы, где есть плита, и сварить уху из нельмы, точнее из остатков после строганины. Да и самой хотелось есть. Однако под душем все-таки постояла, заодно и переоделась, вылезла из надоевших брюк. В гостинице было на удивление тепло.

Валентин встретил ее с журналом в руках. Видимо, как пришел, сразу же и уткнулся. Вещи стояли возле порога еще не разобранные. Даже тапочки поленился достать.

– Ты бы хоть душ принял. Я вот сполоснулась, переоделась и так хорошо себя чувствую.

– Вот и прекрасно. Я тоже хочу хорошо себя чувствовать, только еще сильнее хочу кушать.

– Да не ленись ты, успеешь, пока я готовлю.

– Давай лучше сначала поедим, потом я помоюсь и быстренько ляжем баиньки.

– Нет, нет! И не думай об этом, я пойду к себе.

– Здесь даже коридорных нет...

– Прости, Валечка, но не могу.

– Тогда я назло тебе мыться не буду,– засмеялся Валентин и стал доставать из сумки все, что у него было приготовлено для ухи.

Когда она заканчивала собирать на стол, в дверь постучали. «Вот видишь!» – чуть не крикнула Верочка, уверенная, что это кто-нибудь из гостиничного персонала.

Валентин пошел открывать и вернулся с мужчиной, который рядом с ним казался мальчиком.

– С наступающим праздничком! – сказал гость.– Я – Теодор, из города на Неве.

– А мы из города на реке, впадающей в Карское море.

– Понятно. Сожалею, что не довелось побывать.

Сожалел, разумеется, из вежливости, но зачем при этом губы кривить? Может, не понравилось, что на его ребус Валентин ответил своим? Верочка даже засомневалась в географических познаниях гостя. Может, он забыл, где находится Карское море и какие реки в него впадают? Но они в этом не виноваты. И не они первые начали. Однако в номере пахло ухой, тарелки стояли на столе, и не пригласить было неудобно.

А он взял и не отказался.

– Мы здесь проектируем кое-что, вот и застрял на праздники, в порыве трудового энтузиазма, разумеется, не личного,– объяснил Теодор.

– В таких апартаментах я бы тоже с энтузиазмом застрял.

Зависти в тоне Валентина не было, но гость ее усмотрел, и это прибавило ему самоуверенности. Приподняв свои детские плечики почти до ушей, он снисходительно ухмыльнулся. Снисходительность на таком суконном лице казалась по меньшей мере неуместной, впрочем, и весь его облик, в котором ухитрились слиться детская миниатюрность и старческая изношенность, вызывал у Верочки тревожные предчувствия.

– Абсолютно рядовые номера. Все познается в сравнении. Гостиницы, знаете ли, как поезда, точнее, как вагоны: есть общие, а есть и мягкие... и правительственные тоже есть. Приезжайте в Ленинград, я устрою вас в приличное место, и тогда поймете.

Валентин, дорвавшись до стола, сидел с набитым ртом и ничего не ответил, а может, и вовсе не понял, что его пытаются унизить. Верочка и раньше замечала, как он пропускает подобные уколы, не обращает на них внимание, потому что знает во много раз больше всех этих остряков-самоучек и сильнее любого задиристого хама. Порою она даже любовалась его ленивой невозмутимостью, но сейчас ей хотелось, чтобы он поставил незваного гостя на место. А Валентин продолжал жевать.

– Вы попробуйте уху. Из нельмы,– предложила Верочка.

– Спасибо, я только что из столовой. Переедать не люблю, у меня хватает силы воли держать себя в форме.

А у Валентина, значит, не хватает. Если даже и так, то все равно это ничего не значит. Сильный

человек может позволить себе маленькие слабости. Но ее Валентин никогда не позволит себе такие бесцеремонные намеки.

– Тогда, может быть, чаю?– еле выдерживая гостеприимный тон, предложила Верочка.

– Чайку можно. Не собираетесь к нам в Ленинград?

– Мне хочется в Русский музей, на врубелевского «Демона» посмотреть.

– Вот-вот. Город-памятник, город-музей. А для меня это просто дом. Я там живу, и мне, представьте, некогда заниматься шатанием по музеям. Кстати, как вы относитесь к ленинградцам?

– Так же, как и к саратовцам,– ответил Валентин, наконец-то отодвигая пустую тарелку.

– А причем здесь саратовцы?– опешил Теодор.

– Вологжане тоже не подойдут?

– Ну вы даете,– гость нервно хохотнул.– Разве можно сравнивать Ленинград с каким-то Саратовом и тем более с Вологдой.

– Так вы же не о городе спросили, а о жителях.

– Это вам из Сибири кажется: и Вологда, и Ленинград...

Верочка ждала, что Валентин вот-вот рассмеется и признается, что родился и вырос в Гатчине, а в Сибирь приехал уже после института.

– Нет, вы меня просто развеселили,– не мог успокоиться Теодор.– Ленинградцы, это как бы вам сказать...

– Да уж скажите как-нибудь.

– Ну понимаете... Нет, в Ленинграде надо жить, чтобы это понять.

Теперь было самое время раскрыть карты, но Валентин принялся за чай, а Верочка вмешиваться не осмеливалась. Ей хватило и этой маленькой победы.

– Может, еще чайку?– спросила Верочка.

– Спасибо, да и пора мне. Я, собственно, по делу пришел. Командировка затянулась. Завтра или послезавтра ожидаю дотации из двух источников. А сейчас на абсолютном нуле. Червонец меня вполне устроит.

Вот, значит, откуда такая спесь – человек стеснялся просить, а она приняла маску за настоящее лицо. Сумочка висела на стуле, и Верочка не раздумывая протянула десятку.

– Вы улетаете через два дня?– переспросил Теодор.

– Рано утром,– уточнил Валентин.

– Да я завтра же занесу. Источники дотаций у меня надежные.

Верочка почти не слушала его, ей не терпелось узнать, почему Валентин не объявил, что родился в Ленинграде, и когда гость ушел, сразу же спросила.

– А зачем?– удивился Валентин.

– Поставил бы его на место.

– Зачем? Он воспринял бы это как попытку подняться до его уровня. А вот деньги зря отдала.

– Так он завтра принесет.

– Если бы мне сейчас возвратили треть гос-тиничных долгов, я бы повел тебя в лучший ресторан и заставил бы музыкантов петь гимны в твою честь, пока не сорвут голоса.

Верочка пересела к Валентину на колени и, закрыв глаза, ткнулась носом в его толстое упругое ухо, затихла. Совершенно расхотелось обсуждать визит этого несуразного Теодора и, тем более, переживать из-за несчастной десятки, хотя конец командировки у всех одинаков, и у нее оставалось всего пятнадцать рублей.

Их она истратила на следующий день, рассорила на безделушки.

А Теодор к вечеру не появился. Время подходило к двенадцати, а они все не ложились, ожидая прихода гостя. И опять же не деньги ее беспокоили, а страх перед всепонимающим взглядом постороннего человека.

– Да не придет он,– сказал Валентин и потянулся.

– А вдруг? Он же обещал.

– Знаю я эти обещания.

Верочке жалко было оставлять Валентина одного. Всю командировку мучились в убогой хибаре, которую и гостиницей стыдно было назвать, и вот случай расщедрился, подарил на три ночи райское гнездышко, а другой случай тут же поспешил подослать Теодора, который все испортил.

К обеду следующего дня выяснилось, что у Валентина тоже не осталось денег, и если долг не возвратят – им не на что будет добраться из аэропорта до дома.

– А что же делать?– спросила Верочка уже испуганно.

– Подождем до вечера, а потом придется идти и требовать.

– А вдруг у него не будет?

– Пусть ищет.

Сказано было очень уверенно, однако Верочка не могла представить, как мягкохарактерный Валентин будет требовать деньги.

И снова ожидание, пустая трата времени, лишнее взвинчивание нервов. Хорошо еще, в номере работал телевизор и хоть как-то отвлекал. Досидели до программы «Время».

– Хочешь, я схожу?– предложила Верочка.

– Вот еще не хватало.

– Я отдала – мне и забирать.

– Перестань. Сейчас начнется концерт, по-

слушаем хорошие песенки, воодушевимся, а там посмотрим.

Когда передавали прогноз погоды, зазвонил телефон. Валентин неохотно поднял трубку, но вдруг улыбнулся:

– Сейчас спущусь.

– Кто звонил? Он?

– Должник предлагает спуститься к нему. Наглость, конечно, да черт с ним.

Верочка надеялась, что Валентин вернется минут через пять, самое большое – пятнадцать, и тогда они спокойненько поужинают, по-домашнему, не оглядываясь на дверь. Она заварила чай, открыла консервы. Но Валентин задерживался. На экране появилась обожаемая Верочкой Анна Герман. Она пела о любви – «Красивая и смелая дорогу перешла...» – известная вроде песня, а словно впервые услышала, и глаза намокли. Ведь и ее, Верочкину дорогу в любой момент могли перейти, настолько все зыбко в их отношениях. И не обязательно красивая, достаточно быть смелой, выберет момент, когда какой-нибудь Теодор испортит настроение, воспользуется временной размолвкой и перейдет дорогу, и все дальнейшее потеряет смысл. Анну Герман сменила Толкунова. Чай остывал. А Валентин не возвращался. Верочка взяла телефонный справочник, нашла номер, но звонить не стала – может, разговорились мужики, может, Ленинград вспоминают, чего доброго, еще и общих знакомых найдут, разомлеют от воспоминаний, а тут она с контрольным звонком.

Прошло еще полчаса, и Верочка снова подняла трубку. Диск вращался туго, и аппарат приходилось придерживать.

– Алло, вас слушают.

Верочка молчала. Язык у Теодора вроде как заплетался.

– Алло, ну что же вы робеете? Если вы прекрасная незнакомка, то я вас давно жду.

Голос пьяного человека. Верочка торопливо нажала кнопку, и голос превратился в комариный писк зуммера. Даже этот изношенный недомерок претендует на прекрасную незнакомку. Неужели находятся и для него? А может быть, и находятся, иначе откуда такое самомнение. Но себя на месте такой незнакомки Верочка представить не могла, у нее даже губы повело от брезгливости.

Дверь в номер была полуоткрыта, и Верочка слышала, как на лестничной площадке остановился лифт. Шаги Валентина перепутать с другими было невозможно.

– Это ты звонила?

Верочке не хотелось сознаваться, но чувствуя, что краснеет, сказала.

– И правильно сделала. А то бы мне еще час пришлось слушать их треп. Ты знаешь, зачем он меня позвал? Выпить. К нему пришел какой-то мужик с фляжкой спирта.

– А долг не отдал?

– Нет, конечно, и спрашивать как-то неу-добно после угощения.

– Что же нам делать?

– Обойдемся. Здесь на электричку наскребем, а в нашем порту возьмем такси, правда, придется тебя в заложницы оставить, пока домой за деньгами сбегаю,– Валентин прошелся по номеру и добавил:– А на следующий день ты наденешь свое самое нарядное платье, а я – самый черный костюм, и мы пешочком пойдем до загса.

Верочка сначала не поняла, зачем им туда идти. Потом, не узнавая собственного голоса, стала отказываться.

– Не надо, вдруг я тебе через два года надоем...

– Почему именно через два, а не раньше?

– Не знаю,– испуганно сказала она и схватила его за руку.– Не слушай меня.

– Я и не слушаю.

– Ты же у меня самый умный. А из порта мы тоже пешочком доберемся, если в такси не посадят. Выйдем на дорогу и потихонечку, не спеша, куда нам торопиться? Сколько там километров? Шестьдесят?

Зазвонил телефон. Валентин замахал рукой, показывая, чтобы она не снимала трубку, а сам подошел к двери и заперся на два оборота.

1987

ПРОВОКАТОР

Жидкая неутепленная дверь хорошо пропускала звук, но он несколько раз переспросил, а они – повторили, что пришли из домоуправления.

– Савилов Леонид Валерьевич?

– Предположим.

– А почему такой испуганный вид? Спали?

– От работы отвлекли.

– А звоночек у вас, как набат. Не жалеете свою нервную систему.

– Наш отечественный.

– А что это вы так презрительно об Отечестве? Нехорошо. Критиковать все мастера, а пальцем пошевелить ради собственного блага – лень. Наклейте изоленту на колокол, и звонок сбавит норов. Информация, кстати, печаталась в газете под рубрикой «Полезные советы». Или вы считаете, что от советов никакой пользы?

– Я не читаю газет.

– Странно. Сами пишете, а не читаете. Очень

странно.

– Чем, собственно, обязан? У меня, извините, работы много.

– Побеседовать необходимо.

– О чем мы можем беседовать?

– Не через порог же. Не по-христиански как-то. Может, пустите в комнату, на кухню мы не рвемся – знаем, что интеллигентские кухни только для избранной публики.

Не дожидаясь приглашения, они прошли в комнату и заняли оба кресла, оставив хозяина стоять, уселись, закинув ногу на ногу, и примолкли, как бы предоставляя возможность рассмотреть себя. Молодые, улыбчивые, в одинаковых кожаных пиджаках и джинсах с белыми проплешинами, но без босяцких заплат и бахромы.

– Значит, от работы отвлекли?

Вопросы задавал один, тот, что посуше, с богатой мимикой. Спутника его можно было принять за глухонемого или даже немного дебильного, однако мощные плечи и крепкая шея вполне заменяли красноречие.

Перед тем, как спросить о работе, сухощавый демонстративно обласкал взглядом пустую пивную бутылку. Но Савилов выговорил не без вызова:

– Представьте себе – отвлекли.

–Понятно, вдохновение требует допинга. Тем более после вчерашней гастроли. Жену, значит, сплавили на аборт, а сами – в загул. Совесть по убиенному плоду мучит, так что ли?

– Послушайте, мне кажется, это не входит в компетенцию домоуправления,– начал он довольно-таки резко, но конец фразы получился вялым.

И лицо не осталось безучастным, с него стерлась надменная, почти петушиная вздернутость, появился испуг, но сразу же исчез, и осталась неприкрытая злость.

– Ошибаетесь, уважаемый Леонид Валерьевич, у нас не рядовое домоуправление, а в некотором смысле образцово-показательное. Вы, наверное, уже обратили внимание, что сбор информации у нас поставлен?

– Обратил.

– Приятно общаться с догадливым человеком,– он сделал паузу и весело спросил: – А вам?

– Не очень.

– Другого я и не ожидал. Но вернемся к информации, чтобы рассеять остатки ваших сомнений. Нам, например, хорошо известно, что тридцатого марта вы читали свои далеко не безобидные стихи студентам университета.

– Они, к вашему сведению, уже опубликованы в альманахе.

– Поздравляем, теперь у нас гласность, свобода слова, но напечатаны пока далеко не все. И между стихами звучали некоторые устные откровения, тоже не бесспорные. Потом вы оказались в общежитии в более тесной компании, не совсем мужской. Но мы не собираемся вмешиваться в вашу семейную жизнь, хотя надо отметить, что чувство благодарности у вас недоразвито.

– Кого я должен благодарить? Вас?

– Нас пока не за что. Я жену имел в виду. Подобрала вас чуть ли не с улицы, пустила в свою квартиру, кормит, одевает, а сама в старье модничает.

– Я тоже зарабатываю.

– Знаем, знаем ваши заработки. Но пусть это останется на вашей совести. Нас больше интересуют некоторые высказывания. Может, напомнить?

Савилов готов был сорваться на крик, потом горло его дернулось в глотательном движении, и гостям досталось нечто среднее между рыком и стоном.

– Ладно, замнем. Вы, наверное, пытаетесь вычислить источник? Не ломайте голову – их много. И они не иссякнут.

– Это вы умеете.

– Стараемся работать хорошо. Но сюда мы пришли предупредить, чтобы вы поменьше болтали. А то... возьмем, к примеру, Калмыкова...

– А при чем здесь Калмыков?

– Я же сказал – для примера. Пьянствует, мелет разную чушь, а потом обижается, что не печатают. Оттого и не печатают. Стишки-то у него безобидные. Василий Федоров тоже про женские груди сочинял и ничего – обходилось. А может, и у Калмыкова в столе припрятано нечто крамольненькое?

– Не знаю. Я по чужим столам не шарюсь.

– Другого ответа я и не ожидал. Хотя, если честно, я не понимаю, какой смысл вам, серьезному поэту, выгораживать этого матершинника, стишки для него баловство, денежки, и причем – немалые, он зарабатывает фотоаппаратом.

– Меня это не волнует.

– Денежки – может быть. А девушки? Видели, наверное, какие у них возбужденные лица на фотографиях. Интересно, как он готовит их к съемкам?

– Это его дело.

– Конечно, его дело развлекаться и развратничать, а ваше – писать серьезные стихи. Книжечку с нетерпением ждете? Когда выходит?

– Не знаю.

– Скромничаете. Новый год ждете, как праздник в квадрате. Уже и верстку вычитали. Экземплярчик-то оставили?

– Нет.

– А зря. Книжечка может и не выйти. Представляете, столько лет ждали, жизнь на нее положили, а тут какие-то невидимые силы пошевелили пальчиком... и все... Ну что же вы побледнели? Выпейте пивка.

– Кончилось... Кончилось пиво.

– Сожалею. Рад бы помочь, да нечем. Кстати, вы не встречали Сентюрина в его последний приезд?

– Нет.

– Ну вот опять. Мы к вам с доверием, а вы обманываете.

– А что, вы запрещаете с ним общаться?

– Ни в коем случае. Наоборот. Общайтесь, сколько хотите – интересная личность, за бугром печатается и землякам, наверное, помогает. Задорожный случайно не передавал ему свою повесть под названием «Цыц»?

– Почему обязательно за бугор? Сентюрин вхож во все столичные журналы.

– Значит, передал все-таки?

– Я этого не говорил. Но почему обязательно за бугор?

– Потому что ситуация в стране может в любой момент измениться. И тогда Задорожный очень пожалеет, что сочинил этот грязный пасквиль.

– Но я не говорил, что рукопись пойдет за границу.

– И правильно сделали. Достаточно подтвердить, что повесть передана Сентюрину, и согласиться, что она крамольная. А дальше мы как-нибудь разберемся. Сентюриным пусть занимаются столичные коллеги, они давно к нему присматриваются, а нас пока здешние кадры заботят. Вы с Кравцовым хорошо знакомы?

– Шапочно.

– Надо познакомиться поближе. Сможете?

– Не знаю.

– Значит, сможете. А потом поговорим о вашей книге.

– Когда?

– Когда найдем общий язык.

Калмыков нажал на клавишу магнитофона и если раньше он вроде как подглядывал за гостями, то теперь посмотрел открыто, с явным ожиданием реакции. Но гости молчали, все еще не могли переварить услышанное, сидели, вжавшись в диван. И тяжелый Андрей Кравцов, и щупленький Володя Задорожный одинаково напоминали сиротливых птиц на зимней ветке городского тополя. Калмыков наполнил рюмки и жестом пригласил выпить. Володя дотянулся до рюмки с места, а Кравцов встал. Интересно было наблюдать, как медленно выливает он водку в рот, завешенный густыми усами, как ловит вилкой скользкого масленка и при этом косится на Задорожного, выжидая, что же он скажет.

И все-таки не дождался, прорвало.

– А я думаю, с какой стати ко мне Ленечка нагрянул. Он ко мне года три не заходил. Поругались по пьяной лавочке. Он мне сказал, что я дерьмовый художник, а я ему сказал, что все его стишата – седьмая копия с Пастернака. Он же, когда пережрет, всегда из себя гения корчит. Потом помирились, дело привычное, но в гости... чего-то не припомню. А тут вдруг, да еще с собственной бутылкой, сроду такого не было.

– А о чем говорили? Про что он спрашивал?

– Да сам пытаюсь вспомнить.

– Власти поди ругал?

– Он что ли? Конечно, ругал. А я, разумеется, не защищал. С чего бы!? Откуда я знал, что он по заданию. А чего сам говорил – не помню.

Освежить память он решил новой рюмкой, однако выпил не сразу, долго грел ее в кулаке, морщил лоб и вроде как вспомнил что-то, поставил рюмку на стол, но тут же схватил ее и с размаху выпил – получилось довольно-таки театрально.

– Ну Леня, ну гаденыш. Вечный халявщик и вдруг с бутылкой – сразу можно было догадаться. Я слышал, им под это дело аванс дают.

– Только штатным работникам.

– А может, его и в штат приняли, на свои он водку не берет. Но я, вроде, не слишком выступал.

– А какая разница.

Услышав наконец-то Задорожного, он резко повернулся на голос в надежде хоть на слабенькую поддержку, но осознав скользкость реплики, переспросил:

– Это в каком смысле?

– Если не было магнитофона, тебе можно приписать любую антисоветчину или как это по нынешним временам называется.

– Это с каких же пирогов?

– С тех, которые заказывали. Совсем не важно, что говорил ты. Главное, что хотели услышать они. Такая музыка исполняется по заказу, как в кабаке.

– А ведь и правда,– растерялся Кравцов.– Наплетет им, и доказать ничего не смогу. Даже морду набить нельзя, себе же наврежу. Ну Леня...

– Именно,– добавил страху Задорожный.

– А что делать, Володя?

Задорожный не спешил. Он вообще все делал медленно, без нервозности, всю страсть приберегал для прозы, совершенно не похожей на него, для повестей, перенаселенных авантюристами, злодеями и ханжами. Написанные в глухое время, эти повести отбыли свой срок в столе и только в последние год-

полтора начали появляться в журналах и сборниках, появились даже хвалебные рецензии, но автор относился к ним с иронией, по крайней мере – внешне, а для друзей и недругов оставалась прежняя скучающая, но добродушная маска.

– Володя, я серьезно не знаю, что делать.

– И я не знаю. Но у меня вопросец – послушай, старик, откуда у тебя эта пленка?

Калмыков давно ждал этого и удивлялся, почему не спросили в самом начале, но после Андрюшкиных восклицаний вопрос прозвучал почти неожиданно, и он вроде как растерялся.

– Сейчас объясню, но сначала дружненько и до дна,– однако водка пошла колом, он закашлялся и, прикрывая рот ладонью, выбежал на кухню, а вернулся оттуда хохочущим.– Знакомых в этой организации, слава Богу, не имею...

Но заполошный, переволновавшийся Кравцов не дал ему договорить.

– Погоди! Погоди! Он дело спрашивает! Откуда у тебя такая запись?

Калмыков выставил перед собой ладони с растопыренными пальцами и медленными пружинистыми движениями постарался успокоить его, а заодно и предупредить сближение.

– Сейчас открою. Неделю назад по дороге из Читы в Москву ко мне заглянули два актера. Ребята вполне надежные. Сидели, базарили о наших гиблых делах, и после третьей бутылки родилась идейка. Очень уж Леня расхрабрился в последнее время. Все у него конформисты, один он святой. Вот я и решил проверить его святость. Остальное дело техники. Магнитофон хороший, а сценарий придумать нетрудно, тем более ребята готовят спектакль с эпизодом вербовки.

На этот раз он рассмеялся более удачно: уверенно, со вкусом и даже покровительственно. Потом приобнял Кравцова, усадил его на диван, поднес полную рюмку и огурец на вилке. А тот кривил губы и отворачивался.

– Ну разыграл ты меня, ну молодец. А Ленька все равно гаденыш. Я ведь тоже слышал, как он волок на всех. Он и раньше классика из себя корчил, а когда книжку пообещали, совсем забронзовел. Одни у него чьи-то шестерки, другие – бездари.

– Потому я и решил проверить, удостовериться, так ли он прочен. Когда человек слишком выпячивает свою смелость, у меня всегда возникает подозрение...

Все это он уже говорил не единожды: сначала самому себе, потом друзьям-актерам, когда придумывался визит к Савилову, потом опять себе, когда поджидал гостей. Повторил несколько раз и постепенно выучил наизусть этот психологический трактат о трусости и тщетных попытках скрыть ее. И Леня Савилов был в нем далеко не единственным и уж никак не главным действующим лицом. Трактат претендовал на серьезные обобщения и поэтому был напичкан отвлеченными примерами. С особым наслаждением он утверждал, что женщины намного смелее мужчин, и лучшим доказательством тому служит их постоянное признание в трусости. И много других неожиданностей было у него припасено. Он собирался говорить красиво и долго, даже сел напротив гостей, чтобы по их эмоциям лишний раз убедиться в точности своих наблюдений. Собирался долго и не смог, наткнулся на молчание Задорожного.

– Подожди, Володя, ты что, не согласен?

– Почему же – согласен.

– И, главное, на кого вздумал стучать, на своих!– кипятился Кравцов.

– Не торопи события. Он пока еще ни на кого не настучал.

– Но ведь пришел ко мне со своей выпивкой!

– Недавно в газетке видел статью современного чекиста. Они в своей конторе тоже придумали и провели эксперимент: подъехали в центре города к автобусной остановке, из машины вылезли два молодца, ничего не объясняя, завернули руки мужчине интеллигентного вида и потащили в свой «Жигуль». Тащили, разумеется, подсадного. Он истерично кричал, просил у толпы помощи, но героев не нашлось. И как резюме в конце статьи прозвучал укор: «Что же вы, братья и граждане, такие трусливые?» А мне в ответ захотелось спросить – а кто же нас такими сделал? Не вы ли?

– Это совсем другое. Толпа, она и есть толпа. К тому же откуда ей знать – кого? и за что? Может, и за дело. Сейчас этих мафиози развелось... А Ленечка ко мне, к своему товарищу, к собрату по богеме.

– Я понимаю, Андрей, твой праведный гнев. Но представь, что к тебе заявился не Леня, а эти самые артисты и пообещали закрыть выставку, первую, которую ты ждал до сорока лет.

– Все равно бы послал. Тем более, с каких пирогов Калмык станет меня проверять?

– Леня тоже так думал. Он тоже в активистах не числился. Влачил свой крест и до этого визита был уверен, что сумеет с достоинством послать куда следует любых агитаторов.

– Ага, уверен, всегда и во всем. Даже слишком. Все уверены...– бессвязно бормотал Кравцов, забиваясь в угол дивана, поближе к двери, устав кричать, он, видимо, вспомнил, каким был несколько минут назад, и разозлился.

Калмыков пробовал растормошить его, склоняясь как вышколенный официант, поднес

очередную рюмку, но Андрей отказался. Первый раз в истории их посиделок можно было наблюдать, как художник Андрей Кравцов отстраняет от себя выпивку. Обиделся на розыгрыш? Конечно, обиделся. Но, может быть, не только поэтому? Может, его догнала вторая волна страха, та, незаметная, но самая тяжелая, которая наваливается неизвестно откуда, когда вроде бы уже выбрался на безопасное место, расслабился и вдруг прилетает невидимый тупой удар, парализующий ноги и отнимающий речь.

– Андрей, очнись.

– Отстань от него.

– Да что вы, ребята, шуток не понимаете.

Теперь уже Калмыков не подглядывал за гостями, а заискивающе пытался заглянуть в их лица. Не хотел и все-таки заглядывал. А они отводили глаза. Они словно прятались от него и, поняв, что спрятаться негде, как-то разом, не сговариваясь, засобирались домой.

– Вы считаете, что я не имел права на такую проверку?

– Почему же. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

И в этом «фазане» был весь Задорожный с его вечным нежеланием встревать в чужие драки, образец порядочности и объективности, человек с незапятнанной репутацией.

– Значит, зря затеял?

– Может, и нет.

– Андрей, а ты почему молчишь? К тебе же пришли, чтобы расколоть тебя и продать.

– Хватит, наговорился...

Гости потихоньку, с заминками, но неуклонно отступали в коридор. Понимая, что удерживать их бесполезно, Калмыков все-таки еще раз предложил вернуться к столу, унизился до упрашивания, а когда дверь за ним захлопнулась, послал вдогонку:

– Ну и хрен с вами!

Растянувшись в похотливой позе, на его подушке дремала самая фотогеничная особа женского пола – кошка Светка. Жена Иришка спала, поджав колени к животу, совсем как эмбрион из учебника анатомии, лежала, привалившись к стенке, оставляя кровать почти свободной. Она и в жизни-то старалась занимать как можно меньше места. Имея четвертушку бурятской крови, она с удовольствием играла роль восточной женщины и никогда не участвовала в застольях мужа, выставляла гостям щедрую закуску и уходила в спальню к телевизору и вязанью, спасаясь от путаной пьяной болтовни мужчин.

– Иришка, я тебя люблю. Ты у меня самая-самая.

Он шептал еле слышно, боялся разбудить и при этом надеялся, что она проснется утешить его, но сон у молодой некурящей и непьющей праведницы был глубоким и безмятежным. Зато кошка открыла зеленый глаз и, как показалось Калмыкову, с презреньем посмотрела на него, с незаслуженным презреньем. Он еще постоял возле кровати, потом выключил свет и вернулся к столу, налил себе рюмку, но, прежде чем выпить, повторил свою последнюю фразу, пущенную вслед гостям:

– Ну и хрен с вами. Обойдемся.

Через полтора месяца ему исполнялось тридцать семь – дата магическая и жутковатая для поэта. И пусть кое-кто поэтом его не считал, сам он давно не сомневался в собственном даре, хотя и не опубликовал ни строчки. "У Высоцкого при жизни напечатали одно стихотворение, а у меня – ноль",– говорил он не без гордости. Его оды и плачи заучивались, перепечатывались и размножались на ксероксах. Особенно знаменитыми были "Ода крепкому хрену" и "Плач сиротливого сперматозоида". Официальных поэтов знали по фамилиям, но стихов их не помнил никто, включая родственников, а его цитировали в каждой интеллигентной компании. Небольшой, но жаркий костерок для подогрева честолюбия не гас и не требовал для поддержания огня ни газет, ни журналов. Когда-то, в юные годы, он сочинил "паровоз" о космонавтах, но все равно не напечатали да еще и конъюнктурщиком обозвали, с тех пор он никуда ничего не предлагал, а чтобы не было соблазна, писал стихи, заведомо непригодные для печати. "Зачем продавать душу ради копеечных гонораров, когда можно легко заработать фотоаппаратом",– объяснял он друзьям. Пускай и не так легко, зато надежно верный "Никон" помогал добывать денежки и завлекать девушек. Неплохие денежки и хорошеньких девочек. У Лени Савилова не было ни того, ни другого. Ничего, кроме апломба и завистливой обозленности на жизнь. Стихи, конечно, были. Не такие гениальные, как ему казалось, но все-таки поприличнее тех, что проползали в печать. Подражающий Пастернаку выглядит значительнее подражающего Безыменскому. Опять же для своих, а не для редакционных ценителей. Леню тоже почти не печатали. А тут вдруг издательство ослабило гайки, с Леней заключили договор... И полезло из мужика. Наконец-то разогнулся. Но вместо спинного горба появился – грудной.

– Ну и что с того, что я примитивист? Хотите сказать, что дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие.

Не оценили шуточку. Не так поняли. Андрюшка наверняка вообразил, что пленка сделана по заказу конторы глубокого бурения. Если не Леня,

значит, Калмыков, но один-то из них обязательно оттуда. Теперь он будет подозревать всех. Еще паратройка подобных пьянок, и он заподозрит самого себя. Вон как быстренько домой засобирался и язык прикусил, хитрить надумал. Боженька отвалил парню талантище на двоих, а ума не додал. Наверное, знал, что делал. Хорошему живописцу ум не помощник, пусть думают те, которые не умеют рисовать.

– Ну и хрен с вами. Леня вас продал, а Калмыков остался виноват.

Савилов струсил, а Володька стал его оправдывать. Ему показалось, что испытание слишком жестоко. Что бы понимал в жестокости этот библиотечный мальчик. Но Бог с ним, дело совсем в другом; получается, что предавший друзей Леня заслуживает защиты, а разоблачивший его Калмыков – нет. Жестокий Калмыков отвергнут друзьями. Но любители умненьких афоризмов заявляют, что трусость и жестокость – две стороны одной медали, интересно, какой именно? Может быть, медали "За отвагу"? Значит, они с Леней родственные души. За обретение нового родственника положено поднять бокал. Калмыкову льстит такое родство. Поэтому надо наливать до краев. А если через край – еще лучше. Он выпьет и за себя, и за родственную душу. А стоит ли ерничать?

– Стоит ли ерничать, Калмыков?– закричал и тут же оглянулся на дверь – не проснулась ли Иришка.

Давно, вроде при Андропове, а может, даже, и при Брежневе – при ком сбили корейский самолет? – впрочем, не важно, при ком. Важно, что случилось это именно с Калмыковым.

В самое настоящее бабье лето его пригласили на курорт поснимать отдыхающих на фоне багряной осени и солнечных лиственниц. Почему бы не съездить на все готовое, отдохнуть и заработать одновременно? Подселили его к солидному дядечке не очень болезненного вида. Но процедуры дядечка посещал, значит, все-таки лечился. На тумбочке у него лежал сборник стихов Ивана Лысцова. Со стихов-то и начался разговор. Не ожидал Калмыков, что подобные товарищи читают стихи неизвестных поэтов и, будучи в легком подпитии, высказал свое удивление, а заодно и разнес поэта Лысцова и всю эту ряженую братию плакальщиков, собирающих обильные гонорары с полей, которые сами не пашут и не засевают, от которых сбежали в ранней молодости и, пристроившись в городе, клянут его разврат. Потом начал ругать колхозы, потом гидростанции... Сосед изредка и с достоинством пытался возражать, но выговориться не мешал и, только изрядно подустав от наскоков, спокойненько предупредил, что за такие речи можно угодить на беседу в серое здание возле универмага. Калмыков тут же прокрутил в памяти все вопросы и реплики соседа, который так и не признался, где работает. Производственники обычно не скрывают своих чинов, а если ухоженный дяденька темнит, значит, он из партийных органов или из тех, что заседают в сером доме. И поплыл герой, завел тягомотину о победах в космосе – противно было слушать этот лепет, однако остановиться он не мог, несло, как под горку. И только после ночных самоиздеваний и утренней симуляции сна в ожидании ухода соседа он позволил себе проявить смелость, вернее – хамство. Ушел на съемки и унес ключ от комнаты. Фотографировал озабоченные лица отдыхающих и представлял, как этот фрукт возвращается в предвкушении послепроцедурного отдыха с книжицей стихов, как дергает запертую дверь сначала с удивлением, потом с раздражением, перерастающим в бешенство. Пусть понервничает, может, вспомнит время, когда и перед его носом хлопали всевозможные двери, ведь не с рождения попал он на службу в органы. Только вот в какие? В партийные? Или в те, из трех букв, которые стараются произносить как можно реже? Он внушил себе, что сосед именно оттуда, и в то же время надеялся, что дяденька всего лишь партийный чиновник. Надеялся втайне от себя, если подобная тайна возможна. Хотелось быть героем, но больших осложнений не хотелось. И все-таки заставлял себя работать как можно медленнее. Подолгу возился с каждым клиентом: то усаживал на пенек, то заставлял обнять дерево или прислониться к нему спиной. Отодвигал момент открытия двери. Давал интриге вызреть, чтобы сполна отомстить за вчерашний позор и дяденьке, и себе. Но ухищрения оказались напрасными. На крыльце корпуса его поджидала обыкновенная кастелянша и сумка, раздутая от беспорядочно натолканных вещей. Объяснять ему ничего не стали, просто сказали, что переселяют в другую палату. И он не расспрашивал о причинах. На том и успокоились.

– Барин тебя простил. Нет, Калмыков, это ты простил барина. Ты великодушен, Калмыков.

Он зашел в спальню и забрал с кровати кошку, усадил ее на угол стола и придвинул к ней блюдце с колбасой.

– Давай, Светка, выпьем.

Кошка зевнула, потом искоса посмотрела на блюдце и недоверчиво тронула колбасный кружок лапой, но есть не стала и спрыгнула на пол.

– Брезгуешь со мной пить. Думаешь, я испугался на курорте. Дура ты, Светка. И ты ненавидишь меня. Недаром я назвал тебя в честь главной редакторши нашего издательства.

Он хотел налить и себе, и кошке, но водки хватило только на полрюмки. Часы на руке стояли.

Будильник жена унесла к себе. Он прислушался к улице. Сначала ему показалось, что и машины перестали ходить. Но вскоре проурчал мотор, потом выполз встречный звук. В домашних тапочках и в плаще, накинутом на рубашку, он выбрался к перекрестку. Первое же такси шло с зеленым светом. И остановилось оно ровнехонько возле него. Оставалось протянуть руку и открыть дверцу. У такого вежливого работника обязательно должна быть водка, услужливость – отличительная черта профессионала.

– Пузырь.

– А больше ничего не потребуешь?– почему-то взъелся таксист.

– Попробуй предложи.

Таксист внимательно посмотрел на него, но, увидев готовность к продолжению любой беседы, вылезать из машины не решился, дернул дверцу на себя и одновременно включил скорость. Довольный собой Калмыков захохотал ему вслед. Со вторым таксистом до провоцирования драки не дошло. Тот почему-то сразу определил, что голосует не пассажир, а покупатель и, не дожидаясь вопроса, протянул ладонь за деньгами. Бутылка приятно оттягивала карман, однако спокойствия не было. Специально удлиняя путь домой, он прошел мимо переговорного пункта и встретил-таки двух парней и обрадовался, что их именно двое – приставать к троим было страшновато, цепляться к одинокому – стыдно, а тут вроде как и перевес на их стороне, но перевес разумный.

– Закурить не найдется?

Ближний к нему парень протянул пачку.

– А можно три?

– Разумеется, пьяному без курева смерть, по себе знаю.

И пришлось благодарить, говорить какие они хорошие парни, и просить прощения за беспокойство. Он чуть было не пригласил их к себе, но посчитал, что бутылки на троих будет мало. А дома, выпив первую рюмку, пожалел, что не позвал их. Пить в одиночестве стало скучно, а сил на поиски собутыльника не осталось. Был бы в квартире телефон... но телефоны ставят только общественно полезным людям, а он для этого общества личность лишняя, он никому не нужен. Разве что жене. Но Иришка спала. Он снова налил в две рюмки. Потом стали наборматываться стихи. Сколько раз он пытался во хмелю записывать свои шедевры, а наутро оказывалось, что написаны они китайскими иероглифами, расшифровать которые невозможно. А теперь вдруг четко увидел, как можно перехитрить водку. Достал из шкафа машинку и, чтобы не убирать тарелки, установил ее на стул, вставил чистый лист и отпечатал:

Пожалуйста, поверьте,
Теперь не обману
За пять секунд до смерти
Я подошел к окну.

Было еще четыре строки, но пока готовился, они куда-то потерялись. Он выпил еще рюмку и подошел к окну. Перед тем как открыть раму надо было снять кактусы, которыми был уставлен весь подоконник. Но не таскаться же по комнате с горшочками перед таким ответственным шагом. И не управиться с ними за обещанные пять секунд. А о чем были следующие четыре строчки, так и не вспоминалось. Какой-то свеженький образ в них все-таки промелькнул. Какой? По дороге проползла машина скорой помощи, словно катафалк. И ехала она почему-то очень медленно. Он провел рукой по стеклу и нечаянно задел локтем за кактусовые иголки. Увидеть занозы было нельзя, только на ощупь – близок локоток...– убийственная и неопровержимая, как жизнь, банальщина. А с потерянной строфой пропало нечто свеженькое, нечто от предутреннего воздуха, за глотком которого можно выйти на балкон. Выйти очень просто, потому что дверь туда сделана в кухне. Несколько шагов, и можно, положив руки на перила, вздохнуть полной грудью и никаких горшочков с колючими уродцами.

Утром жена увидела раскрытую балконную дверь. Раздетый догола Калмыков спал, стоя на коленях и навалившись грудью на опрокинутый ящик.

– Ты что, заблудился?

– Да вроде того.

– Перебирайся в постель, пока не остыла, толь-ко в зеркало не заглядывай.

Ни в зеркало, ни на жену – скорее в спальню и с головой под одеяло. Залег и затаился, тужась вспомнить, почему оказался голым на балконе и осталось ли что-нибудь в бутылке, купленной у таксиста. Если осталось, то Иришка прятать не будет. Только нужно дождаться, когда она уйдет на службу. Но не дождался, задремал.

Разбудил его длинный звонок. Прежде чем найти сброшенную ночью одежду, он подошел к двери и заглянул в глазок.

На площадке стоял Леня Савилов и улыбался. Бутылка в его руке была поднята на уровень глазка.

1993

Мария Перцова

СВОДНАЯ СЕСТРА

***

Слова как мячики, как мячики,
Отскакивают и звенят,
А было время – я их клянчила,
Других не требуя наград.
Наверно дни такие выдались –
Не по-осеннему сухи,
И их значенья просто выдохлись,
Как незакрытые духи.

***

Строчки, чтоб пузырчатым туманом
Окружали душу, словно нимб,
Чтоб читатель мой шатался пьяным –
От стихов – по улицам ночным,
Побегут из горлышка, из устья
Водной твердью на земную гладь...
Высохнут чернила, вымрут гуси –
Ни свечи, ни перьев не достать.

***

О неприветливая муза
Свинцовых зимних вечеров,
Тоски прозрачная медуза
Венчала жалкий наш улов,
Но по краям, искрясь, блестели,
Выскакивая над садком,
Две опрометчивые трели
И важный скат – особняком!

***

Не дорожу последнею красой,
Потери страх души не беспокоит,
Напился полдень утренней росой,
Надломлен стебель бледного левкоя.
Звучат иначе скрипка и рожок,
Вершины гор доступнее и ниже,
Я вижу солнце, зеркальца кружок,
А солнечного зайчика не вижу.

СОБРАТЬЯМ ПО ПЕРУ

Нам досталось по осколку. Был когда-то шар стеклянный,
Выдувают раз в столетье стеклодувы хрупкий шар.
Те, кому он предназначен, берегут, как дар желанный
В ледяном стекле застывший невозможный зыбкий жар.

А когда они уходят, оставляя дверь открытой,
Сквозняки шуршат крылами, пыль сбивая по углам.
Шар летит, незащищенный, вниз на каменные плиты.
За осколок этот острый все на свете я отдам.

***

Время – лечит, время – лекарь,
Деревенский гиппократ,
Валидол – глотай, калека!
Горький уголь – пей, кастрат!
Для незрячего – зеленка,
Для безумного – ментол
В саквояже из клеенки,
Между ампул и бинтов.
Время – лечит...

***

А Ахматову читать не решусь,
Ни тебе, ни маме,
Перехватит горло – и задохнусь,
Захлебнусь стихами.
Простудилась я в наготе
Петербургских весен,
Заблудилась я в правоте
Комаровских сосен.

***

Ты не бойся меня неживую,
Улетела шалунья душа,
На остывшую грудь восковую
Лягут розы, жеманно шурша.
Ах, какая недужная проза,
Позабыли, едва умерла,
Как любила сирень и мимозу,
Как я розы терпеть не могла.

РОЖДЕСТВО

Время анисовой грусти, пушистых туманов,
Хвойного братства, игрушечных, в блестках, вещей,
Пыльных мечтаний, выуженных из карманов
Детских пальто, подростковых нескладных плащей,
Мокрого бархата сбрызнутой ливнем дороги,
У перекрестка завязанной в праздничный бант,
Где светофоры, магната равняя с убогим,
Светятся лампами елочных хрупких гирлянд.

***

Я – повторенье повторений,
Не жгите поминальных свеч,
Поставьте веточку сирени
В шальную память наших встреч.
Я – отраженье отражений,
Худой крупье, дурной игрок,
Я – продолженье продолжений,
Пока не сверстан эпилог.

***

Не ублажай себя надеждой,
Но сторожи, не отдавай
Закатных сосен пух небрежный,
Поляны рыжий каравай,
Из под колес сыпучий шорох
И деликатный взмах крыла –
Привет от здешней Терпсихоры,
Легко, по краешку стекла.

***

Белой завистью – рукодельницам,
Что умеют к стежку стежок,
Я ж на кляче верхом, за мельницей,
Пригоняя к стишку стишок.
Дело важное, безнадежное,
Отчего ты желанно мне –
Как растлителю – осторожница,
Как монашенка – сатане...

***

Сторожа мои грозные, сосны,
Отпустите, оставьте одну,
Я всем мозгом почувствую костным
Ваши взгляды поверх, в вышину.
На свободе от вашей опеки,
Рядом – алая мякоть костра,
Мне такие нашепчутся строки,
Что заснуть не смогу до утра.

***

Знаешь как получается пряжа
Из того, что связалось само?
Знаешь, как поступают в продажу
Образа, от которых не мог
Отвести благолепного взора –
Краски темны, оклад в серебре?
Точно так из жилища, в котором
Глухо Баха звучали аккорды,
Скарб выносят – и жгут на костре.

В ПРИХОЖЕЙ

Что отличает, в сущности, поэта?
Пустяк – квадратность тени от кольца,
Венозная, чумная связь предметов,
И черный шарф у бледного лица.
Я пну ногой тугой кадык порога,
В стекле – анфас, как раз слегка пожух,
И, так как остальное все – от бога,
Вороний шарф на шею повяжу.

“Вот и в стихах та же бадяга: старайся, не старайся, а венозность, как Вы сказали, она вне стараний, вот что интересно. Откуда она берется, за что дается и куда девается? Вы еще как-то сказали про "не пишется, с кем не бывает" – не соглашусь, ни с кем не бывает, это как сказать: не живется, обычное дело, каждый умирает.”

***

Из письма

Что за горе – благодать – то уходит, то приходит,
Настигает у дверей, иль у самых у ворот,
Бледный инок ей не в счет, а отрекшийся – угоден,
Волочит к твоим ногам груз непрошенных даров.
А откроешь тот сезам, а шагнешь по первопутку,
А к груди своей прижмешь дар данайский, приворот –
И отныне обречен под ее ломаться дудку,
И страшиться, что прогонит – и назад не позовет.

***

А если, милый мой Сережа,
Стихи хорошие читать,
И детям сказочки шептать,
И обнимать людей хороших?
И бросить ремесло кликуш –
В неподдающиеся строчки
Закатывать по одиночке
Павлиньи крики наших душ...

Екатерина Короткова-Гроссман

МУЖСКИЕ СЛЁЗЫ СМУТЫ

(Глава 3)

В 1601 году в царствование Бориса Годунова на Русь обрушилось неслыханное бедствие – неурожай, длившийся три года подряд. Голодная смерть косой прошлась по всей державе. Люди облик человеческий потеряли, известны были случаи людоедства.

Годунов распорядился раздавать голодающим деньги и хлеб из царских житниц. Деревне же не помогал никто, и целые толпы крестьян ринулись в столицу. Их ждала мучительная смерть – к тому времени и там уже начался голод, ибо деньги вскоре утратили цену, а хлебные запасы истощились. За три года в одной лишь Москве умерло от голода 120 тысяч человек.

Голодающие крестьяне и холопы стали собираться в разбойничьи отряды и грабили идущие в Москву обозы. Самый крупный из этих отрядов – отряд Хлопка – орудовал в окрестностях Москвы.

Весной 1603 года Годунов поручил охранять Москву виднейшим членам Боярской думы. Москва была разделена на одиннадцать округов. Их возглавляли бояре и знатные дворяне.

***

День безоблачный, хороший, ясный день. Зеленую московскую улицу освещает солнышко позднего лета, то, что греет, но уже не изнуряет зноем. В яркую прелесть Москвы, – садов, еще не тронутых желтизною, церквей и колоколен – вплетается мрачная нота. Прогромыхала по брусчатке прикрытая рядном телега – каждому понятно: везут покойников, умерших с голодухи. За переносным прилавком стоит раздатчик, то и дело нагибаясь, достает из корзины загодя нарезанные краюхи хлеба. А толпа перед прилавком все не убывает, шумит – тревожные глаза, исхудалые лица. Но толкотни не возникает: рядом с прилавком – пристав, следит за порядком.

На прекрасном сером коне едет всадник, по всему видно, человек знатный – на коне богатая сбруя и сам красиво, изящно одет – первый щеголь на Москве. И собой хорош – широкоплечий, стройный. Давно не юноша, но далеко еще не стар.

Его многие знают, уважительно кланяются. Он приветно кивает в ответ, серые глаза из-под черных ресниц освещаются теплой усмешкой.

– Дяденька Терентий, это кто? – громко спрашивает мальчик у идущего с ним рядом посадского человека, только что поспешно поклонившегося всаднику.

– Это, Проша, окольничий. Петр Федорович Басманов, для простых людей первый заступник, справедлив и щедр.

– Последняя корзина к концу подошла! – кричит раздатчик. – Три краюхи осталось, не буйствуйте, люди!

Руки жадно тянутся, трое счастливцев поспешно отходят. Мальчик лет десяти, первый, кому не досталось, жалобно смотрит на раздатчика и вдруг начинает плакать. Он громко всхлипывает, худенькие плечи трясутся от рыданий.

– Вот бедолага-то – говорит дядя Терентий и роется в карманах в поисках полушки.

С грохотом останавливается золоченная карета, из нее выскакивает жилец[1], смаху толкает за собою дверцу, но дверца не закрывается – кто-то внутри кареты тому препятствует. Вот диво-то! Вопреки обычаю, из кареты выглядывает девичий кокошник и любопытный карий глаз. Остальная часть лица прикрыта белой косынкой.

– Раздатчик, стой! – приказывает выскочивший из колымаги служитель. – Милостыня голодающим от ее высочества царевны Ксении! Сейчас похлебку вынесу, мясо и хлеб.

– Мальчика, мальчика накормите! – кричит из колымаги звонкий голос. – Пахомыч, последи, чтоб мяса ему дали!

– Александра Павловна, опомнись! Уймись! – укоризненно произносит Пахомыч. – Где это видано, чтоб в твоем звании…

Но его спутница и не думает подчиняться.

– Мальчик, подойди ко мне, – приказывает Басманов. – Не тревожься, мясо от тебя не убежит.

[1] Дворцовый служитель. *Прим. автора*

Он бросает ошеломленному мальчишке полтинник.

– А мне? А мы-то что ж? – кидается к Басманову толпа.

– Ульяновна, возьми и раздели между всеми, – он протягивает рубль высокой, бедно, но опрятно одетой старухе. Затем обводит взглядом толпу, мягкой улыбки в серых глазах как не бывало. Взгляд тверд и холоден, как сталь. – А вы не вздумайте мальчишку обирать. Не поздоровится. Кто там орет: несправедливо? Вы за себя постоять сумеете, а он беспомощный. А что ослушник от меня не скроется, я чаю, известно.

Видать, и впрямь известно. Все покорно возвращаются к прилавку и мальчишку пропускают вперед.

У любопытной девушки в карете косыночка почти совсем сползла с лица. Два карих глаза оживленно наблюдают и за Басмановым, и за толпой, и за Пахомычем, который, открыв заднюю дверцу, несет раздатчику ведра и корзины с едой – ведь не развлекаться же она сюда приехала! Поручение царевны исполнять.

Все, кто был на улице, так и застыли. Этакое зрелище – как можно пропустить.

– Дяденька Терентий, вот теперь я понял, почему ты говорил заступник! – раздается детский голосок.

Дверца наконец захлопнулась, карета отбывает.

С племянником Терентия Прошей не все согласны. К Басманову подъезжает боярин, заметно постарше его. В глазах его насмешка, впрочем, не злая. Глаза разные – один прищурен, только щелочка видна, но и прищуренный и открытый глаз светятся умом и лукавством.

– Сдается мне, Петруша, ты в моем округе распоряжаешься, как дома. Каждый нищий тебе знаком. Был бы у нас завсегда выборный царь…

– Бог знает, что ты городишь, Михаил Глебович, – торопливо перебивает его Басманов. – Нешто я тебе в чем дорогу перешел? Что вдруг вздумалось говорить такое?

– Пошутил, не бери в голову. Брата едешь проведать?

– У меня тут два брата начальствуют в округах. С обоими хочу повидаться.

– Да, да, у тебя еще сводный. Он, кстати, тоже наблюдал сие любопытное действо. Василий Васильич, подъезжай поближе, ты что, соседушко, округ свой покинул и за углом, словно тать, стоишь? – позвал он и, уловив, что не следует, назвав одного из братьев по отчеству, другого звать Петрушей, продолжает: – А ты, Петр Федорович, каким чудом избег нашей почетной обязанности? При твоей распорядительности…

– Отдыхаю. Рана не зажила, – коротко отвечает Басманов.

– Не заметно, чтобы ты так уж истомился от кровопролитий. С крымчанами, что ль, воевал?

Басманов кивнул.

Тем временем подъехал и Василий Голицин.

– Дяденька Терентий, а кто это с Басмановым говорит?

Терентий, весь обратившийся в слух, рассеянно буркнул: «Кривой».

– Кривой! – развеселился Проша. – И впрямь кривой. Хорошо придумали: кривой!

– Тише ты, разорался некстати, – шикнул Терентий. – Это боярин Салтыков Михаил Глебович. Пошли отсель, с тобой и до беды недалеко.

– Видел, видел, какой ты милостивец, – улыбаясь, говорит Голицин. – Братья, не слезая с коней, обнялись. – Надо бы нам Ванечку проведать, в опасном округе служит.

– Очень даже надо, – заметил Салтыков. – Мало того, что округ опасный, он еще и служит больно ретиво. Совсем страха не ведает.

– Это ты о чем? – встревоженно спросил Басманов.

– Вы к нему едете? Вот и узнаете от него. А меня лучше о чем другом спросите.

– И спрошу, – улыбаясь, говорит Басманов. – Что это за особа, такая живая, из дворцовой кареты выглядывала?

– Вельяминова Александра, сенная боярышня, – тут же сообщил всезнающий Михаил Глебович. – С царевной Ксенией они, сказывают, как подруги, царевна зело полюбила ее. А что, приглянулась?

– Я человек женатый, – с важностью произнес Басманов.

И все трое почему-то засмеялись.

На том и расстались. Сводные братья быстро двинулись к Тверскому округу, где начальствовал Иван Федорович Басманов, родной и младший брат Петра Басманова. Солнце было уже у горизонта.

Петр еще в детстве привык относиться к младшему брату с нежностью, но покровительственно, как бы чуть-чуть свысока. Между тем детина вымахал выше его ростом, с дивными отцовскими очами, соболиными бровями – красавец, взор не отвести. Не одно женское сердце замирало при виде Ивана Басманова.

Был он отчаянно, до дерзости храбр, а душою прост и ясен, как василек в поле. И старший брат боялся за него, безрассудной его смелости и простоты.

– Что ты там еще надумал, отвечай, – напустился Петр на младшего брата. – Жить надоело, али голову тяжело носить? Что так спешишь от нее избавиться?

– Ладно тебе, ничего особенного я не надумал, – улыбаясь, отвечал Иван. И тут же озабоченно нахмурился. – Покараулил бы ты в моем округе. Чертов Хлопко не сегодня завтра по московским домам начнет шарить.

– Понял, – мрачно сказал Петр. – А ты хоть знаешь, сколь велик его отряд?

– Отряд большой, поболе моего. Да у меня стрельцы обученные, хорошо воюют.

– Хлопко, я полагаю, тоже своих обучил. Что значит поболе? Ты что, на глазок примерял? – язвительно спросил Петр. – У него, скажем две сотни, а у тебя полторы?

– Сотня, – хмуро буркнул Иван.

– Ты одурел, что ли? Хочешь с сотней против большого отряда идти, который на Москву нападать не боится. Один против двоих! Ничего себе! Да и откуда мы знаем, что у него двести? Ты бы хоть лазутчиков заслал. Вдруг у него не двести, а тыща?

– Прямо тебе тыща, – хмыкнул Иван. – Засылал три раза, не вернулись. Что ж, мне всех людей на него извести?

– Да, у тебя тут не густо. И лазутчиков толковых не завел. Не торопись пока с этим, Ваня. Я пришлю умелых людей. Будем знать, каков отряд, подкрепления попросим.

– Знаю я твоих умелых, по неделям разведку ведут. И подкрепления просить – долгое дело. Мне тезка, младшенький наш, обещал с холопами своими пособить.

– Вот спелись два Ивана, на рожон лезут! – сердито молвил Василий Голицин. – Ты Ваню Меньшого не втягивай, не спросясь у меня. Петя правильно говорит, спешить не надо, сделай как след разведку, потом…

На Тверской дороге, совсем близко, раздались выстрелы и, казалось даже, донесся крик. Иван мигом выбежал из сторожки, вскочил на коня и помчался с одним стремянным.

– Вот отчаянная голова, полетел в одиночку, – удивленно произнес Голицин, неторопливо направляясь к двери.

Петр уже отвязывал коня. Караульные стрельцы спешили к воротам.

Князь Василий Васильевич покачал головой и, вспрыгнув на коня, которого подвел его стремянный, поскакал вслед за Басмановым.

Добрались быстро. Не проехав и версты, увидели освещенную фонарем карету. Диковинного вида старец в высоком иноземном колпаке и иноземном же обширном плаще вглядывался в темноту, то вскидывая, то опуская мушкет.

Увидев подоспевшую подмогу, он стал размахивать руками и восклицать: «Тохтэр, тохтэр, разбои, майне тохтэр». И указывал на темную дорогу.

– Ограбили его, что ли? – спросил Иван стоявшего тут же кучера. – Пусть Бога благодарит, что жив остался. Э, да его не ограбили, – добавил он, заглянув в карету. – Вон сколько добра-то – трубы, склянки да свитки бумажные.

– Никакого нет там добра, – отозвался кучер. – Вторую карету угнали, – пояснил он. – Там позавидней товар. И дочка евойная со служанкой.

– Что ж ты молчал, дурень! – крикнул Иван и влепил ему оплеуху. – За мной, ребята, – крикнул он стрельцам и скрылся в темноте.

– Вер бист ду? – обратился к старику Петр Басманов.

А никакой он не старик. Волосы светлые с проседью. Лет под пятьдесят, не больше.

– Их бин астрологус фюр цар Борис! – воскликнул иноземец и ткнул себя рукою в грудь. После чего возмущенно залопотал по-немецки.

– Я, я, герр астрологус! На чем прости великодушно – спешим выручать дайне тохтэр. – И дал шпоры коню, бормоча: – Приехал русскому царю служить, озаботился бы хоть немного кумекать по-русски.

– А ты здорово по-басурмански нахватался, так и чешешь! – одобрительно крикнул Голицин.

– Нас с тобой один Карлыч учил. Мог бы сам чесать не хуже, коли бы не бил баклуши. Выстрел!.. Да как близко! Стало быть, догнали наши. Остерегись, здесь поворот.

– Бедный Ваня, полетел сражаться за эту тофтер, а там Бог весть сколько народу. Наших пятеро всего, – озабоченно говорил Голицин.

– Ничего сейчас мы удвоим, – произнес сквозь зубы Петр.

За поворотом, шагах в тридцати, стояла колымага с непогашенным фонарем, а рядом – ожесточенная стычка. Сколько человек, не разберешь. Петр с налету рубанул саблей здоровенного детину, чуть пополам не развалил; рядом сверкнула шашка Василия Голицина. Стремянные обоих, лихие ребята, тотчас же ввязались в бой. Бой длился недолго, и в плен попали только двое. Пока стремянные вязали им руки, братья торопливо переговаривались. «Не ранен?» – спросил Петр. «Нет, царапина. Герасима убили, этот облом, кого ты первым зарубил». «Жаль

стрельца. У тебя раненые есть?» «Тяжелых двое. На руках нести придется». «Еще чего! Положим в колымагу». «Да там же эти бабы, – смущенно произнес Иван. – Верезжат, как резанные».

Петр снял фонарь и распахнул дверцу. «Найн! Найн! Найн!» – кричала молодая немка, сжимая в руке кинжал. Другая, постарше, целилась Петру в лоб какой-то скалкой. Он тут же выхватил скалку и сломал. «Штиль! – гаркнул Петр и, посветив фонарем, обратился к фрейлин с кинжалом. «Вир сейчас фарен цурюк, – сказал он. – Дайне фатер заждался». Затем вытащил служанку из кареты и усадил на козлы рядом со своим стремянным.

Фрейлин не выпускала из руки кинжал, несомненно, готовая защищаться. Делать нечего, Петр крепко ухватил ее руку и железными пальцами разогнул кулачок. Она взвизгнула и выронила кинжальчик. «Их хельфе, дура ты, разумеешь, их хельфе!» – заорал он и для вящей убедительности взял ее за плечи и встряхнул. Затем изящным мановением руки пригласил барышню выйти из колымаги: «Битте!» Фрейлин что-то тараторила, часто повторяя слово «фатер». «Я, я фатер, – успокоительно произнес Петр и, подведя ее к одной из лошадей, оставшихся без седока, спросил: – Кан ду райтен?» Молодая немка закивала: «О, ja, ja», – и ловко взобралась на лошадь.

– Ну, а дальше что? – спросил Иван.

– Загружай в колымагу раненых и убитых туда же.

Пленных привязали к лошадям и возвращались не торопясь. В планы Петра не входило приволочь в сторожку двух покойников вместо двух языков.

– Вот видишь, Ваня, – назидательно внушал он брату, – что бывает, когда не знаешь, каковы силы противника. Вы поскакали без царя в голове, впятером. А сейчас из пятерых один убит и двое тяжко ранены. А не пришла бы подмога, вас бы всех перебили. И ты, не зная, сколько у Хлопка людей, собираешься в поход и даже подкрепления не просишь. Ждать, мол, долго.

– Что ж, так и позволять им перехватывать всех, кто по дороге едет? – хмуро буркнул Иван.

– Погодишь, – твердо ответил Петр. – Не то со всем своим отрядом голову сложишь. Ты над ними начальник, а людей надо беречь. Я пришлю тебе хороших лазутчиков, узнаем, сколько у Хлопка народу и прикинем, какое подкрепление просить. Будешь ждать? Не станешь дурить?

Брат угрюмо ответил:

– Ладно. Сколько хватит терпежу, буду ждать.

Петр подозрительно взглянул на него и сказал:

– Языков я допрошу.

– Кто ж, как не ты. Допрашивай, – убитым голосом отозвался Иван.

– Ты что, обиделся?

– Да нет… Герасима жалко.

* * *

Трех недель не прошло с того теплого летнего дня, в конце коего трое братьев, цвет московской знати, участвовали в поединке с холопами. Трех недель не прошло, а в окно стучит унылый и холодный дождь, и под вечер Петр велел дворецкому распорядиться, чтоб затопили печку.

Третьего дня Иван Басманов со своим отрядом вышел из городских ворот. Терпение его иссякло, он сообщил начальству, что хочет сделать вылазку, послав уже с дороги стрельца. Тот же стрелец, доложившись, побывал в дому у старшего брата воеводы с тем же сообщением.

«Ну не дурень ли, – подумал старший брат. – Болван упрямый – не дай Бог убьют». Отпустил, вознаградив, гонца и долго стоял в молельной.

От языков, взятых в полон в ночном сражении, толку было мало. Петр допросил их, но, по всему судя, они и впрямь не знали численности разбойного войска. Небольшие шайки перемещались, нападения происходили то здесь, то там и простые холопы не ведали, сколько их под рукой атамана. Петр понял только одно: очень большой отряд.

Лазутчиков для брата он нашел не сразу – всех самых лучших разослали по государевым делам, – но сыскал все же двоих дошлых. Иван ушел в поход, не дождавшись их сообщений, возмущенный очередной наглой вылазкой Хлопка.

В царском дворце Петр как-то встретил спасенного ими астрологуса. Тот заулыбался, похлопал придворного по плечу – немчура! Через толмача благодарил его сердечно за спасение дочки и пригласил их беспременно навестить. «Тохтер, стало быть, не рассказала папеньке, как мы с ней в колымаге подрались? – с удивлением подумал Басманов, – скрытная девка».

Может, кто и знал об этой стычке, но не осудил спасителя. Москвичи восхищенно глядели на братьев, геройски защитивших немку, ехавшую с отцом к царю. Идешь по улице, так и слышишь за спиной: «Басманов. – Тот самый? – А какой же еще?»

Кто-то подъехал к дому. Заскрипели ворота, послышался топот копыт. «Один конный», – с тревожным удивлением отметил Петр и бросился к дверям.

В сенях стоял стрелец в изодранной одеже, с белой тряпкой на голове. На повязке темно-красное

пятно, уже подсыхает.

– Что воевода? – сразу выпалил Басманов.

– Плохую весть привез тебе, Петр Федорович.

– Убит?

Стрелец отпустил голову.

Он все время этого боялся. А сейчас не мог поверить.

– Убит?! Как это сталось? Кто его убил?

– Многие. Он весь израненный, кровью истек. Упал с коня, мы бросились, а он уж – все.

Петр схватился за голову и застонал. Ваня, Ванечка, младший братец… Не улыбнется больше беспечной своей улыбкой, не войдет, чуть не касаясь притолоки головой. Вани нет! Молодого, прекрасного, младшенького, которого помнит ребенком. Да так ребенком и остался… Самый близкий, самый родной. На кого же ты меня, кровинушка, покинул?

Слуги увели Петра в опочивальню. И он плакал там, и вскрикивал, и причитал, затихая на время. В их семье было много детей – одних сыновей пятеро. Петр был привязан к своим сводным, но роднее Вани во всем свете нет никого. И он бился головой о стенку. Ваня, Ванечка, василек в поле, на бранном поле, на осеннем темном поле срезанный разбойничьим ножом.

Отпевали Ваню в Лавре. Там же похоронили. Мрачный, опухший от слез Петр стоял у гроба. Рядом Голицины, сводные братья, другая родня. И знакомые и незнакомые пришли проститься с молодым воеводой, положившим голову за Москву. Народу бездна и многие плачут.

Петр вдруг подумал: «За три поколенья Ваня первый Басманов, которого хоронят с почестями. Славной смертью скончался, вернул честь семьи. Как-то меня похоронят?» – подумал он и отогнал эту мысль.

Когда уходили с похорон, Петр увидел за оградой карету, возле которой стояли астрологус с дочкой, оба в трауре. Дочка тоже плакала о погибшем рыцаре. Они раскланялись и немец повторил, что ожидает герра Петера в гости.

Прошло несколько дней. Однажды утром Петру сказали, что его ждет какой-то стрелец. Петр велел его позвать. Это оказался лазутчик, которого он ссудил Ивану и которого не дождался Иван.

– А где второй? – спросил Петр. – Жив остался?

– Поранили Андрюху, да оклемается. Воеводу жаль.

– Тебе жаль? – яростно спросил Петр. – Ты ко мне пришел соболезновать? Лучше бы вернулся вовремя да воеводе доложил.

– Кто ж его знал, что не дождется. Мы лесом возвращались. У Хлопка полтыщи людей было. Ежели бы не подкрепление…

– Все знаю. Коли нечего больше сказать, уходи.

– Ты не серчай на нас, Петр Федорович, – мягко сказал лазутчик. – Подкрепление сразу после нашего докладу выслали. А не то бы весь отряд перерезали да еще, пожалуй, в Москву забрались.

– Я вижу, не мой брат, а вы с Андрюшкой спасли столицу. Может быть награда причитается вам?

– Да на што она нам? Такое горе, столько людей полегло. Какая уж там награда, пустое говоришь. Я к тебе совсем по другому делу.

– По какому делу? – хмуро спросил Басманов.

– А вот послушай. Мы с Андрюхой, как пришли к Хлопку, лишнего врать не стали. Говорим: из Москвы бедного дворянина холопья. Там самим жрать нечего, нас и погнали со двора. Оружия при нас нет, дайте хоть по дубинке. Тот, кто нас допрашивал, говорит: здесь лес, дубинки наломайте себе сами, а прочее оружие достанете в бою. Тут вскорости возы на дороге появились, купцы ехали с зерном, мы в этом деле поучаствовали, конечно, добыли и пищали и ножи.

– И к чему ты мне рассказываешь о сво-их разбойных подвигах? – брезгливо спросил Басманов.

– А ты слушай, не спеши. Вроде мы с Андрюшкой и впрямь отличились, к вечеру сидим у котла, вдруг подходит к нам мужичонка и говорит: «Ну, новички, ступайте за мной». «А куда идти-то, – спрашиваем, – к атаману?» «К атаману не к атаману, – отвечает он, – а к большому человеку. Хочет с вами побеседовать Слепой». И рассказывает нам по дороге, что Слепой этот у Хлопка первый лазутчик. На три аршина в землю видит и войти может в любой дом – хоть в княжеский, хоть в купеческий, и в монастырях его принимают. Тут я, честно тебе скажу, струхнул. Коли он такой провидец, не почуял ли чего про нас с Андрюхой. Делать нечего, одначе, идем.

Завел нас провожатый в самую чащу, а в чаще той полянка и стоит шалаш. Из крепких веток, высокий, просторный, не шалаш, прямо изба. И внутри пенек, ковром покрытый, большой ковер, на весь шалаш, и лежанка с мягкими подушками. На пеньке сидит седой старик, незрячий, но опрятный, важный, кафтан хорошего сукна на нем.

Поздоровались мы с ним, сели на пол, не на землю студеную – на ковер. «Угощайтесь, говорит, люди добрые, я слышал, вы сегодня потрудились».

И угощенье у него знатное. Нас второй раз просить не пришлось.

«Москвичи?» – говорит. «Точно так», – отвечаем. «А что, – спрашивает, – приехали откуда али коренные москвичи?» В таких случаях – сам знаешь – чем меньше врать, тем лучше.

– Откуда мне это знать? – спросил Басманов уже не сердито. Любопытство понемногу разбирало его.

– Коли сам никогда не лукавил, смекнуть-то хоть можешь. Ты ведь умный человек.

Тут Басманов слегка улыбнулся. Слыханное ли дело, чтобы придворный никогда не лукавил. Не дурак он, этот лазутчик, не успевший предупредить Ивана. Что за сказку он рассказывает? «Продолжай!» – нетерпеливо сказал он.

И лазутчик Антип рассказал, что сказочный старик, узнав, что перед ним москвичи коренные, принялся расспрашивать о нем, о Петре Басманове. Он расспрашивал о его успехах и вроде бы огорчился. Но повеселел, узнав, как любят его в Москве. Задавал порой удивительные вопросы: высок ли он, хорош ли собою, похож ли на отца. Этого лазутчики знать не могли, они родились позже, чем задушен был Федор Басманов.

– А мы с ним однолетки были, – сказал старик. – Ох, и лихо он дрался на саблях. Отчаянный отрок был. А потом я Петеньку учил войсковому делу и он учителя не посрамил.

– Илья![1] – вскочив, воскликнул Басманов. – Где он сейчас? Убит или скрылся?

– Вот обрадуется он, что ты его помнишь! – взволнованно сказал Антип. – Не убит он и не скрылся. В тюрьме сидит.

– Как он мог попасть в плен? – удивился Басманов.

– Да уж попался как-то, когда подмога наша привалила. На грех мастера нет. Опять же он слепой. Я стоял на улице и видел, как его вели в каталажку.

– Он ранен?

– Вроде нет. Только, видно, крепко поколотили.

– С казнью тянуть не станут – тихо проговорил Басманов. – Надо подумать. Послушай, Антип. Я хочу, чтоб ты и твой Андрюшка всегда были при мне. Поступите ко мне на службу. Я с полковником вашим поговорю. Я ранен был, пока что при дворе. Но, думаю, долго здесь не пробуду.

– Можно и на службу, – отозвался Антип, – не всегда ж воевать. Для лазутчика дело и тут найдется. Ну, а как же со Слепым-то быть? Их ведь бьют там смертным боем, а он старик. Может и казни не дождаться.

– Я же сказал, подумаю. А ты у меня останься. Я дворецкого позову, накормят тебя и устроят.

Петр не спал почти всю ночь и ничего не смог придумать. Утром он уже собрался проситься на прием к царю и прямо ему все рассказать. Дескать, преданный их семье человек, бесценный лазутчик, и будет служить не за страх, а за совесть. Но на что это похоже? Разбойники убили его брата, а он хлопочет за одного из них. Царь не любит странных поступков, он очень осторожен и не захочет сделать ложный шаг на глазах у своих врагов.

Удивительное чувство пришло к нему в этот вечер. Он ощутил, что он не одинок. Старый разбойник огорчился, узнав, что успехи его не столь велики. Но он ведь очень многого добился. Он окольничий, его отличает царь. Так-то оно так, но от себя не скроешь – его все время гложет, что он довольствуется малым. Улыбается благодушной улыбкой успешливого человека, а внутри так и ворочается нерастраченная сила, рвется наружу, мучает его. И этот страх, что он так и умрет окольничим, одним из толпы придворных, в то время как он может… Ох, как много может!

Встал он рано, так ничего и не решив. На вопрос Антипа кратко сказал: «Пока не знаю. Из дому не отлучайся, жди». И тут же уехал, по обычаю своему верхом. Ему пришло в голову заглянуть к начальнику тюрьмы, на всякий случай. Когда он выезжал на улицу, где стояла тюрьма, из соседнего переулка вышел знакомый дьяк Разбойного приказа. «Ты куда это, Епифаний, направился спозаранок?» – спросил Басманов. «Куда можно по этой улице? – усмехнулся дьяк. И, на вопросительный взгляд Басманова, пояснил: – Казнь на пятницу назначена, а пока приведем их к пытке. Может, какие сообщники на воле остались. У царя врагов хватает. Вдруг заговорщиков найдем».

Петра как громом ударило. Хорош бы он был, коли стал бы просить одного из главных разбойников на поруки. Бывший слуга, сохранил верность семейству, правда, в шайке по нечаянности пробыл тридцать лет, но государю послужит честно. В лучшем случае – дураком назовут. Но дураком Петра Басманова никто не считает. Заговорщиков ищут – вот вам и заговорщик. Чудом не влип, Господь спас. Он ехал молча, ошеломленный. И что это царю с каких-то пор все заговоры снятся? Одинок он среди боярства. И я одинок. Думал с Ильей спастись от одиночества. Как же – сам чуть к пытке не попал.

Внезапно сверкнула мысль. Что за вздор в голову лезет? А вдруг получится? Врать почти не

[1] Бывший оружничий семьи Басмановых. *Прим. автора*

придется. Как там Антип говорил? Чем меньше врать, тем лучше. В опасную игру играю. Ваню за отчаянность бранил, а сам с ума сошел. Э, попробую. От одной опасности ушел, тут же полез в другую.

– Епифаний, – сказал он небрежно. – У меня с одним колодником большие счеты накопились. Выдай его мне, я сам его допрошу.

– Бог с тобой, Петр Федорович, – удивился дьяк. – Нешто так бывает, чтоб из тюрьмы кого-то отдавали. Да и какие у тебя с колодником могут быть счеты?

– Бывший наш слуга. Бежал перед тем, как отца моего схватили. Может, в ложном доносительстве участвовал. Я засылал лазутчиков к Хлопку. Они сказывают, он про нашу семью все расспрашивал. Похоже, давняя вражда. Он за что-то мстит. Я знать хочу! Об отце моем речь! Брат от них погиб! И обо мне выспрашивал. Да подробно так. Выдай его мне, это мой враг!

Он говорил с такой горячностью, что дьяк заколебался.

– Твой отец… да когда это было? Он что старый, колодник этот?

– Стар и слеп. Он долго не протянет. Если он у вас под пытку попадет, я ничего не узнаю.

– Это у начальства придется просить, – сочувственно произнес дьяк. – И очную ставку с лазутчиками сделать. Где они, твои лазутчики, можешь ты их быстро сыскать?

– Один у меня. Второй ранен. Не уверен, что сумею вскоре найти.

– Ладно, хватит одного. Только нашему голове доложиться. Очную ставку им сделаем, и лазутчик пусть присягу даст.

Дальше все пошло как во сне – замелькало. Петр послал стремянного за Антипом. Из каморы привели высокого слепого старика. Антип поклялся на Евангелии, что старик расспрашивал про Басманова. Старый разбойник презрительно сказал: «Да, спрашивал. Зачем – не скажу. А что, боится меня молодой Басманов? И даже захотел лично пытать? Баальшая честь! В папеньку пошел и в деда».

Стражник ткнул его кулаком и крикнул:

– Молчать! Ты дождешься!

– А мне, сынок, теперь уже бояться нечего, – грустно произнес старик.

Басманов написал расписку. Старика в закрытом возке отвезли к нему в дом. И вот они стоят друг против друга.

– Так чего ж ты, Петя, испугался? – насмешливо спросил старик. – Что я убью тебя или ограблю?

Петр молчал. Тяжелый выдался денек.

– Илья, – сказал он, наконец, – я испугался, что тебя замучают на пытке. Я все время думал, как тебя спасти, и ничего на ум не приходило. Потом узнал, что вас всех будут пытать. И тут меня осенило со страху.

– С какого страху? Ты все же боялся меня?

– Да не тебя я боялся, а за тебя. Ты что, вовсе одурел в своей каталажке?

– Одуреешь тут. Наворотил такого. Мальчик ты был не простой с младых ногтей. Стало быть, пытать меня не будешь?

– Стало быть, не буду.

– Вот и хорошо. А что делать станешь?

– Сперва накормлю. Потом в мыльню. Кости-то целы?

– Вроде в целости. А слуги твои не выдадут?

– Не должны. На всякий случай я скажу, что опасаюсь, как бы ты не помер, и допрашивать тебя буду без пытки. Нам ведь много есть о чем поговорить.

– Много, да… – Старик вдруг заплакал. – Петенька, когда мне сказали, что ты… что меня испугался и пытать хочешь…, – он махнул рукой. – Да чего там… Я по сию пору в себя не приду.

В мыльне старик совсем ослаб. Проспал до утра, и на другой день все отсыпался, и на третий… Петр решил, что пора наконец побывать у астрологуса.

Там он застал знакомого ему, служившего в русской военной службе француза. Служилый француз бойко изъяснялся на наречии страны, где прожил уже несколько лет.

По немецкому обычаю, гостей вместе с отцом принимала фрейлин Ленора. А красивая девица оказалась. Мягко светятся серо-зеленые глаза. И невиданная на Руси прическа – каштановые локоны и кудри пышной шапкой окружают голову и небрежно падают на плечи. Фрейлин сидела за столом, разливала по маленьким чашкам заморский напиток чай. Угощали здесь не по-российски – чаем, сладким пирогом, еще какими-то иноземными пряниками и конфетами. Во рту сладко, закусить нечем, а на столе красуются бутылки отменного французского вина. Басманов выпил чарку, пряничком закусил. Немного погодя выпил вторую, закусил конфеткой. Разговор шел оживленный и сумбурный – немцы неплохо изъяснялись по-французски. Басмановская немецкая речь, так восхищавшая москвичей, беглой никак не являлась. Он сам вскоре заметил, что гораздо удобней разговаривать с хозяевами через француза. Однако, чтобы не ударить в грязь лицом, вставлял порой немецкие словечки и старался запомнить новые.

Поговорили о дворцовых новостях; фрейлин Леонора, оказалось, бывала у царевны Ксении и называла ее очень образованной принцессой. Перешли к московским новостям. У кого крестины, у кого свадьба и вообще, о чем говорят люди. И вдруг фрейлин Леонора отнюдь не к месту ляпнула:

– Люди больше всего говорят о слепом старике, которого привели в твой дом из тюрьмы. Герр Басманов, ты сам пытаешь этого старика или у тебя есть палач?

Серые глаза Басманова заледенели и сузились.

– Сдается мне, сей разговор не для женщин, – сказал он сухо. – Удивляюсь, что у вас в Германии девица может предложить такой вопрос.

– Ja, ja, и на Руси тоже, – оживленно возразила немка. – Гоффрейлина принцессы Ксении, мадмазель Саша Вэлли… Вэлли…

–Вэлиаминова,–услужливоподсказал француз.

– Ja, ja, очень трудная фамилия, фрейлин Саша даже плакала, узнав об этом. Она сказала, герр Басманов очень добрый и если даже он стариков мучит… и заплакала зело сильно…

– Горько, – добавил от себя француз, приходивший иногда на помощь Леоноре.

«Что же делать? – подумал Басманов. – Вести розыск с пыткой мне приходилось, и никакие фрейлины не плакали. А теперь ведь на пустом месте… Это та, что сидела в дворцовой карете, – смекнул он. – Э, да все равно узнают!» И с достоинством сказал:

– В моем доме живет слепой старик, но ему ничем не докучают. Спит по целым дням, как медведь.

– А когда проснется? – не унималась Леонора. – Ты устроишь медвежью охоту?

– Он очень слаб, – сказал Басманов. – Когда отоспится, с ним будут только разговоры и боле ничего.

– Это есть правда? – спросила Леонора по-русски.

– О, фрейлин Саша будет очень рада, узнав это. Когда ты бываешь во дворце, она всегда на тебя смотрит с галереи терема.

Ее хорошенькая мордочка светилась недобрым задором.

«Сплетничает о подружке! А может, сводничает, свести нас хочет? А глаза-то светятся, как у дикой кошки. Зачем ей это, что она замышляет?»

На следующее утро к Басманову явился незнакомый подьячий Разбойного приказа.

– На тебе государево слово, – сказал он. – Вчера в гостях у немца астрологуса ты прилюдно заявил, что не пытаешь и пытать не собираешься разбойника, взятого тобою из тюрьмы на предмет сугубой пытки, как лютого врага твоего семейства. Изволь отдать его в Разбойный приказ.

«Прислуга подслушала? – подумал Басманов. – Где там – мы на трех языках тарахтели».

– Француз изветчик? – спросил он.

Подьячий кивнул. Он не любил, чтоб иноземцы несли слово на русских.

– А все же, Петр Федорович, верни нам старика. Говорят, он один из главарей шайки… то бишь, отряда.

– Он очень слаб, – сказал Басманов. – Хоть убей, не верну. А допросить надо. Подождать придется.

– Куда же ждать-то, завтра казнь.

– Казните особо. Говорю, мне допросить его необходимо.

Когда через два часа явился пристав, Басманов встретил его у калитки.

– Помер, помер, – заявил он бодро. – Так и отдал Богу душу, не проснувшись.

– А тело где?

– А пес его знает, – благодушно ответил Басманов. – Утопили мои холопы в каком-то болоте. Сейчас, вишь, распутица какая.

– Обыск придется в твоем доме сделать.

– Не придется, – отрезал Басманов. – Чтоб из-за какого-то бродяги в доме царского окольничего обыск! Да тебе башку снесут за это. Сам снесу, чтоб неповадно было. – Он выхватил саблю и свистнул. Двор наполнили вооруженные холопы.

– Распоясались эти царские окольничьи, – распалился начальник приказа. – Что ж, раз царские, пусть царь с ними и разбирается.

Сашенька Вельяминова никак не могла дождаться любимую горничную Анюту и позвала другую.

– Куда Анюта подевалась, Паня? – спросила она.

– С каким-то молодцом толкует, за ограду вышла. Позвать?

– Пожалуй. Что это такое – из терема царевны шмыгать за ограду и с незнакомыми гулять? А молодец хорош собой?

– Парень видный. С лица обыкновенный, а повадка есть.

– Повадка! Что с вами творится? Ладно,

не зови. Видно ей хорошо там, – сказала Саша, и вздохнула. – Ты сегодня ее замени.

Паня уже расчесывала ей на ночь волосы, когда вбежала раскрасневшаяся Анюта.

– Уходи, Паня. Я боярышню уложу. – И склонилась перед госпожой в низком поклоне. – Прости меня, ради Бога, запозднилась.

– Запозднилась, так и не надобно, – сухо сказала боярышня. – Одно из двух – или мне служить, или с молодцами незнакомыми гулять. Паня все хорошо делает, я, пожалуй, ее оставлю.

– Александра Павловна! Боярышня! Солнышко ты наше! Прости меня нерадивую, не гони! – взмолилась Анюта и хлопнулась на колени. – Я такое расскажу тебе, такое… Да она расчесывать не умеет! Этакую косу разве можно так?

Сашенькина коса и впрямь была роскошна. Густые и волнистые темно-русые волосы отливали золотом.

Сашенька долго сердиться не умела, да и любопытство ее разбирало.

– Ну рассказывай, что там у тебя случилось? – спросила она, когда Паня вышла и Анюта умелыми руками принялась расчесывать ей косу. – Кто он, твой новый знакомец?

– Не серчай, боярышня, – стрекотала Анюта. – Сама не знаю, как и заговорила с ним. Антипом его звать, боевой холоп в доме окольничего Петра Басманова. Он такое мне рассказал – не поверишь.

– Да, говори же, наконец!

И Сашенька услышала воистину необычайную историю.

Петр Басманов, замеченный ею, когда он щедро наградил голодного мальчишку, а недавно взявший в свой дом из темницы старика разбойника, чтоб самолично его пытать, и огорчивший тем Сашеньку до слез, – хотя, казалось бы, какое ей до него дело, – этот таинственный Басманов, оказывается, вовсе не для мучительства востребовал к себе старика, а чтобы спасти от казни старого слугу, коего помнит с детства. Сейчас это проведали, был на него извет, и считают его заговорщиком. Он старика не выдал, и, может, сам теперь пойдет на пытку, а то, не дай Бог, и на плаху.

У Саши сверкали глаза.

– Не бывать этому! Завтра же царевне в ноги кинусь. Пусть попросит отца.

– Боярышня, голубушка, что ж ты так расходилась? Кто он тебе, Басманов этот?

* * *

– Саша, милая, да кто он тебе, этот Басманов? – удивлялась царевна, с жалостью глядя в сверкающие слезами глаза. – Ты хоть раз с ним говорила?

– Никогда! Но он добрый человек, он благородный человек! Много видим мы близ нас благородства?

Царь смотрел на окольничего неодобрительно, а окольничий стоял, потупившись, но искательности не проявлял.

– Странно тебя слушать, – говорил Годунов. – Ты мог сразу прийти и рассказать мне то, что говорил сейчас, а вместо этого наворотил целую гору лжи, оказал властям вооруженное сопротивление и ославил себя на всю Москву. Поступить так мог лишь глупый человек, а ты не глуп.

Да ведь именно потому, что его никто не почитает дураком, он не мог прийти и простодушно выложить всю правду перед недоверчивым царем, которому повсюду чудится подвох. Но и этого сейчас сказать нельзя. Правду почему-то почти всегда опасно говорить, особливо беседуя с государем.

– Ну, ступай. Мало толку глядеть, как ты упрямо молчишь, рассказав странную правду или очередную ложь.

– Ты не там измену ищешь, государь. Придет время, в моей верности ты убедишься.

– А где, по-твоему, мне следует искать измену? – У Годунова загорелись глаза.

– Я думаю, заговоров против тебя сейчас никто не готовит. Но есть готовые к измене люди. Они ждут, и, если что-нибудь случится, своего не упустят.

– Что может случиться? Ты что-то знаешь?

Басманов покачал головой.

– Ничего не знаешь. Но достаточно осведомлен, чтобы за несколько часов пробраться в терем царевны, и просить мою дочь ходатайствовать за тебя. Ты сам ее видел?

– Нет, конечно.

– Но сообщить все, что надобно тебе, успел. Ладно, ступай, время покажет, можно ли рассчитывать на твою верность. Не расположен я больше с тобой толковать.

У Семена Годунова, коего вся Москва называла «государево правое ухо», чуть ли не в каждом доме были свои люди. Был у него свой человек и в доме Петра Басманова. Кому бы в голову пришло, что ключник Вася, краснобай и весельчак, ходит в Аптечный приказ к Семену Годунову с докладом и бывает там часто. На сей раз было решено, что государю стоит лично послушать Басмановского ключника.

В маленькой горнице, убранной небогато,

сидел в креслах государь, а перед ним стоял пузатый, круглолицый Вася.

– Так о чем они толкуют? – спросил царь.

– Все о старинных временах, государь, – ответил Вася, и его круглое и миловидное лицо порозовело от волнения. – О старинных и о семейных. Как дворня относилась к отцу и к деду? Всегда ли маменька была невесела? Поженились ли его родители по любви?

– О семье расспрашивает, – промолвил царь. – Значит, детство свое запомнил.

– Очень многое помнит, но не все тогда ему было ясно, вот он и допытывается, – подтвердил Вася. Слегка понизив голос и подавшись вперед, соглядатай добавил. – Мне все кажется, государь, он отца очень любил.

– Отца? – спросил государь удивленно. – Федю? Да какой же из него отец?

– Он так радуется, государь, когда слышит об отце хорошее. Он вроде бы и расспрашивает этого Илью затем, чтобы подтверждение еще какое-нибудь услышать. Что отважен был, справедлив, умен.

– О справедливости речи нет, – произнес Годунов. – Насчет ума, право, не знаю, все у него шутки. А что отважен был, то всем известно. Любопытную ты вещь мне рассказал, Василий. Что ж, спасибо, ступай. Вот тебе награда за старанье.

Вася залился румянцем – награда была солидной.

Басманову редкостно повезло, что доносчиком в его доме оказался добросовестный и на свой лад честный малый.

«Вот я и убедился в твоей верности, Петруша, – с облегчением думал царь. – Столько лет хранит верность отцу, от которого получил в наследство одни обиды и опалу. Да и честили же при нем, наверно, батюшку не раз. Верное сердце. Возможно, Федька и повернулся к нему какой-то доброй стороной, всем остальным неведомой. Нет, непохоже, сомневаюсь. Однако это хорошие вести. Теперь буду знать, что на Басманова, пожалуй, можно положиться. И старого слугу не выдал. Право, молодец».

Нетрудно было заметить, что царь сменил небольшую временную опалу на милость. Басманов рассказал об этом троим своим лазутчикам – Андрей тоже жил теперь на Басмановском подворье. «Чтобы он ни с того, ни с сего мне вдруг поверил – быть не может, – удивлялся Басманов. – Кто-то подтвердил ему, что я говорю правду. Только кто, ума не приложу» «А у тебя шептун в доме, – сказал Илья. Слепота обострила другие его чувства. – Он, видно, правду рассказал про наши разговоры. Вот ты и очистился». «Шептун? Да кто же из моих людей?» «Мне кажется, этот толстый, разговорчивый, ключник» «Выгоню к чертовой матери! Выпорю на конюшне и в шею». «Да зачем? – остановил его Илья. – Парень видно неплохой, рассказал все честно. И мы знаем теперь, кого остерегаться. А выгонишь – тебе невесть кого подсунут». «Сказывал же я, что в нашем деле лучше всего говорить правду», – завел свою любимую песню Антип. «Это ты о ком?» – удивился Басманов. «Да о Ваське, о ком же еще. Вот он рассказал царю одну правду, без наговоров. И должность сохранил, и не выпорют его». «Надо запомнить этот случай, – сказал Басманов. – А то мне, по неразумию моему, все кажется, что правду говорить царю не надо».

Подошла зима, и за окном падают тихие белые хлопья. Москва нарядна с приходом зимы – все побелело, посветлело. И по улице в санях чудесно прокатиться в солнечный, веселый, снежный день. В доме жарко натоплены печи, тепло, уютно. Когда Петр Федорович не в гостях, сидят зимними вечерами вдвоем в теплой горнице хозяин со старым слугой и все толкуют, толкуют.

«Так говоришь, они сперва любили?» «И даже очень. Чудесная была чета. Так хороши оба – загляденье. И глядели друг на дружку, не отводя глаз». «А дед матушку не любил?» «Взъелся сразу. А твоя маменька, она ведь нравная. Так и закипит. С Федором Алексеевичем сперва как голубки ходили, а дальше ссориться начали – дым коромыслом. На весь дом крик да стук, что ни попадя на пол кидали. И до драки доходило, – понизив голос, добавил Илья. – Алексей Данилович тут же нагрянет: «Федька, что ты жене позволяешь? Плеткой ее!» Ну, ты этого не помнишь, мал был».

«Илья, постой, я вот что хотел спросить. Почему, когда отца и деда схватили, никто из стражи не пришел на помощь? Их не любили люди?» «Как не любить? Таких господ! Среди людей много преданных было. Так ведь их схватили раньше, чем хозяев. По пути взяли. Оставшиеся, конечно, оробели. Знали, кого брать – всех смелых увели». «А как же ты?» «Меня дома не было, посылали по одному делу. Арефьевна перехватила еще за воротами, я глянул – по двору опричники снуют. Она к брату своему меня наладила. Он и был мой первый атаман».

«А кого больше любили в доме, отца или деда?» «У каждого свои были люди. Алексея Даниловича уважали, особливо пожилые, кто с ним в походы ходил. Он знаменитый был воевода. Вредный, правда, каверзный. Ты уж прости». «Прощаю. Я его

сам не жаловал. А отец?» «У Федора Алексеевича – кто помоложе. Как такого боярина не любить? Отважный, веселый, щедрый. А уж красив!» «И никого не обижал?» «Ну, нет, это случалось. Очень даже мог обидеть. Но отходчив. Тут же и наградит. Ежели обиженный жив остался». «А меня он никогда не обижал». «Знаю. Весь дом дивился. Как идет он к тебе в горницу – сразу другой человек».

– Погоди-ка, Петр Федорович, – вернулся старый слуга к настоящему. – Кто-то под дверью ходит взад вперед.

– Ключник?

– Нет, тот тихо ступает. Чудная походка. Вроде мягкая, без стука, а тяжелая.

Басманов сморщился. Он знал кто ходит тяжелой походкой. Удержится или ворвется? Он, пожалуй, переборщил, – все свободные вечера проводит в воспоминаниях, а на женскую половину давно не заглядывал.

Дверь распахнулась. На пороге стояла Анна Власьевна, законная супруга.

– Конец этому будет? – срывающимся голосом спросила она. – Ты семейный человек или бобыль? Дворянин али холоп? С одними дворовыми знаешься. А уж как этот разбойник поселился в доме, совсем очумел.

Тяжело и неловко ступая, вошла она в горницу. Красные пятна горели на лице. Глаза мерцали гневом. Где он видел это – женское лицо в красных пятнах и взгляд, яростно к нему обращенный?

– Успокойся, Аннушка, – сказал он миролюбиво. – Тебе надобно сейчас поберечься. Я как раз сегодня собирался тебя навестить.

– Осчастливил! – презрительно отрезала она. – Не больно-то я по тебе скучаю! От людей стыдно. Приличия соблюдать надобно.

– Зайду, сказал ведь, зайду. – Он обаятельно улыбнулся. – Захлопотался, право. Угостишь непутевого мужа?

– Что глупости спрашивать? Угощенья полон дом. Нешто в еде дело? Тепла нету в доме. Семейные люди так не живут. – И, буркнув: «Ладно, заходи», повернулась и косолапо двинулась к двери.

Все в ней было тяжело – голос, походка… Сама высокая, большая, как медведица. А главное, лицо. Тяжелый взгляд и всё в ее лице неприятно тяжелое. А уж нрав! Такую поискать! Эк, его угораздило.

Ваня женился по любви раньше старшего брата. И в доме у них было тепло и весело. Они почти никогда не ссорились. А если уж случалось, то по пустякам, и быстро мирились. Бог не послал им сыновей, но подрастала прехорошенькая дочка. Ваня в ней души не чаял. Сейчас вдова и осиротевшая дочь горько плачут по любимому, безвременно погибшему, но Петр часто к ним заходит и отрадно ему разделять с ними общее горе в теплом доме, полном любви.

Самому ему не пришлось сильно любить, и он женился по рассудку. Жена была из Ляпуновых, очень богатых рязанских дворян, известных смелостью и деятельным нравом. Славились они также вспыльчивостью, это Анна Власьевна унаследовала, но не было в ней беззаботной удали ее двоюродных братьев.

Жена уже трижды рожала – двух девочек и мальчика. Но не жили дети, помирали в младенчестве. Сейчас она снова в тягости. Дай-то Бог, чтобы все обошлось и родился здоровый наследник. О дальнейшем загадывать трудно. Обманывать себя не стоит – жена все более неприятна ему, она чувствует это и кипит от раздражения. Он избегает ссор, старается быть мягким, хотя отнюдь не мягок. Но есть одно, чего никак не скрыть, и что выводит ее из себя – он очень редко видится с женой.

Она бесится, он сдерживает ее – то добром, как нынче, то холодным, строгим взглядом. До крупных перебранок у них не доходит. Не приведи Господь, еще пожалуется своим бешеным братцам. Никогда не знаешь, что они могут учинить. А кому от этого польза – сор из избы выносить? И сегодня предстоит малоприятный разговор. Но до крику не дойдет, он не допустит.

А родители его, оказывается, друг друга любили. И не боялись ссориться, шумели на весь дом, даже дрались. Это потом уж маменька бессловесной стала. Да не всегда ведь бессловесной! Вспомнил он, чье женское лицо горело красными пятнами и чьи глаза гневно на него глядели! Это мать на него так смотрела, когда он отчима не признавал. И сколько страшного, жестокого она ему наговорила. Он горячкой тогда заболел. Она наверное, добра ему хотела. Но неужели, желая сыну добра, она должна была обрушить на ребяческую голову такой невыносимый груз? Словно ножом изрезала душу. И лишь сейчас, через тридцать лет он пытается избавиться от этого груза, исцелить давнишние раны. Конечно, он родился в страшной семье. Но он разговаривает с Ильей о своем детстве и ему легче, много легче. Неужели же родная мать не могла все разъяснить ему спокойно, с любовью, как это делает сейчас старый разбойник? Но она горела гневом! А ведь он видел ее еще раз в таком же бурном приступе гнева. В тот первый раз она разгневалась, вступаясь за него, жалела сына. Во второй – жалела мужа. На сына сердилась. Гневлива

маменька была! Уж если молодая их любовь с его отцом прошла вся в перебранках и драках.

Везет ему на яростных женщин!

Очень сдержанный, Петр вспыльчивых не одобрял. И особливо была ему неприятна несдержанная женская горячность. Плохо тебе – ну, поплачь, помолись. Но ему везло на гневных.

Он подумал: хорошо бы к астрологусу сходить. Сегодня нельзя, жене обещался. А вот завтра он, пожалуй, навестит это занятное семейство, где разговаривают вперемежку на трех языках и задиристая фрейлин Леонора мало помалу начинает связно изъясняться по-русски. Миловидная, разумная девица. Переняла даже отчасти русский обычай – за их столом теперь найдется чем закусить. Француз ходит ради нее, несомненно; швед, кажется, тоже.

А ему, Петру Басманову, она нравится? Ходит он к ней, или просто в дом?

Вопрос нелегкий. С астрологусом тоже любопытно беседовать. Лучше, если есть толмач, немчура по-русски кумекает худо. С фрейлин Леонорой можно без посторонней помощи толковать. Но есть еще что-то. Какая-то загадка его манит. Почему вдруг загораются непонятным блеском ее красивые серо-зеленые глаза? Почему ему так интересно слушать о царевне Ксении, дочери тяжелого и мнительного государя, внучке злейшего врага их семьи, Малюты? И каким образом осенило его, когда грозила царская немилость, послать Антипа к горничной незнакомой ему придворной боярышни, которую он лишь мельком видел сквозь щелочку и которая следит за ним из терема, когда он бывает во дворце? И ведь сработало! Антип все рассказал горничной, и уже на следующее утро царевна просила за него отца.

Влюбилась эта боярышня в него, что ли? Да они видели друг друга один миг. А ему она понравилась? Видно, славная девушка и собой, кажется, хороша, но ведь он – не юная девица, чтобы глянуть в щелку и придумать себе человека. И все же притягателен этот мир милых, чувствительных юных созданий, любопытный карий глаз, блеснувший в полутьме кареты, испытующий взгляд Леоноры. Мир девичьих мечтаний, щебетаний и доверчивая готовность помочь. Ничего подобного он не знал в своей жизни. У него теплело на душе, когда он о них думал. А ниточка одна – дом астрологуса. Завтра он туда пойдет.

Царь Борис позвал к себе Петра Басманова.

– Что, соскучился без дела, воевода?

– Соскучился! – от всей души ответил Петр.

– Так и рвешься в бой. Что ж, это прекрасно. Да погоди, воевать пока не с кем. К тому же я слыхал, ты не скучаешь. К астрологусу моему зачастил. Гадает он тебе?

– Нет, что ты, государь, как можно? Гадает он только тебе. Да ведь не я один туда хожу, у них полон дом народу.

– Может, дочка его понравилась? Красивая девица.

– Я семейный человек, – сказал Басманов и, чувствуя, неубедительность своего довода, простодушно добавил: – Жена у меня очень уж угрюмого нрава. А у них весело. И немецкой речи понемногу учусь. Фрейлин Леонора говорит, поначалу я изъяснялся ушасно!

– Да, плохо у нас знают иноземную речь. Я ведь послал кое-кого, у иноземцев обучаться. Эти будут хорошо изъясняться.

– А скажи мне вот что, Петя, – вдруг спросил он, – слыхал ты что-нибудь о бродяжке, что выдает себя за русского царевича?

– Да, о нем говорят, государь. И до меня дошли слухи.

– Ну, и кто же о нем говорит? От кого, к примеру, ты о нем услышал?

Петр услышал о нем от Федора Шереметьева. Но царю об этом вовсе незачем знать.

– Разные люди говорят. Не упомню. В гостях где-то говорили.

Царь хотел спросить, у кого в гостях, но передумал.

– И что ж ты о нем слышал?

– Что он вроде бы по монастырям ошивался, да нигде подолгу не задерживался. То ли он из холопов, то ли из бедных дворян. – Петр задумался, припоминая. – Он, сдается мне, давно уже из наших мест ушел и живет то в Польше, то на Украйне.

– А ты знаешь, что я Адаму Вишневецкому большие деньги предлагал, чтобы он мне этого вора выдал? А Вишневецкий отказался.

– Так он же с нами враждует, – заметил Басманов. – Ты велел у него какие-то укрепления сжечь. Перестрелки были.

– Нехорошо это, что князь Адам такого человека привечает, – сердито сказал Годунов. – Я вот думаю, не собирается ли он с нами воевать?

– Это ты потому думаешь, что он расстригу у себя прячет? – усмехнулся Петр. – Да где же ему сладить с нашей державой?

– Может союзников сыскать.

– О союзниках ничего не слыхал. И какие там союзники, когда в самой Польше никто друг с другом

поладить не может.

– В этом ты прав, - согласился царь. И добавил: – Однако это ничего не значит. Ладно, ступай.

Не успел Басманов выйти, царь его окликнул.

– Постой-ка! Ты про такого атамана Карелу что-нибудь слыхал?

Басманов улыбнулся.

– Я его знаю. Атаман из атаманов. Я думаю, на всем Дону первый.

– Как же ты с ним познакомился?

– А мы с его отрядом как-то вместе по Орде ударили.

– Вижу, он понравился тебе.

– Отчаянной смелости человек, – одобрительно сказал Басманов. – И отлично воюет.

– Как бы твой отчаянный атаман с этим вором не спелся, – молвил царь. И, встретив удивленный взгляд Басманова, пояснил: – Монашек-то наш в Запорожской Сечи побывал.

– Не слыхал об этом, – проговорил Басманов. – Но на Дону он все же не был?

– На Дону нет. Ладно, Петя, ступай. Не будем понапрасну бить тревогу.

Басманов вышел, нахмурясь. Тревожен, мнителен царь. Но он очень умен и главное – чуток. И какой же розыск у него!

На масленую Петр зашел к астрологусу поздравить немчуру с русским праздником. Не успел порог переступить и охнул: в женское царство попал. Вот так они ему и представлялись – мельканье, щебетанье. Воистину цветник. Всех цветов телогреи сверкают дорогими камнями. Бобровые ожерелья. Нет, бобровые не на всех, иные щеголихи носят разных мехов ожерелья. Меховые шапки поснимали – в немецком доме можно – и право, косы украшают их лучше, чем высокие эти мохнатые шапки. Царевна Ксения беседует со знакомым ему лекарем французом. Как хороша – лицо прекрасное, высокий рост, осанка. А это кто – глаза как звездочки сверкают, прелестное личико, к нему так идет горностаевое белоснежное ожерелье. А коса-то – чудо! Пышные темные волосы отливают золотом. Да ведь это она, знакомая и незнакомка, ее карие глаза глядели из кареты, о ней сплетничала ему Леонора, к ее горничной в страшный час опалы послал он своего слугу. Он чуть подался вперед, вглядываясь в ее милое лицо. Она? Не ошибся?

Щебетанье внезапно смолкло. Девицы с любопытством воззрились на вновь пришедшего. Сопровождавшая их боярыня нахмурилась, все тотчас отвели глаза. Только фрейлин Леонора нисколько не смущаясь смотрела прямо на него.

– Милости просим, герр Петер, будь гостем. Как ты испугайт моих подруг. – И насмешливо спросила: – Неужели русский мужчина больше страшен, нежели немецкий одер французский?

Всем, конечно, было известно, что покойный датский принц, жених царевны Ксении, так ни разу и не повидался с ней. Впрочем, некоторые в этом сомневались. Ну, а здесь совсем другое: здесь немецкий дом. Астрологус, тоже мужчина, и его гости иноземцы не помешали царевне со свитой войти в этот нерусский дом, где свой обычай, и расположиться в нем свободно. Они же сами надумали навестить свою подругу Леонору и угостить хозяев русскими блинами. Кто виноват, что в немецких домах не существует женской половины?

Боярыня Мещерская была неглупа и смекнула, что если при виде Басманова она тотчас уведет свой выводок, иноземцы обхохочутся, забавный этот случай станет известен всей Немецкой слободе, да еще, пожалуй, за границу отпишут. Она ответила малым поклоном на поклон Басманова и поудобнее расположилась в креслах.

Царевна Ксения, любезно ему кивнув, возобновила разговор с французом. Леонора стала угощать Басманова. Боярышни переговаривались, искоса поглядывая на нежданного гостя, сперва чуть не шепотом, потом чему-то засмеялись и заговорили громче.

Басманов, угощаясь балыком и блинами, незаметно разглядывал девушек. Конечно, не все они были пригожи, – полдюжины молодых девичьих лиц – но даже те две, что поплоше, милы были своей молодостью, добрыми, веселыми улыбками, сияньем глаз. Одна из девушек, светловолосая, с точеным тонким личиком, была блистательно красива. Он взглянул на Вельяминову, любопытствуя, не померкнет ли ее миловидность рядом с такой красотой, и удивился так, что его поднятая рука, а вместе с ней двузубая немецкая вилка с балыком застыли в воздухе.

Полно, – она ли только что, совсем недавно освещала своей живостью весь этот девичий круг? Глаза, как звездочки, звонкий голос – куда все подевалось? Она сидела, скованная невидимыми путами, опустив глаза. Что с ней сделалось, обидел ее кто? Нет, здесь ее не обижали. Неужели из-за меня? Возможно ли такое? Фрейлин Леонора намекала, что Сашенька к нему неравнодушна и даже плакала из-за него. Девичьи слезы немногого стоят, но он вспомнил этот разговор, когда ему угрожал застенок, и послал к ее горничной своего слугу. Он поднял голову и встретил взгляд Леоноры

– внимательный, насмешливый взгляд. Над кем она смеется? Надо мной? Над ней? Боярышни подружки на Сашеньку Вельяминову поглядывают и перешептываются, улыбаясь.

«Э, нет, так не пойдет», – подумал он, встал и подошел к Саше.

– Я рад счастливой случайности, – сказал он с поклоном, – позволившей мне повидать тебя еще раз. С той мимолетной встречи я не могу забыть чудесную доброту, которую ты оказала несчастному мальчишке. Если бы не ты, он, я думаю, помер бы с голоду. «Что же я так вру бессовестно? – подумал Петр. – Я ведь и не вспоминал о ней. Сейчас, правда, все вспомнил».

Саша подняла голову, глаза ее ожили, лицо просветлело.

– Я полагаю, от голодной смерти его не я спасла, а ты, – сказала она негромко. – Я тоже все это время тебя вспоминала.

Тоже! Какой стыд-то такой девушке врать!

– Знаешь, что меня поразило, – сказала она, доверчиво взглянув на него. – У тебя были такие добрые глаза, когда ты одарил того мальчика. И вдруг лицо твое стало жестоким и страшным… и ты пригрозил другим голодным людям, чтоб не вздумали мальчика обижать.

– Не все они были голодны, – возразил Басманов. – Там перекупщиков добрая половина. Но им я тоже денег дал.

– А ты думаешь, я этого не заметила! – воскликнула она с вернувшейся к ней прежней живостью. – Я так обрадовалась и испугалась, узнав, что ты спас старого своего слугу чуть не ценой собственной жизни. Ты удивительно добрый человек. Моя доброта в сравнении с твоей ничего не стоит.

– Я думаю, твоя доброта много выше, - сказал он сухо. – И не спорь со мной. Я знаю, что говорю.

Саша удивленно на него посмотрела.

Он не стал ей объяснять, что в его благотворительности есть тщеславие. И что старого слугу он спас скорее для себя, чтобы расспрашивать его о прошедшем и чтоб избавиться от одиночества. Но он впервые в жизни так беспристрастно заглянул в себя. И ему было бы совестно и противно, если бы он позволил этой славной девушке восхищаться им за то, чего в нем нет. Да, мол, да, я и впрямь такой, самый добрый на свете.

– Как мне жаль, что не удалось тебе помочь, – сказала она. – Государь, наоборот, рассердился. Но сейчас, Слава Богу, с тебя снята немилость.

«Она все время следит за моими делами, помнит обо мне, сочувствует, – с непривычным умилением подумал он. Он смотрел в ее глаза, и радостная теплота волной окутала его, и он думал: – Хоть бы мы стояли так долго, долго и говорили бы без конца».

Он чувствовал, что с ней творится то же самое, и знал, что кончится все очень скоро и неизвестно, удастся ли ему еще хоть раз ее повидать.

А пока они спешили все рассказать друг другу – то об одном, то о другом, о важном и неважном, но неважного для них не было, он все время думал: «Как хорошо с ней, как легко. Выпадет же кому-то счастье». Боярыня Мещерская поднялась, и девушки засуетились, пошли в сени, стали одеваться. Он шел рядом с Сашей, из-под мохнатой лисьей шапки на него глядели сияющие карие глаза.

Не накинув шубу, он проводил ее до кареты и не почувствовал, как свиреп мороз. Вернулся сам не свой, вошел в горницу, где только что была она. За столом сидели одни мужчины. А фрейлин Леонора стояла спиной к окну и посмотрела на него так мрачно, с такой ненавистью и презрением. «Господи, еще и эта, – подумал он. – А я думал, поможет по дружбе». В чем поможет? Разве он станет добиваться? Он, видно, вовсе ошалел.

В Москве все больше говорили о воре, выдающем себя за царевича Дмитрия. Называли его имя: Григорий Отрепьев, в миру – Юрий. Появились люди, узнававшие его. Сын небогатого галицкого дворянина, служил у окольничего Михаилы Романова, потом у князя Черкасского, приходившегося Романовым родней.

Когда Романов и Черкасский попали под опалу, Юшка бежал и постригся в монахи. Где и когда постригся – неведомо, но из каких-то дальних монастырей попал он в Чудов монастырь в Москву, где его редкостные способности заметил патриарх Иов и приблизил к себе.

А затем чернец из Чудова исчез. По одним слухам, был изгнан за ересь, но говорили и другое: в тайной беседе молодой монашек кой-кому признался, что может стать московским царем. Петр размышлял о странных сих делах со сводными братьями Василием и Иваном Голициными и со знакомыми. Выходило так, что впадать в ересь чернецу, столь успешно продвигавшемуся по службе у патриарха было незачем; стало быть, он по другой причине бежал.

– Все эти слухи насчет ереси из Посольского приказа идут, – говорил князь Лыков. – Борису выгодно его почерней вымарать. Вот он сразу стал и вор, и еретик.

В Голицинском кружке Бориса не любили и не

скрывали нелюбовь.

– Тут и думать нечего! – гудел князь Татев. – Да если б в Чудове под царскими окнами что-либо подобное учинилось, нешто мы бы сразу не узнали, кем подослан этот Гришка Отрепьев и почему такое на себя берет.

– Так-то так, – задумчиво произнес Михаил Глебыч. – Но вот что любопытно, братцы, можем ли мы знать наверное, что самозванец этот именно Отрепьев, а не кто другой?

Собеседники ошеломленно на него воззрились.

А инок странствовал по разным монастырям. С каких-то пор открыто стал говорить о своем царском происхождении. И за эти разговоры его гнали отовсюду в шею.

Он расстригся, наконец, сбежал в Польшу, где нашел приют у православного магната князя Вишневецкого. Там расстригу признали царевичем, и весною шестьсот четвертого года князь Адам стал собирать для него ополчение.

В ту весну и в Польше, и в Москве ожидали вторжения Крымской Орды в московские пределы. Ожидали со дня на день. И со дня на день Петр Басманов ждал, что война вот-вот начнется, и ему дадут войско и прикажут выступать.

Еще в конце зимы слепого Илью отправили в подмосковное именье. Старик был очень плох – он задыхался, согнулся в крючок и с трудом волочил ноги. Предполагали, что он немного поскрипит в деревне на покое и помрет. Люди жалостливые из домочадцев осуждали хозяина – всю зиму мучил старика разговорами, а помирать отправил с глаз долой.

Но в действительности все было совсем не так. Старик просто притворялся хворым. Слишком много шуму пришлось учинить осенью, освобождая его из тюрьмы. Слишком многим было известно, что у окольничего Басманова живет в доме первый лазутчик знаменитого Хлопка, повешенного полгода назад. В деревне старик сразу распрямился, колол дрова, много ходил, стрелял по слуху ворон. Его навещали Антип и Андрей.

После памятной масленицы первое время Петра так и тянуло к терему царевны, но боярышни, как и положено в Великий Пост, усердно молились, и он видел их редко и издали. А потом пошли все эти разговоры о самозванце и о войне, он стал готовиться, прикидывать, куда назначат, часто бывал в стрелецких полках. От неумелых ведь, в конце концов, можно и отказаться.

На Светлое воскресенье он пошел в дворцовую церковь, видел царевну со свитой, хотел приблизиться к ним, но наткнулся на стоящих плотным строем Вельяминовых, глядевших на него весьма сурово. А Петру всего-то навсего хотелось подойти поближе, взглянуть, перекинуться словечком, увериться, что не забыла. Так, во всяком случае, ему казалось.

Однажды, не выдержав, он послал Антипа навестить его знакомую Анютку. Антип вернулся очень скоро и принес плохие вести. Анютку сослали в степную деревню, а остальные горничные, с которыми он пробовал разговориться, шарахаются от него, как от чумы.

Тем временем в Польше, в имении князя Вишневецкого, нападения Орды на Русь ждали с надеждой. Русь втянется в войну – так мыслили они – момент весьма удобный для вторжения. Но крымцы так и не решились воевать.

В Польше многие были против войны с русским царем, и князь Адам с этим не мог не считаться. Его воинский пыл охладел, и в Москву вскоре пришли удивительные вести.

Самозванец перебежал от Вишневецкого к Сандомирскому воеводе Мнишку, человеку легкомысленному, по уши погрязшему в долгах и готовому на любую отчаянность, но в то же время с могущественными связями. Его поддерживали и король, и кардинал.

Война откладывалась, но было о чем поразмыслить. Все менялось и едва ли к лучшему. Да, весеннего вторжения не будет. Но войско король Сигизмунд может собрать гораздо большее, чем Адам Вишневецкий. Воевать придется не с отрядом легионеров, а с Польшей. «Не со всею Польшей, – вмешался Салтыков. – Король затевает войну без согласия сейма. Он, может быть, еще отступится и свалит все на Мнишка». «Я вот чего не пойму, – заметил Петр Басманов, – если этот, как бы его назвать, царевич снюхался с католиками и ждет от них помощи, ему самому надо переходить в латинство. А Русь католического царя не захочет. Народной поддержки ему не видать». «Не знаю, Петя, – хмуро сказал Голицин, – чего этот народ захочет: им давно уж снится «добрый царь»». «Нет, Вася, на русских не надо клепать, – поддержал Басманова Салтыков. – Мы народ православный, и даже самая голь не пойдет за царем не нашей веры».

Невеселые ожидания московских умников вскоре подтвердились. Новости были прескверные. Самозванец влюбился в дочь Мнишка Марину и предложил ей руку и престол. Помолвка состоялась,

и ходили слухи, что жениху пришлось принять латинство. А далее посыпалось. Будущий русский царь, еще не выйдя за пределы Речи Посполитой, вовсю раздает своим польским друзьям русские земли.

Россия стояла, казалось, если не на краю гибели, то перед началом кровопролитной войны с дотоле дружественной сильной державой.

Но прав был Салтыков – в Польше оказалось не так уж много охотников повоевать с Москвой. И Сигизмунд, отказавшись от посылки армии в Россию, посоветовал пану Юрию Мнишку навербовать частное войско. Иными словами, сделать то же самое, что собирался учинить князь Вишневецкий, но с гораздо меньшими средствами.

Получив кое-какие ссуды, Мнишек к середине августа в окрестностях Львова собрал конный и пеший отряд из оставшихся без дела наемников.

Похоже было, что Русь может свободно вздохнуть. Вместо войны с грозным соседом ей предстояло лишь отбить наскок легионеров. Да к тому же Мнишек опоздал, а в осеннюю распутицу выступать едва ли станет.

Странное время наступило. Казалось, некий маятник так и качается из стороны в сторону. Что-то страшное надвигается и вдруг обошлось. Вроде бы можно вздохнуть свободно, но что будет дальше?

* * *

Среди многих слухов по Москве прополз еще один. Был он темен, тих и невнятен, но поведал о делах, случившихся в самой Москве, чем поверг столичных жителей в трепет. Литовская граница далеко, Татария не ближе, а таинственные эти, призрачные дела прямо тут, совсем рядом свершились.

Заполночь, глухой и мягкой сентябрьской ночью по московским улицам прокатила колымага. Стражники у врат ее беспрекословно пропустили, и в Кремль она въехала без препятствий и остановилась подле дворца Годунова. Сопровождал карету конный отряд. Сливаясь с тьмой, мелькнуло несколько теней и скрылось во дворце.

Кто сопровождал гостей по безлюдным ночным переходам – неведомо.

Тем не менее, стало известно, что загадочные посетители вели под руки женщину в черной монашеской одежде, судя по походке, немолодую.

Остановившись у высоких дубовых дверей, пропустили ее в темные сени со словами: «Иди прямо, на свет», сами же остались в переходе.

Монахиня неверными шагами вошла в палату, слабо освещенную двумя свечами – их держали мужчина и женщина, немолодые, роскошно одетые.

Одеяние мужчины что-то напомнило вошедшей. «Батюшки, да это царская одежда! Кто же? Неужели Борис? Как постарел! Ему ведь лет пятьдесят всего лишь. И свеча дрожит в его руке. Пламя так и мечется. Царица Марья, скуратовское отродье, держит свечку твердо».

«Что время делает, – подумал Годунов. – Время и глухое монастырское житье. Седая, сгорбленная, с обвисшими щеками. Кто подумал бы, что за не столь уж большой срок может стать такой красавица Маша Нагая». «Поделом тебе», – подумала царица.

– Инокиня Марфа, – заговорил Борис, мы призвали тебя для выяснения дела большой важности. Не погреши перед Богом. Страшные муки ждут тебя навечно, если ты солжешь. Ответь правдиво: жив ли сын твой Дмитрий?

– Я не знаю, – ответила Марфа.

Царица взвизгнула от ярости и швырнула ей в лицо свечу. Царь успел задеть руку жены, и свеча пролетела мимо.

– Как ты можешь этого не знать? – удивленно спросил Годунов. – Ты же была в Угличе. Ты видела его мертвым?

Марфа покачала головой.

– Не знаю, кого видела. Глаза мои от слез тогда ослепли. Мне говорили, – добавила она, – что сына моего увезли тайно, без моего ведома, а те, что говорили так, уже умерли.

Круг замкнулся. Расспросы были бесполезны. Борис в страшном гневе приказал заточить Марфу вновь и содержать с особой строгостью.

Кто был свидетелем этой беседы за наглухо закрытыми дверями?

Казалось бы, свидетелей быть не могло. Тем не менее, все случилось именно так, и в Москве никто в этом не сомневался.

Все призрачно, неуловимо в этом рассказе. Царь не знает, жив ли законный наследник престола. И мать царевича не знает, если сказала правду. Правда же неуловима. Скользнули темные тени и растаяли во мгле осенней ночи.

Виктория Полищук

УХОД – ТВОРЕНИЕ КОНЦА ИЛИ НАЧАЛА?

Памяти Бориса Розенфельда

***
Уходят… уходят… уходят…
Путь в бездорожье нельзя отложить
и вымолить час за чертою,
в пределах сознанья,
вслед нашей мольбе
о невозвратимом – извечном.
Конечном.

***
Все чувства сожжены дотла.
Обуглены желанья.
Я безутешна…
Сквозь годы слышу –
«по красоте чернее ты…» –
волшебные слова,
понятны только нам, ему и мне.
По красоте…
чернее…
я… –
понятно мне одной.
Его слова, как заклинанье,
сопровождали жизнь мою.
Бесцветно все
без сослагательного: если б…
О! как прекрасно быть могло.
Преследуют мгновенья,
не прожитые мной.
Сегодня я в отчаянье глухом
протягиваю руки молчаливо…
Ответа нет – вопрос застыл,
Лишь бездна пустоты пугает.

Пять лет назад он умер –
я вчера узнала.

***
Стихи не пишутся,
Мне трудно дышится.
Проблема.
Совсем не дышится...
Хочу договориться
с кем-то
неслышимым, незримым –
тщетно.
Пытаюсь примириться
с кем-то
далеким, не забытым мной –
провал.
С собой смириться не могу –
бессмысленно.
Сейчас иль никогда…
Туман застит глаза,
Мешает разглядеть
пространство света
и луч надежды на спасенье,
ткань бессловесной маеты
незрима.

***
Два Бориса, два берега –
жизнь прошла между ними.
Начало – конец.
Заря – закат.
Надежды и мечты.
Несбыточность и бунт.

***
Он был один,
и я одна…
И бездна времени в проеме.
Глазницы беспросветных снов
преследуют,
их тени не оставляют днем меня,
мешая жить.
И ночью нет покоя.

***
Уход – творение конца или начала?
Сомненья прочь и мысли о напрасном.
Все разрешилось в этот миг прекрасный –
И лопнула струна,
И внутренний надлом исчез,
И нет препятствия всему,
что было здесь.

***
Мир опустел,
Только пение скрипок
Гонит поземку прощальных улыбок…

Москва, 21-25 июня 2013

Лев Бертин

СОВЕТАМ МУДРЕЦОВ ВНИМАЙ ВПОЛУХА

***

Светлой памяти моих дедов:
барышника Зисселя и раввина Нахума

Дед мой барышник и дед мой раввин
над величавым простором равнин
вечную службу на небе несут —
звезды считают и внуков пасут.

Зиссель промолвил :
–Тут мне, реб Нахум,
разные мысли приходят на ум.
Водочка есть и хлебца каравай...
Мудрый Нахум отвечал:
– Доставай.

– Только,– барышник поскреб в бороде,–
в этом раю нет закуски нигде.
Разве что сало... Но ты ведь не ешь...
Коротко ребе ответствовал:
– Режь.

Господи боже, во всем твоя власть.
В облаке белом бутылка нашлась.
Дивно разлилась под пение струй.
– Может в картишки, а, ребе?
–Тасуй.

.... А на земле их проказливый внук
вмиг без присмотра отбился от рук.

С дамой в отеле "Астория"...
Но это другая история...

ОСЕНЬ

Мы не виделись целый год.
Где ж ты шлялась, подруга-осень ?
По тропинкам каких лесов,
не боясь заблудиться в них?

Много было за год всего,
не хватало тебя мне очень
в чехарде сплошных поясов —
и багажных, и часовых.

Мы в вагоне в толпе людской.
Ну а жизнь проплывает мимо.
Как вокзалы ушли вчера
в сумрак ночи, сводя с ума,—
в белом — аисты над стрехой,
белый абрис Ерусалима ,
бело-розовый по утрам
над индейской рекой туман.

Я кричу (или я шепчу),
а вагончик бежит по рельсам.
И Кому-то там все равно,
что все бешеней стук колес.
– Погоди, задержись чуть-чуть,
я еще ведь не насмотрелся.
Все быстрее идет кино,
пробирая меня до слез.

Даже осени вовсе нет.
Лишь предчувствие, только запах.
Да по-летнему теплый дождь
тихо льется в ладонь листа.

Исполнение всех примет
мы откладываем на завтра.
Но когда ты опять придешь,
постарайся меня застать....

***

Три голоса звучат во мне, три эха.
Три голоса , три плача и три смеха.
Три шепота живут во мне, три крика.
Три женщины... Или одна — в трех ликах...

***

Можно ключом стать, а можно быть винтиком,—
разные свойства имеет металл.
Думать не думал, что буду политиком.
Если бы думал, конечно бы, стал.

Рос неприметным и тихим молчальником,
умные книги ночами читал.
Думать не думал, что буду начальником.
Если бы думал, конечно бы, стал.

Если дороги казались опасными,
я, не колеблясь, обход выбирал.
Если бы думал, что буду с лампасами,
был бы, конечно, уже генерал.

И секретарша бы (в званьи полковника)
мне б на плечо свой клонила погон.
А с высоты моего подоконника,
как на ладони, мог быть Пентагон,

в чьих коридорах я шлялся бы дачником.
Те, кто навстречу мне,— руку к виску.
Шел бы, поигрывая чемоданчиком —
ядерным, с кнопочкой красной в боку!

ГАСТРОЛЁРЫ

Д. Кимельфельду
Д. Бикчетаеву

"Напылили кругом, накопытили.
И пропали...."
С. Есенин

Только-только свобода забрезжила
и покой постучался в наш дом,
тут же — бац! — гастролеры заезжие.
И жена в бок толкает : "Пойдем !"
Называем давно кота Васею,
кошку — Муркой, богатством — года.

Ох, устроили здесь катавасию
залетевшие к нам господа.

Им собраться, что мне подпоясаться,
зачехлили гитары: "Адье!"
Всё в душе переставили, власовцы,
а теперь разбирайся — что где.

«Напылили кругом, накопытили.
И пропали» вдруг, как в полынью...
Гастролеры, мать вашу, любители,
третью ночь из-за вас не сплю...

***

Светлая головушка,
гладкие височки —
вышивала крестиком
чайка на песочке.

Скучное занятие,
позвала подружку.
Вместе они вышили
славную кольчужку.

Тонкую, узорчатую,
легкую, как птица.
Прямь, как настоящая,..
но воды боится...

***

....Все суета сует и томление духа...
Екклезиаст

Советам мудрецов внимай вполуха.
(Бывают мудрецы на свете еще те).
Смысл жизни, господа,— в томленьи духа,
Но прелесть жизни — точно!— в суете...

Валерий Дашевский

НЕБО

Сегодня пасмурно.

Я протер запотевшее окно и, перегнувшись через доску раковины, выглянул из своей, с позволения сказать, кухни на свет Божий – сквозь решетку и частую сетку, загаженную птицами. В просвет между домами, над пышной изгородью в цветах и гигантскими кактусами, видна полоска неба с оттенком желтизны.

Стало быть, пришла из Африки песчаная буря, о которой говорили накануне.

В такой день самое время идти на мост, на котором улица Herzl переходит в шоссе Hayardeen Rd., что ведет в глубь страны мимо индустриального парка и старой промзоны Elezer Kaplan, где снимать попросту нечего. Другое дело – мост. На пути к нему Herzl (мне приятно писать на английском названия улиц) забирает в гору, вдоль лавчонок и закусочных, в которые я люблю заглядывать; по молу проходит дорога на Тель-Авив, небо нарастает с каждым шагом, если умеешь слышать его, как музыку (думаю, некоторые слышат) и, как Вагнеровское крещендо, заполоняет все. Тут замечательная точка съемки. Тонкие деревья с безлистыми ветвями над нисходящими грязными фасадами домов, напоминающих тюрьмы или казармы (тем-то они мне и нравятся) выглядят изысканно, как на гравюрах, отчеркивая горчичного цвета туман, в который уходят вышки, провода и строения; лесополоса и башни нового района вдалеке еле различимы; железнодорожные пути под мостом теряются в непрозрачном воздухе, точно ведут в никуда, которое тщатся запечатлеть подражатели Колберта[1].

В солнечные дни (на моей памяти таких было несколько) пейзаж тут такой же безжизненный: прокаленный, отцеженный солнцем воздух недвижим; белесая, точно присыпанная тальком зелень склонов отливает блеском металла. Снимаешь против солнца, на снимках все размыто, высветлено, пронизано волокнистыми и колкими лучами в радужных бликах, но меня влечет не это – не мимолетное, а выразительное, не размытость, а ясность, не жизнь, а участь (я понял это здесь, поселившись на Hagalil Str., но, как со мной бывает, кажется, знал это всегда). Снимаешь то, что бросается в глаза, чтобы затем разглядеть по-настоящему. Отбираешь у времени, у его полноты и скоротечности. Отбираешь свое. Так я рассматриваю мусорные контейнеры в нишах оград, газовые баллоны, вкопанные под стены домов, темные проходы во внутренние дворы, трисы[2] в подтеках грязи, столы кофеен, мощеные улицы, груды мусора, буквы иврита. Я их не знаю, но мне нравятся их начертания – нравится, что могу, если сочту нужным, прожить, не понимая их (чистое бытие, в котором дни идут за днями, как облака).

Небо я разглядел случайно. Вначале, направляясь в центр города по своей Hagalil Str., я видел облака над крышами, величественные, громадные, застывшие в светозарном апофеозе над безликостью фасадов, скорбной и страшной наготой деревьев, над нищетой улиц, над убожеством приютившей меня страны; или то были тучи, в полнеба, мглистые, алые по краям, то застывшие, то гонимые ветром и разодранные разрывами рассвета. Через пару недель у меня вошло в привычку разглядывать облака, а потом я увидал небо, каким не видал никогда – в окно квартиры, выставленной на продажу в Иерусалиме. С год назад в ней умерла румынская пианистка. Посреди небольшой беленой гостиной продолжал стоять рояль, который никому не смогли подарить, на крышке рояля – фотографии в серебряных рамках. Из квартиры вынесли все ценное, но кое-что осталось от прожитой жизни: книга in folio, раскрытая на турецком столике, трюмо

[1] Грегори Кольбер (англ. Gregory Colbert; род. в 1960 г.) — кинематографист и фотограф, известен главным образом как создатель выставки художественных фотографий и фильмов «Пепел и снег». (Здесь и далее, помимо особо оговоренных случаев, примечания принадлежат автору).

[2] Жалюзи-ставни из алюминия

в темной спальне у кровати, – не застланной, отчего казалось, что тело унесли час назад. Трисы повсюду были спущены, открыто только одно окно – и в нем стояло небо, близкое и необъятное, с облаками в синеве, монументальными, как на потолках соборов.

Бывает, в минуте слиты жизнь и смерть и вечность, и я подумал тогда, как же долго я шел к своей!

Что-то я отвечал провожатой, даме моих лет, глядя на простершийся вдали великий город. Издали он был белым и безжизненным. Без сожаления я вспомнил, как выставил на продажу квартиру, – ту, в которой вырос я и умер отец, – поняв, что не сумею в ней жить, и она выглядела такой же жалкой. Такой же выглядела и моя теперешняя в Москве, когда вещи были собраны, – ее я купил спустя долгие десять лет и перед отлетом сдал китайцам. Все это представлялось теперь начисто лишенным смысла. Абсурдом, как затея продать московскую квартиру, чтобы купить вот эту. Я коротко сказал об этом провожатой; та пожала плечами, но, кажется, меня поняла. И в Иерусалиме было холодно, значительно холодней, чем в Нетании.

На обратном пути я снимал из автобуса, постепенно понимая, чем займу себя.

И вот еще что: в темном салоне израильско-го автобуса, мчавшегося в закат, я был собой.

Помнится, я смотрел сквозь отражения в стекле на уносившиеся вспять пальмы, пустоши, баки нефтехранилищ, на высоченные дома вдали, в меркнущем в золотом небе, – как через воспоминания, сквозь которые обычно брел по своей новой родине, городу стариков и солдат. Смирения – вот чего мне недоставало, чтобы стать добропорядочным евреем, возлюбившим ярмо Неба, следуя Раву Кахане.[1] *«Человек должен держаться только истинных и надежных путей, не отклоняясь от них и не оспаривая их».*[2] Ну, еще бы. Восхождение к святости было мне не по плечу, но я рассчитывал выработать какую-никакую пенсию. С китайцами мне повезло больше. Мою квартиру снимают две семьи, я веду дела с китаянкой Машей; кажется, семьи состоят в родстве, но это я позабыл выяснить. В конце месяца мы с Машей сверяем по интернету показания счетчиков, тем же манером я плачу квартплату, за остальные деньги живу, как мог бы жить, скажем, на подмосковной даче. Мои китайцы – крепкие, веселые, с красивыми белозубыми детьми, всегда приветливые, аккуратные в расчетах и работящие, как гномы; кажется, у них один выходной в месяц и они являются домой ближе к полуночи. Они те кроткие, кто наследуют землю, когда их рабский труд покорит мир. Мы, разумеется, и тогда будем полагать, что мир создан ради Торы и народа Израиля.[3]

Такое положение вещей позволяет мне смиренно дождаться израильской пенсии, если решу смиренно дожидаться израильской пенсии, в чем не вижу ни малейшего смысла, как, скажем, в работе охранником (у меня несколько знакомых охранников) или в вызванивании клиентов в мебельный салон; и даже на такую у меня нет ни одного шанса из-за незнания иврита и возраста – в шестьдесят можете не пытаться искать работу. Так мне сказала милейшая женщина, мой куратор в Министерстве абсорбции, и я не дал ей повода повторять это дважды.

Первый раз в жизни я почувствовал себя свободным – как должно чувствовать себя, если ты выжил в кораблекрушении и выброшен на одинокий берег: то, чем жил, осталось Бог знает где, если и было, и вдруг все видишь с кристальной ясностью, как будто внезапно прозрел. Я просто пошел по городу, разглядывая вывески, пальмы, кусты и кактусы на газонах, задние стены в граффити; суданцев, сидящих у столбов; похожие на пустыри парковки; тенты, напоминавшие фаллосы; утварь синагог в окнах лавок. Я вглядывался в ничего не значившие мелочи, – в очки с цепочкой на женщине впереди, в колесные сумки стариков, в пыльные израильские флаги, в обноски, сохнувшие вдоль стен там, где полагалось быть балконам, – будто силясь запомнить их на всю жизнь, или наоборот, уходя из жизни и не в силах поверить, что все кончилось.

Так я ходил бы до Судного дня, если б не Nikon D4 и линзы.

Я начал с улицы Binyanin, с ее пальм

---

[1] Рав Кахане, Меир Давид (1932 г. – 1990 г.) – американский и израильский общественный, политический и религиозный деятель, публицист, еврейский националист. Приобрёл известность как лидер «Лиги защиты евреев», основанной им в 1968 году для защиты еврейского населения бедных кварталов Нью-Йорка. В 1990 году Меир Кахане был убит в Нью-Йорке в результате теракта, совершённого египетским арабом. На похороны Кахане в Иерусалиме пришло, по разным оценкам, от двадцати до пятидесяти тысяч человек; позже был убит его сын. В 1994 году партия «Ках» и отколовшаяся от неё фракция «Кахане Хай» были запрещены в Израиле. В настоящее время обе эти организации признаны террористическими в Израиле, США, ЕС и Канаде.

[2] Цитата из книги М. Кахане «Еврейская идея», глава «Ярмо Неба».

[3] Иронический парафраз цитаты из М. Кахане «Еврейская идея»: «Весь мир был создан только ради Торы».

Phoenix dactylifera и Bismarckia, – названных, как оказалось, в честь Бисмарка, – заглядывая во внутренние дворы, где ютилась жизнь (узкие патио, лавки старья, вывески на иврите и арабском, моторы мазганов[1] на стенах, сырость, трещины, кабели, да клочок неба между домами), прошел улицы Hertzel , HaRav Kuk, Dizengoff и остановился на Smilansky, где впервые снял пальмы на фоне облаков, подобных белым дымам. У себя на Hagalil Str., в «квартире на земле», а проще говоря, в цокольной комнате, отделенной от другой, того же размера, – та была разделена на кухню и ванную (душ, умывальник с ладонь и квадрат зеркала), куда я входил боком, – я кадрировал и обрабатывал снимки, на которых все, что видел, обретало завершенность, и глубину, и смысл; и торопиться мне было некуда. Выходя на рассвете снять кактусы на нашем заднем дворе, высившиеся в мглистом небе, или пурпурные кусты в кисее росы, я видел, каким будет день – и проживал его с небом, вошедшим в мою жизнь, словно лес или море. Я сживался с ним по мере того, как приближалась зима (я прилетел в конце лета), и небо день ото дня оживало: темнели, вздымаясь, облака и наливались сумраком тучи, и битвы света уносились туда, где занималось зарево ночи, а если небо было спокойным, вечерним, печальным, как в русской глуши, я присаживался на каменный забор или скамью и ждал, пока спустится ночь. Я снимал фонари и звезды, снимал луну на синем бархате тьмы, дожидаясь зари. Я понимал, почему образ и цвет вытесняют текст и смысл, и почему язык со своей семантикой объединяет нас, как письменность – китайцев: часами глядя в небо, в бездну над головой, я сознавал бессилие слов что-либо выразить в его жизни; просто смотрел, как оно живет. Скверно бывало ночами, когда, лежа без сна, я с утроенной силой начинал переживать то, что давным-давно кануло и сгинуло – как меня женили мальчишкой и как бесновалась мать жены, услыхав, что та ждет ребенка, и что она вопила мне в лицо; и я садился на постели, задыхаясь от ярости, а дело было сорок лет назад, дочь давно стала матерью, жила в Америке, и мы не поддерживали отношений; я спорил с умершими людьми, что-то доказывал губернатору, которого застрелили лет через пять после того, как он угробил мою первую фирму; вспоминал свой второй развод, и как умирала мать; и как меня увольняли с последних работ после всего, что я сделал. Я понимал, что означает жить прошлым, проживая его вместо будущего; вот от чего меня избавляли небо и чтение за полночь. Я выкладывал снимки в своих аккаунтах социальных сетей, на порталах фотографов, в Google, не пересматривая их неделями, каждый день, как на работе, читая между делом американских анархистов и левых радикалов (работа – зло, игру и дар роднит аристократическое презрение к результату)[2].

Творчество должно быть анонимным, как лишенная смысла жизнь, если цель жизни – жизнь. Посему, обреченный просто жить, я засунул подальше направления и рецепты своей больнич-ной кассы и вместо того, чтобы выслушивать в очередях истории понаехавших людей (одно и то же, ничего особенного!), принялся снимать страну, без мысли заработать на этом в фотобанках или участвовать в каких-то конкурсах.

Мы – старый народ. Ночами, читая вся-кую всячину, я натыкался на описания эффекта бутылочного горлышка или дрейфа генов[3] у ашкенази и других замкнутых еврейских групп или на рассуждения о запрете кровопролития четвертой заповедью Торы[4], и это отчасти объясняло, почему старость тут так явна, уродлива и страшна. Дряхление, точно палая листва, было повсюду. Я видел огромные ушные раковины, отвисшие губы, пергаментные руки, пятна и наросты, бледные, как воск, черепа, неряшливые бороды, легкие, как паутина, седые пряди. Я знать не знал, что существует столько устройств, механизмов и колясок для стариков и калек; они бросались в глаза в ненастье, когда на улицах не было почти никого, кроме солдат. Коляски толкали китаянки с лицами эскимосок. Я видел блестящие ободья колес, холмики коленей под пледами, слепые глазницы с ссохшимися веками, окостенелые рты, жизнь, как тление, заповедь, выродившуюся в голый принцип – и никакая Тора не могла объяснить мне, кому и на что такая жизнь?

В такие дни я шел к морю, снимал или,

[1] Мазган – кондиционер (ивритизм)

[2] Б. Блэк «Упразднение работы».

[3] Эффект бутылочного горлышка – сокращение генофонда (т.е. генетического разнообразия) популяции вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам происходит критическое уменьшение её численности, в дальнейшем восстановленное. Ашкенази – субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. Среди ашкеназов заметно повышен риск целого ряда генетических заболеваний.

[4] Семь законов (Семь заповедей) потомков Ноя, или Ноев Завет – семь заповедей, считающихся, согласно иудаизму, необходимым минимумом, возложенным Торой на всё человечество. Четвертая заповедь – запрет кровопролития, запрещающий, в частности, преднамеренное убийство, а также самоубийство, духовное убийство, пролитие семени и т.д.

сидя на песке зимнего пляжа, смотрел, как солнце на закате горело, будто расплавленный металл, как гасло небо и золотились отмели, точно мир погибал в конце времен, и ко мне возвращалось спокойствие.

Тогда-то я первый раз пришел на Bus station на улице Binyanin. Мне нужно было поездить самому, не с тем, чтобы понять историю, а чтобы ощутить ее землей под ногами, откликнуться на голоса в крови, те, что я слышал ночь от ночи; и так я шел, ведомый и подгоняемый ими, среди камней и гробниц, дорогами войн и разрушений. Автобус в Иерусалим или Вифанию, бывал полон мальчишек и девчонок в армейской форме, и мне нравилось смотреть на них, разглядывать потертости на их автоматах; а после весь день я снимал в Старом городе или в Кедронской[1] долине, в Кесарии, в Галилее; добрался до Масады и Гамалы[2], до каменного плато с далеким небом над Мертвым морем, до склонов с оливами, где праотцы были земледельцами и пастухами, пока не пришли эти сволочи со своей солдатней – и дальше, до шоссе девяносто восемь, к заснеженным предгорьям Галан, где танки и машины войны Судного дня[3] ржавели вдоль дороги в высокой траве Долины Слез.

От отца у меня остались дипломы, письма с фронта и увешанный орденами пиджак, от деда – приглашение на Сталинский парад, расписка музея, в который мать нехотя отдала его орден Ленина, грамоты ВЦИК и Уборевича, фотографии, тут же ксерокопированные в консульстве; от прадеда Нафтулы, которого большевики пустили по миру с шестерыми детьми – его портрет, фото его красавиц-дочерей – моих теток – и деда по отцу, заготовителя скота после чисток тридцать пятого года, не нужные после меня никому; но, что бы там ни писал Герцль о напрасном («*Напрасно мы верны и готовы на все, а в некоторых странах даже чрезмерные патриоты; напрасно жертвуем мы им своею кровью и достоянием, подобно нашим согражданам; напрасно трудимся мы, стремясь прославить наши отечества...*»)[4]; мы были кем-то всегда. С приходом ливней у меня выдалось время поразмыслить об этом, как, впрочем, обо всем остальном. Пиджак отца я завесил моими костюмами, и иногда, когда дождь долгими часами шумел за окнами, трогал его залоснившуюся ткань, спрашивая себя: куда она делась, жизнь? – и, кажется, лучше понимал эту нашу тоску по Храму, по дому Божьему на обезбоженной земле, взыскующую не Храма, а смысла.

Такой же пиджак с орденами я видел под стеклом в Общественном центре на Solomon Str., в пыльном помещении над маркетом, в котором ютились социальные работники и библиотека дареных книг, и где вывешивались объявления о вечерах русской общины. Я мало говорил с людьми – по большей части, с продавщицами в русском магазине, с маклером, поселившим меня на Hagalil Str.; как-то разговорился с сантехником, обслуживавшим наши дома; я, помнится, был потрясен количествам лавок на Via Dolorosa[5], и он не мог взять в толк, что до этого мне?

Я обзавёлся колесной сумкой, с которой отправлялся на рынок, где продавцы вопили о скидках перед Шабатом, проталкивался среди русских, друзов, марокканцев, африканцев, бежавших от Ливийской резни, французов, понаехавших сюда, когда Париж заполонили арабы, и понимал, почему мне близки события и чужды люди.

Воля моя (если это воля) организована так, чтобы примирять с неизбежностью; я знал это за собой всегда: запертый в камере милиции (куда мать в воспитательных целях отвела меня за дурацкий мальчишеский проступок), я вдруг осознал, что без боязни готов к тюрьме, которой мне грозили, и к стоявшей за ней неизвестности, не дорожа ни домом, ни двором, где незнакомый мужчина велел мне стащить бутылку вина из ящика в грузовой машине, ни матерью, ждавшей с сержантом моего покаяния и слез. Тут ничего не поделаешь. Я – порождение двухтысячелетнего Изгнания, и у меня нет ни малейшего желания *«бежать от*

---

[1] Кедро́нская долина – долина, ограничивающая Старый город Иерусалима с востока и отделяющая Храмовую гору от Елеонской. Многократно упоминается в Библии.

[2] Маса́да – древняя крепость у юго-западного побережья Мёртвого моря, в Израиле. Гамла (Гамала), в переводе с иврита «горб верблюда», – древний еврейский город в Эрец-Исраэль, был расположен на возвышенности Голанских высот. В Иудейскую войну крепость и город стали оплотами восставших иудеев, оказавших героическое сопротивление римским легионам и покончивших с собой, чтобы не попасть в руки римлян.

[3] Четвёртая арабо-израильская война («война Судного дня», Октябрьская война) – военный конфликт между рядом арабских стран, с одной стороны, и Израилем, с другой. Началась 6 октября 1973 года с нападения Египта и Сирии и завершилась через 18 дней их поражением.

[4] Теодор Герцль. «Еврейское государство».

[5] Ви́а Долоро́за (лат. Via Dolorosa, букв. «Путь Скорби») – улица в Старом городе Иерусалима, по которой, как считается, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия.

этой пугающей правды»[1]. Я не пожертвую ни цельностью, ни личностью духовному статусу и избранности, потому что так создан, а вероятней, оттого, что на такое не способен никто! *«Ярмо Неба проявляется в том, что мы откладываем в сторону нашу волю и ставим на ее место Его волю, потому что Он есть истина».*[2] Этого я не понимаю и не могу, и глубоко убежден, что Небо простит мне так же, как благороднейшему Натану Штраусу.[3] *«Только иудаизм и ничто, кроме него, дает евреям моральное право и обязанность гордиться своей отделенностью и гордо заявлять: «Я еврей!»*[4] Ну что ж. Стало быть, я проживу дни мои на Hagalil Str,. не гордясь своей отделенностью, в молчании, с собственным представлением об избранничестве, старясь, смотрясь в зеркало (в котором лицо пожилого мужчины все реже напоминает мое), выкладывая на порталах фотографии закатов и задворок, воплотившие мое восприятие мира, и зная, что оно – это я. Сакрально искусство, воплощающее идеи и образы Божественного, и, слыша Небо, не спрашиваешь, слышит ли Оно тебя. Делает ли это меня нееврeем? Вероятно. *«Нееврей не имеет части в Земле Израиля. У него нет в ней ни права владения, ни гражданства, ни судьбы. Если нееврей хочет жить в Израиле, он должен принять основные человеческие обязательства. В этом случае он может жить в стране как пришелец, но никогда – как гражданин с правом на собственность и политическим влиянием, никогда – облеченный властью над евреями, дающей ему право участвовать в управлении страной. Он может быть лишь гостем с правом проживания, но без прав гражданина и возможности влиять на дела страны. И вот тогда его нельзя ни угнетать, ни обижать. Тогда должны обходиться с ним дружелюбно, лечить его от болезней и заботиться о его нуждах. Тогда мы должны проявлять к нему ту же доброту, что и ко всем человеческим существам, таким, как те нееврeи, которые окружали нас во времена нашего собственного изгнания. Тогда он будет иметь личные, экономические, культурные и общественные права в рамках закона Торы. Но национальные права, дающие ему права высказываться по поводу структуры и характера государства – никогда!»*[5] Что ж, я сам не сказал бы об этом лучше. В самом деле, моего деда не было среди людей Бен-Амми[6], приплывших, чтобы основать этот город, живущий так, будто меня и нет; я же не чувствую себя обделенным: я ни на что не надеялся и не утрачу то, что не сумел полюбить.

Вот что, в конечном счете, делает меня тем, что я есть.

Буря уйдет после полудня (кажется, так уже было в другой жизни, в ином сне); небо утонет в синей дымке и вечерняя заря канет в алом зареве заката, или циклопические облака вздыбятся под порывами ветра, пронзаемые пылающими лучами, прожигаемые озерами огня, если на море разыграется шторм; и я, наконец, решу выйти из дому. Город безлюден в ненастье. Чем ближе Kikar HaAtsmaut, крошечная городская площадь с памятником еврейскому оркестру (флейта, барабан, контрабас), нашей местечковой нищете, тем яростнее задует между домами ветер. Надо добраться по HaPishomin Prominade, к точками съемки, мимо фонтана, камней и пальм, мимо порталов и окон отелей, к платформе элеваторов, вдавшейся в небо, пылающее как в день Потопа, к лестнице, нисходящей к крыше кофеен, пляжу и дощатым домам береговой охраны у самой кромки берега, где гряда камней образовала лагуны, в которые заходит волна. А еще лучше спуститься на помост, куда суданцы предусмотрительно снесут стулья и шезлонги, чтобы мне без помехи снимать мои апокалипсические картины.

Это и есть моя жизнь. Если подумать, она не так уж плоха.

---

1 Парафраз цитаты из книги М. Кахане «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев».

2 М. Кахане «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев». *Прим. Ред.*

3 Натан Штраус (нем. Nathan Straus, 1848 г. – 1931 г.) – американский промышленник, филантроп, гуманист, благотворитель. Им были открыты детские медицинские центры в Тель-Авиве и Иерусалиме. Имя Натана Штрауса с 1927 года носит Нетания — город в Израиле, крупнейший курорт средиземноморского побережья.

4 М. Кахане «Неудобные вопросы для удобно устроившихся евреев». Прим. Ред.

5 Там же. Прим. Ред.

6 В 1928 г. Еврейский национальный фонд приобрел земли в арабской деревне Ум Халед для основания здесь поселения. Основателями были молодые члены организации Бней-Биньямин из Кфар-Тавор, выходцы из Восточной Европы, которые прибыли в эти края для создания мошава (сельскохозяйственного поселения). Во главе их был Овед Бен-Амми, впоследствии ставший мэром Нетании (1930 г. – 1970 г.).

Игорь Ильин

Ohamba noNembudu[***]

Древняя это история, очень древняя. Древняя настолько, что нынче никто уж и не возьмется судить, ни какого она роду-племени, ни из каких она краев, ни каких она времен. А раз так, то нет-нет, да и услышишь: мол, кто-то помнит ее разве что не с колыбели, а, стало быть, и родом она из тех пределов, откуда и сам человек[1]*. А кто-то, словно извиняясь, еще и добавить не преминет: «Только какая же это история, когда это сказка! Сказка – и больше ничего…» Что тут возразишь: родиться она и впрямь могла где угодно, то есть там, где живут люди, вернее – там, где люди и…*

Но только для кого-то она и в самом деле сказка, а для кого-то – история. А вот история… История, уж если и могла произойти, то могла произойти только здесь. И лишь за древностью лет, пока она хвостом тянулась за людьми, куда б они ни шли и где бы ни селились, она и обросла: где домыслами, а где – догадками, а где – и воображением досужим.

Уж я-то знаю.

* * *

Долгими осенними ночами мне чудилось случайно подслушанное слово «ошитока». Оно шуршало среди вороха опавших листьев, шелестело в сухих стеблях маиса, скрипело под ветром вместе со старой, доживающей свой век пальмой. То было межсезонье меж засухой и грозовыми ливнями, когда над остывающим от летней жары лиловым латеритом[2] *днем проносятся марганцевые тучи; ночью где-то вдали полыхают зарницы и глухо рокочет запоздало разбуженный гром; а с утра лениво колышется непроглядный кисельный туман, медленно переливающийся вишневым, черешневым, шиповным и еще – бог весть какими иными! – оттенками папайного, кофейного, маракуйного*[3] *и прочими – известными одному лишь Калунге! – потусторонними колдовскими цветами. Но уже к девяти все колдовство рассеивается, и небо, как и вчера, давит несбывшимися надеждами, тоской ожидания и болью в висках.*

К вечеру, когда тучи замедлят свой бег и незаметно сползут с небес в земные долины, вдруг, как в пропасти, сгинут приметы того, что суть вокруг. И ты окажешься в мутной черной дыре, где теряются чувства и времени, и твоего места в нем. Здесь не видать даже вытянутой ладони, а если поднести ее к лицу, то кажется – она чужая. И сколь ни краток долгий миг, пока ты опускаешь веки, со лба стирая то ли пот, то ли туман, то ли некстати подступившее забвенье, – очнувшись, ты внезапно понимаешь, что время здесь течет не по часам, а мерою ему уже не стрелки, а движенье чувств, нечаянные мысли и теченье незримых, казалось бы, несвязанных событий. Кажется, в этом мире живут лишь отзвуки звуков и следы запахов, но человеку толком и не угадать: ни где они, ни что за ними, да и есть ли они вообще. Этот мир, мир затаившегося покоя, пронизан паутиною тревоги, неосязаемой, но уже осознанной, и оттого еще более настораживающей и пугающей. В этом мире и существуют oitoka («нечто белое или прозрачное или невидимое») – так местные племена называют духов, чьи имена могут произносить лишь колдуны, да и то с оглядкой, чтобы не навлечь беды. Ибо с самого что ни на есть желторотого птенчества и до конца своих земных забот и дней

[1] Сходный сюжет, в частности, в русской литературе можно найти у В. А. Жуковского (*здесь и далее, кроме оговоренных случаев, перевод и/или комментарий наш. И.И.*).

[2] Латерит – богатая железом и алюминием поверхностная формация в жарких и влажных тропических областях. *Прим. Ред.*

[***] В авторском тексте перевод заглавия не приведен. Редакция полагает, что читатель сумеет понять значение обоих слов заглавия – сперва первого, а затем второго – по ходу чтения, исходя из контекста. *Прим. Ред.*

[3] *Маракуйя, или страстоцвет* съедобный, – вечнозеленая тропическая лиана. Цвет плодов варьируется от желтого до темно-фиолетового. *Прим. Ред.*

здесь каждый знает, что «не одолеть нас нашим недругам, пока мы вместе; пока мы вместе – мы превозможем их; а погубить нас может лишь одно, одно лишь может погубить нас – то, имя которому дали мы сами. Имя которому – наши oitoka[1]*».*

* * *

Вместо предисловия. Когда-то давно племенем *ндонга* правил король, чье имя было Нембунгу. Однажды он велел построить вдали от людских глаз хижину для хранения святынь племени. Когда хижина была построена, Нембунгу приказал умертвить строителей. Их убили у входа в хижину. С тех пор уже никто не осмеливался приблизиться к священному месту, даже сам король, ибо это место стали охранять *«oitoka»*, неотмщенные духи убитых, таинственная и неразгаданная сила, от которой нет ни оберега, ни заговора. Со временем ндонга забыли местонахождение священной хижины.

В племени *кваньяма* ходит устное предание о том, что в давние времена в священной хижине *olupale* хранились первые железные орудия, вынесенные предками с далекой родины в Центральной Африке.

Однажды травяная крыша олупале приподнялась, ветви, из которых была выложена стена, лопнули и разошлись, и пораженные люди увидели гладкий и серый ствол баобаба. Люди бросились к нему и увидали, что священное железо бесследно пропало. То ли строители не заметили плода, закатившегося в хижину, то ли по злому умыслу оказался он там, но святыня племени исчезла навсегда. Отсюда берет начало известная пословица кваньяма: «Дерево поглотило железо». Известно, что еще во времена правления Хаимбили йаХауфику (18??-1858) сохранялся обычай, по которому особо провинившихся заставляли ногтями царапать ствол баобаба, таким образом, морально приравнивая их к виновным в утрате святынь.

* * *

Nouduali elolo fie ohatuili osidila setu

«Да будет нам урожай на будущий год,
Если не преступим наших табу».
(Традиционное заклинание вождей, обращенное к духам востока и запада, на ошипепе, королевском празднестве урожая)

Ohamba kayina okutaanguluka omulongo.

«Вождь не переходит реки…»
(Древний обычай, табу для вождей, пословица)

...То, о чем сегодня я расскажу вам, мне передал от деда мой отец, а деду его отец, а уж кто передал ему – я не знаю. Скажу только, что зачем-то им было нужно, чтобы я узнал об этом, раз они передавали эту историю друг другу. И добавлю, что произошла она, судя по всему, очень и очень давно, поскольку уже мой дед не помнил ни где это было, ни когда, ни с кем.

…*Osho ohamba yakala nokulila ovapiya vayo moshilongo* – жил один вождь и правил своей страной. И земля его была богата, и много детей подарили ему жены. И было кому принять древний дух его предков, когда ослабел его голос и стали слезиться глаза. И подошла пора последних дождей и последних урожаев и последних празднеств. И совсем уж близко подступил тот день, когда люди перестанут произносить его имя, а станут говорить «он».

* * *

В тот год в маисовых полях засверкали тысячи тысяч початков – так, что глазам было больно смотреть, словно семена солнца упали в эту почву и проросли в ней.

Тысячи тысяч оранжевых плодов облепили ветви манго – да так густо, что издали казалось, будто в манговой роще пожар.

До самых корней свесились синие гривы с чутких стеблей проса, а дохнет ветерок – и будто стадо антилоп вспугнули: вот оно мчит за вожаком, не касаясь земли, словно парит в воздухе, и невольный восторг забирал сердца перед летящим диким стадом.

Пришла пора *«койоо коильявала»,* «месяца сорго». Увядали дожди, редели ночные туманы, земля набухла новым урожаем и ждала, когда руки человека помогут ей разрешиться от бремени.

Но это будет потом. Когда праздничные барабаны возвестят, что с Большой королевской охоты вернулся *охамба*.

Согласно обычаю, вождь возвращался домой один. Охота была удачной, хотя и затянулась на несколько лишних дней из-за нежданного дождя. Охотники несли с собой и мясо, и шкуры, и в бушах разносилась их победная песня:

Uhena oiti kupi тирира;

---

[1] Ошитока (куаньяма «oshitoka», мн. ч. «oitoka» – «нечто белое») – эвфемизм для обозначения неотмщенных и/или неведомых духов.

Uhena iluifo kupi mulumenu.
Ovapupuo ohavamonika ngenge tavalu;
Ovakongo ohavamonika ngenge tavakaumba.
Votavatungu ehghondi mokauluka kuavo;
Ovakongo ngetaveja keumbo [1].

И все, кто хоть немного понимал язык людей, знали, что идут мужчины. Заслышав звуки этой песни, сворачивали с тропы слоны, прятались в камнях леопарды, разлетались птицы и замолкали сверчки. И все они – можно сказать и так – расступались, давая дорогу охамбе, потому что охамба шел первым. Он шел впереди остальных. Остальные несли его добычу и должны были прийти на целый день позже.

Охамба шел по тропинке и тоже пел. Слова уже кончились, и он просто пел о том, что видел. Что у тропинки выросли две дикие тыквы и греются на солнце, что у дерева, расколотого светом во время дождя, выросла пчелиная борода, а у высокого черного кактуса появилось ярко-зеленое ухо, а на нем еще – желтый цветок. И не нужны были слова для этой песни. Вот так он шел и пел, и тропинка то подымалась, то опускалась, то опять подымалась. Но вот она нырнула в знакомую ложбинку и… оборвалась. По дну ложбины пролегла тропа прошедшего дождя. Переступить ее охамба никак не мог. А значит, приходилось ждать.

Невдалеке он увидел большое серое дерево и сел под ним. Было душно. Сквозь ветви дерева свободно проходило солнце и освещало плоды, похожие на диковинных хвостатых зверей. Охамба закрыл глаза.

* * *

…Странное это было дерево, не похожее на другие деревья, и очень древнее. Не один урожай и не одну засуху видело оно на своем веку… Но никого не вскормило оно своими плодами, потому что их нельзя было есть. И не укрыло в своей тени, потому что не давали тени его редкие листья. И никого не обогрел костер, собранный из его ветвей, потому что ветви не хотели гореть. И от этого казалось даже, что это старое дерево – только кожей дерево, а на самом деле камень. И мысли под ним становились тяжелые, как камни.

Вот и охамбе подумалось, что недалек тот день, когда люди забудут его имя, сожгут крааль…

– Я знаю, о чем ты думаешь, охамба…

Охамба открыл глаза. Перед ним сидел старый-престарый старик. Настолько старый, что дряблая кожа его казалась уже не его, а только висящей на нем. И хотя старик сидел на палящем солнце, кожа его не блестела от пота, а выглядела так, будто по пыльной дороге он брел вслед за стадом коров. Глаза старика беспрестанно слезились, словно в них тоже попала пыль. И, как засохшие чахлые травинки на голом песке, торчали кустики его волос.

Охамба почувствовал, что горло вдруг стало шершавым, как стебель маиса, а в груди вдруг заворочались корни, что, уже задыхаясь в песке, ищут темную влагу на ощупь. Глаза заволокло, и старик словно исчез в пелене. Из-за этого охамба даже не понял, послышался ли ему слабый голос старика или это зашуршали падающие листья. Он понял, что с ним говорят, только когда среди шороха остальных слов, как плод, упало слово «охамба».

Рисунок Дениса Чернова

– Ты уже стар, охамба, – сказал старик, – совсем близко подошел день, когда люди перестанут произносить твое имя и сожгут твой крааль. Очень, очень скоро ты будешь не в силах подняться, а подле тебя будут сидеть не жены… Хочешь узнать его имя?

– Кто ты, старик? Зачем ты здесь? – спросил охамба. – Замолчи, или я задушу тебя!

– Ты стар, – ответил старик, – ты уже так стар, что видно, и не понимаешь, что не я буду сидеть подле тебя с окакафой[2]… А уже его-то ты задушить не сумеешь!.. Может быть, ты хочешь

---

[1] Без оружия ты – не охотник;
Без оружия ты – не мужчина.
Воина видно, каков он в бою;
Охотника видно по полету стрелы.
А дома пусть будет он [незаметен] как нить [паутины];
Охотник, когда он вернулся домой.

[2] *«Okakafa»* – шкура молодого козленка (кв.). Преемник охамбы должен был накрыть его лицо окакафой, пока вождь не задохнется, а затем поднести ее к своему лицу и «вдохнуть» дух вождя.

узнать, когда это случится?

– Замолчи, старик! Моя рука еще может держать одимбо!

Старик помолчал.

– Да… может. Но одимбо не согреет тебя сегодня ночью.

– О чем ты? Почему? Сегодня ночью? Мой крааль через два холма!

Старик поднял глаза на охамбу:

– Да ты уже так стар, что не видишь даже того, что увидел бы и самый маленький мальчик!

Охамба взглянул на небо. Вверху все так же светило солнце. Внизу все так же журчал ручей. И внезапно тысяча сороконожек пробежала по его спине: он увидел, как редкие волосы старика зашевелились, и услышал, как зашелестело дерево. Холодея внутри, вождь поглядел в ту сторону, откуда подул ветер, и откуда мчалась вода. Там не было неба и не было леса. Там была ночь.

Старик засмеялся. Зашумело дерево. Будто слово «охамба», с дерева сорвался плод.

– Ты хотел взять у меня жизнь, охамба? Я – подарю ее тебе!

Вдали зарокотало.

– Да, охамба, кроме своей жизни, ты сможешь прожить и мою… Если ты мудрее своих соплеменников.

Охамба вздрогнул.

– Зачем смеешься надо мной, омутикили! Если мой срок – это взгляд Оленя, то тебе и вовсе не пережить эту ночь!

С дерева упал плод.

–...Твой крааль через два холма. Там горит огонь. Много ли тепла надо старику? Прощай же.

В потемневшем небе треснула белая ветка.

– Стой, дряхлый колдун! Омутикили, не уходи… Что ты хочешь взамен? Мои стада? Моих жен?

Дерево захохотало.

– Твоя благодарность ни во что не обойдется тебе, охамба! Ты даже не заметишь, как отблагодаришь меня.

Вверху загрохотал гром.

– Колдун, онгомы грозы уже грохочут!

– Да, охамба, они грохочут, а потому – спеши! Ступай – ты перейдешь реку вместо меня. Иди.

– Погоди, ведь я…

С дерева, будто сбитые ветром, посыпались плоды.

– Спеши, охамба! Скорее!

И вождь сделал шаг к воде. Из темноты уже падали и катились по траве острые холодные катышки. Прикрывая голову руками, вождь перешел поток.

И тут все вспыхнуло, послышался страшный треск, и что-то дернуло охамбу вниз. Свет остановился, дрогнул, а затем стал меркнуть, как затухающий день.

* * *

Приглушенный свет и треск доносились с другого берега. Охамба долго смотрел туда, пока не понял, что там все стало иначе. Темного холма дерева уже не было – он рассыпался, а по лежащим веткам с шипением ползли огоньки. Над останками поднимался густой белый дым. Красные отблески прыгали по воде…

…Ты даже не заметишь, как отблагодаришь меня…

…Онгомы дождя уже рокочут…

…Потому что ты... это и буду я…

* * *

Охамба дошел до своего крааля и до самого рассвета дрожал и не мог согреться. Ни тепло костра, ни тело жены не могли согреть его. Все так же дрожа от холода, он вышел на свет. Его волосы были белы, как туман, но в тумане этого было не видно. В тумане глухо гудели праздничные онгомы, а из бушей доносилась песня: воины несли добычу своего охамбы.

…Всю ночь после праздника он просидел у костра, глядя в огонь. И думал.

* * *

О, какой урожай был в том году! Еще никогда не бывало такого урожая! Но вдруг налетели песчаные вихри, занося еще не убранные тыквы, засыпая ручьи, сбивая манго и оманью и тут же проглатывая их. В глиняных омбиа, где был чистый мед, стал мед с песком, а потом – только песок. На лугах, где росла трава, стали расти песчаные холмы – и не стало лугов. И стал падать скот. И наступил голод.

Голод – это когда дети уже не могут плакать – чтобы плакать, нужны силы – и дети только смотрят в материнские глаза и молчат. А женщины, которые не могут накормить голодных детей, заглядывают в глаза мужчин и молчат. А мужчины отводят глаза и молчат, потому что не знают, что делать.

Лишь один старик во всем племени не отводил глаз, когда встречался взглядом со своими женами – это они отводили глаза, не в силах вынести

его слезящегося замедленного взгляда. В его краале на крепких столбах стоял огромный скиир, а в скиире было зерно. Целый урожай зерна.

Этот скиир строили другие мужчины, и этот урожай собирали чужие жены. И они успели спасти урожай охамбы и не успели спасти свой.

Страшен был этот скиир. И страшен был охамба, понимавший, что другие мужчины еще придут к нему.

И они пришли. Не как охотники и не как воины, а как ослабевшие мужчины, на которых смотрят в молчании их жены. Они пришли и ждали его слова. А он глядел на них и тоже молчал. Но вот столкнулся его взгляд с одним встречным, затем с другим, с третьим… Охамба испугался и – усмехнулся.

– Я подарю вам зерно, лучшие из моих воинов. Столько, сколько каждый из вас может унести в своей корзине. Приходите, когда прокричат петухи. И помните: за подарками приходят только раз.

И утро наступило. И когда пришли мужчины, охамба ждал их у скиира. Был он в поту, и руки его мелко дрожали. А по всему краалю бежали тоненькие струйки зерна и уходили в песок. Только не видели этого мужчины. В их глазах стояли глаза их жен и детей, и еще этот скиир. Они так спешили, что не заметили не только эти струйки, впадающие в песок. Они ощупывали голодными руками корзины в скиире и не замечали, что зерна в них отчего-то не так уж много. И не сразу заметили, как потянуло жаром. А жар шел не сверху, от солнца, а снизу, от земли. Скиир сразу вспыхнул, и огонь взметнулся к небу, точно крик.

* * *

…Угли догорали. И догорал закат. И красный дым превращался в облачко. Облачко тускнело и таяло вместе с закатом. А потом – погасло. А когда оно погасло, то в небе уже были звезды. Очень много звезд. Только луны не было, а звезды не отражались в очах обессиленных женщин, что молча брели домой от затихшего крааля. Вместе с ними уходили жены и дети охамбы. И стало темно и пусто.

И было темно и пусто. И если бы где-то затрещал случайный сверчок *эмбулунганга*, то далеко-далеко разнесся бы в пустой темноте его голос. Но было тихо. И в этой бездонной и душной тишине пепел вдруг пошевелился. Из пепелища выкатились два черных уголька. Но с того края, куда ушло облако, послышался слабый вздох – и угольки засветились. И скрыта в них была какая-то маленькая сжатая сила.

Но то уже и не угли были. То уже были глаза. И эти глаза только глянули на пепелище, как по всему пепелищу пошли искорки. И оно ожило в тишине. Искорки сами выкатывались из пепла, а за ними тянулись хвосты – и это были живые плоды баобаба.

Они уже раскатились по краалю и даже по холму, когда подул вдруг сильный ветер и стали быстро исчезать звезды.

Они уже были в бушах, когда над холмом блеснул дождь, зарокотало, сухие хижины завыли, и со стоном начали оседать столбы. Никто, даже самый смелый человек, не отважился бы прийти к королевскому краалю в эту ночь. И никто не пришел.

Рассказывают, что только наутро какая-то смелая женщина, а верно, что и одна из жен охамбы, побывала там, но что она увидела – про то никому не сказала. А с той поры появились на этой земле невиданные дотоле животные – серые, с длинными хвостами, похожие на плоды баобаба. Тех животных называют *onembudu*, «крысы», но ходит поверье, что, на самом деле это «ойтока», так и не сумевшие найти своего вождя и отомстить за себя.

А охамба в ту ночь исчез. Может быть, *okue li fila muena?* – «он умер»? Но не говорят так о вождях. Говорят: «Он ушел», – и сжигают его крааль, чтобы дух его был спокоен. Но отец не говорил, что он ушел – быть может, он жив и сейчас? Кто знает, сколько лет жизни подарил ему колдун?

* * *

…Вот и всё, что передал мне мой отец от моего деда,
И что я должен был передать вам.
Пусть же взойдет маис на ваших и на наших полях – так,
Что глазам будет больно смотреть!
Пусть зазеленеют ваши и наши луга!
И да будет нам урожай на будущий год!
Если не нарушим наших табу…
...Если наши вожди не перейдут реки…

Ирина Муфель

ПОДСТРОЧНИКИ С НЕИЗВЕСТНОГО

Мои подстрочники – это попытка перевода с таинственного и невнятного языка души – в слова. Поддерживает и утешает меня Лотман, который шутил, что теоретически очень просто доказать – перевод невозможен, однако он существует.

4
Принцы на белых конях
Летят теперь мимо
Не поворачивая головы в мою сторону
А тем, кто
Прихрамывая
Стремится ко мне – обогреться
Я ничего не могу дать

21
Раскинулась радуга полная – от уха до уха –
На сияющем ослепительно небе
В день
Когда приехала дочка.
Только дочка могла
разделить моев осхищение
Этим чудом
Но она поленилась
выйти из дома

22
Осень
Дождь
И темнеет рано
Приятно не видеть усталых лиц
Спокойнее не показывать свое заплаканное лицо
В темноте плывут фонари и фары
И яблоки сияют победно
За забором престижного сада

38
Человеку было у кого поучиться
Вот рыжий дворовый кот
Приводит подружку к кормушке
И ждет терпеливо
Пока она ест
Вот серый трехлапый калека
С подозрительным взглядом
Отгоняет свирепо
Черную кошку с серым котенком
И хватает, и ест, озираясь

39
Желтый и смятый лист
Трепещет на голой ветке
Наступило время
Когда важно
Сколько жить
А не как

43
Неописуемая трагедия–
Чтение старых писем
Если не знал, то догадывался
И не пришел на помощь
Не спросил
Не сказал ничего
Ясно теперь
Как просто всё утряслось бы
А теперь сколько ни жги
Они не сгорят

46
Жизнь и смерть были когда-то
Так полярны
Что когда они встречались на наших глазах
Было неловко
Как взгляд в чужое окно
Постепенно мы привыкли
Видеть их рука об руку
Мало ли на свете
Странных браков

49
Я легко поняла
Что дорога длинна
Пока не сделаешь
Первый шаг.
Но спина болела
Под тяжестью ноши
А потом согнулась –
И перестала болеть

67
Я не принадлежу Богу
Потому что никогда
Ничего у него не просила
Пока

68
Каждый день
Пишу письмо дочке
О погоде,
Друзьях и знакомых,
Картинах, книгах и фильмах,
О политике и домоуправлении,
О невиданном урожае яблок
Или о морозах,
Уничтоживших наш урожай
Чтоб не писать
Ежедневно
О любви и тоске
Одиночестве старости
Чтобы не задавать
Бестактных вопросов
На которые она не ответит

73
На углу перед рынком
Стоял юноша
Высокий и красивый
И просил милостыню
ИНВАЛИД С ДЕТСТВА
Было написано на табличке
Когда я взглянула
Он смутился
Я опустила глаза
И прошла мимо
Но потом открыла кошелек
И вернулась
Его уже не было

76
По слогам книгу жизни
В детстве читаешь
И медленно долгое лето стоит
На цветистых лугах
Потом любопытство заставит
Быстрее страницы листать
Соревнуясь
В скорости чтения
Ровесники пропускают страницы
Однокурсники важничают
(И это давно читал)
Делаешь вид
Что тоже читал и всё понял
И листаешь быстрее
После 40 скорость уже нельзя погасить
И в старости тоже
Её невозможно унять
Всего лишь наблюдая
Как листают другие

99
Рыба
Салат
Тонкий запах
Яблок и чая
Усталость и вялость
После рабочего дня
Сонливость и тупость
Семейного отдохновения
В обнимку
С миром со всем
На мельтешащих экранах
Новости
Вот люди идут
Среди солнечных дюн
Сумки спортивные или дорожные
Это неважно
Почему-то только мужчины
Может, мужской ищут пляж
Футболки и джинсы
Как всюду
План меняется
В объективе
Далёкие взрывы
Это не пляж
Это война
Не у нас
Далеко-далеко
Без пыли
Крови
И стонов
– Будем мороженое?

105
Мне снился дождь
Стук капель по веранде
Лопух
Жасмин
Всё мокрое
Притихло
Сначала поняла
Что это сон
Потом глаза открыла
Полыхнуло солнце
Голуби топтались по карнизу
Барабаня дробно
В стране
Где наш унылый дождик
Снится месяцами

Светлана Саврасова

С ЧУЖОГО НА СВОЙ И ОБРАТНО

Отрывок из повести

Как-то так выходит в **межчеловеческих отношениях,** что каждый раз, высказывая свое мнение, **человек ошибается.**

Ведь на самом деле мнение носит черты мимолетности, некоей одноразовости, как правильный ход в шахматах. Ход может иногда быть идеальным в конкретной партии, в данной ситуации. Тогда изменяется соотношение сил на доске. И прежний правильный ход уже больше ни на что не годен. Это не патентованное решение, а всего лишь ход. Своей правильностью он преобразует ситуацию и требует искать другой правильный ход. Так и выигрывают. В шахматах.

Почему мы не хотим понять, что наши мнения не могут быть всегда верными… Мнение как расфасовочная оценка человека? Хм. Если уже иметь такие мнения, то только свежие, каждый раз совершенно новые.

Именно так. В июне мы носим сандалии, но, когда приходит зима, лучше поменять их на сапожки. А как часто мы проводим пересмотр своих мнений? Только тогда, когда нас вынуждают к этому собственные ошибки.

Я часто беседую об этом со слушателями моих курсов – полицейскими и тюремными надзирателями – в ходе своих авторских лекций на тему разниц культур.

Но о кое-каких сюжетиках из ярких примеров я умалчиваю, потому что мне стыдно.

Вот, наконец, судья выносит окончательный приговор в деле Арека Сынульского:

– …punishment by imprisonment… and the sentence will be one of a four years!

Дословно это означает: приговаривается к лишению свободы… сроком на четыре года. Короче: четыре года тюряги, чувак!

Да, это не восемнадцать месяцев, на ко-торых настаивала защита, а динамик на скамье подсудимых настолько плохо работает, что, несмотря на то, что я видела губы говорящего и знала это дело вдоль и поперек, а в моей фотографической, моторной и эмоциональной памяти отпечатались все шестьсот семьдесят девять страниц показаний, справок и отчетов, все девять свидетелей и весь состав сторон обвинения и защиты, но от разницы между ожиданиями и действительностью я теряюсь и перевожу дословно, изрекая что-то в этом роде:

– …приговаривается на один и четыре года. На шестнадцать месяцев, что ли? Год и четыре.

Весь зал замер в удивлении. Даже королевская прокуратура поражена суровостью приговора. Судья удалился. На Арека немедленно надели наручники и повели в подвал, в казематы, в камеру. Он спускается по лестнице как-то неловко и выглядит просто жалко. Наручники у него на запястьях, но почему-то из-за этого ноги отказываются идти по ступенькам; нарушена координация движений. Когда за ним захлопывается решетка после разблокировки дверей «клетки» со скамьей подсудимых, я выхожу из нее и спрашиваю нашего попугая в парике:

– Сколько?

– Четыре года…

– Как четыре?! Я думала, год и четыре десятых… О, Боже!

Я бегу в камеру, прошу о немедленном свидании, чтобы сообщить об ошибке. Что я наделала!

– Арек! Прости! Я спорола глупость. Не расслышала толком. Тебе дали четыре года.

– Четыре?...

– Ну да. У меня в голове что-то замкнуло! Прости! О, Боже!

– Да что вы нервничаете -то? Я знаю, что четыре года.

– Знаешь?... Откуда?

– На это и моего английского хватило.

– Но я ведь сказала… в такой важный для тебя момент!

– Вы сказали: четыре года. Это у вас сейчас что-то с нервами.

– Я оговорилась. То есть это я сейчас оправдываюсь, что просто не расслышала. Надо было попросить судью повторить приговор. У меня реакции не хватило. Отсюда ошибка.

– Нет! Это я. Я ошибся, что не признался сразу. За это и буду сидеть. Дали четыре года, выйду через два. Выучу английский.

Я смотрю на него и вижу этого человека в каком-то другом свете. Как будто впервые. После семи месяцев разбирательства дела. Вдруг я ощущаю тюремный смрад. Вижу каждую выщербленную плитку на стене и цементные швы между плитками. Грязные полосы на узком стекле подвального окошка. Черточки, как следы реактивных самолетов, на бетонном небе потолка.

– Ты поменял шампунь? – спрашиваю я.

– Что?...

– Где твоя перхоть? У тебя она была на плечах…

– Никогда у меня ее не было.

– Арек! Ведь ты можешь меня заложить! Можешь написать жалобу, и за эту ошибку меня выгонят с работы.

– Еще этого на моей совести не хватало, ёжкин клёш! Идите уже себе спокойно домой, но сперва попросите, чтобы меня отвезли в тюрьму побыстрее. Сегодня там киоск, может, еще успею. Хочу купить фруктов. Телефонную карточку.

– Ты меня прощаешь?...

– Да конечно! Спасибо за помощь. И за то, что вы никогда меня не осуждали. А могли бы. Прощайте.

Я выхожу с поджатым хвостом и с легким поклоном. Как сегун от императора, перед тем как совершить харакири. Я обессилена. Мне холодно. Отвратительно пахнет от стен и потолков, пропитанных нервным потом сотен обвиняемых, ожидающих вердикта. Моим тоже. Сегодня мне повезло: я услышала от Арека «Невиновна». В какой-то части механизма Высшей Справедливости что-то заскрежетало и сдвинулось с места. Вызвав нарушение неизъяснимого извечного равновесия. С этой минуты я должна считаться с простым фактом: неудавшийся насильник проявил ко мне больше великодушия и понимания, чем я заслуживала. Больше чисто человеческого умения прощать, чем то, на что я была способна по отношению к нему.

В начале перечня моих профессиональных обязанностей большими буквами из чистого золота написано: СОХРАНЯТЬ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ, НЕ ПОЗВОЛЯТЬ ЭМОЦИЯМ БРАТЬ ВВЕРХ НАД СОБОЙ, НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ НИ ОДНУ ИЗ СТОРОН – НИ ОБВИНЕНИЕ, НИ ЗАЩИТУ, НИ ЖЕРТВУ. Свой профессиональный долг я выполнила. Но только поверхностно. А если копнуть глубже? Я осудила человека. Не была нейтральна. Приняла сторону обвинения, что проявилось в моей неприязни к Ареку. Взращивала эту неприязнь. Любовалась ею. Запорошила себе глаза романтичной перхотью отвращения к Черному Характеру. И, таким образом, наверное, упустила шанс по-настоящему узнать человека, может лучшего, может худшего, чем мне представлялось, но другого.

А сейчас мне за это воздается. Я сгораю со стыда. Это ужасное ощущение. Такое внутреннее отвращение и презрение к самой себе, когда протестуют все части тела. О таких эпизодах я на курсах не рассказываю…

То есть, не рассказывала до вчерашнего дня. Но теперь уже буду.

Мне доставляет удовольствие окинуть взглядом группу моих курсантов перед тем, как сказать им:

– Ну что, начнем?

Я вижу десять или двадцать человек, знания которых о межкультурных различиях находятся во фрагментарном состоянии. А я беру эти кусочки, эти обрывки из отрывков, и собираю в целое. Структурирую, систематизирую, фокусирую, мотивирую, убеждаю. А потом направляю стрелу прямо в сердце и разум. И меняю жизнь этих людей. Навсегда. Теперь они просвещены. По крайней мере, в этой области.

Вчерашняя группа была очень неоднородной по возрасту. Две новые молодые стажерки-надзирательницы только что после училища; санитар из медчасти в возрасте Христа; персонал межконфессиональной часовни, то есть имам, диакон, католическая монахиня и буддист – все лет под сорок; заместительница начальника тюрьмы по вопросам охраны – единственный человек, который может отменить любое распоряжение начальника! – дама бальзаковского возраста с ру-

бенсовскими формами; старший повар тоже лет под пятьдесят; и, наконец, направленный на тренинг в последний момент помощник надзирателя Эд-пенсионер. Что он тут делает?.. Мы уже получили от него приглашения на прощальный ужин: пиво с сосисками в прекрасном тюремном саду. Ужин состоится в мае. На нашем Острове так организуются все серьезные дела. В нашем графстве церковные бракосочетания планируются, например, за два-три года. Если же не терпится сковать себя брачными узами или хочется сэкономить, можно махнуть в Лас-Вегас (так сделали мы с моим почти уже бывшим, я – потому что хотела обойтись без свидетелей, он – экономии ради).

С каких это щей я должна просвещать и обучать завтрашнего пенсионера?.. Любопытно.

Рассказываю слушателям о бесчисленных ошибках, которые совершила в отношениях с людьми других культур. О том, как много типично английских норм поведения являются для меня непонятными и чужими, как часто поражает здешний «здравый смысл», ибо в моей Книге Понятий о Жизни такое поведение проходит по графе мелочности и скупости. Мы переехали сюда в 1999 году суровой зимой. В Москве неделю стоял мороз минус 27 градусов, в Лондоне – плюс 7. В Москве замерзло тридцать пьяных, в Лондоне – почти триста пенсионеров в собственных неотапливаемых домах. И это при том, что государство каждому пенсионеру выделяет в ноябре пособие на отопление. И большинство тратит эти деньги на рождественские подарки а то и на пиво, но никак ни на газ или электричество и живет всю зиму в единственной отапливаемой комнате четырехкомнатного дома. Рассказываю белорусский анекдот: исследователи деревенской жизни добрались до деревушки, расположенной в густом лесу на берегу Припяти. Они обратили внимание на отсутствие бани. Спросили одного дедка:

– Где вы моетесь, дедушка?

– Летом в реке.

– А зимой?

– Да сколько ж её, той зимы?...

Утверждаю, что в каждом обществе существуют все типы межчеловеческих отношений, но в каждой культуре – в разных пропорциях.

Мы часто критикуем эмигрантов за установление на чужбине новых отношений только на основе общности языка; бывает, что на чужбине выходим замуж за кого-то такого, с кем на родине просто бы и не сели бы посрать на одном поле! Сколько преступлений совершается из-за ошибок, незнания, сильного стресса, неверно истолкованного контекста, комплексов и межкультурных различий! Бывает, что человек совершает предосудительный поступок только потому, что за границей никто его не знает, а в родной деревне ему такое никогда бы и в голову не пришло. Даже католическая мораль, основанная на поучениях ксендза и на соседско-общественных связях, куда-то бесследно испаряется в условиях полной анонимности и какой-никакой финансовой независимости. Эта самая наученная мораль как-то отделяется от человека и проявляется как гордость у грузин при первом благоприятном случае. Спрашиваешь грузина:

– Когда тот назвал вас "черножопой обезьяной", вы настолько обиделись, что ударили его ножом?

И слышишь в ответ:

– Да я совсем не обиделся. Это моя национальная гордость была оскорблена.

Так, например, от казахов можно получить на орехи за громкий смех в их присутствии – потому что в их культуре громко может смеяться только начальник и обязательно над кем-то, а не потому что смешно. Норвежцы могут предложить секс из чисто практических соображений, на-пример, вместо «спасибо» за хранение зимней одежды в течение полугода. Они считают, что это лучше букета роз и билетов в кино, ну и вообще, приятнее и дешевле. Только литовцы могут так владеть своим телом, что когда лгут, говорят медленнее, смотрят в глаза собеседника, не моргая, а над простым ответом задумываются на бесконечность. Задаешь вопрос киргизу: «Как вас зовут?», – и полчаса уходят на то, чтобы выслушать племенной эпос: «Еще дед моего прадеда по матери…» Белорусы не дают следователям ни одного шанса задать вопросы – признаются во всем и сразу, ибо последние отважные и ловкие представители этого народа были повыбиты еще задолго до битвы под Грюнвальдом. Поляк, скажем, бьет жену на улице, прохожие пробуют вступиться, а жена на них бросается: идите себе, не ваше дело! Русские изначально убеждены, что наиболее результативным способом разрешения проблемы является устранение ее участников. Нет человека, нет проблемы. Сталин только это сформулировал

и расширил круг дел, к которым применима такая методика.

Мы обсуждаем различие национальных концепций. То, что для одного общества является проторенной дорогой мышления, для другого – едва видная тропка, которой лишь иногда пользуется пара яйцеголовых. Церковные хоругви одних прекрасно подходят другим на портянки – без всякой задней мысли.

Рассказываю, как во время моего второго пребывания в Польше в роли журналистки времен перестройки на дружеской пирушке в курортном комплексе «Под елями» в Рабке, какой-то чего-то Начальник спросил:

– Что вы, русские, думаете о поляках? Ну, например, вы, пани? Только искренне, положа руку на сердце!

А я, закусывая сто грамм водки чудесной, ни разу до этого не пробованной «Бабушкиной ветчинкой», отвечала:

– Ничего.

– Как это?

– Правда, ничего.

– Вы боитесь сказать.

– Чего ради? Не обижайтесь, но почему я должна думать о поляках? Или о чехах или, там, о словаках? Думать о каждом из них? Из вас? Это…

– А я о русских и о России часто думаю. Собственно, все время.

– Ага. Ну, давайте за это еще по кусочку ветчины!

На следующее утро после того разговора мне пришло в голову, что насильник реже думает о своей жертве, чем жертва о насильнике: таков закон инстинкта самосохранения. Тогда я впервые засомневалась в братстве народов стран-участниц Варшавского договора. На радаре российского мышления Польша – маленькая точка с краю, такая же, как и множество других точек. А иногда ее вообще нет. Зато на польском радаре Россия находится в самом центре, это – пульсирующая и вздымающаяся масса, заслоняющая почти весь горизонт.

– Знаю. Мне это знакомо! – смеется одна из молодых надзирательниц. – Я из смешанной семьи: отец – венгр, мать – англичанка. Когда мы живем здесь, в Ю-Кей, все ОК. А как приезжаем в Сехешфехервар к дедушке с бабушкой, там всегда проблемы. Дед во время обеда хочет разговаривать о литературе, а мать – о распродаже колготок. Отсюда и напряженность. А у папы гастрит. И отец у себя на родине совсем другой. У нас разные родины…

В перерыве я на минутку ухожу в соседнюю комнату. Снимаю с шеи цепочку со стилизованным крестиком чудной итальянской работы и надеваю вместо него амулет сахарских кочевников, купленный на верблюжьем базаре в Эль-Шелатине при египетско-суданской границе – серебряную табличку, поделенную на девять в квадратиков, в каждом из которых одно из различных имен Всемогущего Аллаха.

Мы еще полчаса забавляемся случаями из жизни и анекдотами и, наконец, я спрашиваю:

– После перерыва что-нибудь изменилось в вашем восприятии моей личности?

В этот раз только один человек не заметил никаких изменений. Остальные пытаются угадать: «Ты говоришь с другим акцентом? Как-то неприязненно на меня смотришь? Может, ты устала, а то рассказываешь не так интересно. Я вот думаю, почему ты не любишь ни нас, англичан, ни даже русских? В тебе ничего не изменилось, но я как-то внезапно ощутила усталость».

– Может, что-то изменилось в моем виде?

Зам по охране, соколиный глаз, отвечает:

– Ты поменяла цепочку с крестиком на какую-то арабскую табличку.

И вся группа в один голос выдыхает:

– А-а-а!

За исключением той женщины никто не заметил подмены кулончика. Три человека сейчас же припомнили, что действительно – на мне был крестик. Ну, и теперь со всех сторон посыпалось:

– У тебя, наверное, жених-араб, это ведь уникальная вещица.

– В какого Бога ты веришь? Ты что, перешла в ислам?

– Может, ты слишком много ездишь и поэтому не можешь понять привязанности к родине, к какому-то одному народу?

– Ты, что, принадлежишь к какой-то неправительственной организации?

Мы говорим о невербальных знаках других культур; о том, как влияют на наше восприятие всякие символы. О том, как под влиянием стереотипов можно не разглядеть живого человека и не заметить того, что не укладывается в эти стереотипы. О том, что средства массовой информации являются создателями стереотипов.

О том, что содержание газет направлено на одну цель – продать их любой ценой! Даже ценой временной дезинформации читателя, лишь бы только он купил этот утренний номер.

И постепенно нам становится ясно, что искусство общения с иностранцем – это процесс осознания новых непонятных сигналов, своей неуверенности, своих вопросов, добродушное признание самому себе в собственном невежестве и прощение возможных собственных ошибок. И при этом нейтральное отношение к собеседнику даст тебе защиту от конфликта на почве взаимонепонимания, убережет от ошибок.

– Но не всех.

Кто-то произнес эти слова совсем тихо, но на фоне случайной паузы они прозвучали как выстрел.

В комнате установилась мертвая тишина.

Что-то произошло. Внезапный холод в воздухе. Чьи-то рыдания.

Лицо Эда-пенсионера мокрое от слез.

Теряю дар речи. Англичанин плачет… при посторонних!

Так бывает только на футбольных матчах. Или на похоронах принцессы Ди.

Не знаю что делать.

А что я советую делать всей группе моих слушателей, когда их удивляет поведение иностранца? – Сделать глубокий вдох и воздержаться от дальнейших действий….

Через пятнадцать минут мы заканчиваем. Первый раз за два часа сажусь за стол слева от экрана и, сидя, прощаюсь с каждым.

Эд не двигается с места. Его лицо уже высохло, кожа на нем немного сморщена.

– Вы помните этого Игоря Мережко… – скорее утверждает, чем спрашивает он.

– Ну конечно. Вы отправили его в психбольницу. Принудительно.

– Как раз я с ним ездил. Неделю назад, в пятницу. Он уже на всех кидался, даже с водой никого к себе не подпускал. Так боялся! Потребовалось четверо надзирателей, чтобы вынести его из камеры в фургон…

– Он сидел в исправительной колонии в Литве. Когда туда попадает новичок, то в первые сутки его «испытывают» – нападают несколько человек на одного. Если он отбивается, причисляют его к «мужикам», а если не может или теряет сознание, то насилуют и зачисляют в «петухи». Когда он оказался тут, то все время ждал такого же испытания. Ждал и ждал, ждал и ждал. Ну и крыша у него от этого совсем поехала. А так как он с восьми лет курил травку, то и не слишком соображал. Это хорошо, что отправили его в больницу, разве нет?

– Тед был за рулем, а я сидел рядом с ним в качестве охранника. Мы слушали репортаж с матча, а тот парень встревал. Что-то там говорил по-своему, а потом спрашивает меня: у вас дети есть? Ну есть, говорю, и дальше слушаю репортаж. Во время перерыва этот Игорь снова меня спрашивает: а вы христианин? И через решетку тыкает меня пальцем в плечо. Вежливо, лишь бы обратить на себя внимание. Конечно, говорю я. Ну и дальше разговариваю с Тедом, тут как раз игрок «Арсенала» едва не забил в свои ворота. А парень снова говорит: я хочу с вами поговорить. Ты уже целый час разговариваешь – говорю. Лучше помолчи, второй тайм начинается. А тут нашему вратарю желтую карточку показали…

Мы молчим, потому что Эд снова чуть не плачет.

– Когда мы доехали до больницы, я вывел его из фургона. Через двор вел, пристегнув к себе наручниками. Его левую руку к моей правой. Потому что он левша. В приемном отделении снимаю наручники, показываю ему на кресло, говорю – садись. А он, спокойно так и удивленно, говорит: «Вы меня застрелите сидящим? Так что, легче попасть? Может, разрешите мне стоя?»

О господи! Он в течение двух с половиной часов пути был уверен, что мы везем его на расстрел, слушая футбольный репортаж. Не знаю, как мне с этим жить дальше…

– Эд…

– Что со мной будет? Я четверть века честно проработал. У нас с женой двое сыновей, они уже самостоятельные. Удочек себе накупил, чтобы на пенсии рыбачить, каких-то там лесок, крючков. И отказал парню в последнем разговоре! Слушал радио, а не этого несчастного мальчишку. Он был болен, измучен. Со страху три дня не ел и не пил. Мы не сказали ему, что везем в психушку, чтобы он не разозлился, а у него в голове был кошмар куда похуже! Нашему бы такое на ум не пришло. А он был другим! Обращался к нам вежливо и тыкал пальцем в плечо через решетку…

Наталия Литвинова-Гринберг

МЫ СВИДИМСЯ В ДАЛЯХ ПОЭМЫ

Мне уже доводилось писать предисловия к книгам. Но я впервые пишу предисловие к книге автора, которого нет на этом свете. Странное и горькое чувство: вот они, передо мной, стихи Наталии Литвиновой-Гринберг, такие живые, яркие, – а сама Наташа, увы, не увидит их, выпущенными отдельным изданием...

Она была человеком неординарным. Разносторонне одарённым. Можно было и не знать поначалу, что она прекрасный музыкант, концертмейстер, педагог, что её стихи, статьи, рецензии печатались в периодике Украины, России, Израиля, США, – но, просто общаясь с нею, ты не мог не ощутить, что имеешь дело с человеком творческим. С личностью. Она жила полётом духа, а это подделать невозможно. И не случайно в числе поддерживавших с ней дружеские отношения были широко известные в бывшем СССР и далеко за его пределами музыканты, литераторы, деятели театра...

После смерти Наташи мне передали, по моей просьбе, все её сохранившиеся стихи, включая отрывки и наброски. В этой груде бумаг, наряду с текстом, отпечатанным на машинке, было много написанного от руки, наспех: автору важно было ухватить и запечатлеть ускользавший образ, мелькнувшую мысль... Я получил уникальную возможность в ряде случаев проследить рождение стихотворения – от первого наброска до окончательного варианта. Это было интересно и поучительно – при том, что, в целом, приведение этой бумажной груды в более или менее приемлемый вид было делом нелёгким.

Нелёгким, помимо прочего, ещё и потому, что предстояло решить, что же мы (имею в виду родных и друзей Наташи) издаём: книгу её избранных, уже проверенных и обкатанных в печати стихотворений или же книгу, цель которой – как можно шире представить творчество этой незаурядной женщины? Второй вариант показался более предпочтительным. Ведь, несмотря на публикации её стихов в прессе (в том числе и у нас в Сан-Франциско), эта книга, по сути, – первый серьёзный, «полноформатный» выход Наталии Литвиновой-Гринберг к читателю. И важно как можно объёмней представить особенности её творческой манеры. Не беда, что, возможно, не все стихи безукоризненно отточены; ясно, что, не оборвись так рано её путь, Наташа довела бы их до нужной, что называется, кондиции. Важнее другое: те меты самобытного, которые мы видим в этих стихах. Важнее то, что мы улавливаем и творчески преображённые отголоски цветаевской интонации, и постоянное присутствие образов, связанных с музыкой, театром, и развитие булгаковских мотивов в поэме «Круги наши», и другие отличительные штрихи и чёрточки неповторимого стиля Наташи.

Да, эта книга позволяет говорить о её особом, неповторимом стиле. А ещё – о её мучительном и неустанном поиске ответов на больные вопросы бытия, стремлении дойти, по выражению Пастернака, до самой сути.

Сама себя сжигаю заживо,
Чтобы опять живой предстать...

Это очень точные строки. Они – о творчестве, но и не только. Они – о Наташином пути. Употребляя порой известное выражение «творческое горение», мы не задумываемся над тем, к чему оно, горение, приводит. Человек сжигает себя. Как сказал Давид Самойлов:

Надо себя сжечь
И превратиться в речь.
Сжечь себя дотла,
Чтоб только речь жгла.

Вот и у Наташи так вышло. Сожгла себя заживо во имя творчества. Но – снова предстала перед нами живой. В своих стихах. Потому и книга называется по строчке её стихотворения – «И я живу, не ставя сроки...»

Да, жизненный путь женщины, родившейся 1 ноября 1948 года в Днепропетровске, закончившей музыкальное училище, консерваторию, факультет журналистики Днепропетровского университета, работавшей концертмейстером, преподавателем музыки, писавшей стихи, жизненный путь красивой женщины, матери двоих детей, – завершён. А путь её стихов к читателю только начинается. И я уверен, что стихи Наталии Литвиновой-Гринберг придутся по душе любителям поэзии. Их будут читать и перечитывать. На них будут ссылаться. И лучшие из этих стихов будут хранить в памяти, как бесценные жемчужины духа.

Николай СУНДЕЕВ,
поэт, главный редактор газеты «Кстати» (Сан-Франциско)

***

Судьба – что кость игральная,
на гранях – пустота.
Душа полуподвальная,
поденная беда.

Вино в стакане кислое,
а дождь сильней, сильней.
Листает ветер мысли
всей пятерней своей.

Но мышью копошащейся
мечта себе живет,
хохочется ли, плачется,
жара ли, гололед.

Мечта сквозь грязь прорежется,
и ты о ней пиши,
хоть русский ветер грешный
все выдул из души.

***

Наука убивать поэтов –
Ровесница поэзии –
Старуха.
Ей недоступны тонкости души.
Она умеет устранять вопросы,
Которые пытаются решить
Поэты, их без всяких сожалений
Превыше жизни ставя…
Ну и что же?
В основе у нее простейший принцип:
– Не можешь жить как все –
Так не живи!

***

А может, так оно и должно?
Быть может, есть закон такой,
Чтоб все, что выспренно и ложно,
Ходило с гордой головой,

И жался б жалко вдоль обочин,
Как замордованный батрак,
С зари в дороге и до ночи,
Искатель истины –
Простак?

В веках
Святых усохнут лики.
Потомок, сдув с архивов пыль,
Узрит придуманность великих
И величавость простофиль.

МАСКАРАД

Блеск, и маски, и мир
закипающих красок…
Кто вы, кто вы?
Опять наважденья вокруг –
кимоно, домино,
и паяца неистова пляска,
искажённые тени,
виденья, движенье, испуг!

Стрелы света, и ветви,
и свечи, и блёстки.
Как пронзительны скрипки
и гибки танцоров тела,
сколько пыла в гостях,
сколько в них по-актёрски
притворства,
озорства и позёрства,
и жажды, и льда, и тепла!

О, когда бы нашёлся
великий и смелый художник,
непохожий на прежних,
и взгляд необычный, и кисть!
Как легко бы сумел он
охватить эту ложность и сложность,
и в восторге тревожном
весь хаос на холст уложить.

Там бы в дальние дали
ворота зеркал уводили,
там финифти и хвои,
и рук паутина ткалась,
там гремели бы струны,
и лица кривлялись и жили,
и терялось единство,
и вновь обреталась бы связь…

Там вместилось бы небо,
и не было места пределам,
о несбыточной были
напомнил бы каждый мазок,
о растраченном даром,
напрасно забытом, неспетом,
пели б краски, и искры,
и рвался бы радостный зов.

***

Сквозь темноты обрывки,
Сквозь осени слизь и чад,
В окне золотою гривкой
Потряхивает свеча.

Кряхтит на ветру ограда,
И капли стучат в бадью.
Я на ладони сада
Читаю судьбу свою.

Нить жизни моей отмерена,
И крутится веретено.
Ткут Парки судьбу уверенно,
И в ней мне любви – не дано.

Но голос Надежды вечной
Не может во мне отзвучать.
И в дом обещаньем встречи
Все манит в окне свеча.

***

Лиловое и белое, и царскую парчу
Губами неумелыми я в слово обращу.
А слово – то напишется, то выпорхнет в окно.
Так под землёю движется проросшее зерно.

Я. исходила топотом, я уходила в плач,
Мне всё давалось опытом потерь, а не удач.
Я слово так лелеяла, как розу из стекла.
Сама его посеяла, да не уберегла.

Мои стих не стал работой,
Он был дурман, искус.
И долог был мой опыт.
И горек был на вкус.

***

Проходят дни мои негромкие.
Пишу стихи. И каждый миг
Сама себя беру – и комкаю,
Как неудачный черновик.

Сама себя сжигаю заживо,
Чтобы опять живой предстать,
Чтобы опять любить отважиться,
Непостижимое – понять.

***

Покуда сверчок-полуночник
Усердствует в синем углу,
Я буду вымучивать строчки,
Листки разбросав по столу.

Мы свидимся в далях поэмы,
Любимый мой, где же еще?
Очертим заливы и земли,
Промокнем вдвоем под дождем.

В скитаниях неутомимы –
Заблудимся в черной степи.
Мы счастливы будем, любимый!
Тебя я придумаю… Спи.

***

Пиши мне письма в форме сада,
Где зноя мёд, где в тишине
Резные листья винограда,
Их горько-влажная прохлада
Приснятся мне.

Пиши мне письма в форме ночи,
Где звёзд озноб, где поезда
Уже бессмысленно хлопочут,
Они разлуку нам пророчат
И мчатся в никуда.

Но мысль – твоей покорна власти.
Она минует твердь строки.
И в час, когда хочу проклясть я,
Пиши мне письма в форме счастья,
По воле ночи и руки.

***

Слушай лепет уст влюблённых,
Улыбаясь удивлённо,
Отрекаясь – неуклонно,
И душой скорбя…

Взглядом старости – бесстрастным,
Посмотри – судьбе всевластной
И любви моей прекрасной
Как послушна я.

Но на вкус, и осторожно,
Горечь губ моих тревожна,
Пробуй слово – НЕВОЗМОЖНО,
Ты, любовь моя.

***

Как пулей навылет – весельем
пронизано лето моё.
Но кончено: осень – ущельем,
подвалом сырым предстаёт.

Всё кончено. Солнце в запрете,
и ткутся туманы дождём,
и улицы мокрые бредят,
и сумерки названы днём.

Бесцельна бесцветная проза,
и фабула там такова,
что жалкой нелепицей слёзы
захлёстывают слова.

Предчувствие бездны и бедствий,
и, может быть, потому
там – призрачность несоответствий
и признак ухода во тьму.

Там дух грабежей и насилий,
и клятв нарушенье, и страх,
что станет причиной бессилья
отравленный дождь на губах.

***

Что же это за чудо – реальность?
Оборвав сновидений канву,
Попадаю в иную тональность
И в других измереньях живу.

На песке палестинской дороги
Грешный след мой. О Боже, опять
Обжигаю усталые ноги,
Пробираясь всем домыслом вспять.

Просыпаюсь в осенние будни,
В лабиринте, мозаике тем…
Запах стада, библейский и смутный:
Я опять на пути в Вифлеем.

***

Когда обедня дня закончена
И полумрак вечерний тягостный
Вползает в окна, неразборчивый,
Когда не грустно и не радостно,
Тогда приходит в память петое,
Ушедшее, но не забытое,
Дождями теплыми согретое,
Слезами чьими-то умытое.

***

Ты меня не оставишь.
Придешь поглядеть,
Как касается Время остриженной челки,
Как в печальных глазах, сквозь тяжелую медь
Проступает душа…
Я как нитка в иголке.

Я, как белка в чугунном глухом колесе,
Сквозь кисельное время бунтую на ощупь…
Чтобы каждое утро доказывать всем,
Что жива и не помню о прожитой ночи.

***

Вдали закаты чистят перья
щербатым клювиком луны
и ставят облака мистерии,
а горный лес играет в них.

А кипарисы-киммерийцы,
то обелиски, то шесты,
слегка надменны по традиции
и траурны после шести.

В тот час сиреневая площадь
округлой бухты – вся в гудках:
злых, нежных, толстых, тонких, тощих,
как фуга Баха на губах.

***

Наполни чашу. Пей и пей!
Как этот день, бездумно серый,
Пей горький серпантин дождей.
Пей, пей без устали и меры,
Не насыщаясь, не давясь,
Не заглушая мыслей вскрики,
В глотке безудержном стремясь
Влить краски радуг в день безликий.
Крадется дрожью в руки дел
Его иззябнувшее тело.
А ведь еще вчера он пел
Под ливнем гимн свой оголтелый.
Сейчас промокшим воробьем
Он жмется к окнам и заборам,
Как будто плачет о своем
Конце – предсказанном и скором.

***

Каждый шторм – обогащает,
умножает нашу мудрость,
в штормах – встречи и прощанья,
с океаном темным бой…

Это – перевоплощенья,
неуверенность в исходе,
смена взлетов и падений
и насмешка над судьбой.

Из абстракций повседневных
переход в реальность страха,
в полосу тоски и гнева,
в осязанье слова «жить».

И когда трещат надежды,
днище, палуба и мачты –
это слово нас и держит,
мудрым смыслом окружив.

Александр Зевелёв

ЗАЯВКА НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

ПОЭЗИЯ

Поэзия…
Набор красивых слов,
значение которых мы забыли.
А то и вовсе никогда не знали…

Поэзия…
Набор красивых фраз,
объединенных очень сложной мыслью.
Настолько сложной и витиеватой,
что даже автор этой самой мысли
не объяснит, что он имел в виду.

И вот когда с тоски или с похмелья
нас посетит сомнительная мысль,
мы – с чашкой кофе или банкой пива,
боясь спугнуть родившееся “нечто”,
выводим завитушки на бумаге,
которая чертовски терпелива.

А то, что ни одна, пардон, собака
ни слова, ни полслова не поймет,
так это нам, простите, до лампадки:
мы пишем про себя и для себя,
но позволяем вам сидеть и слушать.

ЗАЯВКА НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Затопи ты мне баньку по-белому.
Аль по-черному. Али хоть бы как.
Отпотею душою и телом я.
Всё равно ведь Иван же дурак.

Ну, дурак. Что ж я с этим поделаю?
Не Шекспир и не Байрон отнюдь.
Мне бы квасу. Да баньку по-белому.
Мне бы щец бы. Да с бабой уснуть.

Только где ж ее взять, эту бабу, мне?
Нету бабы. Есть только жена.
Да безрука она, безалаберна,
что сказать, – поэтесса она!

Бабы дуры. И необходимо их
после свадьбы разок отлупить.
И поскачут, поскачут, родимые
щи варить али баньку топить.

А с моей ведь ни щей, ни эротики:
только ляжем, сползает с печи
и уходит в ночное с блокнотиком,
и строчит, и строчит, и строчит.

Двор курями, свинями закаканный,
на крыльце голубиный помет.
Я у тестя спросил: может, как-нибудь?..
Тесть сказал, что назад не возьмет.

Оттого и хожу вечно пьяным я.
А могу помереть вообще!
Экзерсисы твои с марципанами
не заменят ни бани, ни щей.

Зарифмуешь, вон, кабель со шнобелем,
и айда в Дом культуры скорей.
Так хоть дайте мне премию Нобеля:
погибаю ж за ямб и хорей!

КОНЬЯЧОК С ЛИМОНОМ

Вспоминаешь былого себя, на излишества падкого,
и количество данных зароков, и принятых мер.
А в буфете нельзя нам уже ни мучного, ни сладкого.
Поколение наших детей занимает партер.

И текут, и летят, пролетают недели и месяцы.
Захватил и несёт в никуда этот бурный поток.
Говорили про нас: бесенята, небось, перебесятся.
Перебесимся, ясное дело. А дальше-то что?

А что? Лимон под коньячок,
и сахарок под язычок.
Не валидол, а сахарок.
Такой уютный наш мирок!

И из туфелек в тапочки: ноги болят. И надев очки,
и, прокашляв всю ночь, всё равно мы не верим врачам!
Постаревшие бывшие мальчики, бывшие девочки,
несмотря на снотворное, часто не спим по ночам.

И всё реже и реже, увы, преферанс ли, гитара ли,
коньячок ли с лимоном заставят подняться с тахты.
Мы уже не взрослеем. Мы просто становимся старыми.
И бледнеют, линяют и старятся наши мечты

Ах, милый друг! Ах, добрый брат!
Мечтать не вредно, говорят.
Порежь лимон под коньячок
А что осталось нам ещё!?

ГОРОД

Продуваемый ветрами,
заливаемый дождями,
под таким свинцовым небом,
что звезда не упадёт,
я бреду без капюшона
площадями…
Площадями
я бреду в свою берлогу,
где никто меня не ждёт.

Добреду.
Включу компьютер.
Там – ни весточки, ни строчки…
В холодильнике – бутылка
и пельмени на двоих.
Говорят, что это вредно –
поздний ужин в одиночку.
Только чем её заполнить –
ночь без глаз и губ твоих?

Здорово, как было здорово!
Не хватало всего, но – поровну.
Изводили себя по-чёрному,
не жалеючи,
не любя…
И – холодно, ох, как холодно!
В этом городе.
Без тебя…

Темнота штормит-бушует…
За окном – вода и ветер…
Я иду варить пельмени:
начинаю привыкать…
За окном – огромный город,
но единственной на свете
в этом городе безлюдном
мне уже не отыскать.

В этом городе, продрогшем
и промокшем до подвалов,
так пустынно и уныло…
И понятно, почему
даже долгой зимней ночи
нам с тобою было мало.
А теперь – ужасно много!
Слишком много –
одному…

Здорово, как было здорово!
Не хватало всего, но – поровну.
Изводили себя по-чёрному,
не жалеючи,
не любя…
И – холодно, ох, как холодно!
В этом городе.
Без тебя…

Александра Зои Ландауэр

НА РОЗУ ОГРОМНУЮ СЕРЫЙ ПОХОЖ ОКЕАН

***

Вернись.
Время прошло, только эхо звучит
среди непродуманных, недовершенных
планов блуждая и длясь,
среди недовязанных впрок одеял
и закладок, схороненных в книгах навечно.
Так и хочется следом окликнуть, догнать,
замереть –
– ведь не дальше, чем выдох, всего на один
миг поодаль, один оборот,
но тебя не достать.
Возвращайся.
Ничтожное нас разделяет
расстоянье: какой-то стежок, поворот
страницы – я быстро ее пролистну – обещаю.
Но нам не совпасть –
– страница, надгробье ли это, стена, за которой
полнейший словарь помещен.
Вдоль экватора глобус прошит
сквозными стежками, и все-же тебя не достану.
Какой бы – не важно – теперь не была
толщины –
страница, – ее не порву:
не смогу.

***

На розу огромную серый похож океан.
Растут, опадают, растут опадают растут
его лепестки, опадают и снова растут.

***

Вылетает обратно, на свет,
Моль - ночница, на поиск
Смысла а воздухе летнем.
Теплынь,
Бой за место у лампы.

***

Развешены в ряд на ветру
детские чьи-то одежды.
Прямо в ворох осенних листьев
высохший чепчик упал.

Вечеслав Новиков

РУССКИЙ ПЕРЕВОД

Хорошо темперированный курс
теории и практики синхронного перевода

Пособие для начинающих,
читающих и моего друга Саши Кальниченко

БЛАГОДАРНОСТЬ

Кому: 1) Володе Колесникову персонально
2) друзьям
3) товарищам по работе

За что: большую, но, к счастью, неоценимую помощь, оказанную (как сознательно, так и бессознательно) в составлении данного учебного пособия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВТОРА

Данное учебное пособие никакое практической ценности, а также исковой силы, не имеет.
События, описанные в пособии, к реальности имеют самое далекое отношение.
Действующие лица в действительности никогда не действовали или действовали не совсем так, а иногда и совсем не так, как это описано в пособии, и использованы автором исключительно в учебно-иллюстративных целях.
Любые аналогии, аллюзии и ассоциации являются проявлениями безответственности со стороны читающего, несущего за них всю полноту ответственности.

Последнее предупреждение является последним.

УРОК ПЕРВЫЙ

КАРАЮЩАЯ ДЕСНИЦА БАБУШКИ ЛИЗЫ, ИЛИ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

«Бабушка Лиза лежала у истоков синхронного перевода». «Фу, как нехорошо получилось, – нахмурился Денисов, – какая нехорошая двусмысленность. Сразу представляется «Даная» Рембрандта. Хотя при переводе, как это и бывает нередко, неуместная ассоциативность исчезнет. ... était une des fondatrices [1], was among the founding fathers of conference interpretation [2]… Господи, одно исчезло – другое появилось: уж отцом-основателем синхронного перевода хрупкую Лизу, при всей ее всемирно-исторической роли, называть все-таки не следует. И вообще, учебник нужно писать на русском языке. И фамильярность неуместна, “бабушка Лиза” она только для нас, русских синхронистов».

Денисов трепетно относился к бабушке Лизе. «“Awe” should work here better than “trepidation”3, – автоматически подумалось ему. – Хотя фонетически трепет ближе к trepidation [3]. Трепидейшн – трепитейшн. Но я опять не о том думаю... Итак, бабушка Лиза...»

В самом деле, маленькая Лиза, с лицом, похожим на румяное яблочко, которое слегка подпекли в русской печке, вовсе не походила на дородную Данаю. Через стеклянную перегородку, отделяющую русскую кабину от французской, Денисов часто наблюдал за Лизой, смотрел на ее точеный профиль, слушал ее всегда спокойный, уверенный перевод и пытался представить себе, как она выглядела более полувека тому назад, в 1945 году, на Нюрнбергском процессе. Если бы Денисов действительно всерьез взялся за написание учебника синхронного перевода, то он бы

[1] Была одной из основательниц

[2] Дословно: была одним из отцов-основателей

[3] «Благоговение» подойдет здесь лучше, чем «внутренняя дрожь»

начал его так:

«В энциклопедических статьях о Нюрнбергском процессе часто употребляется слово “впервые”: “Впервые агрессия была признана тягчайшим преступлением”, “впервые к уголовной ответственности были привлечены официальные лица, ответственные за планирование, подготовку и развязывание агрессивных войн”, “впервые было признано, что исполнение распоряжений правительства не освобождает от ответственности”... Но одного “впервые” все-таки не хватает: на Нюрнбергском процессе впервые использовался синхронный перевод. Юная тогда Лиза была одной из первых в мире синхронных переводчиц».

В отличие от энциклопедий, большую роль синхронного перевода впервые отметил осужденный к смертной казни через повешение инициатор создания гестапо и концлагерей Герман Геринг. «Синхронный перевод сократил мне жизнь», – сказал он.

«И мне, по-моему, тоже, – усмехнулся Денисов. – Да и вообще, что я себе думаю? Какой учебник? Как говорила мне кастелянша в общежитии, шо-то ты много стал про себя понимать, Денисов. Кто ты, собственно, такой? Переводчик, ну и переводи себе. И какое кому дело, как стать таким как ты?...»

УРОК ВТОРОЙ

СТАНОВЛЕНИЕ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДЧИКА ИЛИ РАСПАД ЛИЧНОСТИ

Первый блин

Когда Денисов впервые, еще учась на переводческом отделении иняза, попробовал переводить синхронно, ему стало не по себе: ему показалось, что сознание его раздваивается, если даже не расстраивается. Нужно было одновременно слушать, понимать, переводить на другой язык и проговаривать переведенное. Внутри Денисова появлялось как бы несколько личностей, которые и должны были выполнять эти различные функции. Однако личности эти сразу же стали заглушать друг друга, и все закончилось сумбуром и позором. После этого Денисов прочитал немало умных книжек, в которых разъяснялся механизм синхронного перевода, говорилось о «нейтрализации репродукции при восприятии», «синхронизации слуховой рецепции и речи», «когнитивно-тезаурусном выводе», «ситуативно-дейктических импликатурах» и прочих ужасах. Однако удовольствуйся тогда Денисов этим своим первым опытом, он бы по сей день считал синхронный перевод делом, в принципе, невозможным. Удовольствоваться же ему не дали «курсы», которые продолжили едва начавшийся «распад» и окончательно разложили его личность на «составляющие синхронного переводчика».

Установление принципов и механизмов

Курсы переводчиков ООН стали для Денисова воистину судьбоносными. Попал он на них после тщательнейшего искусственного отбора (времена были советские) и соответствующих экзаменов. За спиной со сколиозом был университет, армия (сколиоз, как известно, лечится только в двух местах: армии и могиле), переводческая работа в странах Африки и Азии. На курсах с целью тестирования Денисова опять заставили надеть наушники и перевести два записанных на пленку выступления. В Денисове вновь появились различные «сущности», которые тут же стали заглушать и вытеснять друг друга. Единственное, что Денисову удалось – перевести «monsieur le President» как «господин председатель», а не как «месье президент». Он втайне надеялся на то, что его отбракуют и навсегда запишут в «письменники». К большому своему удивлению, ему предложили учиться на синхрониста.

Руководил курсами тов. Базальтов – большой человек, похожий на безусого Котовского с высшим образованием. На этом посту он находился с самого первого дня существования курсов. Он же был и их инициатором и создателем. И их олицетворением. Когда говорили «курсы» – подразумевали Базальтова. И, соответственно, наоборот: когда подразумевали Базальтова – говорили «курсы». Главной неофициальной задачей курсов было, как любил выражаться сам Базальтов, выбить из русских переводческих служб ООН «беляков недобитых» и заменить их советскими специалистами. Главной же официальной задачей курсов было выбить из русских переводческих служб ООН «недобитых беляков» и заменить их специалистами советскими. Обе задачи были успешно выполнены. Бабушку Лизу и других детей русских эмигрантов, сбежавших от ВОСР в ООН, добить не удалось по причине стеклянного занавеса, отделявшего русскую кабину от французской. Собственно, в других языковых службах им было даже лучше. Лучше стало и для русского языка, сильно измордованного в переводах самых первых документов ООН. Особенно большой ущерб был на Главной неофициальной задачей курсов было, как любил выражаться сам Базальтов, выбить из русских переводческих служб ООН «беляков недобитых» и заменить их советскими специалистами. Главной же официальной задачей курсов было выбить из русских переводческих служб ООН «недобитых беляков» и заменить их

специалистами советскими. несен ему в Уставе ООН, на который принято постоянно ссылаться как на Библию, причем в «канонизированном», естественно, виде. Вот и повторяют десятилетиями русскоязычные дипломаты, переводчики и журналисты причудливые формулировки, не веря своим глазам и ушам, но делая вид, что лучше и сказать, право, нельзя: *«содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе...», «обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах...», «Генеральная Ассамблея организует исследования и делает рекомендации...», «стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества...», «эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений...», «такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Организации..», «Совет Безопасности должен поощрять развитие применения мирного разрешения...», «различные специализированные учреждения... будут поставлены в связь с Организацией...», «такие учреждения, которые будут поставлены указанным образом в связь с Организацией...», «способствовать... прогрессу населения..., его прогрессу в области образования и его прогрессивному развитию в направлении к самоуправлению или независимости, как это может оказаться подходящим для специфических условий каждой территории и ее народов и имея в виду свободно выраженное желание этих народов, и как это может быть предусмотрено условиями каждого без ущерба для достижения вышеизложенных задач...»*

Перед курсами также стояла задача готовить переводчиков с самым высоким уровнем «работоспособности, компетентности и добросовестности» (см. ст.101 Устава ООН). Эту задачу – в основном, по экстралингвистическим причинам – выполнять удавалось не всегда, и на места недобитых беляков порой попадали довольно забитые совки. Но старания прилагались.

Шоковая терапия

Велась, в общем-то, немалая работа. Преподаватели для курсов были подобраны отменные. Их можно было разделить на две категории: лингвистов и экстралингвистов. Лингвисты учили переводить, давали терминологию, связанную со всеми видами деятельности ООН, начиная от исследования космоса и заканчивая производством биомассы. Экстралингвисты должны были в течение девяти месяцев выносить и родить нового человека – человека, способного жить и работать в космосе, но не забывающего о биомассе, т.е. подготовить советского человека к работе в международной организации за железным занавесом в духе верности коммунистическим идеалам. Они должны были быстро и подробно рассказать слушателям о том, как жил и развивался находящийся за пределами СССР мир после исчезновения в нем динозавров. Благодаря мужественным усилиям этих людей выпускники курсов, попав за «бугор», должны были избежать гибели от культурного шока. Под предлогом изучения «их» ценностей, неизбежно отражающихся, к сожалению, в «их» письменной и устной речи, слушателям рассказывалось о Библии. Она даже показывалась. В этой связи Денисову часто вспоминался его университетский друг, который, когда служил в армии, привез из Африки Библию. По возвращении в часть его «заложили» особисту. Друг стал невыездным на десятилетия. Ему даже с трудом удалось после дембеля выехать из ЗАБВО [1] в родной Саратов. У Базальтова же Библия играла свою первоначальную роль: она готовила к иному миру.

Денисов, кстати, тоже привез Библию на русском языке из православной Эфиопии, но ему повезло. Бог не выдал, свинья не съела.

Слушателям курсов рассказывал сказки специалист по античной культуре – молодой и по уши влюбленный в мифологию человек. Его, наверное, вызвал Базальтов из 19 века. Он знал об олимпийских богах все, вплоть до интимных подробностей. Однажды, когда он рассказывал о Зевсе, который изверг сперму – то ли на богиню, то ли простую женщину, то ли любимого козленка (Денисов уже не помнил) – у него буквально потекла слюна. После распада СССР «антик» стал видным священником, чуть ли не основавшим какое-то новое направление в православной церкви.

Иногда приходил еще один очень незаурядный человек – экономист из Госплана, которому разрешалось говорить на курсах то, что запрещалось говорить на работе. Он излагал уже совсем убийственные для девственных умов «курсачей» вещи: рассказывал о том, что Советский Союз зашел в экономический тупик, развиваться далее может только за счет все больших народных страданий, но система в любом случае обречена. Приглашали его, наверное, не столько для разъяснения основ экономики – это все равно было бы безнадежным делом – а скорее для того, чтобы полегоньку приучать слушателей к мысли о том, что люди в принципе могут высказывать подобные идеи, и после этого их не сразу увозят в психушку. Хотя, кто

[1] Забайкальский военный округ

знает, может, экономиста все-таки привозили вовсе и не из Госплана, и не в Госплан увозили – в любом случае Денисов его за пределами аудитории никогда не видел, даже в коридоре.

Ради пущей подготовки слушателям раскрывались даже государственные тайны. Красивый и щеголеватый юрист объявил однажды, что финскую войну начал сам Советский Союз, то есть взял сам и буквально совершил агрессию. Базальтов, правда, через несколько дней категорически опроверг эту информацию.

Иногда в класс вкатывался небольшой округлый человек с нерусской фамилией Полонский (то есть вкатывался он иногда, а фамилия у него всегда была нерусская – Полонский). Это был чрезвычайно веселый и ироничный профессор, призванный Базальтовым развенчивать ложность и вредность буржуазных философов: Шопенгауэра, Ницше, Кьеркегора, Хайдеггера и пр.. Делал он это, конечно, не потому, что эти так называемые «философы» нуждались в каком-либо развенчивании – после многолетних внутричерепных инъекций «единственно верного учения» иммунитет у слушателей к любой другой философии мира был необычайно стойким – а потому, что считалось, что они сильно повлияли на западную культуру, и идеи их или, по крайней мере, фамилии могут упоминаться в выступлениях политических деятелей в ООН. Реальная задача Полонского сводилась к тому, чтобы приучить слушателей не пугаться этих фамилий при их упоминании в текстах или речах и не принимать их за опечатки или дефекты дикции (чего только стоило запомнить, что Kierkegaard и Кьеркегор – это одно, в сущности, лицо).

Скупыми, но мастерскими штрихами, Полонский в течение каких-то мгновений, изобличал всю несуразность умозрительных построений горе-философов. Свой краткий и безжалостный марксистско-ленинский анализ он дополнял личностными характеристиками, делавшими буржуазных мыслителей мелкобуржуазными моральными уродами, интеллектуальными нарциссами и даже гомосексуалистами. Сомневаться в правоте профессора не имело никакого смысла, потому как его допускали к самим первоисточникам. У слушателей такого допуска не было, хотя, впрочем, если бы и был, никто из них «всяких пидарасов» читать не стал бы. Еще профессора пускали на Запад – в Польшу – для расширения научного кругозора (скорее всего самой Польши, потому как расширять собственный ему было уже некуда). Ни в какую другую страну Полонский ездить почему-то не мог, но зато в Польше бывал настолько часто, что в итоге нашел там свои генеалогические корни (или ветви) и провел научное наблюдение за паломничеством к Матке Боске Ченстоховской. Собственно, на занятиях он, в основном, и рассказывал о Польше и поразившей его (наверное, неприятно) набожности поляков. Еще профессор любил рассказывать о своих встречах со знаменитостями. Встреч таких было немало: Полонского часто приглашали читать лекции для творческих коллективов столицы, в том числе и актеров театра на Таганке. Лекции помогали артистам играть еще лучше, а Полонскому – иметь доступ (или допуск) к самым популярным людям того времени. Множество интересных встреч профессор имел почему-то в бане. «Мужики, – говорил он в начале занятий, – сегодня в бане с таким потрясающим человеком познакомился, он мне такое рассказал – закачаетесь...» Профессор даже Жванецкого в бане видел с его толстым, уже бесформенным и морщинистым от времени знаменитым портфелем. Во втором семестре Полонский внезапно куда-то закатился, возможно, его опять послали к Ченстоховской Матери.

Был еще Великий Страновед. Он абсолютно все знал про все страны мира, знал про них больше, чем они знали про самих себя. Не было ни одного самого крошечного племени, как бы старательно не прятавшегося от Страноведа, про которое бы он не мог порассказать хотя бы в течение полутора часов. Великий Страновед приходил всегда в одном и том же коричневом пиджаке, карманы которого были напичканы карточками со страноведческой информацией. Он никогда не вынимал свои карточки, а только перебирал их пальцами в карманах пиджака, так что казалось, что информация с карточек поступала в голову Страноведа через пальцы. Может, информация текла и в обратном направлении, т.е. от Страноведа на карточки – уж больно сложной у них была взаимосвязь. Чтобы втиснуть в отведенное время максимум информации, от которой просто распирало Страноведа и его карманы, преподавание велось страшной скороговоркой. Скороговорка была настолько страшной, что Страновед никогда не был уверен, произнес ли он на самом деле только что сказанное предложение, и на всякий случай проговаривал его во второй раз. Усвоение материала слушателями в результате значительно улучшалось, и окажись Денисов после курсов в Африке в племени Тутси, он бы прекрасно знал, он бы прекрасно знал, как распознать членов племени Гуту, членов племени Гуту, которые любят рубить Тутси при помощи мачете, при помощи мачете, и при их виде сразу же бы прятался, сразу же бы прятался.

Термообработка

Большое внимание уделялось терминологической подготовке. Ею занимались «лингвисты», среди которых также были интересные и даже незаурядные личности. С чувством необъяснимой грусти вспоминался Денисову преподаватель Туполев, который вел «экономическую» терминологию. Переводы текстов на экономические темы он выслушивал с печальной улыбкой на одутловатом лице и затем тихо спрашивал, а проверяли ли учащиеся все словарные значения слов, содержащихся в тексте. Если же слушатель отвечал, что почти все слова ему хорошо знакомы, и контекст подсказывает, какое словарное значение является подходящим, Туполев спрашивал: «Вы абсолютно в этом уверены?» Лицо его при этом выражало глубокое сострадание, как будто перед ним был неизлечимо больной человек. Слушатель начинал сомневаться и в следующий раз на всякий случай проверял даже те слова, которые ему были хорошо известны. Но и на следующий раз и во все последующие разы его ожидал все тот же вопрос: «А Вы абсолютно в этом уверены?» Своего же варианта Туполев никогда не давал, а лишь глубоко и горестно вздыхал. От этого вздоха становилось стыдно. Через месяца полтора никто ни в чем не был более уверен. На последнем занятии с Туполевым Денисов пришел к страшному осознанию, что больше не знает, как перевести слово «and». Последним же это занятие оказалось потому, что Туполев внезапно скончался. Некоторые говорили, что причиной было больное сердце, другие винили гипертонию. Денисову же казалось, что умер Тополев от отчаяния. Уверенности не было и здесь.

Маленький сухой старичок по фамилии Миролюбов учил терминологии в области разоружения и атомной энергии. Он очень любил свои термины – «интрузивные методы проверки», «прекурсоры», «период полураспада», «средство доставки ядерного боеприпаса к цели» (это уточнение – «к цели» – было обязательным, наверное, во избежание доставки на дом), ПРО, СНВ, МИРВ (этот термин – «ракета с разделяющимися головными частями индивидуального наведения на цель» – при многократном повторении производил на Денисова гипнотизирующее воздействие: ему начинало казаться, что сама голова его разделялась на индивидуальные части), МУДы, ДНЯО, ДВЗЯИ [1] – китайцы, услышав последние два сокращения, как-нибудь бы непременно отреагировали (Денисов даже представлял себе донесение китайских военных об успешном дневном наступлении – «Дняо Двзяи Даманский») – и обижался как ребенок, когда кто-нибудь их не выучивал. Правда, МУДы никто из слушателей никогда не забывал. Когда же Миролюбов рассказывал про МАГАТЭ, его поблекшие глаза просветлялись и лицо приобретало нежное и мечтательное выражение. Венское заведение ему было явно дороже КПСС. Казалось, что вот-вот и он продекламирует:

МАГАТЭ ты мое, МАГАТЭ,
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне,
МАГАТЭ ты мое, МАГАТЭ...

Старика старались не обижать и предмет его учили, хотя порой от интрузивности становилось невмагатэ.

Собственно, учил Денисов старательно всю терминологию, которая преподавалась на курсах: по международному праву, финансам, бюджету и т.д..

Скрупулезно изучались Устав ООН, правила процедуры Генеральной Ассамблеи, состав и функции различных органов ООН. По всем предметам Денисов завел отдельные папки с глоссариями, которые пополнял в течение многих последующих лет.

Была на курсах и ходячая и говорящая как диктор «Радио Москва» на английском языке легенда – профессор Политрутченко, автор учебников по теории и практике перевода, по которым учились во всех уголках нашей необъятной Родины, включая Ямал и Туву. С блистательной вершины своих знаний профессор прекрасно видел глубину невежества остальных. При очередном проявлении последнего он, однако, никогда не удивлялся, а лишь – профессор был заштампован как Рональд Рейган – благосклонно смеялся и затем долго унижал невежду. Политрутченко был необычайно полезен. Например, на его вопрос «Как перевести “smoking concert”[2]?», – нужно было ответить: «Концерт, на который необходимо приходить только в смокингах», что вызывало соответствующий смех и разъяснительную тираду минут на тридцать, в течение которой можно было хорошо отдохнуть. Сам же профессор после «урока» выглядел усталым, но очень удовлетворенным, как после оргазма.

Большое внимание уделялось родному языку. От миловидной преподавательницы с постоянно удивленными глазами, которые она получила во время поездки в Англию, Денисов и его товарищи узнали, что с заглавных букв можно писать все слова не только в таких

[1] ПРО – противоракетная оборона; СНВ – стратегические наступательные вооружения; МУДы – меры по укреплению доверия; ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия; ДВЗЯИ – Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний.

[2] Концерт, на котором разрешается курить

названиях, как Коммунистическая Партия Советского Союза или Великая Октябрьская Социалистическая Революция, но и в таких исключительных случаях, когда речь идет об Организации Объединенных Наций или Совете Безопасности. Некоторые слушатели научились правильно писать слово «прецедент» и добавили его в своих словниках к слову «экзистенциализм». Особая забота проявлялась о русской стилистике и правильном произношении. Здесь, однако, усилия преподавательницы сильно подрывались ненормативной речью тогдашнего Генерального Секретаря КПСС, высказывания которого распространялись средствами массовой информации по всей стране.

Спецподготовка

Вся эта учеба, конечно, была очень полезной и важной. Однако для Денисова и трех его согруппников, «избранных» для синхронного перевода, она не была главной. Главной была специальная тренировка, если не сказать «дрессировка», которой с ними занимались преподаватели синхронного перевода. Последних также было немало. Один – чрезвычайно аккуратный и очень любящий собственное британское произношение – занимался, в основном, практическими упражнениями, например, «shadowing», когда нужно было просто повторять, с небольшим отставанием, зачитываемый преподавателем текст. «Shadowing»[1] помог Денисову натренировать одну из внутренних «сущностей» – неотступно бегать за оратором. Второй преподаватель – мягкий, улыбчивый и большой – был человеком от науки, изучал законы и механизмы синхронного перевода, которые сам же и создавал. Он был автором книги, в которой он довольно элегантно, на основе многочисленных опытов, доказывал, что переводчик лучше переводит, когда он непосредственно присутствует на заседании и видит зал заседаний и выступающих, чем когда он отсутствует и не видит. Третий – молодой и наглый – должен был учить переводу с французского языка, но на самом деле должны были ему: он был очень «блатной», постоянно мотался в МОТ и на курсах только получал зарплату в периоды между командировками. Занятия его сводились к рассказам о сладкой западной жизни. Четвертый был ярым проповедником компрессирования в синхронном переводе и иронически относился к самой возможности полного перевода. Был он, однако, очень непоследователен: приносил очень «технические» тексты с длинными перечислениями каких-либо продуктов, скажем, сельского хозяйства или металлургии, «скомпрессировать» которые даже сам он никак не мог. Единственное воспоминание, оставшееся от занятий с этим преподавателем, было чувство тихого изумления.

Глыбы

Все эти полезные, безусловно, люди жалко меркли в громадной тени, которую отбрасывали две глыбы практики синхронного перевода: Мастюков и Бугров. Первый вел перевод с французского языка, второй – с английского. Проповедуя совершенно разные подходы к переводу, эти два светила, имевшие богатейший опыт работы на всех уровнях, включая и самый высокий – партийно-правительственный, излучали неистребимую веру в «переводимость» абсолютно всего. Они и дали Денисову все необходимое для его дальнейшей небезуспешной профессиональной деятельности. Хотя поначалу «учение» одного из них – Мастюкова – показалось Денисову довольно сомнительным.

Мастюков был очень большим, тучным человеком с круглыми розовыми щеками и толстыми губами, походившими на красных гусениц. Говорил он громким, гулким басом: «Ну и что, что вы не поняли какого-либо слова? Не беда! Слов много – а вы одни. В затемненной кабине, в условиях полнейшего анонимата, голосом, не допускающим у клиента ни тени сомнений в вашем переводе, вы говорите: “Господин Председатель! В контексте создавшейся ситуации и с учетом вышеуказанных соображений и т.д. и т.п.”, – а сами в это время стараетесь быстренько понять, к чему же клонит оратор...» «Ну, что Вы запнулись, что тут думать? – басил он незадачливому курсачу. – Думать здесь не надо, нужен непрерывный, уверенный перевод!» «А как здесь лучше перевести – “l’intransigeance d’Israel?” «Да так и переводите – “непримиривство Израиля”, – действительно недолго думая, отвечал Мастюков. «“Непримиривство?” А разве есть такое слово?» «Есть такое слово!» – отрезал Мастюков, испепеляющим взором давая понять, что «его слово есть» хотя бы только потому, что он его сказал, а всяким крючкотворам и трясущимся пуристам в кабине не место.

Однако именно Мастюков помог выработать уверенность и чистоту «подачи» – без всяких «эканий» и «блеяний». У него была также заветная тоненькая книжица, которую маэстро сам же и написал, и издал типографским способом. В книжице содержались французские клише, наиболее часто встречающиеся в ооновских выступлениях. Соответствия предлагались в единственном варианте и звучали порой диковато: «A titre d’exemple» переводилось как «Дабы не быть голословным», «Qu’il me soit permis» – «Да будет мне дозволено»

[1] Дословно: следование по пятам

и т.д. ... Соответствия нужно было запомнить раз и навсегда, чтобы никогда больше не думать об их переводе. Как понял Денисов позднее, в этом учении содержалась великая польза: заученные навечно клише освобождали время и позволяли направить умственную энергию на то, что действительно нужно было переводить. Тот же Мастюков привил и почтительное отношение к Клиенту. Проработав множество лет с партийно-правительственными делегациями высокого уровня, он как никто другой знал, насколько это важно. Большое внимание он также уделял вопросу питания и всегда советовал на достаточно крупных мероприятиях посещать в перерывах буфет. Курсачи, которых частенько подряжали под конец учебы на халтуру, любили спрашивать учителя, подленько предвкушая ответ: «Семен Семеныч, а вот нам как лучше: здесь, в институте, поесть, или на конференции (скажем, по вероятностным аварийным цепочкам АЭС)?» При таком вопросе лицо Мастюкова становилось крайне серьезным, как будто речь шла об основополагающих принципах синхронного перевода: «Там, там поешьте», – важным кивком головы отмечая каждое «там» неизменно отвечал Мастюков.

Всю эту умело выстроенную преподавательскую пирамиду увенчивал Лев Евграфович Бугров – непревзойденный мастер и учитель синхронного переводческого дела. В первые же секунды знакомства с ним возникала уверенность в том, что это – личность незаурядная. Его внимательный и строгий, несколько исподлобья, взгляд пронизывал собеседника насквозь. Густая и неседеющая, несмотря на продвинутые годы, грива украшала крупную голову Льва. Черты лица, как и само лицо, тоже были крупными. Впечатляли жировые наросты на лохматых бровях и волевом подбородке. Они казались не чужеродными образованиями, а запасными накопителями серого вещества, явно не помещавшегося даже в таком просторном черепе, каким обладал Бугров. Впечатление это усиливалось энергичными подергивающимися движениями, в которые приходили сгустки в моменты интеллектуального напряжения. Помимо мощного мозгового потенциала, Бугров, хотя и был невысокого роста, обладал недюжинной физической силой. Вещества обменивались в его организме с такой же молниеносностью, с какой перерабатывалась в его голове информация: в обед Лев проглатывал огромные куски грубого студенческого корма и продолжал оставаться поджарым и жилистым. Обильные возлияния, перемежающиеся частыми, но недолгими пери-одами полной завязки, не имели видимых негативных последствий для его физической и интеллектуальной мощи. Рассказывали, что во времена своей бурной юности Бугров проходил на руках весь Петроверигский переулок, в котором находилось инязовское общежитие, приняв предварительно пол-литра водки. Достигнутый в нем совершенный баланс «знания и силы» пошатнулся лишь один раз, причем явно в сторону силы. Этот судьбоносный инцидент случился, когда Бугров работал синхронистом в отделении ООН в Женеве. Как-то вечером он возвращался домой по узким улицам старого города, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это состояние не понравилось придирчивому полицейскому, который задержал Бугрова и отвел в участок. «И тогда я подумал, – рассказывал сам Лев, – ведь я же сильнее этого зажравшегося швейцарского полицая, ведь я могу победить его!» Расчет оказался неверным: в отличие от Бугрова, трезвый блюститель порядка на упражнения ума никогда не отвлекался и основную часть жизни проходил на руках. После ожесточенной, но короткой схватки, Лев был закован в наручники и посажен (по его собственному выражению) «в клетку». Инцидент удалось замять, Льва отправили на родину, но из «клетки» уже не выпускали: Бугров стал безнадежно невыездным и оставался таким вплоть до развала Союза, вместе с которым распалась и клетка.

Это пространственное ограничение не помешало, однако, полному расцвету его переводческого таланта. На момент поступления Денисова на курсы Бугров находился в зените своей профессиональной славы. По быстроте реакции, широте кругозора, богатству словарного запаса ему не было равных. В его умных глазах, наивно защищенных толстыми стеклами очков от тупых предметов и субъектов внешнего материального мира, собеседник мог буквально видеть уходящие вглубь бесконечные синонимические ряды. «This is a man of an amazing vocabulary», – отозвался о нем как-то Сорос. Бугрова приглашали на самые трудные и ответственные мероприятия (в техническом и политическом отношениях) – начиная с научных симпозиумов, посвященных рассмотрению проблем внутреннего устройства ядерных реакторов или расстройства желудка, и заканчивая партийно-правительственными встречами во Дворце съездов.

Только не отдающие себе отчет в собственной ничтожности коллеги могли не признавать верховенства Бугрова. Однако ненасытная натура Льва постоянно требовала нечто большего, добавки. Такой добавкой был письменный перевод сложнейших научных статей и произведений литературных классиков. Во время учебы Денисова на курсах Бугров переводил Гоголя, а также статьи для «Scientific American». Он жил в состоянии непреходящего восхищения языками

оригинала и перевода – английским и русским. «Как приятно прийти домой с хорошей гулянки, рассказывал Лев, – сесть за стол, раскрыть перед собой тетрадь, разделить очередную страницу пополам по вертикали и записывать с одной стороны русские слова и выражения, а с другой – их перевод на английском. Как, кстати, вы перевели бы слово «недоросль»? Тут наросты приходили в движение, глаза округлялись, наполняясь светящейся радостью находки: «Young hopeful»! Как? По-моему, в самую точку!»

В синхронном переводе Бугров не терпел наукообразности и мистификации. «Да-а-а, Венечка написал довольно изящную книжку о синхроне, но ведь если подумать хорошенько, то обязательно придешь к выводу, что все сводится к одному единственному правилу: «Взялся за гуж – говори что-нибудь. Пусть нескладно, зато верно».

Методические советы Льва Евграфовича будущим синхронистам отличались своеобразием, и не сразу становилось понятной их поразительная глубина.

«А вот когда Вы учились, – спрашивали его “курсачи”, – как Вы занимались, какая у Вас была система?» «Ну что, – следовал ответ, – после занятий, бывало, покупали авоську водки, закусь, собирались в 506-й (об этой аудитории речь еще пойдет дальше), выпивали, а потом боролись посередине комнаты». «А потом?» «Я же сказал: “А потом боролись”». «И все?» «И все».

При этом Бугров признавал право на существование и множества других, не менее эффективных методов обучения. В специфических случаях пить, и даже курить, не рекомендовалось. В своей профессиональной жизни Лев Евграфович лично знал высококвалифицированных переводчиков, которые поддерживали ясность ума и быстроту реакции только физическими упражнениями. «Возьмем, например, – здесь Бугров называл соответствующую фамилию, – ему уже 81 год, каждое утро занимается гимнастикой йогов, стоит на голове, принимает контрастный душ и до сих пор переводит как бог». Когда попадались пленки с особенно трудными или техническими текстами, и обучающиеся «пускали пенку», Бугров, слишком хорошо думая о своих подопечных, советовал: «Не надо так долго думать, не надо мудрствовать. Если вы слышите: “sump” – так и переводите: “зумпф”, или “приямок”, если слышите: “driftbolt” – не выдумывайте, говорите: “дорн”».

Мастер ратовал за терминологическую точность и с иронией отзывался о «мастюковской системе»: «Работали мы как-то на конференции по лесному хозяйству. Выступления были очень техническими, очень плотными. Я проработал какое-то время, спецы сменяли друг друга, мы уже прошли целый ряд стадий производственного цикла: валку, обрезку, трелевочный волок. Уже раскряжевали бревна, когда меня сменил Сенечка Мастюков и сразу же, ничтоже сумяшися, громогласно объявил в микрофон: “У нас в стране очень много лесов...” Зато потом был страшно наказан. Пришел он, естественно, голодным и в перерыв сразу же поспешил в банкетный зал, где уже были накрыты столы для делегатов, но там что-то еще не было готово, и его погнали. Сеня долго мучился, не выдержал и купил в платном буфете пирожок за 20 (двадцать) копеек. Только надкусил – как всех пригласили к халявным яствам. Пирожок пришлось доесть, но с какой же горечью вспоминал затем Сеня зря потраченные 20 копеек...»

506-я

Занятия по синхронному переводу проводились, в основном, в аудитории № 506 – лингафонном кабинете, оборудованном несколькими звукоизолированными кабинками и центральным пультом. Магнитофоны были довольно допотопными, бобинными, с громоздкими микрофонами и наушниками. Судя по величине кнопок, ручек и тумблеров, сделаны они, наверное, были давно, где-нибудь в Скандинавии, и предназначались для использования викингами. Некоторые злые языки поговаривали, что ООН будто перечисляла средства для замены лингафонного оборудования более современным, приспособленным уже для самураев, но пошли они на другие цели. И действительно, каждая очередная экзаменационная комиссия ООН поначалу удивлялась антиквариату, но ей объясняли, что аппаратура оказалось настолько хорошей, что менять ее просто жалко.

Бугров восседал за центральным пультом, возложив руки на рычаги управления проигрывающим и записывающим устройствами. Правый глаз он щурил, чтобы не допускать туда дым от сигареты, торчащей из уголка рта. Поставив какую-нибудь пленку с записью выступления в ООН, Лев Евграфович поочередно слушал наши переводы и записывал их. Когда выступление заканчивалось, наступал «момент истины», т.е. позора и унижения: Бугров собирал всех за большим Т-образным столом перед своим пультом, проигрывал куски выступления и наши переводы и делал соответствующий разбор. В конце урока он давал несколько новых пленок, которые нужно было «сделать» после занятий. По домам расходились поздно вечером. И так было изо дня в день.

В этом, собственно, и заключался метод Льва Евграфовича Бугрова. Он резко отличался от всех остальных известных методов полным своим отсутствием. «Теория Бугрова» заключалась в

практике: необходимо было перевести как можно больше выступлений на самые различные темы, самых различных ораторов, «проработать» как можно больше различных переводческих ситуаций, чтобы «непроработанных» ситуаций, тем и ораторов оставалось как можно меньше. Отсюда – способность «прогнозировать» и, соответственно, возможность расслабиться и сосредоточиться лишь на том, что еще не «проходили».

Падения и взлеты

Бывали моменты, когда Денисов и его товарищи начинали чувствовать себя несколько получше, посвободнее и поувереннее, расправляли плечи. Тогда Бугров организовывал представление под названием «Прозрение» и вправлял плечи обратно. Для этого он ставил одну из своих «заветных» пленок, приговаривая: «Ну, сейчас будут вам кисельные берега...» Особенно запомнилась речь епископа Десмонда Туту, клеймящего апартеид в Совете Безопасности. Само начало:

«I speak out of a full heart, for I am about to speak about a land that I love deeply and passionately; a beautiful land of rolling hills and gurgling streams, of clear starlit skies, of singing birds, and gamboling lambs; a land God has richly endowed with the good things of the earth, a land rich in mineral deposits of nearly every kind; a land of vast open spaces, enough to accommodate all its inhabitants comfortably; a land capable of feeding itself and other lands on the beleaguered continent of Africa, a veritable breadbasket; a land that could contribute wonderfully to the material and spiritual development and prosperity of all Africa and indeed of the whole world. It is endowed with enough to satisfy the material and spiritual needs of all its peoples. And so we would expect that such a land, veritably flowing with milk and honey, should be a land where peace and harmony and contentment reigned supreme. Alas, the opposite is the case.» [1]

[1] «Я говорю от всего сердца, ибо я говорю о крае, который люблю глубоко и страстно, чудесном крае волнистых холмов и журчащих ручьев, ясного звездного неба, щебечущих птиц и резвящихся на лугах ягнят; крае, который Господь щедро одарил земными благами, крае, богатом едва ли не всеми полезными ископаемыми; крае больших просторов, на которых с лихвой хватит места всем его жителям; крае, способном прокормить и себя, и другие страны многострадального африканского континента, подлинной житнице; крае, который мог бы вносить замечательный вклад в материальное и духовное развитие всей Африки, да и всего мира. Он наделен всем необходимым для того, чтобы удовлетворять все материальные и духовные нужды своего народа.

И можно было бы ожидать, что такой край, текущий млеком и медом, должен быть краем, в котором царят мир, гармония и довольство. Увы, это совсем не так».

было столь насыщенным и стремительным, что сразу же истощало, буквально высасывало все силы и деморализовало на весь остаток речи, который был уже вовсе несложным. Для целей обучения такое «тыкание» в собственные «умственные испражнения» – дело, конечно, полезное, если им не злоупотреблять. А именно это и сделал Лев Евграфович на промежуточных экзаменах зимой, которые принимала комиссия с Базальтовым во главе. После милейшего какого-то Миттерана или Ширака, поставленного Мастюковым, Бугров запустил ирландского министра, выступление которого было таким «густым» и идиоматичным, что у Денисова вначале перехватило дух, ему пришлось несколько «отпустить» оратора, чтобы «выдать» перевод с более или менее приемлемым русским синтаксисом. Но из-за бешенного темпа, усугубленного ирландским акцентом, пришлось пойти на определенную компрессию. Денисову показалось, что из трудного положения он вышел с честью. Такого же мнения поначалу придерживался и сам Бугров: «Виктор, ирландца ты “сделал” очень элегантно, хотя в самом начале я испугался, что “из-под цилиндра кролик не появится”». Мнения этого он, однако, придерживался всего несколько минут – до тех пор, пока Базальтов, а, следовательно, и все остальные многочисленные члены комиссии, не вынесли свой приговор. Здесь необходимо отметить, что у Базальтова было свое, непоколебимое представление о том, как следует переводить синхронно, хотя сам он этим никогда не занимался. Во-первых, считал он, переводчик не должен делать пауз, если их не делает оратор: в противном случае Клиент может подумать, что его «обманывают» (и здесь Базальтов был прав). Во-вторых, – и это главное – должны быть переведены все слова, причем желательно в той же последовательности, что и в оригинале, не взирая на всю смысловую и синтаксическую дикость такого перевода. По Базальтову вполне правильным являлся следующий перевод:

«Мы стоим перед многими вызовами. Имплементация принятых решений становится императивом. Развитие должно стоять в центре обеспокоенностей ООН. Наши усилия будут направляться на мир и права человека. При этом необходимо обеспечивать учет гендерной перспективы». И так далее и тому подобное...

Придраться к чему-либо по формальным признакам в таких случаях было невозможно. Это был так называемый «партийный» – а потому единственно верный – подход к синхронному переводу. Значительно позднее Денисов осознал, что при доведении этого подхода до его логического конца Базальтов

оказывался-таки не прав. Подсчет нужно проводить не на уровне слов, а букв, а поскольку в среднем русские слова значительно длиннее английских, то получается, что переводчик еще и «перерабатывает». Но тогда этого осознания еще ни у кого не было. Поэтому приговор Базальтова был суровым:

«Если перевод с французского был осуществлен достаточно адекватно, то при переводе с английского были допущены совершенно недопустимые опущения. Хочется только надеяться, что товарищу Бугрову удастся исправить это, можно сказать, катастрофическое положение». И надо отдать должное Льву Евграфовичу. Ему все удалось исправить, причем практически мгновенно. Он сумел убедить руководство (Базальтова) в необходимости уволить с курсов всех этих «нежных теоретиков» и «изящных компрессоров» и все часы синхронного перевода отдать ему. Так и было сделано. Наступило время безраздельного властвования Бугрова, закончившегося полным триумфом на выпускных экзаменах, которые принимала комиссия из ООН...

Базальтов

И все-таки необходимо отдать Базальтову должное: при всей своей суровой внешности и внутренней суровости начальник курсов обладал неплохим для своей должности чувством юмора. Можно сказать, что он любил шутить. Шутки его были незамысловатыми и повторяющимися, но удержаться от смеха было невозможно ввиду их происхождения. Например, когда кто-нибудь из учащихся просил разрешения выйти из класса во время занятий, Базальтов непременно спрашивал: «У тебя что, менструация?» Несведущему читателю следует здесь сообщить, что аудитория по половому признаку была исключительно мужской.

Были и экспромты. Как-то учащийся по фамилии Мироян спросил, на каком языке отвечать на сформулированные по-английски вопросы в анкетах для ООН. Базальтов вперил в непонятливого нацмена тяжелый взгляд исподлобья, долго двигал массивной нижней челюстью и, наконец, сказал: «На армянском».

Очень смешной казалась ему фамилия председателя экзаменационной комиссии ООН, приехавшей из Нью-Йорка – Херона. Произносить ее доставляло ему большое удовольствие. «Председателем экзаменационной комиссии является некий господин Херона, – объяснял Базальтов. – По прибытии Хероны в Москву необходимо обеспечить встречу Хероны и размещение Хероны в гостинице. Для встречи Хероны необходим доброволец с автомобилем. Нужно также заказать и подготовить номер в гостинице для Хероны. Херону также необходимо сопровождать из гостиницы на экзамены и доставлять на культурные мероприятия. Хероне потребуется обеспечивать перевод при посещении им музеев и всяких церквей, которые Херона очень любит». Посещение последних, кстати сказать, давно стало обязательной частью программы пребывания членов экзаменационных комиссий в Москве: таким образом преподносилась уникальная культура России, священные ее корни. Во время таких визитов присутствовал обычно и сам Базальтов. Уже в самом начале увлекательных рассказов старающихся для заморских гостей гидов или служителей монастырей он засыпал, сидя где-нибудь в сторонке. Однажды во время паузы в объяснениях икон, в образовавшейся полной тишине, Базальтов внезапно проснулся и громко спросил: «А где тут у вас пищеблок?» Шуткой это, правда, не было. Для Базальтова это был вопрос серьезный, и интуитивно решили оставить его на языке оригинала.

Наконец все экзамены – и не только по синхрону – позади. Денисова распределили в Нью-Йорк, то бишь в Центральные Учреждения, или, как называют их в СМИ, – штаб-квартиру ООН. Весь предшествовавший отъезду в Нью-Йорк период, в том числе и летний отпуск, прошли в сильных волнениях. Денисов и предвкушал работу в ООН, и одновременно боялся, что окажется не «на высоте». Не проходило и дня, чтобы он не повторял что-нибудь из многочисленных глоссариев, любовно составленных во время учебы на курсах, или конспектов. Искал, и иногда находил, новые, более удачные соответствия. По ночам слушал радио на английском и французском языках, внимательно изучал международные события. Ко времени отъезда в Нью-Йорк Денисову казалось, что быть более подготовленным к синхронной переводческой работе в ООН просто невозможно.

УРОК ТРЕТИЙ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛНОГО АНОНИМАТА

Ист-ривер, или Гудзон-река

Само прибытие в Америку никак не отложилось в памяти Денисова. Собственно, он на нее просто не обратил внимания: ни на Манхэттен с небоскребами, ни на гостиницу (смутно вспоминалось что-то сусально-блестящее в вестибюле, чванные слуги в генеральских мундирах), ни на обилие магазинов и всякой всячины в них. Не нашлось у Денисова времени и для «культурного шока», о котором «так

долго говорили большевики». За что шок на Денисова здорово обиделся. А зря. Ибо все помыслы Денисова, все его интересы, вся его жизнь были не в Америке, а в незамысловатом коробковидном высотном здании Секретариата ООН с низкой пристройкой для зала Генеральной Ассамблеи на берегу Ист-ривер. Да, именно такими оказались центральные учреждения, что сильно удивило Денисова, привыкшего видеть в советских ТВ репортажах об ООН два небоскреба, расположенных по соседству. Про Ист-ривер Денисов знал, несмотря на статьи в советских газетах, которые рассказывали об ООН как о «небоскребе на Гудзоне». Много лет спустя Денисов прочитал в одной книжке объяснение этого географического несоответствия. Книжка была написана человеком, которого в Советском Союзе знали все от мала до велика: он был единственным советским телевизионным вещалом в США. В главе, посвященной ООН, он клеймил «блохоловов», указывающих на географические неточности в тогдашних репортажах об ООН. Автор утверждал, что река, на которой стоит ООН, на самом деле рукав Гудзона, и поэтому научно правильное название ее – Гудзон. Что лишний раз доказывало всю глубину знаний советскими журналистами описываемого предмета, а также героическую их стойкость перед соблазном назвать реку так, как именовали ее все американцы. Конечно, легче всего было написать: «небоскреб на Ист-ривер». Однако всесторонне подготовленные советские журналисты знают, что американцы в школе географию не учат, и поэтому лучше свериться с картой. На карте, правда, тоже написано «Ист-ривер», но даже при поверхностном рассмотрении прекрасно видно, что это – рукав Гудзона, омывающий Манхэттен с восточной стороны. Хотя все это, действительно, мелочи. А «вещало»Денисов вспоминал с теплой благодарностью за передачи «В объективе Америка», а вернее за ее музыкальную заставку – кусок песни «Can't Buy Me Love» в исполнении знаменитого американского ансамбля «Битлз».

Вхождение в кабину

В первый же день работы Денисова направили работать на пленарное заседание Генеральной Ассамблеи, которая шла уже полным ходом (на дворе был ноябрь). Из кабины Денисов увидел под собой громадный зал на 180 с лишним делегаций, справа на возвышении – мраморный президиум, за которым – среди прочих неизвестных тогда Денисову людей – сидел Генеральный Секретарь ООН – человек «с больших букв». Под президиумом находилась мраморная же трибуна, с которой произносились выступления. Стук молотка председателя, открывающего заседание, ударил Денисова под дых. Уже была произнесена первая фраза, а Денисов все не мог найти выбитое у него дыхание. Тогда он закрыл глаза и представил себе, что он опять в 506-й и переводит очередную – причем несложную – пленку. «Унизив» таким образом оратора – превратив его в магнитную пленку – Денисов быстро не только обрел вновь дыхание, но и уверенность. Первая получасовка показалась Денисову несколькими минутами. Затем был 30-минутный перерыв, в течение которого Денисов продолжал слушать выступления, а также перевод своего опытного партнера по кабине. Ко 2-й получасовке волнение исчезло, и все пошло как по писаному. А писаного оказалось довольно много. К своему удивлению, Денисов обнаружил, что на пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи синхронным переводчикам приносят тексты большинства выступлений. Тексты, в принципе, облегчали перевод, в особенности когда речь изобиловала цифрами и цитатами. Однако вскоре вскрылась и неожиданная для Денисова трудность: текст приковывал к себе внимание сильнее, чем устная речь, и когда бывали расхождения (недаром на титульном листе текста помечают: "Check against delivery" [1]) между написанным и произносимым, Денисову было невероятно трудно верить не своим глазам, а своим ушам. Так Денисов по-настоящему осознал всю силу печатного слова. Со временем он понял, что когда оратор читает свое выступление очень быстро и к тому же решил проявить красноречие, лучше вообще «оторваться » от текста, чтобы не «увязнуть» в сложных подчинениях предложения, занимающего полторы страницы.

На практике освоил также Денисов различие между письменной речью и устной. Мыслительный процесс, необходимый (или, по крайней мере, желательный) для создания письменной речи, во время ее произнесения обычно отсутствует. Денисов сразу же понял, что переводить значительно легче, когда выступающий говорит без бумажки, создавая свою речь «на месте». В таких случаях умственная работа оратора и переводчика происходит практически одновременно. Именно поэтому Денисов более свободно и уверенно чувствовал себя на неофициальных консультациях или переговорах. В «знакомых» подкомитетах или рабочих группах можно было и расслабиться: просмотреть по ходу газету или побаловаться с кроссвордом. На официальных «тусовках» это было невозможно: даже если оратор начинал достаточно медленно зачитывать свою речь, через несколько минут – это был какой-то непреложный закон, «закон ускорения» – он все быстрее

[1] Сверять с речью оратора

разгонялся и к середине уже буквально захлебывался собственными словами. Речь превращалась в монотонную дробь, издаваемую дятлом. Денисову же казалось, что мозг его становился склизкой скалой, с которой скатывались, не задерживаясь, круглые словечки-камешки. В таких случаях Денисову важно было не только оторваться от текста, но и от самого оратора, бездумно, на одной ноте выкрикивающего слова. Денисов переставал вслушиваться в отдельные слова и как бы «поднимался» над выступающим. Все внутренние «сущности» работали – бегали, слушали, говорили как и всегда, но только на более высоком, что ли, уровне. «Видны» уже были не только произносимые слова, а целые фразы и даже целые абзацы. Дышать становилось свободнее, время замедлялось, секунды становились длиннее и распадались на отчетливые доли. При этом Денисову казалось, что он слышит внутренний «метроном», не позволяющий ему сбиться с ритма. Сам же оратор уменьшался, становился как бы игрушечным, и потеря его физической значительности также помогало «одержать над ним победу».

В некоторые – редкие – моменты Денисову казалось, что он «видит» и те участки речи, которые еще произнесены не были. Безусловно, это только казалось, никакими сверхъестественными способностями Денисов не обладал. Однако ощущение такое было, и от него делалось еще просторнее и спокойнее. Впрочем, однажды Денисов произнес в микрофон номер резолюции и только после этого услышал, как тот же номер назвал оратор. Будь обсуждаемый предмет знакомым – Денисов тщательно готовился к заседаниям и внимательно знакомился с соответствующими резолюциями – в таком «угадывании» не было ничего удивительного. Однако на этот раз вопрос для Денисова был совершенно новым и никаких документов, относящихся к нему, до заседания представлено не было. «Курьезное и счастливое совпадение», – подумал Денисов.

Пятнистые негры и другие профессиональные трудности

Но все эти профессиональные тонкости пришли не сразу. Денисов овладевал мастерством синхронного перевода постепенно, на протяжении многих лет упорной работы. Поначалу – для самоконтроля – он записывал на диктофон собственный перевод и прослушивал его в машине, возвращаясь с работы домой. Дома он переписывал в тетрадь наиболее удачные варианты перевода трудных мест, пытался найти оптимальные соответствия, которые не «пришли» в кабине сами. После каждого хорошо переведенного выступления Денисов испытывал чувство, похожее на то, которое запомнилось ему из детства: на улице весна, все уроки сделаны, и ты выбегаешь – вылетаешь – из подъезда и тебя переполняет необъяснимая радость, которой становится еще больше из-за того, что ее не нужно объяснять. Если же что-то было переведено неважно или вовсе было не понято и осталось непереведенным, в душе Денисова надолго поселялся мрак. Напрасно Денисов твердил себе прочитанную у какого-то французского автора фразу: «Regreter la faute, c'est la repeter.»[1] До головной боли проигрывал он неудавшиеся места, давая различные варианты перевода. Если Денисов что-то недослышивал или недопонимал из-за небрежности оратора или природной неприспособленности речевого аппарата последнего к английскому или французскому произношению – это было еще полбеды. Но вот когда он не успевал или – еще хуже – не знал как перевести какое-нибудь сложное место, он бичевал себя до полусмерти, долгое время не давая зажить ранам, посыпая их солью жгучего стыда. Стыдно было перед неведаным Клиентом, которого он пусть нехотя, но обманул, перед коллегами, которые доверяли ему как равному себе. Но тяжелее всего было осознавать свою собственную ограниченность, которую Денисов никак не мог преодолеть: нет-нет, но попадалась незнакомая цитата или неизвестное латинское выражение, или же риторическое мастерство оратора было просто выше его способностей.

Особую осторожность нужно было проявлять с идиоматическими выражениями. Казалось бы, что может быть проще: Вы выучили иностранный язык, Вы знаете, что пословица на английском языке «the leopard cannot change his spots»[2] соответствует русской «горбатого могила исправит», Вы переводчик, Вы так и переводите. Скажем, делегата Танзании, который решил оживить скучную беседу красным словцом. Вслед за танзанийцем слово берет его кенийский собрат, который, проявляя остроумие, говорит, что среди леопардов бывают и альбиносы. Можно прямо так и перевести, но внезапно возникшие леопарды, да еще и альбиносы, могут, по крайней мере, вызвать чувство замешательства, если не испуга, у русскоязычного Клиента, который только что имел дело с людьми, пусть и горбатыми. Можно проявить творческое начало и сказать, что среди горбатых бывают альбиносы, после чего Клиент может засомневаться, а туда ли он вообще попал. Зажмурив глаза, можно сказать, что есть горбатые, которых не только могила исправит, в надежде на то, что Клиент не будет интересоваться – просто из

[1] Сожалеть об ошибке – это значит повторять ее

[2] Дословно: леопард не может изменить своих пятен

человеческого любопытства – какие еще варианты имеются у горбатых. Но и после этого возможны два нехороших поворота событий: 1) берущий слово мальгаш развивает образ, натравливая на упрямых леопардов слонов; и 2) сам Клиент просит слова и говорит: «Вот вы тут говорили про горбатых...». И пока эти варианты не реализовались, нужно любым путем вернуться к пятнистым леопардам и никуда от них больше не отходить.

В практике бывали случаи и пострашнее. Притчей во языцех стал один переводчик, который французскую поговорку «il y a anguille sous roche»[1] перевел как «there is a nigger in the woodpile»[2], что вызвало соответствующую реакцию у чернокожих делегатов.

Однако благодаря постоянному упорному труду таких минут позора становилось со временем все меньше. Да и к своим промахам Денисов стал относиться спокойней. Только чувство радости от хорошего перевода оставалось прежним.

Коллеги

Со своими русскими коллегами Денисов держался корректно и предупредительно. Однако свое общение с ними он ограничивал чисто деловыми контактами. Например, он никогда не позволял себе опаздывать к началу заседания или своей очередной получасовке. Всегда шел навстречу партнеру, когда тот просил начать или отпустить его пораньше. В свою свободную получасовку подыскивал документы, которые могли пригодиться коллеге при переводе. При этом Денисов вовсе не искал дружбы и не старался угодить. Он просто хотел, чтобы на заседании, на котором работал он, хорошо переводил и его коллега. Денисов дорожил честью своей профессии и никогда не считал свою роль второстепенной. (С изумлением вспоминал он иногда «мучения» Бугрова, который не мог отделаться от осознания лакейского характера своей профессии.) Ошибки же партнера могли бы вызвать недовольство Клиента всем переводом, что могло отрицательно сказаться и на репутации самого Денисова.

Что касается коллег из других кабин – «иностранцев» – то их, за некоторыми редкими исключениями, как бы и вовсе не было. Поначалу Денисов, приходя на работу, вежливо здоровался с ними при встрече. Однако приветствия его никакой видимой реакции не вызывали: иностранные коллеги будто не замечали кивка головы и не слышали «Good morning» или «Hello». Чаще всего они отводили взгляд в сторону, словно вдруг увидев там что-то очень интересное, иногда же смотрели прямо в Денисова, вернее сквозь него, будто его и не было. «Наверное, они думают, что все русские – агенты КГБ», – думал первое время Денисов. Позднее он понял, что был о них слишком хорошего мнения: когда коллегам нужно было выяснить значение какого-нибудь русского слова или посоветоваться, как лучше перевести что-то с русского, они обращались к нему как к старому другу. Причем через минуту уже подчеркнуто не узнавали его, словно мстя за мгновение собственной слабости. Денисов не обижался: в конце концов, не здороваться было, в принципе, проще, чем здороваться, да и в коллегах чувствовалось что-то ущербное: то ли увеличенное «эго» при понимании своей непризнанности, то ли обостренное осознание собственной, но не прочувствованной другими, непохожести, в том числе и сексуальной, то ли изъяны происхождения или гражданства. «Смотри, – говорил единственный друг Денисова в Нью-Йорке Рустэм, с которым он учился вместе на курсах, – в нашей профессии либо моральные уроды – типа нас с тобой, либо половые извращенцы – типа меня без тебя, либо просто калеки. Нормальных людей нет». Денисов принимал это за шутку, но за помощью к иностранным коллегам – даже в критические минуты – обращаться избегал. Пару раз – в эпоху перестроечной эйфории – его все-таки приглашали в «иностранные» дома. Но ошибка была быстро понята: Денисов не умел увлекательно рассказывать о «процессах» в СССР и Горбачеве и не играл на балалайке.

2002 г.

Продолжение следует

[1] Здесь что-то неладно (дословно: здесь под камнем сидит угорь)

[2] Здесь что-то неладно (дословно: здесь в поленнице сидит негр)

Александр Грич

В СВЕТИЦХОВЕЛИ ПОСТАВЛЮ СВЕЧУ

***

Опустели пороги и трассы,
Никого, ничего, ни черта...
Тишина комендантского часа,
Ты другой тишине не чета.

Тишина комендантского ранга,
Что чиста, будто санпропускник...
Лязгунт зубы железные танка,
Резвый ветер под дулами сник.

Сиротливые жмутся вагоны.
Оцепленье. Прожектора луч.
Светят звезды, как будто с погона,
Сквозь суконце шинельное туч,

Да спешит одинокая сука,
Твердо зная: не спросят, куда.
Такова наша с прошлым разлука —
И разлука уже навсегда.

В тишине комендантского часа
В КПП — или как? в проходной ? —
Ты со мной, лейтенантом запаса,
Попрощаешься, город родной.

Деловито билеты пометишь
(Слышу сердца паскудную дрожь).
Ты, по сути, меня не заметишь,
Ты вполне без меня проживешь.

***

В Светицховели поставлю свечу.
Взгляд приникает к живому лучу.
Тихо над ней постою, помолчу,
В Светицховели поставлю свечу
Памяти мамы.

Тихо колеблется пламени свет.
Отблеск в стекле, будто отсветы лет,
Пенье услышу, которого нет,
Памяти мамы.

Мимо и прочь – экскурсантов поток.
В этом пределе, один, одинок,
Стану молиться, услышь меня, Бог,
Памяти мамы.

Веры не знаю, но вера жива,
Как под асфальтом сырая трава.
Истово я повторяю слова
Памяти мамы.

Ты, обнимающий вечность, как миг!
Что тебе нация или язык.
Видишь, душою к тебе я приник –
К памяти мамы.

Ты поднимающий над суетой,
Силы мне дай для молитвы святой,
Благослови у икон немотой
Памяти мамы.

Не покидай моих дум и тревог
На перекрестке далеких дорог,
В Светицховели живой огонек
Памяти мамы.

КУХНЯ

Остается пустая посуда,
Остаются окурки повсюду
Да тарелки у края стола.

Чернота за оконною рамой,
А вставать мне, конечно же, рано...
Ну да ладно уж... Что за дела?

Так о чем же мы тут говорили?
Говорили – что кашу варили:
Моды, байки, и секс, и печать.

Но кивает зеленая лампа:
Говорили о чем-то – и ладно.
Лучше все-таки так, чем молчать.

Лучше все-таки так, чем иначе...
Обо всем – о визитах, о матче,
ИТР, НТР и АСУ...

Я не против. Сдвигаю бутылки,
Составляю приборы и вилки
И на общую кухню несу.

И, пока я их тщательно мою,
Гвалт вечерний плывет надо мною,
По углам исчезает, в тени...

Так, конечно, и было, и будет,
И конечно, меня не убудет –
Ни вот столько. Ни грамма.
Ни-ни.

***
Был у меня такой тяжелый год,
Когда зима кривила скукой рот,
И я к своим друзьям забыл дороги.

Взошла весной щербатая трава,
Жизнь утверждала, что всегда права.
А я не верил – подбивал итоги.

И лета беззастенчивого дни
В горячей душной площадной тени
Считал, считал – их оставалось мало.

Деревья стали желтыми на треть...
В ту осень жил я, чтоб не умереть.
На большее меня недоставало.

А для других я жил. Ходил на корт,
Шутил. Давал советы. И на борт
Взбирался в три прыжка. И пил умело.

А скольким я в ту пору услужил –
Когда не жил, а делал вид, что жил –
И вспомнить страшно. Вот такое дело.

***
Всего дороже тот последний грош,
Который из кармана достаешь...
В билетах смятых, в крошках табака
Неверная копается рука.

Всего дороже тот один глоток
Который к перекуру приберег.
Один глоток. Горячий. В горле ком.
И знаешь: до другого далеко.

А впрочем, это все пора забыть.
Идут дела. Благоустроен быт.
Чего ж тебе еще, моя душа?
– Глотка воды. Последнего гроша.

***
Беспомощность великих – ты видна
В завидном неуменье делать все,
Что не коснулось собственного Дела.
В эпоху умных, ушлых и умелых
Ты как-то уж особенно нужна
Своей ненужностью.
И так сильна
Своею беззащитностью,
Что тщишься
Забыть скорее все,
Чему учился,
И научиться этой вот, простой,
Беспомощности милой и пустой,
Которой невозможно научиться.

Алла Никитина

ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Отрывок из повести «Баркеса»

У меня имеется вещица, которая попала ко мне не то, что бы случайно: я ее сама выбрала, упустив подробности. Восхитили перламутровые переливы бледно-зеленой с голубым эмали. На этом фоне расплывался некий рисунок, в тот момент не доступный для внимательного рассмотрения – не было очков.

Есть в старом Иерусалимском квартале Нахалт Шива, в конце недлинной пешеходной ули-цы Саломон, нашпигованной кафешками, барами и бутиками, мой любимый магазинчик керамики под названием Гильда. Его очаровательная хозяйка Аня Карми создала это место вместе с дюжиной талантливых керамистов. Туда я захожу выбрать подарок на день рожденья кому-нибудь из подружек или просто так, посмотреть: чего новенького? Однажды увидела на витрине хамсу (талисман, хранящий от дурного глаза) Аниного изготовления, и сразу решила: хочу. В магазине было много красивых ладошек разных авторов, но эта вдруг заговорила: "Заверни осторожно и унеси домой, там поймешь, почему". Я так и сделала. Дома, включив настольную лампу и надев очки, я рассмотрела рисунок на талисмане.

Земля и трава слились с небесами, по которым плыли незлые тучки и зеленые елочки. Сверху стекали золотистые крупные капли дождя. И на фоне всей этой благодати взмывал большой воздушный шар. Он легко нес просторную, ажурной выделки металлическую клетку, а в ней била крылышками радостная певчая птичка.

Простая маленькая деколь из тех, какие мастера закупают пачками по всему миру, чудным образом одушевляя их на своих чашках, блюдцах, хамсах и пр. рассказала мне обо мне же. Вот такая она, мол, твоя свобода. На земле, в небесах, где хошь, но – в клетке. И довольствуйся тем, что есть. Ты летаешь, ты над всем, чем пожелаешь. Наблюдай и будь счастлива. А от глупых вмешательств тебя охранит клетка.

Счастливый человек тот, кто благодарен за то, что есть у него – гласит еврейская мудрость. Согласись. И да хранит тебя Б-г!

Ну, ладно, сказала я себе, я ведь действительно никуда не могу деться от моих обязательств, от любви к конкретным вещам, которые и есть прутья клетки – к щербатой стене моего старого дома, например, к любимой кофейной чашке, к улице Соломон, к старому шарфу – к чему там еще? Да, и ко всем родным и друзьям. Я не могу это все оставить и оторваться в запредельные высоты.

О. К! Я согласна – я не орел и не буревестник.

Я – пичуга, просто чирикаю.

Я обещаю любить свою клетку – по крайней мере, кошка не съест.

Мне вообще-то грех жаловаться на несвободу. Чудным образом я очень рано обнаружила некое измерение, где происходила другая жизнь, которой хотелось. Я оказывалась там поначалу неожиданно, не понимая, как туда попала. Но постепенно отыскала калитку и ключ к ней и входила в нее, когда хотела.

Однажды я поняла, что умею летать и улетать. Полеты были частыми. Один из повторяющихся снов, радостных, особенно, когда отрываешься от пола. Но во сне я летала считанные минуты, и сны эти были столь же реальными, как сама жизнь. Мне даже иногда казалось, что это были вовсе не сны, что я действительно умела летать, и что важно – учила летать других, и удивлялась, что те, кто оказывался рядом со мной, не могли этого сделать. Я помню, как отчаянно старалась! Помню свои уроки и весь комплекс действий. Входишь в большую вытянутую комнату, похожую на пенал, с высоким потолком. Идешь к торцевой стене, становишься к ней спиной. Одна нога на полу, другая, толчковая, согнута в колене и опирается на плинтус. Раз, два, три! Оттолкнулся и летишь.

Но лечу только я, и сверху вижу поднятые ко мне лица. Мои ученики не смогли взлететь, и мне обидно, что так и не сумела им объяснить, научить. Мне хорошо и одновременно неловко – хотела поле-тать вместе с друзьями, а вот что получилось: я лечу, а они там стоят и как будто все еще не верят, что я лечу. Но я лечу! Я пролетаю мимо забранных решеткой, как в спортзале, окон, и касаюсь затылком и спиной потолка, поворачиваю,

оттолкнувшись рукой от противоположной стены, лечу обратно, опускаюсь. Смотрю на моих друзей: "Ну? Еще раз показать?" Снова отталкиваюсь, снова взлетаю, снова мне хорошо, но и грустно, что они все еще стоят там, внизу у стенки, как приговоренные.

Этот сон повторялся много лет. И я думала: "Как странно: я лечу! Просто лечу. Я оторвалась от земли. И как это оказывается просто, и как жаль, что не все так могут".

Я тогда еще не знала, что все дети летают во сне, что так растут… Но ведь не все, наверное, летают в одиночестве. А многие даже видят прекрасные картины: земля внизу, города, как игрушечные, реки, леса, поля, а рядом – птицы.

А я вот только в закрытой комнате. И как бы компенсацией моим полетам во сне являлись – назовем это так – улеты из действительности. Я в это время играла, одевалась, ела кашу, плелась с бабушкой на базар. Как бы жила, вернее, оставалась на том месте, где меня видят свидетели моего существования. Но меня с ними не было. Я была в улете. Я была мала и беспомощна – почти все вокруг оказывались сильнее, и постоянно давали это понять. Но я нашла выход. Или он меня нашел? Мне было даровано нечто, что помогло выжить в мире чужой воли. Это и был – назовем его так "Сад величин" по определению любимого учителя: Сад этот ширился, увеличивался по мере того, как расширялось и увеличивалось мое сознание. Легко было дышать разряженным воздухом неисчерпаемых возможностей, в пространстве, населенном всем, что я хочу, где все позволено – я сама решаю, что делать и что "нельзя!" Там все начинается и заканчивается, когда я хочу, и никогда – плохо, и ни разу – скучно. Я сама творю сценарий и играю в нем. Я переписываю любимые сказки. Я придумываю сюжеты. Я не летаю, не хожу – я появляюсь и исчезаю.

Так было в детстве. Но и сейчас он существует, этот Сад, я обживаю новые и новые эмпореи, где встречаются времена и возникают коллизии, я общаюсь с теми, кого уже нет в "реалити шоу", или кого не видела давным-давно и не очень хочу встретиться в этой жизни. Я уверена, что открою и другие его владения, вот поживу еще немного и...

…Я не замечала, что на меня смотрят, за мной следят. Что они видели? Чашка застывает в руках, шнурок безвольно виснет на ботинке.

Голоса извне не доходили… А только громы: "До тебя что, не дошло!? Я спрашиваю!"

Если бы не они, я бы, наверное, однажды не вернулась. Там, в другом измерении, была настоящая жизнь.

Однажды дождливым воскресным днем я, Славка, Алешка и Верка гоняли фантики по облупленным доскам узкого длинного коридора нашего подъезда с единственным мутным от праздника до праздника окном и тусклой лампочкой в недосягаемой вышине. Накал всеобщего азарта достиг высшей точки. Славка, самый старший из нас, выигрывал все лучшее из наших сокровищ. У него были длинные пальцы, он учился игре на пианино и, наработав хорошую растяжку, прижав большим пальцем свой фантик к полу, легко дотягивался безымянным до наших конфетных оберток – те уже сильно топырили Славкин карман. Туда улетели привезенные папой из московской командировки "Мишка на севере", "Мишка в лесу", "Красная шапочка", и теперь он нацелился на самый роскошный Валеркин фантик с нерусскими буквами на золотой фольге.

И вдруг почти одновременно растворились две двери: наша – из нее выкатилась трехлетняя Адка, и та, которая напротив, дверь коммунальной квартиры – откуда вышла девочка, Алешкина новая соседка, чуть старше Адки, в розовом платьице, с большим бантом в белых кудрях и с бисквитным пирожным, два разноцветных слоя которого венчала пышная роза из крема. Это пирожное я запомнила на всю жизнь. Адка – тоже. Я бы не обратила на него внимания в столь трудный час потерь моего богатства – коробка с фантиками стремительно пустела. Но раздался душераздирающий вопль, и то, что мы увидели, так напрягло, что все сначала онемели, а потом дружно бросились на помощь. Адка сжимала зубами пирожное, в котором утонул девочкин палец, и который сестра моя, казалось, почти откусила, судя по количеству крови, немедленно закапавшей платье несчастной. Как потом виновница объясняла всем, она хотела маленький кусочек пирожного, всего лишь. И когда почувствовала, что пирожное почему-то не откусывается до конца, она сжимала зубы сильней – оно должно было откуситься, "ведь это же пирожное, оно мягкое".

Адка далеко не сразу разжала челюсти, насмерть перепуганная случившимся. Из всех дверей немедленно выскочили жильцы и заняли позицию вдоль перил лестницы. Мама девочки ринулась к Адке. Позже я видела очень похожую скульптурную композицию в Петродворце, которая называлась "Самсон и лев". Только там из пасти льва, разжатой сильными руками библейского героя, бил фонтан, а здесь влага брызнула из Адкиных глаз.

Итого, ревели уже две и ревели громко, шум невообразимый, соседи – кто спрашивал, кто отвечал, кто возмущался, а мама девочки шипела, но так, что слышали все: "Сволочи, ребенку пирожное купить не могут! Засранцы! Воровок растят!" – "А ты своей купила, так пусть дома жрет и не дразнит других детей! Дура!" – заступилась за нашу испуганно мол-

чавшую маму Нинка-хромоножка со второго этажа.

Укушенную девочку повезли в больницу, забинтовали палец и отпустили домой. Перепуганная Адка несколько дней боялась выходить во двор – "Белая тетя увидит и будет ругаться". Наша мама весь вечер "сгорала со стыда", а к ночи перегорела и заявила: "Пошли они все к ебени матери! Завтра же куплю коробку пирожных! Заварных! А не это говно с маргарином!"

Я очень ждала "завтра". И дождалась-таки вкуснейшего заварного пирожного. Мне было жаль обеих: и девочку, и Адку. Однако я тайно вздыхала, противненько мысля: ну почему все это не произошло чуть раньше, перед тем, как Славка потянулся к моей "Красной шапочке"? Алешкин-то фантик он выиграть не успел!

С тех пор, как мне кажется, я начала гулять по своему городу, опустевшему по моему хотению, а не по щучьему веленью, где магазины, переполненные всякой всячиной, распахивали двери только для меня. Надо сказать, в ту нищую пору середины 50-х они выглядели довольно уныло, и моя фантазия должна была переоборудовать интерьеры и заменить ассортимент ближайшего 3-го магазина с батареями консервных банок на полках соответственно моим требованиям. Убрать с фона неулыбчивую, бровастую продавщицу Симу, уничтожить запах селедки, расширить помещение и заселить его всем, чем мне хотелось, не только подушечками, мармеладом, слипшимися монпансье, соевыми конфетами и серой халвой из подсолнухов. Если бы мне тогда на минуточку дано было заглянуть в Елисеевский, например, а еще лучше – в современный супермаркет, я, может быть, создала бы нечто, откуда не возвращаются. Но представления о гастрономической роскоши у меня на тот момент были весьма скудными, тем не менее, даже моя фантазия делала наши лавки привлекательными. Я вхожу. Я смотрю. Я счастлива. И ничего не трогаю. Не помню, чтобы мне хотелось съесть даже самые вкусные конфеты – веселил блеск золотых шоколадных оберток, серебро звезд на темно-синем фантике "Южной ночи". Ровной стопкой были сложены бонбоньерки с вишенками и орехами, облитыми шоколадом, расцветали пышные торты, увенчанные гирляндами роз – куда там братьям Гримм с их пряничными домиками. Я могла построить целый квартал из настоящего шоколада.

В этот мой город я никого не пускала. Никто не знал о нем, он был упрятан, глубже, чем Атлантида. То был самая сладкая часть Сада, который тогда еще не называясь Садом, уже цвел махровым цветом в моей душе.

Я царствую!.. Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава (...)

"Скупой" живет в каждом, кто хоть что-либо понимает в жизни – это одна из страстей человеческих, просто коллекции у всех – разные. Мне хорошо уже оттого, что я знаю: в моем Саду, в моем мире есть все, что пожелаешь, оно не исчезнет, если я этого не захочу. И я счастлива владеть непреходящими россыпями собранного, придуманного, вымечтанного, вычитанного. Я богата и скупа – не потерять ни крошки, ни тени от крошки, ни вкуса, ни послевкусия, ни ощущения, ни запаха – все оставить и любоваться, любить все это, когда захочу, когда взбредет в голову.

Позже, когда печатная продукция перестала быть моим наказанием, а стала наказанием моей бедной мамы, я наткнулась на стихотворение Артюра Рембо "Пьяный корабль" в переводе Антокольского. Прочла и задохнулась от восторга! И это все – мне! Как я старалась не запомнить ни слова, а снова и снова читать и наслаждаться, как в первый раз… Это была медитация – задержать дыхание и нырнуть в омут стиха:

Я запомнил свеченье течений глубинных,
Пляску молний, сплетенную, как решето,
Вечера – восхитительней стай голубиных,
И такое, чего не запомнил никто.

Я узнал, как в отливах таинственной меди
Меркнет день и расплавленный запад лилов,
Как подобно развязкам античных трагедий,
Потрясает раскат океанских валов.

Снилось мне в снегопадах, лишающих зренья,
Будто море меня целовало в глаза,
Фосфорической пены цвело озаренье,
Животворная, вечная та бирюза.

Разве есть что-то лучшее в мире, чем жить в дарованной тебе гениальным юношей стихии, еще и еще раз пробовать на язык эти звуки, качаться на их дивных волнах, в их ритме, вдыхать аромат выплеснутых прямо на тебя красок? Особенно, когда серый, нудный, слякотный осенний день за окном, и так чугунно неподъемны уроки по математике, а главное: зачем они? и нет никакой жизни, кроме скуки.

Любовь.

Ей, как известно, все возрасты покорны. Помнится, будучи студенткой, я спросила однажды пятидесятилетнюю женщину: "Как это у взрослых людей в таком возрасте происходит? Что они чувствуют?" Она глянула на меня, точно иглой проткнула.

Эта милейшая женщина обожала своего

стажера, молодого человека, только начавшего делать журналистскую карьеру под ее чутким руководством. И он по-настоящему трепетно относился к нашей общей покровительнице, без заискивания, искренне. Духовный и честолюбивый парень, ничего себе в амурном смысле не позволявший, был женат, обожал сына, верную жену, имел разум, чувство юмора и совесть, и потому с ним было легко дружить. Делали мы одно дело – выпускали хороший, "без дураков", молодежный радиожурнал.

Не помню, чтобы я ревновала его к нашей покровительнице, но что-то же меня заставило спросить про любовь? Да еще так прямо и грубо. А может, это были мысли вслух? Но почему они появились? А если и появились, то почему я, девушка не бестактная, задала этот вопрос? Мне показалось невероятным, что женщина в 50 лет может испытывать не только материнские чувства к кому бы то ни было?

Я вспоминаю себя ее глазами, вопрошаю ее недоумением. Я вижу свою неловкость, и то, как торчу глупой бабочкой, приколотой к стене. Мы вдвоем в комнате. Она сидит за столом и, как всегда, читает материалы в номер. Я монтирую пленку, разговорились – обычная ежедневная словесная разминка о чем угодно, но чаще – о книгах. Она закончила до войны ИФЛИ. Ее друг, жених, погиб на фронте, и она так и не вышла замуж. Она была полька с тонкими изящными и очень правильными чертами лица и всегда аккуратно уложенной стрижкой. Все в ней было – в меру, и даже ее стерильность. Наверное, о ней можно было бы сказать "леди". Да. Но взгляд ее в тот момент…

"Как это в таком возрасте происходит? – А так же, как и у тебя, голубушка!" – ответила она и посмотрела… и пригвоздила... И я заткнулась.

"А так же, как и у тебя, голубушка!" – должна была бы ответить я, шестилетняя, своей молодой мамаше, если бы та спросила про мою тогдашнюю любовь, как она у меня происходит. Любовь произошла негаданно, нежданно. Я влюбилась в морского офицера – капитана какого-то ранга, красавца в морской форме с кортиком на боку. Звали его "Витькин папа". Другого имени я не знаю.

Он был младшим сыном тети Самариной, бабушкиной подруги. Тетя Самарина со своей семьей жила в конце нашего дома на втором этаже, к ее квартире вела наружная деревянная лестница с небольшой квадратной площадкой перед входной дверью. На этой площадке тетя Самарина, красивая черноволосая с проседью бабушка, восседала на табурете, сложив руки на груди, и смотрела сверху на всех, кто играл, стоял, шел домой или проходил по двору в баркесу. В полдень на площадке появлялся детский стульчик и второй табурет, на который ставили тарелку с дымящимся супом.

Я и сегодня отчетливо вижу: золотой с глазками бульон, в котором плавали кружки морковки, кусочки белейшей курочки и размякшей булочки. И аромат! Иногда, когда все мои подружки куда-то исчезали и двор млел от знойной скуки, бабушка моя, освободившись от кухни и шитья, собиралась к Самариной поболтать и предлагала мне присоединиться. Я, выбрав наименьшее неприятное, плелась за ней – не книжки же чи-тать. Динка была помладше, не смотря на обилие игр в доме, с ней было скучно. Всегда в платьице с белым воротничком, в пышных кудрях белый бант – ну прямо не девочка, а кукла Мальвина. На столе раскладывалась игра с фишками и кубиками, и мы должны были шагать по нарисованным маршрутам, проваливаться в ловушки, пропускать ходы, или, наоборот, перепрыгивать через какие-то речки. Мне это быстро надоедало, тянуло на улицу, а Динку одну не выпускали.

Тетя Самарина угощала всем, что было в доме, она любила, когда приходила бабушка, и рада была пригласить меня или Адку к столу, чтобы Диночке было веселее есть. Она набирала суп в ложку, долго и осторожно дула и быстрым точным жестом вставляла ложку прямо в раскрытый Динкин рот. Результаты столь тщательного кормления были налицо. И на лице. "Бомбовозиха" – так называли эту милую большеглазую неулыбчивую толстушку дети нашего двора. "Паршивцы!"

Так что я помню, как должен выглядеть и пахнуть настоящий, полноценный куриный бульон, но сварить такой мне никогда не удавалось – золотой бульон моего детства.

Так вот. Однажды появился Он.

Мы с девочками играли у сараев напротив Динкиного крыльца. Сухой летний день выжег в памяти черно-белый оттиск двора без теней и оттенков. Только перила лестницы почему-то бурые, крашеные остатками краски для пола. Итак, мы у сараев, а напротив – по биссектрисе вверх – распахивается дверь на площадку Динкиной лестницы, и появляется красавец в черных брюках с острыми стрелками, в майке и наброшенном на плечи белом с золотыми пуговицами (еще один цвет возник) кителе. Облокачивается о перила площадки, папироса во рту, чиркает спичкой.

Все ли замерли зачарованные, или только я раскрыла рот и задохнулась – не знаю, не помню, не видела. Черная крутая прядь свисает на высокий лоб, два пальца – указательный и средний сжали на мгновенье крыло огненной бабочки. Пламя вспорхнуло и исчезло. Помню: он так стоял и курил, а я так стояла и смотрела, как он курит, а потом он скрылся за дверью, и жизнь продолжилась. Но уже другая, не знакомая мне,

побежала, помчалась в сто раз быстрее с безумным накалом.

Это была первая любовь с первого взгляда и, как выясняется, – навсегда запечатленная, и никакой кислотой житейской не выведенная. Первые неизвестные мне страдания – я вдруг открыла, что умею выть, не только реветь. И первая ревность. Ощущение, я бы определила через десять лет словами моего учителя: "на разрыв аорты с кошачьей головой во рту". Длилось это сумасшествие долго, может, неделю, а может даже две – пока бабушка не сказала маме как-то утром: "Сын Самариной уехал ночью. Как все же тяжело месяцами не видеть ребенка".

И я умерла.

Но вскоре воскресла, потому что жизнь, оказывается, продолжалась даже без него – с ним.

В те счастливые дни любви баркеса стала для меня кислородной подушкой, как это ни парадоксально звучит. Я несла вахту у дверей сараев преданно и обреченно. Я как бы играла в магазин, в дом, в куклы. А на самом деле – ждала. Я просто хотела его видеть, вот и все. Должен же он выходить в уборную. Как все. Мой слух стал острым, чутье – охотничьей собаки. Я отлавливала скрип половиц в квартире Самариных, подвижки стульев, звон крышек о кастрюли и приборов на столе. Я слышала, как он ходит, приближается к двери и вот-вот выйдет. И он выходил покурить на площадку, выходил прогуляться по городу – весь в белом и золотом. Выходил, наконец, в баркесу.

У меня была соперница – Ханка.

Ханка жила в маленькой пристройке, которая лепилась к торцевой стене дома "того двора" – то есть, частично в том, частично в нашем дворе, но больше получалось – в нашем. Прямо под ее окнами две тропы – того и нашего двора – сливались в одну, ведущую к баркесе. Жила Ханка с мамой Райкой и папой. Папа исчез из моей памяти, мелькнув однажды в рембрандтовской глубине их кухни: длинноносый с оловянной ложкой над тарелкой – засиженный мухами портрет, мимо которого все спешат по нужде.

Так вот, Ханка тоже была влюблена в морского офицера с кортиком на боку. Она вообще-то влюблялась в разных мужчин, всячески их завлекала и очень хотела выйти замуж и родить ребенка. Было ей тогда лет шестнадцать, может, семнадцать. Во всяком случае, мне она казалась взрослой девушкой. Я боялась ее жутко. Она была слабоумной, но очень энергичной, целеустремленной и агрессивной. Крупная, дебелая, с ногами в нарывах, расчесанных до крови и сочащейся оттуда грязной жидкостью, она появлялась из дверей дома неожиданно и стремительно неслась к подворотне. Мы знали, что вот сейчас за ней выскочит Райка, догонит, схватит дочь за руку, и потащит обратно. А Ханка будет упираться и выть, запрокинув голову, и рот ее, слюнявый, красный, будет выдувать большие пузыри над бледным, мокрым лицом. Так они мне и запомнились: низкорослая грозная Райка в рваной паутине сибирской шали, саженные шаги, ноги в спущенных чулках и мужских туфлях, резко наклонившаяся вперед от напряжения, и Ханка, высокая, орущая, откинувшаяся назад под тем же углом – тащатся к дому. Они напоминали стрелки циферблата, на котором застыло без десяти два. Ханка ревела и грозила нам кулаком.

Иногда Ханке удавалось сбежать через окно, или еще как-то. И она исчезала, хохоча, в подворотне, и тогда соседи бежали к Райке сообщить. Райка выскакивала на улицу и с криком неслась по двору, и чем ближе к выходу, тем более грозным и требовательным становился зов матери: "Аня-а-а! Анечка-а! Ханка, еб твою мать!" Мы прерывали игры в ожидании развязки: иногда злая, удрученная Райка плелась домой одна. Потом появлялись милиционеры, приводили Ханку, та пела свои любимые индийские песни, пританцовывала, кокетливо заглядывая под козырьки, охмуряя стражу. Райка выскакивала, лупила девку кулаками по спине, заталкивая в дверь: "Домой, корова!"

Бывали дни, когда Ханка возникала во дворе в хорошем расположении духа, в чистом платье, в красиво повязанной косынке, прижимая к груди сверток. "У меня тут ребенок!" – оповещала она всех, кого встречала, и принималась укачивать дитя – это выглядело очень убедительно. И мы, как ни странно, постепенно начинали верить, что в одеяле действительно младенец – так правдоподобно выглядели ее отношения со свертком. "Ханка, дай посмотреть!" Она мотала головой – "Он спит, не видите, что ли?" Мы готовы были ждать сколько угодно, лишь бы посмотреть на маленького – редко в нашем дворе рождались дети, все, в ком была нужда, уже появились на свет сразу после войны, потом через несколько лет – еще. В общем, семьи двора были укомплектованы, больше двоих не планировали, так что Ханкин младенец у нас, девочек, вызывал неподдельный интерес. Самый старший из пацанов – голубятник Вовка-Китаец – одним движением рушил наши иллюзии. Подбежав к дурочке, он силой выдергивал сверток, и оттуда вываливалось полено. Только он умел увернуться от Ханки и безнаказанно взлететь к себе на голубятню по крутой железной лестнице.

Иногда Ханка "давала концерты". Мы были массовкой и зрителями и должны были подпевать и аплодировать танцующей артистке. Ханка пела по-индийски: "Ичики дана, ичики дана, дана у пардана, ичики дана-а-а". А мы хором тянули: "Айяйяйя-а-а-й!" Как в кино с Раджем Капуром. Участие в

таком спектакле действовало опьяняюще. Орали все, покатываясь со смеху, валясь друг на друга. Самые смелые вскакивали с мест подбегали к Ханке и задирали юбку. Ханка самозабвенно кружилась, казалось, ничего не замечая. Но в какой-то момент дворовая прима начинала осознавать, что "массовка" из роли вышла и издевается над ней. Тогда она свирепела, поворачивалась спиной к залу, задирала юбку, спускала штаны, наклонялась, и так хлопала себя по большой белой заднице, что эхо пистолетным выстрелом колотилось о стены. И, перейдя с индийского на русский, кричала: "Поцелуйте мне в сра…!"

О! Мы ждали именного этого. Что тут начиналось! Хохот выматывал иногда до слез. Для меня этот момент всегда был слегка пугающим, выходом в недозволенное, мерзковатое и щекотливое, но – глаз не оторвать! И тут взрывалась галерка: "Верка! Люська! Алешка! Сашка! Да-мо-ой!!" – стройный хор наших взрослых, подсматривавших за происходящим из окон, прерывал действие на самом интересном месте. Соседка тетя Таня первая выскакивала во двор и, схватив обоих сыновей – одного за правое, другого за левое ухо, волокла к подъезду. Ханка, поджав хвост, и злобно оглядываясь, семенила в сторону дома, а мы прятались по углам и подъездам.

Потешаться над Ханкой мне было строго-настрого запрещено бабушкой: некрасиво смеяться над больным человеком! Но смеялись все, а я была, как все. Тогда бабушка однажды сказала мне коротко и ясно: "Вот она на тебя плюнет, и ты станешь такой же". И я испугалась по-настоящему. Несчастная деваха стала моим ночным кошмаром. Я никому об этом не говорила, но ко всем фобиям моей щенячьей жизни прибавилась еще и эта: стать такой, как Ханка. Я обмирала, когда та проходила мимо, кося глазами в нашу сторону и хмуря брови.

Так вот ее-то Витькин папа и отличал. И всегда, когда она проходила мимо лестницы Самариной, а он стоял там и курил, Ханка начинала кружиться, медленно, держа одной рукой приподнятый подол платья, другая, изогнутая, – над головой, пела что-то в такт, и снова кружилась, кружилась, как настоящая артистка, так мне, по крайней мере, казалось. А он махал ей сверху рукой и улыбался, как дядьки на первомайских трибунах. Как мне было завидно! Я не умела танцевать, стеснялась и ненавидела свою неуклюжесть – я бы точно шлепнулась, раскружившись. Мы это часто пробовали с девчонками – кружиться, и валились на землю. А земля потом пыталась встать вертикально и хотела скинуть нас, и мы хватались за нее, чтобы удержаться. При этом меня подташнивало.

Мучительно было то, что я иногда, вдруг, на мгновенье, видела эту самую картину падения у Него на глазах, платье задрано и рейтузы видны, и подвязки, пристегнутые к чулкам! Какой позор! Я вздрагивала и впадала в состояние тихого ужаса. Хорошо, что этот ужас длился недолго, хотя и возникал чаще, чем хотелось бы.

Я завидовала Ханке – она уже большая, она может за Него даже замуж выйти. А я? Это, наверное, потому, что я – рыжая.

Я действительно к лету покрывалась веснушками. Волосы цвета спелого каштана на солнце отливали откровенно рыжим, а если учесть их склонность к противодействию покоиться в аккуратной тугой косе и упрямое желание лететь за ветром, то внешний мой вид, лахудристость и абсолютное равнодушие к зеркалам, а может быть, даже неприязнь из-за вечного бабушкиного: "Посмотри на себя в зеркало! На кого ты похожа!", не делали меня первой красавицей нашего двора. Кажется, долгое время у меня не было переживаний по этому поводу – в нашем дворе среди девочек моего возраста особых красавиц не было. Красавицами числились те, у кого имелись розовые капроновые платья с нижними юбками и широкими поясами, завязанными большими бантами на спине, и, конечно же, все они должны быть блондинками с пышными локонами и розовой ленточкой вокруг головы. И желательно, в лаковых туфельках. В таком наряде в лапту не сыграешь, через помойку на Успенскую горку не полезешь, даже мороженое спокойно съесть нельзя – вдруг потечет на платье! И хотя мама рассказывала мне, что бабушка моя была первоклассной портнихой: "Бывало, вывешу после стирки платьица твои на веревке во дворе – все, кто мимо в уборную идет, все останавливаются и смотрят на них, восхищаются", – мне от этого не прибыло. Должна заметить, что моим самым любимым в те дошкольные годы нарядом, как говорят, была школьная форма с белым передником, которую мне годам к трем-четырем "справила" бабушка для новогоднего праздника – наверное, я хотела поскорей вырасти.

И все же, даже Ханка оказалась в преимущественной позиции – Витькин папа смотрел на нее, а не на меня с моими "восхитительными" платьицами и знанием классической поэзии.

Однажды я спросила у Верки, может ли Витькин папа жениться на Ханке? "Дура ты, что ли? Он же Витькин папа, у него жена есть и Витька. Ты что, Витьку не помнишь? Ну, в прошлом году, в баркесе? Не помнишь что ли?

Удивительное свойство моей памяти помнить все, что не нужно, а то, что необходимо помнить, куда-то прячется. А еще, я многого просто не замечала. Сколько нелепых открытий из-за этого рождалось в жизни! Тополиный пух, например. Я увидела его только на выпускном вечере во дворе школы: "Что это, снег?" Мой любимый юноша посмотрел на меня

с недоумением. А я действительно не знала, что есть такое – тополиный пух. В школьном дворе и вокруг было полно тополей, Витебск вообще тополиный город, и в июне белые сугробы передвигались вслед за ветерком по всем улицам и площадям. Но я их не видела, не помнила и открыла свойство этого дерева, прозевав тополиный пух семнадцати июней.

Прошлогодний инцидент в баркесе всплыл в памяти немедленно, и со всеми подробностями. Было так: мы с Веркой благополучно пересекли линию границы обоих дворов и закрылись в баркесе. И в тот самый момент, когда попки наши зависли над смердящей бездной, один из клочков газеты, плотно всаженный в дырку от сучка на перегородке, зашевелился и вылетел, и прямо на уровне Веркиного уха сначала показался круглый блестящий глаз, потом раздался хохот Вовки-Китайца и еще чей-то, а потом оттуда полилась на Веркино платье вода, которая в натуре оказалась мочой.

Китайца мы боялись не меньше мальчишек с того двора – он был не предсказуем – "болван", говорила о нем моя бабушка, которая никогда ни о ком слова плохого не сказала. Да и то после того, как Китаец во время драки с нашими мальчишками замахнулся большой лопатой, и чуть не раскроил мне голову – лопата скользнула по подбородку, оставив глубокую рану, которую потом промывали и зашивали в поликлинике. Длинный и тощий, с глазами-щелочками, очень маленьким курносым носом и с торчащими, как у кролика, передними зубами, Вовка все свободное от пакостей время прозябал на крыше своей голубятни. Его злейшими врагами были кошки. Я не видела, как он измывался над ними, и даже слушать не хотела, но не слышать не могла – все рассказывали о его подвигах какие-то чудовищные истории, от которых я, млея от страха, убегала. Кошки ему мстили – они периодически потрошили голубей в отсутствие хозяина. А китаец потом мстил всему миру.

Так вот в тот день в положении пойманных кошек оказались мы с Веркой. Быстро натянув штанишки – главное успеть выскочить наружу, иначе запрёт, свинья, в грязной уборной, – мы ринулись к двери. Но с той стороны кто-то уже держал ее, пытаясь повернуть щеколду. Мы с Веркой подняли настоящий вой и, собрав все силы, бились в плотно сбитые доски. Но нас, ревущих, стучащих, задыхающихся в этом аду все же заперли. Голос Китайца обещал выпустить, только если мы выйдем без штанов и с поднятыми платьями. Второй, незнакомый голос, произнес незнакомое слово: "стриптиз". "Да-да, – сказал он, – это называется стриптиз, за такое деньги платят, и я готов вам заплатить". А Китаец добавил: "Считаем до трех, и уходим, если вас не увидим. Ра-а-з, раз с полови-и-ной… "Кто это, – перестав реветь, спросила Верка, вся мокрая от слез и "китайской" мочи, – тот, второй пацан?" Я не знала. "Пошли, Витька, раз так, пусть они посидят там до самой ночи". И наши мучители убежали, просто испугались, что очередной клиент баркесы застанет их за непотребным делом и надает по шее. Подлые трусы!

Что могли сделать бедные девочки шести и семи лет в этой ситуации?

Однако довольно скоро появился какой-то дядька и выпустил нас – "Во, гады, што з деуками зделали!" Но радости большой мы не испытали. Верке предстояло вымыться хорошенько, а это означало, объясняться со своей бабушкой, строгой Алевтиной Мстиславовной, которая не ведала о презумпции невиновности, и всегда в таких случаях обвиняла Верку: "Сама виновата! Вечно нос свой суешь во все дыры!" Мы плелись домой мимо Ханкиных окон, мимо прохода в тот двор, мимо крыльца Самариной… с площадки которого на нас глазел, ухмыляясь, красивый незнакомый мальчик в матроске, наш ровесник. И если бы вдруг не раздался Динкин голос: "Витя, мама к телефону!" – мы бы никогда не догадались, что этот чистенький иностранец и есть богатенький любитель стриптизов. Верка ринулась, было, вверх по лестнице, но Витя ловко скрылся за дверью Динкиной квартиры. "Тетя Самарина! Тетя Самарина!" – звала Верка. Дверь раскрылась, и выглянула Динка. "Бабушка ушла на базар, а что?" – "Кто этот пацан? – надвигалась на Динку страшная в гневе Верка. "Какой?" – "Какой, какой… Ну, Витя!" – "Это мой брат! Двоюродный".

И тут Верку понесло: "Ты жирная свинья, бомбовозиха, и брат у тебя – свинья! Он нас в баркесе закрыл! Он и Китаец хотели, чтобы мы штаны сняли и письки им показывали. А мы не согласились, и они нас заперли! Расскажи своей бабушке, а то тебе – вот!" И Верка сунула Динке под нос кулак. Динка испугалась и пошла плакать домой.

Итак, мой любимый оказался отцом такого паршивца! Я пыталась уточнить у Верки, а вдруг это какой-нибудь другой двоюродный брат, но она сказала, что точно этот, что она сама потом видела, как Витька с мамой и папой садились в такси, которое приехало во двор за ними и за их чемоданами.

Надо сказать, что воспоминания о Витьке почему-то никак не повлияли на мою страстную и безответную любовь к Витькиному папе. Наоборот, теперь я была спокойна, что он никогда не женится на Ханке. Я тогда еще не знала, что дети, даже очень хорошие, не такие паршивцы, как Витька, как правило, не могут удержать своих отцов, если те в кого-то влюбились, или просто захотели свободы…

Дед Славко

ТАК И ТАК

Сказка

Well I'm standing by the river
But the water doesn't flow
It boils with every poison you can
think of…[1]

Крис Ри. «Дорога в ад»

Енот вышел на улицу и зажмурился от яркого солнечного света. «Доброе утро, Борис Николаевич», – произнесла из зарешеченного окошка старая консьержка и обезобразила свое лицо несвойственной ей улыбкой.

– Да. Доброе.

– А машины Вашей еще нет.

– Я сегодня без машины.

Енот бодро зашагал по тротуару. Да, теперь придется привыкать обходиться без служебной машины. Придется рулить самому. Но сегодня лучше пройтись пешком, подышать весенним воздухом. Ах, какой день замечательный!

Енот остановился. Вообще-то он не знал, куда идти. Впервые за многие годы. «Это потому, что некуда, – подумал Енот. – Потому, что я теперь – пенсионер. А зачем идти куда-то, почему нельзя просто погулять, посмотреть на красивые дома, зеленеющие деревья, симпатичных людей?»

Многие люди узнавали Енота и почтительно приветствовали его, удивляясь встрече с ним в столь обыденной обстановке. «Ничего, скоро привыкнут. И я привыкну», – усмехнулся он.

Енот окинул взором современные здания из стекла и бетона, испещренные яркими вывесками дорогих магазинов. На противоположной стороне широкого проспекта красовались новый футбольный стадион, равных которому не было и в столице, и столь же новый, потрясающий своими размерами, православный храм. Да, как все-таки изменился город! Красавец! Правильно сказал кто-то из городской элиты: Хьюстон построили! А ведь был серый шахтерский город. И Бога не забыли.

Внимание Енота привлекли две девушки, которые рассматривали статую выдающегося революционера-большевика Артема, внесшего большой вклад в восстановление донбасских шахт после гражданской войны. Девушки шептались и хихикали. Енот хорошо понимал, почему им было так весело. Артем всегда был одной из главных достопримечательностей города. Если посмотреть на него с определенного места, то выступавший ниже пояса указательный палец имел полное сходство с половым членом. Член имел внушительные размеры, хотя и был в состоянии полупокоя, и походил на конский, когда тот только начинает возбуждаться. Удивительно, что этот оптический обман никак не портил Артема, а даже придавал ему еще более мужественный и решительный вид. Горожане любили его и вовсе не обижались на хихикающих приезжих. Более того, они сами выводили на нужный ракурс осмотра гостей горняцкой столицы.

«А не прокатиться ли мне на трамвае до родной окраины?» – подумал Енот, подойдя к остановке 3-й марки. Народу в вагоне было немного. Енот сел у окошка, довольный тем, что никто не обратил на него внимания и не будет приставать с разговорами. Хотелось просто проехаться, посмотреть на старые места, побыть наедине со своим мыслями. Вспомнить. О том, как все начиналось…

Комсорг школы Ирочка Монастырецкая удивленно вскинула тонкие бровки на стоявшего перед ней Нотова. «Откуда у него это, – подумала она, – я думала, он только о птичках своих думает. А тут я обрисовала ему печальную картину с дисциплиной в его классе, и он сразу так уверенно произнес «Та-а-ак», как будто сейчас возьмется и все исправит».

«Так что, Нотов, может, сделаем тебя комсоргом класса, и поможешь школе? Что ты на этот счет думаешь?» – поверив в свое комсомольское чутье, предложила она.

Нотов думал о птичках, ловлю которых придется, придется, завтра отложить.

«Вот и славненько – завтра выберем тебя на комсомольском собрании», – убегая, закончила разговор Монастырецкая.

На следующее утро раздался пронзительный и долгий звонок в дверь. Он тут же повторился

[1] Я стою у реки,
но вода не течет.
Она вскипает всеми мыслимыми ядами.– Пер. ред.

4 раза, пока мама Нотова не открыла дверь. Человек непосвященный мог подумать, что что-то стряслось: соседей снизу, скажем, залили, и вот – тревога.

«Боря! Боря! Это Вадик за тобой, собирайся, а то в школу опоздаешь!» Нотов схватил портфель и рванул к двери. На пороге стоял Пузатый в белой рубашке и школьной папкой под мышкой. Волосы его были приглажены водой, чтобы не топорщились. На лице, как всегда, сияла радостная улыбка. С Пузатого можно было рисовать наглядное пособие к ленинским словам: «Учиться, учиться и еще раз учиться!»

Пузатым Вадика прозвали в школе за малый рост и худобу. Большим у Пузатого был только нос, от чего он был похож на зимородка. Это считалось смешным: давать кличку, противоположную внешности.

Весной Пузатый часто заходил за Енотом по дороге в школу. Делать это было не так уж удобно: Пузатый жил на Закопе и делал порядочный крюк. Поселок его находился на расстоянии одной трамвайной останки от Боссе – района, где находилась енотовская хрущевка. А с Боссе нужно было опять проходить (или ехать на трамвае) тот же путь обратно, потому как школа была совсем недалеко от Закопа.

Закопом поселок назывался потому, наверное, что его каждый вечер «закапывали»: над ним высилась длинная – на несколько километров длиной гора шлака, который сливал металлургический завод. Зрелище слива было очень впечатляющим: шлак над Закопом (да и над Боссе) разливался всеми цветами радуги, освещая западную половину неба заревом, не уступающим северному сиянию. Енот и его друзья называли это величественное явление «закатом солнца вручную».

Большой крюк Пузатого не смущал, потому как в школу идти никто не собирался. Школа была из кирпича и никуда не девалась ни зимой, ни летом. А вот перелет чижей и щеглов длился недолго, и упустить это время было нельзя.

Обычно они шли домой к Пузатому вдоль трамвайной линии, по которой ходила 3-я марка. Дорога шла мимо парка через речку Бахмутку, которая вытекавшую из завода, на котором работал отец Енота. Так делали многие реки на Донбассе. В Бахмутке не водилась ничего живого, и даже брошенные в нее презервативы растворялись.

«Бахмутка впадает в Кальмиус, – начинал свою шутку Пузатый, – а есть еще река Миус, она – такая же как Кальмиус, только без кала. Понял шутку?»

В доме Пузатого уже никого не было: родители были на работе. Портфели Енот и Пузатый забрасывали куда подальше, хватали сетку, клетки, верную ручную чижиху и устремлялись на окраину поселка, где были поле, огороды и посадка. Под большим деревом они растягивали сетку, насыпали вокруг семечек, ставили рядом маленькую клетку с чижихой и прятались за кусты, протянув туда веревку, привязанную к сетке. В кустах уже можно было расслабиться и выкурить по «приме».

Основой ловли был элементарный обман. Чижиха выступала в роли продажной предательницы родины, заманивавшей партизан в фашистскую западню. Как только она слышала пролетавших над ней птиц, она начинала призывно кричать. Наивные чижи и щеглы россыпью падали на дерево и рассаживались на ветках, поглядывая на чижиху. Затем они замечали семечки и начинали слетать на землю. Когда их накапливалось достаточно много, Пузатый или Енот тянул за веревку. Сетка переворачивалась и накрывала пернатую компанию.

Потом нужно было быстро пересажать птиц в большую клетку и накрыть тряпкой, чтобы они не покалечили себя в панике. Когда клетка до отказа наполнялась мешаниной из желтых, коричневых, зеленых и красных перьев, птицеловы отправлялись на птичий рынок.

На рынке они быстро избавлялись от улова: несиженный щегол шел за 1,5 рубля, чиж – за рубль. Выручка иногда была крупной и составляла почти четверть месячного заработка мамы Енота – школьной учительницы. Статей же расхода было немного: проезд на трамвае в центр, поход в кино (предпочтительно на «Белое солнце пустыни» или фильм с Гойко Митичем), по тройной порции мороженого в кафе «Космос» и сигареты с фильтром. На обратном пути иногда покупалась бутылка биомицина, которая распивалась на берегу Бахмутки под песню «Сидели мы у речки у Вонючки, примерно так в 12-м часу, ты прижималася ко мне корявой грудью и пела, ковыряяся в носу…»

Жизнь была очень хорошая. Еноту запомнился вечер, когда они возвращались, шли по Закопу, смеялись, а Пузатый на ходу подбрасывал бутылку биомицина все выше и выше и, наконец – не поймал. Бутылка разбилась вдребезги, и друзья совсем зашлись от смеха.

«Слушай, Пузатый, тут какое дело, – сказал Енот, когда они зашли под арку, чтобы купить у бабок семечек, – мне сегодня обязательно в школу надо».

«Ты шо, какая школа, Енот, совсем оборзел, сегодня в школу обязательно не надо. Вон смотри – Валька пошла с 9А, говорят, она отдается за маленький стаканчик семечек».

«Вот ты уже купил – вперед, – усмехнулся Енот. – Не, я в натуре сегодня не могу. Там собрание будет»…

«А шо тебе то собрание? Пошли, не будь гондоном, я такой крюк сделал».

«Не могу, правда, извини, я слово дал», – быстро произнес Енот и устремился на трамвайную остановку.

В тот день единогласно его избрали комсоргом. Чему Пузатый дал краткую, но емкую оценку. «Во бля», – сказал он.

«Экий паренек оказался этот твой Нотов, – удивлялась директриса школы Нина Петровна, – так смело за все берется. И успеваемость повысилась в классе, и посещаемость. Молодец!»

Вряд ли, однако, улучшение показателей успеваемости произошло благодаря какой-то деятельности Енота. Они просто взяли и улучшились. Вот на посещаемость, возможно, он и повлиял, прекратив ловить птиц во время уроков.

«У комсомольской организации для тебя поручение, Нотов», – протараторила Монастырецкая, стоя перед разложенным на столе листом ватмана. «Та-а-к», – с готовностью протянул Енот. «Школе нужна интересная, острая стенгазета, поднимающая злободневные проблемы и вскрывающая недостатки. Будешь главным редактором».

«Та-а-к», – вновь произнес Енот, глядя на чистый лист и будто уже видя, какие статьи будут на нем размещены. На самом деле этот лист мог послужить точным фотоснимком его мыслей: их не было.

«За дело, Нотов! Уверена, что справишься».

Газета вышла точно такой же, как и раньше – неинтересной и неострой. Но удивительное дело: этого уже никто не замечал. А Енота отметили в положительную сторону.

Поручений становилось все больше. Каждый раз Енот уверенно отвечал: «Та-а-к». Каждый раз мало что делалось или менялось. Но руководство школы, обнадеженное его разгоняющимся вверх «та-а-ак», было заранее уверенным в успехе дела и переходило к новым неотложным задачам. Когда же что-то менялось к лучшему само по себе, лавры доставались Еноту.

Его хвалили, а он лишь смущенно усмехался. Он догадывался, что его «так» имеет какой-то гипнотический эффект.

К выпуску Енот подошел с солидным опытом общественной работы. В горном институте, в который он поступил после школы, его сразу поставили на комсомольскую работу. Сменялись ответственные задания. Не сменялось лишь уверенное «так», с которым Енот брался за их исполнение. К концу учебы он уже был членом партии.

После здания цирка трамвай повернул налево. Началась длинная улица Ленина, тянувшая вдоль металлургического завода имени Ленина. Именно на этом заводе делали «закат солнца вручную». Вспомнив эти слова, Енот улыбнулся и подумал про Пузатого.

Пузатый приходил к Еноту один раз. Енот тогда работал в райкоме партии. К тому времени у него появилось второе «так» – для работы с людьми, в чем, собственно, и было главное предназначение партии. Это «так» тоже произносилось протяжно, но без крещендо, на одной ноте и более высоко. Это было «заинтересованное» «так». «Та-а-ак…», – протягивал Енот, кладя перед собой очередное заявление от очередного трудящегося, и трудящийся в этом слове слышал все, что хотел услышать: что, мол, будем разбираться с вашим заявлением, очень это заявление правильное и т.д..

Вот таким образом и работал Енот, оперирую двумя «так» и неуклонно поднимаясь вверх по партийной лестнице. Правда, был еще один навык или, скорее, повадка, которой обзавелся Енот, подметив ее у какого-то своего партийного начальника: на совещаниях, сидя в президиуме или во главе стола, Енот, не переставая внимательно слушать выступавших, что-то быстро записывал на маленьких листах бумаги. Записав, тут же разрывал листок на мелкие кусочки и выбрасывал в урну. Это всегда производило на присутствовавших, особенно подчиненных или посторонних, большое впечатление.

Наверное, было что-то еще, ведь столько всего было сделано на различных руководящих должностях: выполнялись ответственные задания партии и правительства, была перестройка, идеологическая работа, даже мелиорация земель на каком-то этапе.

Конечно, было что-то и для себя, интимное. Для себя и верной помощницы – персонального секретаря Валентины, с которой был пройден большой трудовой путь. Со сладким чувством вспоминал Енот вечера, когда после напряженного рабочего дня Валечка заходила в кабинет с чаем, и пока она расставляла на столе посуду, он подходил к ней сзади, обнимал, пытаясь поместить в ладони хорошо знакомую и любимую грудь, и тихо говорил в аккуратное ушко с дорогой сережкой: «Та-ак…»

Была еще кое-что для исключительно личного использования: толстенькая книжка, которая называлась «В мире птиц. Карманный атлас». Енот сохранил ее еще со школы. Он держал ее в ящике

рабочего стола и, когда в кабинете никого не было, часто вытаскивал и пролистывал. Он ее не читал – статьи он знал наизусть – а просматривал цветные рисунки птиц, которые нравились ему куда больше, чем фотографии в современных определителях. Закладку Енот держал на странице со статьей о щегле, на которого смотрел, когда нужно было отдохнуть от разнообразных партийных и советских забот.

Возможно, что было еще что-то. Но вряд ли. Было разгонное «та-а-ак» – и поднимались головы, расправлялись плечи, светлели взоры. Было человечно-заинтересованное «та-а-к» – и веселели лица, появлялась надежда, влажнели глаза просителей от трогательного к ним внимания.

В один из приемных дней ему на стол положили заявление. Енот поднял глаза на посетителя и увидел перед собой Пузатого. Тот стоял перед рабочим столом и, хлопая подведенными угольной пылью глазами, осматривал рабочий кабинет. Был он еще худее прежнего и еще больше походил на птичку. Осмотревшись по сторонам, он выразил ту же оценку, что и много лет назад, после комсомольского собрания: «Во бля…». Потом подошел к столу, взял заявление, засунул в карман и сказал: «Слышь, Енот, я в другой раз зайду».

О чем было заявление – Енот так и не узнал. Пузатый больше не приходил.

«Донбасс еще никто не ставил на колени!» Это заявление, сделанное из громадных стальных букв, дыбилось на холме перед домом культуры. Лучше всего на него было смотреть с расстояния 2-3 трамвайных остановок. «Еще стоит», – с удивлением подумал Енот. Подумал он, конечно, не о Донбассе, а о лозунге, который установили, когда он был инструктором райкома по идеологии, отвечавшим, в частности, за наглядную агитацию.

На круге 3-й марки мало что изменилось, только прибавилось торговых киосков. Под ногами привычно потрескивали лушпайки, в некоторых местах, в них можно было вступить по щиколотку. Семечки лузгали все по-прежнему, т.е. по страшной силе.

За трамвайным путем все еще стоял Ленин в кепке с рукой, протянутой в сторону гастронома. Это ленинское указание было предметом шуток, но в остальном – в отличие от Артема – памятник ничем не выделялся.

Через дорогу виднелись за высокой стеной серые корпуса машиностроительного завода имени 15-летия ВЛКСМУ, который до революции принадлежал тому самому французскому фабриканту Боссе, оставившему всему району – помимо собственного завода – свое имя. Слева от завода выстроились друг за дружкой 5-этажные хрущевки с обшарпанными подъездными дверями и заставленными всяким барахлом балконами, из которых местами торчала арматура. «Да, не всюду пока дошли руки», – с грустью подумалось Еноту.

В первой хрущевке на третьем этаже жил Енот, когда учился в школе. Его балкон был виден с остановки. На нем Енот держал клетки с птицами. Улица, на которой стоял дом, называлась Обильная. Название тоже было идеологическим произведением Енота. До переименования улица была Заводской, и никаких эмоций не вызывала. А так люди, впервые слышавшие новое название, всегда переспрашивали: «Какая-какая улица?»

«Пойду до Закопа пройдусь, тряхну стариной», – решил Енот и зашагал в гору вдоль Бахмутки (она, конечно, тоже никуда не делась и воняла). Вскоре его ожидал неприятный сюрприз: в парке культуры, куда он ходил с пацанами, стояла вода. Сгнившие деревья стояли черные и голые.

Взойдя на гору, Енот повернул направо – в поселок. Дорога здесь тоже осталась прежней – щебневой. Все было хорошо знакомо: дома за заборами, дворы с собаками. Хотя собаки, конечно, были уже незнакомые. «Так я и до Пузатого дойду» – усмехнулся Енот, предвкушая встречу.

«Не до всего руки дошли», – опять подумал он, оказавшись у порога родной школы. Правда, не совсем. Как раз порога-то не было: ступени перед дверью отсутствовали. В школу нужно было буквально залезать. «Инвалидов нужно втаскивать. Или вбрасывать», – как обычно позаботился о людях Енот и тут же вспомнил, что у них в классе (да и в школе) инвалидов не было. Был один еврей и один армянин. Их часто нужно было бить, но еврей всегда вовремя исчезал. Армянину было хуже: у него было больное сердце, и он быстро исчезать не мог.

Дверь была заперта – наверное, по причине каникул. Иссохшая и кривая, она плохо вписывалась в проем. Оконные рамы с облупившейся краской создавали с ней своеобразную гармонию. Енот вздохнул и зашагал дальше.

В отличие от школы, калитка Пузатого не изменилась: она всегда висела криво и была сильно обшарпанной. Енот протянул было руку к знакомой железной ручке на калитке, как та открылась, и из нее вышел Пузатый. Он улыбнулся и совсем обыденно, как будто и не было этих прошедших друг без друга десятилетий, сказал: «Привет, Енот. Пошли – поможешь».

Не дожидаясь ответа, он повернул за угол дома на улицу, которая вела на окраину поселка.

Только сейчас Енот обратил внимание на то, что Пузатый был одет в шахтерскую робу. В руке он нес каску и коногонку.

Они вышли на поле. Над коричневыми кустами репейника взлетали в воздух белые перья, смешиваясь с осенней паутиной. Енот сразу все понял, и у него екнуло сердце. Предчувствие подтвердилось, когда заросли запестрили желтыми перьями. Мелодично посвистывая, щеглы перелетали с куста на куст и усердно растрепывали плоды репейника, добывая свой любимый корм. Приблизившись, Енот смог различать их круглые черные головы с красными щечками, светло-коричневые грудки, желтые лычки на перьях…

«Ты шо, Енот, щеглов не видел? Пошли уже», – окликнул Пузатый.

– А ты еще птичек держишь?

– Та не, какие птички. У меня коза сейчас. Вот заболела недавно. Окурков объелась, наверное. К ветеринару водил, тот витамины прописал. Сейчас получше стало. Опять стала бычки сшибать. Как мы в детстве. Помнишь?

«Нашел о чем вспоминать», – подумал Енот и содрогнулся. Он действительно, как и многие его сверстники, сшибал бычки, т.е. подбирал окурки и потом где-нибудь в укромном месте – парке или на стройке – докуривал их. С 1-го по 4-й классы. Лучшим местом для этого промысла была трамвайная остановка: там собиралось много народу, и когда подходил трамвай, мужики выбрасывали здоровые окурки. Около районной больницы тоже много было…

– Мы, вообще, куда идем?

–Та щас, тут недалеко. Ты мне поможешь маленько.

Начался пустырь. Травы и кустов здесь уже не было. Вокруг чернела схваченная утренним заморозком развороченная земля, покрытая буграми, в которых виднелись дыры.

–Здесь раньше разработки были. Потом все позакрывали. Но уголек остался. Вот мы с пацанами в этих норах его добываем. Немного, конечно, но топить хватает, еще и продать остается.

Они подошли к одной из нор. Енот присел на корточки и заглянул вовнутрь. Штольня была очень низкой, продвигаться по ней можно было только ползком. Потолок подпирался деревянными столбиками. Енот покачал головой.

– Опасно – обвалиться может.

– Оно правда, но холодно, и кушать хочется. Если бы не этот уголь… Ну, и коза…

Пузатый надел каску и наладил коногонку. «Ну, шо, Енот, полезли в нору?»

Енот снял шляпу и растерянно посмотрел на свой плащ от Барбура.

Пузатый рассмеялся. «Та ладно – я шучу. Ты мне только уголь помоги вытащить. Мы его в штольне уже на корыто погрузили. Ты давай иди вон на тот бугор, видишь, там колесо с ручками, а от него вот кабель этот. Я его к корыту привяжу, и мы его вытащим, как ведро из колодца. Понял? А я щас – мигом».

Пузатый лег на живот и изготовился ползти. «Хорошо, что с утра подморозило – не так грязно», – проворчал он и вполз в нору.

Енот взобрался на холм, который указал ему Пузатый. Большое металлическое колесо было горизонтально насажено на торчащий из земли столб. На столб был намотан кабель, конец которого уходил в нору.

Солнце закрыли откуда-то взявшиеся тучи. Стало зябко, и Енот, поежившись, поднял воротник Барбура. Ветер кружил снежным порошком по замерзшим лужам. С бугра хорошо было был виден Закоп с приземистыми домами и оголенными огородами, Бахмутка с черной водой, напоминавшей медленно текущий расплавленный свинец, заводские трубы, мартеновские печи и даже Енотова хрущевка вдали.

Еноту стало очень грустно и от открывшегося перед ним безрадостного вида, и от воспоминаний о школьном его детстве. Хороших воспоминаний не приходило.

«Ну, что ты, Нотов, сидишь, гав ловишь? Иди к доске». Это говорит ему Людмила Петровна – учительница математики и завуч школы. Нотов так никогда и не узнал, что такое «гавы», и как их можно было ловить. Но ему всегда было страшно, когда в класс входила Людмила Петровна. Всем было страшно. Все ловили «гав» и боялись –маленькие, большие, отличники, двоечники, русские, украинцы, армянин и еврей.

«Наверное, удав так спрашивает кролика: «Ну, что ты, кролик, сидишь, гав ловишь? Иди ко мне в рот. Страх перед известностью может быть хуже страха перед неизвестностью», – подумал Енот и сам подивился глубине этой своей мысли.

Пацаны идут в школу вдоль Бахмутки. На трамвай не сели – есть время еще покурить в посадке. Гена Лом вырывает страницы из общей тетради, спускает штаны и усаживается под ивой. Его прозвали Ломом за очень сильный удар правой. Удар был всего один, наносился с одной и той же позиции, но был совершенно сокрушительным. «Срать без куренья – что чай без варенья, – с довольным видом произносил он, – Енот, дай прикурить!»

Вот армянин держится за сердце. Ему только что Лом врубил хорошенько по корпусу, но он устоял, схватился за грудь. Губы посинели, дрожат.

«Господи, прости меня грешного», – неожиданно для самого себя прошептал Енот. «Хотя чему удивляться? – продолжил он свои мысли, – Религии я никогда не был чужд: по партийной линии в свое время отвечал за работу с церковью, в новое время всячески помогали храм восстанавливать. И городское руководство с семьями быстро к вере приобщилось, на все церковные праздники с Кирюшей в храм ходим».

Ход мысли прервало карканье вороны, которая, должно быть, приняла задумчивого Енота за очередной памятник горняку и нагло уселась на колесо. С удивлением Енот заметил, что стало смеркаться. Холодный ветер поддувал под Барбур. Пальцы ног почти не ощущались. «Говно плащ, – подумал Енот, – и ботинки тоже, макеевские раньше были куда лучше». И вдруг спохватился: а где Пузатый?

С нехорошим предчувствием он поспешил к норе. Опустился на четвереньки, заглянул вовнутрь – никого. «Пузатый! Пузатый! Ты где? Давай вылезай! – кричал Енот и не получал ответа.

Оставалось одну – лезть в нору. Енот лег на живот и принялся ползти, придерживаясь кабеля, уходившего вглубь штольни.

Глаза Енота вскоре привыкли к темноте и стали различать стенки штольни и деревянные подпорки. Кабель закончился возле корыта, наполненного углем. Енот еще несколько раз позвал Пузатого, подождал, не мигнет ли в темноте огонек коногонки.

«Ну, Пузатый, козел, не может без своих шуточек, – выругался Енот, – смотался потихоньку, пока я там медитировал».

Кряхтя и матерясь, он с трудом развернулся и пополз обратно.

«Нет, сейчас приду – накостыляю ему как следует, – пыхтел Енот, крутя педали скрипучего велосипеда. – Хорошо, хоть лайбу свою оставил – все не пешком».

Калитка была заперта. Енот постучал. Открыла невысокая бабка в фуфайке и бурках.

«Добрый вечер! – поприветствовал Енот бабку, которая внимательно всматривалась в его лицо. – Простите, а Вадик дома?»

«Кто? – воскликнула хозяйка и тут же улыбнулась, сверкнув металлическими зубами, – а, это Вы, извиняюсь, сразу не узнала. Проходите, пожалуйста».

Знакомый коридор, отгороженный от кухни цветастой занавеской. Здесь они с Пузатым бросали свои портфели. Занавеска зашевелилась, и из-под нее появилась козья морда.

– Проходите, не бойтесь! Это – наша Маня, она добрая.

Кухня тоже не изменилась: тот же стол с выдвижными ящиками, обитый клеенкой, угольная печь с двумя конфорками. Из нового была лишь детская вольерка, в которой лежал козленок.

«Вы присаживайтесь, Борис Николаевич, покурите, пока я чай согрею». Хозяйка загрюкала чайником на плите.

«А Вы – жена Вадика?» – спросил Енот, косясь на козу, которая стояла перед ним, неотрывно глядя ему в глаза.

«Да, была жена, теперь вдова. А Вы и не знали, что Вадика больше нет? Вот уже скоро 10 лет. Водка. И сердце. Все уголь на старой разработке с друзьями ковырял. Он про Вас много рассказывал, как вы в детстве птичек ловили. А что Вы не курите? Курите – Вадик всегда после работы курил, пока я еду разогревала. Курите. Окурки только в пепельницу бросайте, в ведро не надо, а то Маня сожрет, а ветеринар сказал, что ей больше нельзя».

Еноту стало не по себе. Ладонью он вытер выступивший на лбу пот. Коза подошла поближе и потерлась лбом о его колено. «Курите, курите! – произнесла она хриплым голосом.

Комната покачнулась перед глазами Енота. Ему стало тошно. Чтобы не упасть, он вцепился в край стола и зажмурился. Когда приступ тошноты прошел, он открыл глаза.

– Я, извините, должен идти. Срочно. До свидания.

Он даже не заметил, как дошел до круга 3-й марки. Народ толпился на остановке в ожидании трамвая, расплевывая лушпайки. У киоска группа мужчин пила пиво, громко обсуждая последнюю игру Шахтера. Еноту захотелось быть поближе к людям, послушать нормальную человеческую беседу – лишь бы не думать о том, что произошло в Закопе.

«Ты, Толя, конечно, прав, бразильцев хороших набрали, атаковать они умеют, с мячом работают технично, но, защиты, защиты, понимаешь, вообще нет, никакой! – высказывал свое мнение один из собеседников.

«Да,– согласился другой, который, наверное, был Толей, – защита у нас – ни в п.., ни в Красную армию. Только хорват еще с умом играет».

«Ну, я тебе за шо – нету защиты. Ладно, хлопцы, вон трамвай подходит, мне пора, бывайте».

Поток людей увлек с собой Енота и вынес к краю платформы.

«Ты чего, свинья, до меня тулишься? – услышал он возмущенный мужской голос сзади. – Вывалялся в грязи, а теперь на трамвае ехать хочет! А ну, пшел вон отсюда!»

Толчок в спину был сильный. Чтобы не упасть, Енот схватился за чье-то плечо и постарался отпрянуть от приближающегося трамвая. Он почувствовал, как ноги его заскользили по лушпайкам, замешанным на жидкой грязи, и поехали вперед.

Он слышал крик. Он видел широко раскрывшиеся глаза вагоновожатой. Он сидел в грязи, опершись на руки, и ему было странно, что он не может встать. «Что они так кричат? – подумал он. Грязь какая липкая». Затем он увидел свои ноги. Их отделяли от него трамвайные рельсы. «Этого не может быть. Это – не мои ноги, я не чувствую боли. Это вообще как анекдот: «Ну что, жопа, сходила за молоком?»

Надо что-то делать. Надо разобраться. Упираясь руками в землю и стараясь не завалиться на спину, Енот еще раз внимательно посмотрел на ноги. «Та-а-к», – произнес он хриплым голосом и погрузился во мрак.

Сначала ему показалось, что он опять в штольне, и что вот-вот, где-нибудь впереди, блеснёт огонек коногонги Пузатого. Затем штольня вытянулась в высоту и стала похожа на туннель. «Да-да, вот именно – туннель, – подумалось Еноту, – я о таком читал, после клинической смерти люди рассказывали о таком туннеле, который открывался перед ними. Но они не доходили до конца: их «вытаскивали» врачи. Но в конце должно быть что-то, или – кто-то?»

«Отче наш, иже еси на небесех, – вспомнилось Еноту, – отче наш, иже еси – как там дальше? Да святится имя твое, да, да… Как же дальше? Темно. Но что – там? Что я увижу? Или услышу? »

Енот вдруг понял, что именно он услышит. Он уже слышал первый звук и хотел остановить его. «Нет-нет-нет, – запротестовал он, – не надо, не… да святится имя твое…» – но уже было поздно, он уже слышал – издалека, из потемок – протяжное и монотонное: «Та-а-к»…

Дверь в спальню приотворилась, и из-за нее появилось веселое ребячье личико. «А дедушка еще спит», – прошептал мальчик и на цыпочках зашел в комнату. Он приблизился к кровати и посмотрел на большое морщинистое лицо. Затем улыбнулся, нажал указательным пальчиком на дедушкин крупный нос и произнес: «Би-бип». Дедушка не просыпался. Мальчик не осмеливался более его будить и присел на край кровати. Рядом с дедушкой он увидел небольшую книжку. Страница, на которой была раскрыта книжка, изображала красивую разноцветную птичку. Мальчик взял книжку и, беззвучно шевеля губами, прочел:

Щегол

Пестрая, веселая, разговорчивая птичка – этот наш щегол. Природа, не скупясь, одарила его красками. И самочка щегла тоже пестро окрашена, только оперение птенцов построже – они коричневатые, но без черного и красного цвета, как родители. Щеглов все знают, хотя бы по картинкам, на которых их рисуют сидящими на чертополохе. Однако щеглы любят и семена коровяка, березы и ольхи. Поэтому чаще всего их можно встретить на заброшенных полях, среди зарослей сорняков и ольхи. Здесь у них всегда полно работы. Щегол перелетает с место на место, скачет, собирает семена и при этом весело распевает. Самочка сама вьет аккуратное гнездышко где-нибудь в кронах лиственных деревьев, высоко над землей. В мае там лежат 4-5 зеленовато-белых пятнистых яичек. Птенцов щеглы выводят дважды в год. Щеглы любят собираться маленькими стайками и вместе летать. Их веселый характер и красивая расцветка приносят им одни неприятности – люди любят их содержать в клетках. Но вы никогда этого не делайте.

Конец

ПРИЛОЖЕНИЕ-СЛОВАРЬ

Шо *– что*

До *– к. Например: «Шо ты тулишь горбатого до стенки?»*

Марка *– номер маршрута общественного транспорта. Например: 3-я марка трамвая.*

Бычок *– окурок. Например: сшибать бычки – подбирать окурки (обычно с целью их докуривания).*

Лушпайки *– шелуха от семечек*

Биомицин *– от украинского названия вина «Біле міцне» («Белое крепкое»)*

Штольня *– горная выработка, имеющая выход на земную поверхность и обычно предназначенная для добычи полезных ископаемых*

Коногонка *– шахтерский фонарь*

Саша Немировский

КАК СОЛНЦЕ ПЫТАЛОСЬ ПРИДАТЬ РАЗМЕР ОКЕАНУ

ПИСЬМО В ПРОШЕДШЕЕ БУДУШЕЕ

Здравствуй, наш не рожденный с любимой ребенок.
Ты, кто стал музыкантом, поэтом, пророком.
Ты, кто походя, ненароком,
Говоришь правду и видишь суть.
Прости меня за Новогодние ёлки,
Которых не было.
Как и не было сказок, чтобы под них уснуть.

Талантливый, красивый, успешный –
Только от настоящей любви бывают такие дети –
Прости, мы были недостаточно грешны.
Ты не рожден.
Но я за тебя все равно в ответе.

Я по-прежнему грежу твоей волшебницей-мамой.
Я все так же пишу ей длиннющие письма в Лету.
Про морщин набегающие карманы
В уголках глаз. Про несбывшиеся с нами сюжеты.
Про монеты,
На которые я не купил тебе ни игрушек, ни сладкого –
Мы спустили всё, ожидая другого начала.
Только жизнь на жизнь делится нацело.
Без остатка.
И поэтому она тебя не зачала.

Мы наверное будем отвечать перед Богом.
А может, и ты добавишь какое слово, –
Хотя наша партия давно развистана.
Если жить так, как будто ты здесь, под боком,
То жизнь еще не бессмысленна.
Впрочем, это уже из другого.

ЮГ ФРАНЦИИ

А хочешь устриц, белого вина?
Как поздним утром в городке
Коллюре?
Где ветки
Яблонь прямо из окна.
И препинание платья по- фигуре?
Как мы стояли, за руки держась.
Не щекотали памятью заботы.
А под ногами был песок. Не грязь
Иль слякоть подмосковного болота.
Как в нотах
Нашей встречи плыл простор.
Как, не справляясь с солнечной картинкой,
Бессильно щелкал камеры затвор.
И смех дрожал у глаза паутинкой.

Коллюр Матиса в обрамленье Пабло.
Где башни римлян –
Сторожа времен.
Тобой и ими
Вместе полонён.
Спаси мя, Господи, чтоб память не ослабла.

МОНТЕРЕЙ

А помнишь, тогда, в Монтерее,
На улице консервных фабрик,
В ресторанчике, имя которого я не запомнил,
Ты у барной стойки пила сангрию?
Неторопливого лета фабула
Раскручивалась сама и без предисловий.
А вечер отдавал вкусом рыбы на гриле?

Никуда не плыл привязанный накрепко рыбацкий сейнер.
К причалу, что скрипел костями,
Как будто в бурю,
Когда по нему носились дети, передвигались семьи.
Пахло водорослями.
Мы обнимались и глядели на даль лазури.

От ресторанчика тянуло другой эпохой.
Ветрами. Джазом.
Когда пианино в углу еще играло.
На прокуренных стенах едва держались
Черно-белые фотки.
И мы пропустили, как вздрогнуло время и постояло.

А потом был закат.
Только мы не досмотрели,
Как солнце пыталось придать размер океану.
Мы застряли в трафике на фривее.
Ты сомкнула глаза
Устало, дыша туманом.
Надвигалась гроза.
Начало недели.

Ах, он был или не был, тот уикенд в Монтерее?

Семен Абрамович

НА СОЛНЦЕ ОКНА, КАК БЛЕСНА

***

Эй вы! Срок отмерьте.
Что осталось мне?
Весточка в конверте,
Фото на стене,
Меркнущая память
И постылый быт.
И на сердце наледь –
Вычеркнут, забыт.
Отлетела осень,
Будущее – мгла.
Снег следы заносит.
Вот и все дела.

ВРЕМЕНА ГОДА

1
Какая ранняя весна –
Еще февраль, но всюду лужи,
На солнце окна, как блесна,
И верится, не будет стужи.

2
Зануда-дождь стучит по крыше
И по оконному стеклу,
А в доме сумрак и затишье
И не зажжен торшер в углу.
Как нынче осень скоротечна –
Уже ночами холода.
…И Млечный путь – дорога в вечность,
И жизнь – дорога в никуда.

***

Могендовид откован на Мальте,
Где чеканят в веках ордена,
Где старинные замки в базальте,
Где великих людей имена
Освятили сей остров суровый,
Оградив от напастей и бед.
Могендовид чеканен, как слово,
Как ниспосланный Ветхий Завет.

***

Не говорю «прощай»,
Я говорю «до встречи»
Застолью невзначай,
Звучанью русской речи,
И улицам родным,
Где я бродил влюбленный,
Осенним листьям клена…
Отечество, ты дым?

***

Каждый к славе примеряет путь,
Но успех – прижимистый меняла.
Может, натяну когда-нибудь
Славы лоскутное одеяло,
Может, и увижу под конец
(Верится, пока не выйдут сроки)
Скромный сочинительства венец:
Типографски набранные строки.

Хельга Ольшванг

ОСТОРОЖНЕЕ, ВОЗДУХ РАЗЛИТ НАВЕРХУ

***

Заслонено, и тем сильнее чувство –
– завалено, задвинуто – разлуки
с тобой, закрыто наспех чем попало.
Как будто в осажденном доме,
за миг до смерти или сразу после,
снуют, сбиваясь, преданные слуги
(хозяевами преданные) – мысли
о том, к кому уже не прикоснуться.
Тебя так нет, что я сейчас не знаю
кого из нас двоих считать не бывшим.
Тебя не вижу и себя не помню.

***

Я представляю родителей посреди
Юты, в машине, мимо которой и над
развевается воздух,
и то, как пластами цветной слюды
наступает каньон и сникает, снят
не в фокусе, на контровом. Верха
шапок: мутон и шерсть
в среднем зеркале, медленном как река,
отрешенный жест...
И в разметке пауз дорогу вниз,
солнца крошечные весы,
линзу в пыли, выраженья лиц, мятые образцы
сланца и кремния, арки глин.
Я представляю подробный край,
впрок заснятый – этих равнин
пересвеченных снимки поверх стекла,
ясно вижу бок о бок их
навстречу летящими, при таком
разрешеньи, что каждая точка, штрих
сохраняется насмерть, одним щелчком.

***

Летит по небу витебский любовник,
Снижается к нему навстречу купол – не купол –
сердце колоколом настежь.
О щеки лупит языком неровных
"Люблю" звонарь и сон идет на убыль.
И проступает твердая обложка
вчерашней книги. С той же частотою
слышны часы и оловянной ложкой
лежит на солнце озеро пустое.

ШУМ

Так себя предвосхищая
Рожденным слышит изнутри дитя
Края посуды тяг
Водяных воздушных всхлипы пузыри
Затем круги и перепады
Невидимых движений звонкий спор
Ножей и ложек из своей засады
Скрип тряпки о фарфор
Вечерних бабочек бок о бок
Над лампой пляшущих сквозь гул
Двух голосов полузнакомых
Глотка укромную дугу
Дыханье тишину биенье
И дерево что наяву
Внезапно потеряв терпение
Роняет яблоко в траву.

ОБЕД В “LA CIRQUE”

Нас было четверо на тёмной стороне.
На светлой – никого. Кругами
Стояли, будто тумбы на арене,
Столы, катилось солнце по стене,
Валялись тени под ногами,
Готовые запрыгнуть на столы,
Как только встанем. В чашках стыли
То лиц края, то потолка углы.
И каждый знал своё, но все мы стерегли
Свои грудные клетки. Разговор
Крест-накрест был натянут между нами.
Выскакивали вилки на фарфор.
И в обруче зрачка, как будто в раме
Ты, я и мы, смеющиеся врозь
Раздваивались медленно от слёз.

***

Мешают вазы и цветы в них.
Повсюду вмешиваются и заслоняют
лицо напротив старику, что говорит противник не угадает по губам, роняют
в тарелку тень, что кажется едою,
расплывом соуса, оставшимся кусочком подслеповатому, но звякает в пустое неосязающий прибор и косо дочка молчит. Цветочная вода, не переменят —
(о, чуткость поздняя на запахи, укоры) — болотом пахнет, стеблями в коленях разбухшими и камфорным уколом.
Мешающая жизни очевидность цветов, отдельных от земли, подобных отрубленным от общей головы,
но стоящих вместе в позах неудобных конечностям.
Солоноватый пьётся
последний воздух медленно, с усильем, и что-то вечно заслоняет солнце
на фоне зимнем.

***

В уютном безумии проще уснуть, обеими душу крылами
шотландской дранины укрыв, затонуть,
не мучась дурными делами.
Безумному проще даётся вина, вообще виноватость, смущенье, навыкате, горестный взор,
тишина, которой зовётся прощенье.
В безумии проще свои довлачить последние дни, поседелым, хозяйственным, «вымой и после почисть»,
своим поглощённая телом
душа не возропщет, соседи поймут, отыщутся сами вещицы,
в неясного разума тёплый закут отчаянье не просочится,
и сварится суп, и захочется пить,
по пятницам телеспектакли,
что может быть проще, чем знать и забыть. Не так ли, Всевышний, не так ли?

***

Осторожнее, воздух разлит наверху. Это небо на нас наступает. Отпрянь, рыба, это прилив.
Это тяжкое, наперекор плавнику, протяжённое время теснит, океан накренив.
Вытесняет. Пускай, немота, пузыри,
в нёбе боль набухай и тускней, чешуя. Не залечь —
вырываешься прочь, умираешь, и уровень горя за вычетом тела, смотри, опускается. По берегам высыхает и меркнет твоя,
рыба, речь.

***

Когда мои глаза привыкнут к смерти, в ней, как в темноту спустившийся, не сразу
я различу по контуру теней
предметы бывшие, и запад, и восток,
и по спине сползёт, как страх за ворот водолазу, весь океан,
и там,
в огромной западне,
по самый потолок затопленной, воздам безмолвную хвалу случившейся со мною судьбе, её таинственным трудам
и щедрости, которой я не стою.

Алла Ходос

МОЙ ХАМЕЛЕОНЧИК

***

Слепая любовь сидит у огня,
Только себя виня.
Горькая, угли свои ворошит.
Никуда, никуда не спешит.

У другого костра-сестра.
Зряча и память ее остра.
Гордая, угли свои ворошит.
Никуда, никуда не спешит.

Видно, и ей, зрячей любви,
Утром слепые поют соловьи.

***

У совести недреманое око.
Старуха, дай поспать на склоне лет.
Насупится и смотрит так глубоко,
так горестно вздыхает мне в ответ.
Когда ж заметит, что к утру мне лучше спится,
она скорей выхватывает спицы
и вяжет сеть — ловить меня во сне.
И я почти люблю ее вниманье:
мне нравится искусное вязанье,
и спицею укол полезен мне.

***

Стоек мост
в кольчуге корост,
в выбоинах утрат.
Но стар и горбат.
Щербат.
Он стоит, а река течет.
Своенравна, а в нем – расчет.
Он способен её понять,
но порыва не перенять.

***

В окне гостиничном — стена
от неба и до дна.
И луч — такой же как в тюрьме,
единственный во тьме.
Покинуть съемное жильё —
вольна. Но с неба льёт.
Стоит, не падает стена.
и видеть не даёт.
И запрещает думать, сметь.
Наружу ли смотреть,
в себя ль —
одно выдергивает луч.
И шепчешь ты ему:
«Не мучь. Как жаль».

***

Старая крыша ночью течет, —
мокнет отчет перед Богом.
Разве свет в наших окнах не в счет?
Прошу о немногом.

***

С ума сошедшему
всё мнится: мир в бреду,
а ближний мучается понарошку.
Ужель и я с ума сойду?
И стану прятаться в аду,
и наворачивать беду
как мёд на ложку.

***

Прошлое
заполошное
спотыкаясь, бежит в настоящее.

Будущее манящее,
исполнившись недоверья,
подслушивает за дверью.

***

На хвойных иголках настоянный мрак,
вместилище взлетов и вздохов.
Ноябрьской луны испытующий зрак,
над чащею, ждущей подвохов.

***

Звезды горят, будто шапка на воре.
В космос нырнуть – утонуть в разговоре, –
прежде о Пушкине, после о Кафке,
ныне о Рае,
торгующей в лавке.

***

Всё падает из рук. И то, во что вцепилась,
и с чем срослась навек, – всё падает из рук.
Как будто бы земля опасно накренилась,
но так, чтоб я смогла пройти последний круг.
А тот, кто был со мной, кто жрал мою свободу,
чей жалящий огонь ни твари не согрел,
блуждая и ярясь, ушел в свою природу,
как будто бы другой природы не имел.

***

Мы ужасно непохожи
ни душою, ни с лица.
Тем прочней срослись мы кожей,
два сиамских близнеца.
А когда б тебя отрезал
самовластный акушер,
я была б твоим протезом
или палочкой, mon cher!
Сколько раз вострила лыжи,
рада голову сложить!..
Хоть и нет проблемы выжить,
всё равно так больно жить...

***

Я живу среди тех, кто не пишет,
не читает, не прячет в карман
на манер попрошаек, воришек,
пару строчек, а то и роман.
В перекличке, в поту и толкучке,
в забытьи передышки потом,
как ребёнка больного на ручки,
подниму недочитанный том.
Вот он мой незаконный, спасённый
от таможни, из пыльных мешков,
из провалов на свет извлечённый,
пожелтевший Д.Н.Ушаков!

ПТИЧКА

Т.Ц.

Завешены шторы ещё по привычке,
но матовый свет проникает в окно,
и главное, нежное пение птички
одной иностранной начаться должно.

Лентяйка, ты любишь поспать спозаранку,
поскольку до ночи искала зерно,
летала, лечила сердечную ранку,
с деньком неприметным сливаясь в одно.

Мой хамелеончик, час утра приближен,
как паж ко двору венценосного дня!
Пожалуйста, милая, тоном пониже,
умерь свою страсть, не томи же меня!

***

Города растут из камня,
пепла, стужи, лихорадки.
Города растут на грядке,
на костях и черепах,
на воркующих бульварах,
на разумном беспорядке,
и ползут в тысячелетье
наподобье черепах.
Скоротечны и комичны,
Чарли, Робин или Вуди,
и еще другие люди,
и, возможно, мы с тобой,
добежим до остановки,
задохнёмся и забудем,
для чего мы здесь бежали
по дорожке горевой.
И уставясь в бесконечность,
Пётр, взнуздав коня, промчится,
и Евгений удручённый
незаметно прошмыгнёт.
У гранитных парапетов
изнурённая волчица
не увидит как монета
чья-то в воду упадёт.

***

А.. К.

Какой же не любит полёта, езды
татарин, мордвин, Березовский, Бжезинский!
Лететь или ехать без цели и мзды—
преодолевать потолок этот низкий!
Свой дом за углом приберечь на потом,
потомкам оставить или кредиторам,
которые, может, сломают твой дом!
Бродить по чужим потолкам, коридорам.
Вот Франца тревожного шупальце-след.
Пыльца Ниобеи лежит как побелка.
Умчаться бы в то хорошо, где нас нет!
Вот жизнь, вот права, вот удача, вот сделка!

Еврейская народная песня

ТУМ-БАЛАЛАЙКА (ТУМ-БАЛАЛАЙКЭ)

Перевод Марины Золотаревской

ТУМ-БАЛАЛАЙКА (ТУМ-БАЛАЛАЙКЭ)

Парень раздумывал целую ночь,
Парень жениться был бы не прочь.
Как убедиться –
Чтоб не стыдиться–
В том, что девица подходит точь-в-точь?

Припев:
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайкэ,
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайкэ,
Тум-балалайкэ, шпил балалайкэ.
Пой, балалайка, нас весели.

– Девушка, девушка, ну-ка, ответь,
Что бесконечно может гореть?
Что без дождя в этом мире растет?
Что, и заплакав, слез не прольет?

(Припев)
– Ты потруднее бы задал вопрос.
Кудри растут без дождя и без рос,
Может любовь пламенеть без конца,
Плачут бесслёзно наши сердца.

(Припев)
– Что в этом мире повыше всех крыш?
Что пошустрей, чем всякая мышь?
Что превосходит моря глубиной?
Что холодней зимы ледяной?

(Припев)
– Трубы каминные выше всех крыш,
Кошка шустрей, чем всякая мышь.
Тора моря́ превзойдёт глубиной,
Смерть холодней зимы ледяной.

(Припев)
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайкэ,
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайкэ,
Тум-балалайкэ, шпил балалайкэ.
Пой, балалайка, счастья бы нам!

МОЙ ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД

Из осетинской поэзии XX

Переводы Марины Саввиных
и Ирлана Хугаева

Современная осетинская литература находится в напряжённом поиске новых методов и стилистических решений, адекватных неоднозначному и драматичному содержанию нашей эпохи. Она давно вышла из пелён «младописьменного» возраста и идёт в ногу со временем. Однако её гораздо более тонкая суть – именно как формы общественного сознания – заключается, возможно, в том, что она хранит верность демократическим традициям своих зачинателей и корифеев – Коста Хетагурова и Инала Канукова, Сека Гадиева и Георгия Малиева, Георгия Цаголова и Арсена Коцоева. Осетинская литература прочно держится своей почвы, своих корней; чужие песни не могут заставить её забыть собственный мотив, даже при том, что она с самого момента своего зарождения существует на двух языках – осетинском и русском, и русская классика всегда служила для неё идейным и эстетическим образцом.

Ирлан Хугаев

Сергей Хугаев

ДВЕ РУКИ

Есть две руки у каждого из нас,
Орудья совершенные от Бога –
Для них не в тягость ни усердья час,
Ни ёмкий груз желанного итога.

Настанет сенокосная пора –
И, принимая все её заботы,
Ты встанешь и со смертного одра
Для этой общей радостной работы!

Веди косу – как песню! Правь свой плуг,
Как правят лодку между берегами!
Не выпускай быков из крепких рук –
Держи судьбу обеими руками!

В таких руках и боевой клинок,
И верного коня горячий повод –
Залог того, что враг твой, сбитый с ног,
Для новой схватки не отыщет повод.

Их сила и уменье – велики.
Но истину постиг я – без изъятий:
Всего прекрасней две твоих руки
Когда они раскрыты для объятий.

МОЙ ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД

Нет, нет – ты не была красивей всех,
Кто жил на свете или в нём парил…
Но я смотрел – не так, как смотрит грех…
Мой взгляд был чист – и он тебя творил

Единственной – да! ты одна была
Среди людей… хотя я так смотрел,
Как будто и не ты в толпе прошла,
А просто взгляд мой чистый пролетел,

Подхвачен лёгкой поступью твоей…
Твой шаг был вызывающе остёр.
Ты шла ко мне по углям прошлых дней,
Как маленький трепещущий костёр.

И каждое движенье, каждый звук
Изнемогали музыкой судьбы,
Надеждой избавления от мук
И мукой предугаданной борьбы…

Прозрачное вонзалось остриё
Мне в сердце…голос, облик и полёт…
О, нежное чистилище моё,
Которое смеётся и поёт!

Смотрел я – и берёг от праздных глаз,
Что на тебя смотрю… и до сих пор
Не прикоснулся равнодушный взор
К лучам огня, соединившим нас.

Но только в свете этого огня
Дивятся люди красоте твоей!
Ты – соль земли, познавшая меня.
А я – колдун, сподобившийся ей.

Не дай, Господь, молве людской во власть
Святую тайну взгляда моего…
Он чист – меня сто лет сжигала страсть.
Или она не значит ничего?

(Перевод Марины Саввиных)

ШКОЛА

Село по кровли замело снежком.
Сковало речку слюдяной коростой...
С котомкой на спине,
с пастушьим посошком
Явился странник к нам – что твой апостол.

Опешило село – вдруг довело
Бывалый люд до неуемной дрожи:
Возможно ль по такому бездорожью,
В такой мороз – добраться к нам в село?..

По улицам стояли – «ох» да «ах», –
Кряхтели, мерзли: разойтись – постыло,
Хотя в домах еда на фынгах[1] стыла,
Шипело пиво черное в кувшинах и ковшах.

То было в воскресенье, в Рождество,
И сердце предвкушало праздник честный –
Заране причащалось естество
Молитвы, бдения и песни...

Топтались, ждали гостя своего,
Как ждут пророка с вещим приговором.
Когда же из чирына[2] – вечер скоро! –
Он снизойдет?.. Усовестить его!..

Соседский старый дом...
чирын... за дверью – плуг,
Стол посредине, шаткий – в назиданье,
А у окна – окованный
железом – тот сундук,
Приданое хозяйки – как преданье.

Присесть там было негде – не беда:
Скамейки прихватив с собою,
От теплых очагов
бежали мы туда
Нетерпеливой, шумною гурьбою.

В чирыне сумрачном стоял он – наш пророк,
И улыбался нам тепло – и зябко:
На ком рубахи нет, на ком – сапог,
Кому глаза совсем закрыла шапка.

Как в книгу жизни, записав в журнал
Все наши имена,
он, свыше данной властью,
Дал каждому тетрадь –
и карандаш он дал,
Как будто обещал судьбу и счастье.

Затем шагнул, склонился к сундуку,
Ступив ногой на кучу жухлой брюквы,
И угольком чертил
он на его боку
Таинственные знаки –
то есть, буквы.

Дух замирал, властительной мечте –
Уже не детской подчинясь свободе –
И черные сияли буквы те,
Как звезды на бескрайнем небосводе.

С благоговеньем он по именам
Их звал, смиренного
исполнен знанья, –
Так сказывала и
нана[3], бывало, нам
Свои священные преданья.

А карандаш, скрипя,
дерзал – терзал безвинно
Бумаги белизну; и, не блюдя строки,
Согбенны буквы, словно старики,
С лопатами пустились в путь –
сошла в горах лавина...

Вдруг распахнулась дверь,
и кто-то строгий, лесть
Презрев, с укором, хрипло: «Право слово,
Тебя мы ждем!..» «Ведь Рождество Христово», –
Сказал другой. И третий: «Сделай честь».

Дома по трубы замело – смирись:
Весь снег небес сошел на нас,
как благодать, до срока;
И с дымом очагов
летела песня ввысь
В честь Рождества – и первого урока.

---

[1] Фынг (осет.) – праздничный стол. (Здесь и дальше примечания переводчика.)

[2] Чъырын (осет.) – осетинский горский дом, сложенный из природного камня и извести.

[3] Нана (осет.) – бабушка.

ПЕСНЯ

Ефиму Тедеты

Бывало, выйдут на берег реки,
На кромку сумерек вечерних,
И оба, встав одной ногой на камень,
В колено опершись локтями,
Подобно камню тяжкому замрут
В очаровании:
Не разглядеть бы вдруг со стороны –
Стоят ли двое одноногих там,
Или один стоит на двух ногах...
Затем слегка – но так внимательно
И осторожно – склонясь друг к другу,
Словно бы о чем-то
Один другого умоляя,
Запевали…
О, песня та рождалась из стоянья
На кромке сумерек, на берегу реки,
И, как дыхание, была необходима.
Негромко пели так, почти что шепотком –
Как будто пели для самих себя
И только, –
Но и только потому
Дышала песня та,
И теплого дыхания ее,
И ясных сполохов ее короткой жизни
Хватило бы сторицей и тебе:
Коль хочешь – подойди, погрейся...
Бывало, то один, зажмурившись, мотнет
Устало головою, то другой,
Как будто были им невыносимы
И правда песни той, и пения отрада.
Стояли двое, как один стоит –
Избыточным удвоен счастьем песни, –
И благодарно кланяется другу.
Ах, как красиво
Они стояли! – будто
Предстояли – на кромке мира и на берегу
Пустынной вечности – всем людям на земле!
Ведь землю обойди кругом –
Не встретишь более нигде ты
Двоих, стоящих так красиво...
Но вот однажды
Не пришел один из них
На берег той реки;
И там, где прежде он
Так песенно стоял,
Теперь зияла
Пугающе немая пустота.
Когда до срока замолкает песня –
Сердце плачет.
Другой придет, как прежде, ввечеру,
Как прежде, встанет у реки притихшей, –
Но ногу он не ставит уж на камень,
Как прежде.
Туда, где друг его стоял, бывало,
И где теперь зияет пустота,
Глядит, согнувшись, он, –
Знак вопросительный –
И безответный.

(Перевод Ирлана Хугаева)

Музафер Дзасохов
ИРИСТОН

Мать моя, моя древняя кровь, Иристон,
Я – всего лишь песчинка на склонах твоих.
Ты – вселенское эхо и горестный стон,
Отозвавшийся бурей на струнах чужих.

За призыв корневой, не за хлеб или страх,
Отдаю тебе всё, чем богат и согрет:
Без меня твоё имя у всех на устах,
Без тебя – у меня и прозвания нет.

Твой настойчивый пульс в моих жилах звенит.
Если б голос мой помнило сердце твоё,
Песнь моя о тебе облеклась бы в гранит,
И стекались бы люди к подножью её.

Даже твой муравейник превыше горы,
И ущелья твои – как престолы богов.
Я пою о тебе – от рассветной поры,
Но ещё не нашёл окончательных слов.

Вновь беру я свирель, снова гулкий фандыр
Голоса молодые влечёт за собой,
И высокими звуками полнится мир,
Проникаясь твоей благородной судьбой.

Для сыновней души ты – оплот и броня.
Вне цепи – чем оправдана прочность звена?
Знаю, ты, Иристон, проживёшь без меня –
Без тебя мне и жизнь не нужна.

***

Печаль – моя одежда…
Говорят,
Мужчине не к лицу такой наряд:
Как витязь на виду враждебных орд,
Ты должен быть бестрепетен и твёрд.
Что делать? Люди правы. У меня
С рождения отсутствует броня.
Покуда я под отчим небом рос,
Причин, увы, хватало мне для слёз.
Как я могу, не плача, вспоминать

Ушедших навсегда отца и мать,
Сестёр и братьев? Каждый день моё
С вином страданий смешано питьё.
Чужую боль, как будто боль свою,
Смиренно – не отказываясь – пью.
Так – словно суждено напиться впрок.
Судьба – не сваха. Кто ей даст урок?

***

Нет, я не беден – имею добро:
Золото есть у меня, серебро.
Там, где земля, как волшебный ларец,
Великолепный построил дворец.
Всё, что народ добывает трудом,
Еле вмещает мой сказочный дом.
Счастье – богатому, даже не спорь!
Только… подмяла богатого хворь,
Так что не взвидел ни ночи, ни дня!
Нет среди смертных несчастней меня!

***

Вверяю снова сердце я стихам,
Чтоб знала ты – любовь осталась там…
А без неё – ты слышишь? – для меня
У жизни нет ни вкуса, ни огня.

И пусть мы друг от друга далеки,
Пылает жар внутри моей строки,
Но без тебя – мой негасимый свет –
У жизни ни огня, ни вкуса нет.

Стихи полны – я благодарен им! –
Животворящим именем твоим.
Ведь без тебя – с годами понял я –
Утратит вкус и радость жизнь моя.

ТЕРЕК

Мой друг, я живу на твоём берегу,
Достойней соседа назвать не могу…

С тобою – всё лучшее время моё,
Тебе доверяю житьё и чутьё.

Мы очень похожи – и это не ложь:
Я мыслю – а ты, величавый, течёшь.

СЧАСТЛИВЫЙ СОН

Бывало, что и я летал во сне,
Крылатый, в недоступной вышине.
И вдруг опять – спустя десятки лет! –
Взлетел, как будто притяженья нет.
Как всадник, мчался Терек подо мной,
Захлёстывая берега волной,
А люди на поверхности земли
На чудо наглядеться не могли,
Завидовали и кричали вслед,
А я смеялся радостно в ответ
И над знакомой улицей кружил –
Так, что рукоплесканья заслужил.
Союзник птицам, ветру – брат родной,
Как он, не мог я справиться с собой,
И даже пробудившись, всё парил,
На ласковых остатках сонных крыл…

***

Из ноября в середину апреля
Через снега, холода и метели
Хочется мне иногда заглянуть –
Солнечный дождик с чинары спугнуть
И по следам тонкокрылого счастья
Узкой тропинкой доверчиво мчаться
Сквозь наплывающий облачный дым
В край, где я стану опять молодым,
Где, отворив заповедные двери,
В вечную юность наивно поверю –
Так, чтоб не в счёт ни года, ни метели.
Из ноября на долины апреля
Через тревожный заснеженный путь
Хочется мне – хоть однажды – взглянуть.

ВРЕМЯ

(Глядя на фотографию сверстников-друзей)

Когда бы завистник хотел опорочить,
Друзья дорогие, кого-то из нас,
Он в списке лишений оставил бы прочерк,
Как будто невзгоды хранят про запас.

Но чья голова не заснежена, братья?
Чье сердце в смертельной тоске не рвалось?
И всякое ль честное рукопожатье
Потом справедливостью отозвалось?

Кого обошли поминальные чаши?
Кто свой перевал одолел без утрат?
Кому невдомёк испытания наши –
Такого на снимке покажешь ли, брат?

Наверно, об этом и спрашивать странно,
И сам я – безумец… но время – хоть плачь -
И лечит, калеча… оно – постоянно…
Не так, как иные… и врач, и палач.

МОЯ КРОВЬ

Я на хоромы денег не скопил
И на Луне участок не купил.
Не лихоимец и не краснобай,
Себе не обеспечил пропуск в рай.
Умру – не содрогнётся мир всерьёз,
И небо не прольёт горючих слёз…
Но, видит Бог, никто и никогда
Не скажет, что со мной пришла беда
В дом человека, что хоть раз обман
Вошёл со мною в дружественный стан,
Что хоть одна тропа за мной хранит
Зарубки незаслуженных обид.
И другу, и чужому – мой привет
Всегда, на взлёте и на склоне лет.
Во мне ни злость, ни зависть не лови!
Зачем? Их просто нет в моей крови.

ЧЕЛОВЕК-ГОРА

Памяти Гоги Дзасохова

Иной уходит – как вода в песок,
Но ты – надёжной высишься горою
Для тех, кого неумолимый рок,
Нам не подвластный, разлучил с тобою.

Так память – радость это или боль –
Честь рода не бросает без охраны:
Душа моя по-прежнему с тобой
Всей глубиной неисцелимой раны,

Всем напряженьем истинной тоски…
Недолгой жизнью славен будешь долго:
Её ты прожил стойко, по-мужски,
Не отступив от совести и долга.

Для нас ты продолжаешь путь добра.
Произношу твоё родное имя –
И дом светлеет… человек-гора,
Мы и теперь – под склонами твоими.

(Перевод Марины Саввиных)

Тотрадз Кокайты

ТЫРСЫГОМ [1]

Шалико Кокайты

Ты предан забвению, отчий порог,
В глуши Тырсыгома: святыня в пустыне.
Но – как бы далеко ни гнал меня рок –
Во снах я живу в Тырсыгоме поныне.

О, детства всегда зелены берега:
Поныне душа услаждается даром
Свободы, преданья, теплом очага
И склонами вещего Раги-дзуара[2].

Сидит на ныхасе[3] покорный судьбе
Беши – и поныне фандыр[4] его плачет,
Поныне пытает меня Гадзыбе
Труднейшей на свете – и праздной задачей.

Поныне и мама мечтает о том,
Чтоб я поскорей повзрослел хоть немножко.
И топит по-прежнему печь кизяком,
Рукой из углей выбирает картошку.

А вот из Кизляра вернулся отец
И альчиков белых привез мне; с дороги
Не сев, утомленный, проведать овец
В горах заспешил он – безмолвный и строгий.

Поныне… поныне… поныне... Бог мой! –
Не блекнут со временем блики былого.
Едва приклонюсь на постель головой –
Душа приобщается отчего крова.

Пуститься я рад бы к нему наяву,
Но слишком печальна на деле картина:
Замшелый гранит, паутина и тина –
Да ветер пустынный качает траву.

За счастьем нездешним, за долей иной
Ирон[5] подался; то ему не зазорно:

---

[1] Тырсыгом (осет.) – Турсовское ущелье в Центральном Кавказе. По переписи 1989 года здесь проживали в основном осетины. В результате систематических притеснений грузинских властей осетинские села Тырсыгосма были покинуты жителями.

[2] Рагъыдзуар (осет.) – святое место в горах Южной Осетии.

[3] Ныхас (осет. «слово», «речь», «совет») – традиционное место собраний мужчин села.

[4] Фандыр осетинский национальный музыкальный инструмент.

[5] Ирон – самоназвание осетин.

Здесь войн не бывало вовек ни одной,
Но мир был суровей, чем войны, бесспорно...

Покуда на свете – вражда и раздор,
И сердце мое не узнает отрады.
Отцовское небо!.. Родимый простор!..
Бурьян и ограды. Преграды.
Нафи Джусойты

ЖАЛОБЫ СТАРОСТИ

1.
Будь славен ты умом недюжим –
Кому старик недужный нужен?
Ни старь не радует, ни новь:
Перекипев, иссохла кровь.

Ах, замела твой след недаром
Беспечной жизни коловерть!..
И если кто грустит по старом,
То разве падальщица-смерть.

2.
Старик глядит – трепещут вежды –
Оторопев в былые дни:
Питал он некогда надежды –
Но тоже предали они.

3.
Ни сна сединам, ни покою;
Душа у старого – и та
То голодна, как волк зимою,
То вдруг до тошноты сыта.

4.
Я родине плачу оброк
Поденно – и без срока...
Лишь воин, павший в верный срок,
Свободен от оброка.

РАННЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Обиды старости – наука:
В муку перемололась мука.
Я за тебя молюсь все реже,
Не вспоминаю так, как прежде.

Когда ж случается порою,
Что бьет и дух, и тело дрожь, –
Ты, призрак светлый, предо мною
Склонивши голову, встаешь.

ТРЕВОГА СТАРИКА

Не смерти я боюсь: я пожил
Уж век, – умру я как-нибудь.
Боюсь, что нашей молодежи
Трудней предстанут крест и путь.

(Перевод Ирлана Хугаева)

Хаджи-Мурат Дзуццати

***

Смеюсь кутёнку в пустой аллее:
–Иди ко мне на руки – пожалею!
Но смотрит, трусишка, издалека,
Как будто не знает
человечьего языка.
Прильнул к земле и скулит упрямо:
–Пускай меня пожалеет мама!

РУССКИЙ ЛЕТЧИК

Дети кричали: «Свой! Наш!» –
как нигде, у нас
Веще детское сердце
и зорок глаз...
Прилетал вертолет –
хлеб нам давал пилот, –
Забирал наших раненых и стариков
на север, за горы,
Забирал нестерпимую боль,
слезы, горе...
Только враг решил,
чтоб не стало у нас
не то, что хлеба,
Не то, что нас
самих – ни своих, ни наших, –
И раз,
когда русский снова поднялся в небо, –
Беспокойный, усталый –
На него из чащи
пушки наставили
И выстрелили – и убили.
А потом говорят:
прощайте, чтоб вам простили.
Прости, уруссаг[1].
Русский, рухсаг[2].
Не будь нас – был бы парень живой.
Ах, дети! Зачем вы кричали – «Свой!»?

(Перевод Ирлана Хугаева)

---

[1] Русский (осет.)

[2] Царство Небесное (осет.)

Сол Арис

МЫ — НАРОД

Перевод с английского Лины Марковой

Лингвисты от делать нечего ломали головы над тем, правомерно ли с семантической точки зрения говорить о себе во множественном числе, т.е. «мы».

Многие полагали, что «семантически некорректно» заявлять: «мы сочли это неуместным» или «мы ещё к этому вернемся». Такие утверждения часто звучат бессмысленно. Человек должен говорить только от своего лица, поскольку не в его власти контролировать действия других людей, и никто ни в прошлом, ни в будущем не может заставить других соглашаться с поступками и взглядами того, кто берет на себя смелость выступать от их лица. В общем, заявляя о своих намерениях или выводах, не следует вовлекать других.

Например, высказывание «ну, мы будем двигаться к выходу» некорректно, даже если и другие тоже собираются уходить и вы думаете, что все уйдут вместе. А вдруг в последнюю минуту кто-то решит остаться? Тогда ваше «мы» звучит совершенно нелепо — так думают лексикологи-семантисты, категорически не согласные с употреблением «мы» в значении «я».

Конечно, с точки зрения серьезной науки такого рода разговоры не слишком авторитетны, поскольку всем известно, что мы употребляем местоимение «мы» неряшливо, как сделал это я, когда сказал, что *«МЫ употребляем местоимение «мы»*. Ведь строго говоря, форму «мы» я употребил неправильно, потому что, скорей всего, другие не пользуются этой формой в том же смысле, который подразумевал я. Оказывается, всё не так просто, как кажется; зря говорил я от лица других. Обещаю, что впредь не буду этого делать.

В общем, мы говорим (простите, это ***я*** говорю) *МЫ*, когда мы хотим сделать свои высказывания более весомыми, как будто показываем, что за нами стоят люди нашего толка, что мы являемся частью многочисленной группы, разделяющей наши мнения. То, сколько раз я употребил слово «мы» в предыдущем предложении, – лишний пример неизбежности использования этого местоимения при обсуждении социальных тенденций.

Быть членом большой группы единомышленников, разумеется, приятно. История не раз доказывала, что большие группы имеют большую силу. Но всегда ли это добрая сила? В прошлом столетии местоимение «мы» приобрело сомнительную политическую окраску, поскольку его использование стало ассоциироваться с преступлениями принудительной коллективизации, навязываемой людям советским режимом.

Образ тоталитарного государства, основанного на идеологии «мы», в самом устрашающем виде представили Западу двое русских писателей-эмигрантов. Неудивительно, что в СССР их произведения были запрещены. Один из них — Евгений Замятин, роман которого со значащим названием «Мы» оказался самым первым произведением, запрещенным советской цензурой (в 1921 году). Согласно всем литературным критикам, этот роман стал краеугольным камнем жанра «антиутопии будущего», наводящей на людей ужас. В дальнейшем романы «Дивный новый мир» Хаксли и «1984» Оруэлла окончательно узаконили существование жанра антиутопии будущего.

Широко известен на Западе роман Айн Рэнд «Гимн», описывающий общество, в котором местоимение «я» запрещено законом, а можно пользоваться только местоимением «мы». Писательница показывает полное разрушение индивидуальности в пользу «справедливого» государства — безликой, бесчувственной маши-ны, подавляющей всякого, кто стоит на пути осуществления целей, непонятных большинству людей, в то время как личная жизнь и деятельность отдельного человека не имеют никакой ценности.

Родившаяся в России Рэнд, испытав на себе бедствия, принесенные революцией, стала одной из самых яростных сторонниц «бескомпромиссного индивидуализма» и «автономной экономики капитализма» — принципов, отстаиваемых ее новой родиной, США. История Америки говорит, что благодаря последовательному применению этих принципов ранние поселенцы, объединенные в небольшие группы, завоевали американские земли от моря на востоке до моря на западе и установили границы страны.

Стоит отметить, что английский язык, на котором говорило большинство первых поселенцев, к тому времени утратил форму единственного числа местоимения «вы». Это единственный европейский язык, где не существует формы единственного числа второго лица. Интересно, почему это случилось именно с английским языком. Может быть, потому, что Англия — остров, и неожиданно напасть на неё могли со всех сторон, так что враг всегда был во множественном числе — «они», и общее ко всем врагам обращение было «эй, вы там!» И хотя это объяснение едва ли убедительно, тем не менее...

Кроме Айн Рэнд, несколько именитых американцев тоже бились над вопросом употребления «мы», что, пожалуй, наилучшим образом выразил вооруженный бандит во «Внезапном ударе», четвёртом фильме о грязном Харри: «Кто это *МЫ*, хрен моржовый?» На каковой вопрос следователь Харри Каллаган дал исторический ответ: «Смит, Вессон и я», имея в виду, что они-то как раз и есть те парни, которые завоевали Запад.

Этот вопрос также занимал одного из самых великих американцев, а именно Марка Твена. Для будущих поколений американцев Твен сформулировал три постулата, в которых он определил группы людей, имеющих основание говорить о себе «мы» не в ущерб здравому смыслу: «*Только короли, президенты, редакторы и люди, внутри которых проживает глист солитер, имеют право говорить о себе «мы»*.

Так случилось, что в ранней юности я оказался в числе яйцеголовых, скучающих вечерами и почтительно изучающих для собственного усовершенствования упомянутые выше мысли великого человека. Привожу оставшиеся в памяти нижеследующие пункты из моего Окончательного Списка Лиц, которым дозволено говорить «Мы» (некоторые детали утрачены за минувшие с тех пор тридцать с лишним лет.)

Из политкорректности мы объединили королей и президентов в группу «Главы государств». В соответствии с данными медицины мы расширили группу с солитерами, дабы учесть весь ассортимент паразитов. По размышлении, мы также позволили себе включить в список еще несколько групп.

1. Главы государств (Короли/Президенты)

Лучше всех старую королевскую привилегию говорить от лица всех людей страны сформулировал великолепный Луи XIV: "*L'Etat, c'est moi*". («Государство – это я».)

2. Редакторы

Эти люди приняли на себя роль блюстителей морали всего мира и ораторов с большой трибуны, якобы представляющих взгляды всего народа. На самом деле это самозванцы, и когда они говорят «мы», то подразумевают своих подчинённых — шайку служак, которые, боясь допустить разногласия с общепринятым мнением, позволяют редакторам говорить от лица всего общества. Попробуйте сами разобраться с ними, если не верите...

3. Люди с паразитами, живущими в кишках и других внутренностях

Это широкая категория, включающая всех людей с разнообразными организмами, обитающими в их телах. Фи!

Таковы три постулата Марка Твена касательно правильного употребления «мы» в роли единственного числа. А ниже — наше скромное дополнение к списку Мастера.

4. Люди с паразитами, живущими подкожно, на коже и вне тела

Эту категорию необходимо было добавить, чтобы не обидеть множество микроскопических рачков, грибков и других организмов, о которых весьма неприятно знать, но которые тем не менее существуют и живут на нас, добровольно находясь в симбиозе с хозяином тела.

5. Люди с сусликом в кармане

Также следует разрешить говорить «мы» людям, имеющим при себе мелких беззащитных животных, которые по ряду причин не могут либо не хотят, по крайней мере временно, физически сопротивляться насилию. Поэтому такой человек может сказать «мы уходим» с полным на то основанием, так как, кроме него, еще одно живое существо, хоть и по принуждению, но тоже уходит.

6. Беременные женщины

Эту категорию могут оспаривать те, кто борется за разрешение абортов. Говоря философски, женщина может начинать говорить о себе «мы», когда, в зависимости от определения срока развития, становятся отдельными личностями зигота, зародыш или плод.

7. Владельцы корпораций

Это субкатегория, дополняющая категории королей и редакторов и включающая всех, кто по закону наследия или подлости подчинил других своей воле и считает нормальным, чтобы эти другие делали все, что они пожелают; в противном случае эти другие могут отправляться на все четыре стороны, пополнив ряды тех, кто ожидает своей очереди занять их места. Разумеется, любой уважающий себя генеральный директор корпорации обязан говорить «мы», когда он докладывает о делах своей компании, иначе люди

подумают, что он безответственно относится к своим обязанностям. Но когда такое «мы» теряет свой пост, его новое «мы» подразумевает совсем не то, что было раньше: теперь оно стало «они»... Понять их очень сложно.

8. Шизофреники

Люди с раздвоением личности могут говорить о себе «мы», поскольку, как уверяют психиатры, на самом деле их больше, чем можно увидеть невооруженным глазом. Во всяком случае, самих больных бесполезно убеждать в обратном; не лучше ли позволить им говорить так, как они сами об этом думают? Некоторые спиритуалисты настаивают, что необходима также особая категория для людей, уверенных, что у них есть двойники. Но я думаю, что таких людей можно все же отнести к данной категории.

Этот перечень, разумеется, далеко не полон, и мы надеемся, что будущие поколения восполнят пробелы, оставленные нами.

Но, переходя от несерьёзных сентенций к истинно серьезным вопросам, я смею вас уверить, что каждый человек, который когда-либо был членом по-настоящему сплоченной группы, чувствовал себя в ней как нельзя лучше. Примером может служить хорошая спортивная команда, особая военная часть, даже отряды скаутов, или разные университетские братства, или группа, сообща работающая над каким-либо большим проектом, в котором каждый принимает активное участие. В общем, это любая группа, участников которой больше интересуют общий труд и общая цель, чем материальная компенсация (возможно, наличествующая, а возможно, и отсутствующая).

Если вам повезло побывать членом такой группы, у вас на всю жизнь остаются самые дорогие воспоминания о ней, поскольку подлинное сотрудничество – огромная редкость. Вопреки бытующей формуле «каждый за себя», когда люди работают вместе, не соревнуясь при этом друг с другом, в какой-то момент возникает подлинное содружество. Любой, кому посчастливилось оказаться в таком содружестве, может свидетельствовать, что оно даёт чудесное чувство доверия и поддержки, когда вокруг вас люди проявляются в лучшем свете и вы их цените по их делам.

Но я не стану призывать вас петь со мной у костра, а постараюсь увязать эти рассуждения с упомянутым прежде принципом, на котором была создана Америка. Видите ли, я думаю, что Айн Рэнд и другие сторонники незыблемого индивидуализма, который якобы лег в основу создания Америки, забыли, что́ говорили отцы-основатели этой страны.

В свое время эти отцы-основатели были так называемой «подрывной кликой», которая старалась свергнуть законное правительство своего региона и завоевать независимость страны. Члены этой «клики» верили в свое благородное дело, и готовы были отдать за него жизнь. Один из наиболее известных из них, Бенджамин Франклин, подчеркивал, что все участники должны быть непоколебимо солидарны друг с другом: «Мы должны быть один за всех и все за одного, иначе нас перебьют поодиночке». Понимание этого сплотило их самих и тех, кто их поддерживал, в одну крепко спаянную команду, за короткое время переросшую в настоящую армию.

Общая благородная цель давала каждому участнику американской революции надежное чувство товарищества и поддержки, которое и было подлинной движущей силой, завоевавшей запад. Несомненно, что здоровый индивидуализм помогал каждой отдельной семье фермеров и поселенцев выжить и преодолеть множество опасностей, но силу им давала только общая цель: сделать Америку страной, осуществившей новую мечту о свободе.

И отцы-основатели, возглавившие борьбу за воплощение этой мечты, оставили документ, ставший их самым важным заветом будущим поколениям — Декларацию Независимости Соединённых Штатов. Она начинается словами «Мы — народ». В этом случае они чувствовали себя вправе говорить от имени всех остальных, хотя, конечно, известно, что далеко не все 100 процентов населения колоний были на их стороне. Но они считали себя вправе говорить от лица всех своих сторонников, поскольку они все были едины в борьбе за общую цель — право самоуправления вне коррумпированной европейской системы королевской и религиозной власти.

Все, кому довелось говорить «мы» в подлинном смысле этого слова, сознавая, что все остальные с ними заодно и не отступятся от них ни при каких обстоятельствах, — все, у кого был такой опыт, могут засвидетельствовать, что это прекрасное ощущение, которое следует хранить: не быть чужаком, обязанным с кем-то бороться за существование, а просто находиться на стороне чего-то достойного, работая вместе с другими, а не против других.

Кошмары, описанные Айн Рэнд по поводу торжества безликого «мы», совсем не обязательно должны стать реальностью, если правильно обращаться с этим местоимением. Индивидуальность следует всячески холить и поощрять, но не рассматривать как нечто противоположное со-трудничеству — они вполне совместимы. Рискуя под конец показаться «коммунякой», должен сказать, что плодотворное сотрудничество, совместная работа для общей цели, были для меня самым приятным опытом моей жизни.

Элин Пелин

РАССКАЗЫ

Переводы с болгарского Натальи Камовниковой

ДЕД МОРОЗ И ЕГО ВНУКИ

Далеко-далеко – там, где по полгода бесконечно висит над землею темная ночь, где Ледовитый океан омывает ледяные горы, – в том краю живет дед Мороз и злая баба Вьюга.

Баба Вьюга подолгу дремлет в своей ледяной пещере, а дед Мороз бродит по Ледовитому океану, пробует своим посохом крепость льда, строит ледяные мосты и любуется северным сиянием. Там встречают его радостным ревом белые медведи и киты.

Дико, холодно и пусто в алмазном царстве деда Мороза, но уже много сотен лет живется ему в тех местах весело и беззаботно.

Но вот однажды сделалось ему тоскливо. Опостылел ему Ледовитый океан, перестал его радовать полночный блеск северного сияния. Затужил он и в муках душевных разбудил бабу Вьюгу. Заплакала старая, зарыдала в голос, замела дороги, леса и горы – и отправились они вдвоем скитаться по белому свету, искать внучек своих: печальную Осень, прекрасное Лето и веселую Весну.

По низкому небу медленно плыли белые облака. С них спустились дед Мороз и баба Вьюга. Увидел старик с высоких гор незнакомые поля, а за ними тихие села и шумные города – улыбнулся. Оглядел холодными своими глазами все кругом, и увидел в голых лесах и мутных потоках внучку свою Осень. Подул он на облака – и снег белой пеленой покрыл землю, подул на воды – и сковал их льдом. Минул день-другой, и земля уснула. Скрылась Осень под снежным покровом Зимы.

Отправился дед Мороз гулять по городам и расписывать чудными узорами окна домов. Шел по деревням и встречал на пути своем сани: везут их сильные кони, весело звенят бубенчики. Шел по лесам, стучал по деревьям, украшал их инеем и пел песню со своею старою Вьюгою – да такую, что дрожь пробирала любого, кто ее слышал.

Целых три месяца ходил он по земле. Наконец, он устал от трудов, дороги и старости. Задремал дед Мороз в лесу под пушистой елью и приснился ему сон: видит он, что идет к нему внучка его Весна, вся в зеленом, вся в цвету, на голове корона из солнечных лучей. Она смеется громко и весело, и весело отзываются ей шумные лесные ручьи и радостные песни перелетных птиц. Дед Мороз улыбается во сне своей внучке, улыбается и она ему. Прослезился старик, а Весна тихо-тихо прошептала ему сквозь еловые ветви:

– Что, милый дедушка: повидались – и будет. Теперь ступай себе с миром в твое ледяное царство. И ты, и я, и Лето, и Осень гостим здесь в свой срок. Теперь настал мой черед. Доброго пути, милый дедушка!

И Весна с букетом зеленой травы, подснежников и молодых ветвей медленно пошла по лесам и долинам, одевая деревья в новую листву. Невидимые жаворонки, затерянные в небе, вместе с теплыми солнечными лучами слали на землю свои чудные песни.

И только луна и звезды видели ночью с небесной высоты, как дед Мороз тихонько уходил в свое холодное царство, провожаемый робкими подснежниками. Дед Мороз простился с ними, облив их ледяными слезами, и ушел туда, где всегда радовались ему белые медведи и большие киты.

Старик не мог повидаться с теплым Летом. Он никогда не встречал его. Только слышал о нем от Осени, да немного вспоминала о нем Весна. Осень рассказывала деду Морозу о золотых хлебных колосьях, о красных яблоках, о сладких грушах, о спелом винограде, а Весна – о ясных зарницах, о громе, о жарком солнце и душном зное. Но дед Мороз так ничего и не понял.

– Выдумки все, детские сказки, – говорил он.

СТАРЫЙ ГОРОД

Где тот желанный край счастья, земля поэзии, куда мы мечтаем ускользнуть, чтобы очиститься от прозы проведенных впустую часов, от обыденности наших дней, от гнета столь бесплодно потраченного времени? Где страна белых роз, куда мечтаешь улететь с твоею милой? Страна тех чудесных белых роз, которые взгляд и улыбка твоей любимой могут окрасить в синий, красный, алый – во все цвета возвышенных чувств?

Вечно думаем мы об этом крае, то и дело ищем его. Он никогда не бывает здесь, никогда его нет поблизости… Далеко, далеко он. Может, и не на земле вовсе… Может быть, он находится на какой-нибудь далекой планете, чье сияние каждую ночь озаряет небесные пространства над нами.

А, может быть, он там, в том маленьком нездешнем городе, литография которого в старой крашенной бронзовым раме уже много лет висит на стене моей комнаты.

Скитаясь в поисках счастливой страны, я часто брожу по тому старинному городу, имени которого не знаю. Неподалеку от него плещется старое море у позеленевших скалистых берегов, где я лежу, любуясь одинокой чайкой, которая грустно покачивается на волнах…

Позеленевшие воды широкого канала замерли в неподвижности. В этих потемневших водах не отражается ничего, кроме хмурого серого неба, далекие горизонты которого глядят с каким-то окаменелым изумлением.

Вдоль канала перед домами стоят привязанные старые, крашенные кирпичной краской лодки. Они неподвижны и никого не ждут. Потому что, похоже, в этом странном городе нет людей. Отчаявшись дождаться, раздосадованные лодочники разбежались кто куда. Только большая широкополая шляпа сереет, забытая, в одной маленькой гондоле.

Странно смотрят старые покосившиеся дома, над которыми возвышаются две серые башни, где нет стражи, и не блестит оружие в их мертвых бойницах.

На узких улочках и широких лестницах не мелькнет ни один человек. В окнах не покажется ни одно женское лицо. Перед запертыми железными воротами лежит подброшенный букет свежих цветов. Когда же выйдет его забрать прекрасная дева?

Приятно гулять в этом молчаливом безлюдном городе. Соленая морская вода приглушила и размыла в рыхлую серость все надписи, все краски. На стенах видны мудрые письмена в назидание гражданам и в изобличение пороков. Старые храмы открыты, и кажется, что под их сводами еще витает угасшее эхо молитвенных напевов. Мраморные ступени у дверей стерты ногами богомольцев.

На тротуарах под маленькими балконами виднеются истоптанные шагами плиты, и в выбоинах сверкают лужицы дождевой воды.

На этих плитах стояли темными ночами влюбленные юноши и пели под гитару старинные, чистые и вдохновенные любовные серенады.

Из одного окна свисает шелковая нить, на которой спускали вниз нежную надушенную записку, полную страсти и опасности.

А на небольшой террасе у моря, у таинственной двери постоялого двора стоит широкое низкое кресло тяжелого дерева с громадной спинкой. В этом кресле, быть может, отдыхал в небрежном одеянии великий искатель элегантных приключений – Дон Жуан – и наслаждался своими победами… На маленьком столике у кресла стоит большой свинцовый сосуд с изогнутой ручкой. В том сосуде играло, искрясь, красное вино, подкреплявшее в почтенном возрасте осужденного на счастье мужа.

Там, на широкой площади, вымощенной гладкими камнями, блестит подкова. Она упала с копыта коня рыцаря, который проехал здесь, облаченный до пят в тяжелые железные доспехи; на сердце он держал алую розу любви, а в руке – широкий, с крестовидной рукояткой меч правды.

Из того окна улыбалась ему добродетельная жена некоего старого графа. За ту невинную улыбку ревнивый муж выстроил черную страшную башню, где молодая жена в неслыханных муках искупала свой не совершенный грех.

На углу вот этой узкой улочки жил угрюмый поэт, из-за чьих любовных сонетов белокурую, как херувим, внучку рыцаря – защитника невинности – обуревала гордость на людях и смех в одиночестве.

В темном плаще проходил он каждый вечер мимо дома своей дамы сердца, останавливался в ближайшем трактире, напивался до безумия и острием шпаги писал ее имя на темных закопченных стенах.

Имя этого поэта забыто, и никогда не поставят ему памятника, потому что посвятил он свое божественное вдохновение не толпе, а возвышенному идеалу женской красоты.

А вон в том темном неприветливом доме с маленькими окнами, что склонился к земле так, будто утонул в ней, боролся с темными силами, духами и тайнами неизвестности великий ученый и алхимик, чьи открытия пробудили многие умы, и чье имя осталось неизвестным.

В поисках химической формулы любви этот мрачный человек собирал слезы своей возлюбленной, подробно их исследовал и находил в счастливых – горечь, а в горьких – сладость.

Он искал лекарство, которое освободило бы человека от предрассудков и понятий добра и зла, но, усердствуя в этом, открыл сущность зависти, которую счел неисцелимой.

Все его желания были направлены на благо человечества, которое для него составляли жители города. И дабы искоренить зло и пороки, уродующие жизнь, он изобрел сильный яд, пустил его в большой городской водопровод и в одну ночь отравил всех.

Это серый, безлюдный, тихий город, литография которого уже много лет висит в старой раме на стене моей комнаты.

Меир Шалев:

БАБУШКА ПЕЛА МНЕ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(Беседу ведёт Анна Кононова)

В конце июня[1], если кто не знает, гурманам от театра предстоят несколько изысканных трапез: в рамках 7-го фестиваля «Гешер» к нам приедут два прекрасных московских коллектива, театр имени Маяковского и Мастерская Петра Фоменко, и покажут спектакли по произведениям американца Артура Миллера и израильских авторов Ханоха Левина и Меира Шалева. Изысканный, новаторский, будящий мысль спектакль «Заходите, заходите» театра Мастерская Петра Фоменко стал поводом для разговора с Меиром Шалевом о его русских корнях, об энтомологии, трудностях описания любви и проблеме выбора в период кризиса среднего возраста.

А. К.

А. К.: – Известный и любимый москвичами театр Мастерская Петра Фоменко поставил спектакль по вашей книге «Как несколько дней». Роман рассказывает о жизни нескольких поколений жителей деревушки Кфар-Давид; театр же ограничил постановку одной сюжетной линией, сократив количество действующих лиц до двух: мальчика Зейде и одного из его трех отцов, Яакова Шейнфельда – Ромео, Тристана, Меджнуна и молодого Вертера на еврейский манер, в одном лице.

Как ваше сердце писателя, выносившее и вскормившее эти образы, давшее им жизнь, относится к купюрам, неизбежным при сце-ническом воплощении романа?

М. Ш.: – С любопытством. Театр – иной вид ис-кусства: он, с одной стороны, зажат в тиски огра-ничений (невозможно в театральную постановку перенести все 80 образов, появляющихся в книге), с другой стороны, одним жестом и уместной паузой актер может породить в зрителе бурю эмоций. В спектакле театра «Гешер» «Голубь и мальчик» есть картина, которая, на мой взгляд, лучше, чем та, что написана мной. Когда умирает мать, уже в наше время, старухой, ее принимает на руки любовник из 1948 года, молодой, давно ушедший, верно ждавший по ту сторону – и уносит со сцены ...

Постановки москвичей по моему роману «Как несколько дней» я еще не видел, побываю на ней в конце июня и жду этого с интересом.

А. К.: – Ваши книги пользуются огромным успехом на всем русскоязычном пространстве. Как вы думаете, почему?

М. Ш.: – Во-первых, спасибо. Русскоязычная аудитория очень важна для меня, вероятно, благодаря генам. Мои дедушка и бабушка прибыли в Израиль в двадцатые годы из Украины. Оба до конца жизни говорили на иврите с сильным русским акцентом. Бабушка пела мне колыбельные на русском языке, рассказывала истории из их прежней жизни. У нее был богатый язык, и позже я понял, что она многие обороты и поговорки переводила с русского.

Русские сказки, еда, русские пейзажи, которые я представлял по рассказам, стали частью моего детства... Не могу забыть, как бабушка Тоня – а она сама пекла хлеб – отрезала от круглой буханки, прижатой к груди, острым ножом ломоть для меня. Помню свой детский страх за бабушку: только бы не порезалась! Нигде больше не видел, чтобы так резали хлеб, только у русских.

После выступления перед читателями в Москве ко мне подошла женщина и сказала: «По описаниям в ваших книгах я поняла, какой была ваша бабушка. Вот она», – и подала мне куклу, действительно похожую на бабушку Тоню.

Я люблю русскую литературу: Гоголя, Булгакова, Бабеля – хотя Бабель совсем другой, Набокова – хотя он стал американским писателем «…». Мертвые души» Гоголя я цитирую на иврите страницами. Вероятно, все это чувствуют русскоязычные читатели. Один критик даже написал однажды, что считает меня русским писателем.

А. К.: – В «Русском романе» и в книге «Как несколько дней» действие разворачивается в начале прошлого века, когда были молодыми ваши

[1] 2013 г.

дедушки и бабушки. В «Голубе и мальчике»– это 50-60 годы, расцвет ваших родителей. Если бы вам довелось самому выбирать, **когда родиться, какие бы это были времена?**

М. Ш.: – Я люблю тот период в Стране, восемьдесят - девяносто лет тому назад, когда мои молодые дед и бабка строили здесь совершенно новую для себя и для Страны жизнь.

А. К.: – Потому что люди тогда были чище в своей приверженности принципам, все было черно-белым: и мораль, и эстетика, и политические взгляды?

М. Ш.: – В те годы закладывались основы. А я люблю в своих историях начинать с основ, показывать изменения природы, характеров, пейзажей под воздействием времени. Но у каждого времени свои шрамы и нарывы. Наше – допускает больше свободы, больше открытости, больше информации. А в те годы коллектив подавлял личность, суждения были безапелляционными, приговор выносился окончательный и обжалованию не подлежал. Бабушка Тоня, с ее свободолюбивым характером, не вписывалась в черно-белые понятия коллектива о том, «что такое хорошо и что такое плохо». А я характером похож на бабушку. Не думаю, что смог бы тогда писать свои книги. И так, двадцать пять лет назад, когда был опубликован «Русский роман», обо мне писали, что я хороню сионизм... Чего только не писали... О книге «Голубь и мальчик» говорили, что образ голубя символизирует стремление народа к миру… Ерунда. Я выбрал голубя как существо, которое настолько привязано к дому, что способно пролететь сотню километров для того, чтобы вернуться в свою голубятню, и люди использовали эту его любовь для передачи посланий. Будь на месте голубя, скажем, кошка, обладающая такими свойствами, я бы писал о кошках. Возвращаясь к вашему вопросу – я выбираю свободу самовыражения, выбираю наше время.

А. К.: – Кстати, о птицах и животных. В ваших романах поражают поэтические, но очень предметные описания птиц, животных, растений, жуков, бабочек, змей, головастиков; так создаются декорации, на фоне которых разворачиваются человеческие драмы на нашей земле. Откуда это?

М. Ш.: – Я не ученый-зоолог, не ботаник, не энтомолог, но, приезжая к дедушке с бабушкой в мошав Нахалаль, с детства любил наблюдать за повадками птиц и пчел, за жизненными циклами деревьев, за поведением и эмоциями животных. В детстве я не мечтал стать писателем, меня тогда привлекала зоология. Поэтому знаю чуть больше среднего о жизни животных и растений, а то, чего не знаю, изучаю, готовясь к новой книге. Первую премию за «Русский роман» я получил от... общества энтомологов за описание насекомых! А «Голубь и мальчик» получил приз кафедры зоологии Тель-Авивского университета за описание перелетных птиц.

А. К.: – Так что же подтолкнуло мальчика, мечтавшего изучать природу, навстречу писательской судьбе?

М. Ш.: – Теперь, когда я об этом думаю, ясно становится то, что это было предопределено влиянием семьи. Дед Мордехай, работая на земле, находил время для написания зарисовок и репортажей для местной газеты. Отец, Ицхак Шалев, был писателем, мама – редактором. Двоюродная сестра, Цруя Шалев, писательница, американская тетушка, писала короткие рассказы. Так что рос я, как клетка в питательном бульоне в чашке Петри, в атмосфере уважения к ивритскому слову, серьезных поисков эпитета или синонима. Но все же писателем я стал совсем не рано – в сорок лет. До этого изучал психологию, работал водителем машины скорой помощи, потом стал ведущим телепередачи... В сорок лет – назовите это кризисом среднего возраста – я понял, что занимаюсь не тем; что я популярен не из-за того, что я делаю что-то настоящее, а просто из-за того, что примелькался на телевидении. И вот тогда, совершенно рационально, я разложил перед собой три варианта поворота жизни. Первый – стать учителем. Но я подумал, что вряд ли у меня хватит терпения. Второй – ученым, исследователем-зоологом. Но начинать карьеру исследователя в сорок лет уже поздно. Третий вариант был – написать книгу. Я знал, что умею нанизывать слово на слово и складывать из предложений рассказ. Но быть писателем – это уметь строить здание из эпизодов. Я не был уверен, что мне это дано. Рискнул. Ушел с телевидения, засел за работу. Так появился «Русский роман».

А. К.: – Сколько времени занимает у вас написание книги?

М. Ш.: – От трех до пяти лет. Я встаю очень рано, в полпятого. Рассвет – мое лучшее время. Пишу каждый день, кроме субботы, по 8 - 10 часов. По средам я пишу для своей постоянной колонки в «Едиот Ахронот».

А. К.: – В современном израильском обществе, по моим наблюдениям, сильна культура мачизма, маскулинности, армейской дружбы, помогающей продвижению и на гражданке, что отодвигает женщину на второй, служебный план. В последние годы это (конечно, и не только это) привело к росту немотивированного насилия. В ваших книгах я вижу нечто совершенно иное: их герои в массе своей добры, в худшем случае, беззлобны; женщина является предметом поклонения: некоторые герои посвящают всю жизнь разгадке тайны женственности. Почему?

М. Ш.: – Сколько я себя помню, я всегда стремился

быть в обществе женщин. Современная психология утверждает, что маленькие дети до шести-семи лет предпочитают игры со сверстниками одного с собой пола. Неверно! Я любил женщин с рождения. Помню, как во дворе нашего дома бабушка, мама, мамина сестра варили варенье, закатывали банки с огурцами и помидорами, и все это приправлялось нескончаемыми байками. Я сидел в сторонке, тихо, как муха на стене, и только слушал, только впитывал эти рассказы. И как же мне было хорошо! Так я и рос среди женщин и чувствовал себя комфортно и защищенно. В возрасте 15 лет, когда я начал работать с двоюродными братьями в коровнике, я узнал мир мужчин, экстравертов, с их грубыми шутками и дружескими поколачиваниями. Но выбирая из этих двух миров, в глубине души, я выбирал мир женщин. Кстати, в моей новой книге, которая выйдет через месяц, я впервые веду речь от лица женщины, которая удивительным образом похожа на меня… Сильной женщины, рассказывающей о мужчинах ее семьи. Действие романа происходит сегодня, в наши дни. И это будет совсем новая для меня тема: месть… и да, наше время, с его жестокостью и поисками справедливости.

А. К.: – Говоря о реалиях нашего времени, я бы хотела вернуть вас к теме русской алии. Ваши книги несут отпечаток русской культуры начала 20-го века: русский пейзаж, русские характеры. Их с интересом читают в Израиле и во всем мире. Но нам, приехавшим сюда восемьдесят лет спустя, пришлось столкнуться с иной действительностью. Каково ваше мнение по этому поводу?

М. Ш.: – Шутки были о каждой алие, каждая в свой период. Еким, марокаим, романим, полоним – каждая алия в свою очередь. Демонстрируя силу, русские вызвали сопротивление среди коренных израильтян. К тому же, русских было очень много. То, что они желали сохранить свою культуру и не желали воспринимать культуру местную – это Израиль уже узнал на примере алии из Германии. Еким тогда тоже говорили: «Мы не желаем воспринимать ваши порядки», – и пили по утрам свой кофе со штруделем. Действительность в Израиле сильна. Армейская служба, браки между представителями разных общин – в результате все смешиваются. Ваши внуки уже не будут «русскими», и только, может быть, станут говорить о том, что у вас был сильный русский акцент, как я рассказывал о бабушке Тоне. То, что лично мне симпатично в русской алие – это ее независимость. Никто не попрошайничал у государства, все шли и работали на любой работе. Родители были готовы замостить собой дорогу для детей. Ко мне как к ведущему еженедельную колонку в «Едиот Ахронот» приходят списки результатов различных олимпиад. В них много детей вашей алии. Вот кому, я считаю, должен звонить с поздравлениями глава правительства! Когда мне пишут письма о том, что русская алия принесла с собой пьянство и преступность, я отвечаю, что пьянство и преступность есть и среди сабр. Но если вы жалуетесь на русских, значит, они и в этом вас обошли!

А. К.: – Продолжим «провокационные» вопросы. В ваших романах множество реминисценций из ТАНАХа. Вы написали две книги для детей по ТАНАХу. Ваше отношение к религии?

М. Ш.: – Я человек не религиозный, но люблю ТАНАХ как часть нашей культуры. И мой большой спор не с религиозными людьми, а с религиозным истеблишментом: с рабанутом, с религиозными партиями – со всеми теми, кто использует религию в политических целях.

А. К.: – Мой следующий вопрос – о любви. Вы пишете о ней, как будто ковер ткете: ниточка к ниточке, штрих к штриху – и вдруг стеснилось в груди, и ощущаешь давно забытое состояние молодости и счастья. Не труднее ли с годами рисовать любовь?

М. Ш.: – То есть, вы спрашиваете меня, испытываю ли я в мои годы любовь? Я знаю, есть люди, которые утверждают, что с возрастом чувства затухают, нет уже тех бурь и того счастья. Поверьте, это не так. Та женщина, которая вам открыла дверь, моя подруга. И ради ее любви я год назад оставил семью после тридцатилетнего брака.

А. К.: – Яаков Шейнфельд из книги «Как несколько дней» для того, чтобы покорить любимую, берет уроки поварского искусства у итальянца. Блюдами какой кухни завоевана ваша избранница?

М. Ш.: – Если вы спрашиваете о наших предпочтениях в еде, то мы очень открыты и любим пробовать. Кроме того, во мне живет ностальгия по восточно-европейской кухне. Холодец, картошка с селедкой, куриный бульон заставляют замирать в предвосхищении ощущения себя тем мальчиком за бабушкиным столом.

А. К.: – А как вы относитесь к борщу?

М. Ш.: – Люблю украинский борщ с чесноком.

А. К.: – Ну, значит, вам понравится тот борщ, которым вас угостят на спектакле «Заходите, заходите». Там его варят на сцене по вашему рецепту. Приходите и угощайтесь, вам будут рады!

Лина Маркова

ОДИССЕЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

ДЕД И ДОВОЕННЫЙ ДОМ

Моих обоих дедушек звали Моисеями. Фамилия маминого отца была Шалит (“властелин” на иврите), но он упоминал, что его дед носил фамилию Цельников. Когда и как Цельниковы стали Шалитами, неизвестно. Дед Моисей был сероглазый, светлой масти, родом из Минска. Мой старший брат вспоминает, что Цельниковы частично были белорусами. Дед рассказывал, что до революции платил городовому рубль в месяц, дабы тот помалкивал, что дед еврей, и благодаря этому семья могла жить в большом городе. Уже тогда они были ассимилированы и ничем не выделялись среди окружающих.

Моисей Шалит. Ок. 1939 г.

В Харькове семья деда жила на Ивановской улице. Там был целый комплекс строений, в которых обитали представители самых разных этносов и социумов. Старый, высокий двухэтажный дом выходил на улицу, а за этим домом был огромный двор. Во дворе было много флигелей, в одном из которых, двухквартирном, еще до революции поселились дед Моисей и бабушка Роза. В их квартире была большая гостиная-столовая, две спальни, большая и маленькая, и отдельная кухня.

В этой квартире родились и провели свое детство все шестеро детей бабушки и дедушки – четыре дочери и два сына. Моя мать была самой младшей. Мой старший брат и я тоже родились в этом доме и до начала войны жили вместе с родителями в маленькой спальне. Самая старшая из маминых сестер, тетя Аня, с мужем и двумя сыновьями занимали большую спальню – по праву старшинства. Бабушке с дедушкой оставалось довольствоваться кухней, зато зимой там было теплее всего.

За нашим флигелем был пустырь, который назывался Левадой. Это был просто заливной луг, так как находился он близко к речке Лопань, и весной там стояла вода. Летом там паслись коровы. Через пустырь шла дорога на самый большой в городе базар – Благовещенский, который примыкал к Благовещенскому собору.

Этот огромный базар коротко назывался “Благбаз”. Дорога на Благбаз через Леваду все еще существовала даже во время моей эмиграции — через 30 лет после 1941 года! А до войны мы с братом часто выбегали на Леваду высматривать бабушку, приносившую нам с базара леденцов — красных петушков на палочке. Левада с ее коровами летом и белым полем зимой, казавшимся бескрайним, долго оставалась для меня чудесным миром, который, как сказка, вспоминался в Казахстане во время войны. Вид пасущихся коров всю жизнь дает мне ощущение детского сна и покоя.

В столовой стоял огромный, на 20 персон стол, покрытый белой скатертью, а по длинным сторонам его размещались старинные черные стулья. В двух, наружных, стенах были большие, обращенные во двор окна: три в длинной, вдоль которой стоял стол, и два в короткой. Они были занавешены кружевными гардинами и тяжелыми шторами. У малой стены под окнами стоял большой сундук, покрытый тонким ковром. Мне хорошо запомнился этот сундук: на него усаживались кормить меня ненавистной манной кашей. А в углу между этими стенами стоял большой фикус. Под Новый год его отодвигали и ставили на его место елку. Напротив фикуса, в противоположном углу стоял буфет, черный, как и стулья, только пупырчатое стекло в дверцах его верхней половины было зеленым. В нижней половине буфета хранилась пасхальная посуда. Около буфета была дверь из столовой в узкий коридор.

В столовой устраивались вечеринки. Под

фикусом или около елки в углу стоял патефон. Помню, в Новый, 1941 год, я много танцевала, потому что мне купили красивое зеленое платье под цвет елки. Я танцевала, не помня себя, поощренная взрослыми, но вдруг, когда поставили что-то из классической музыки, я остановилась. Мне сказали "Ну, что же ты?" А я ответила: "Эта музыка не танцует". Это стало поговоркой семьи для выражения несогласия. Всякие словечки и выражения входили в обиход нашей семьи из разных эпизодов жизни и становились нашими домашними поговорками, памятками разных событий.

Столовая для меня была не просто другой комнатой, а другим миром. Она была живая и продолжала жить какою-то другой жизнью, которую невозможно было с чем-нибудь связать: комнатой в том же доме, где я жила с родителями, двором, детьми, улицей, звуками. Ее хозяева – бабушка и дедушка, когда бывали в ней без остальных обитателей квартиры, казались не такими, какими они были с другими членами семьи. Как будто не "эти" бабушка и дедушка, а какие-то другие люди, которые заселяли тот, другой мир этой комнаты.

Никаких удобств в доме не было. В кухне летом и зимой топилась печь для готовки. Воду приносили из колонки, которая находилась на пустыре за домом. Общая уборная была во дворе.

Во флигеле рядом жили старики Чернины; у них собирались евреи на молитву. Наш дед не был набожным, но в пятницу вечером приходил на субботнее навечерье.

Однажды в субботу дед и старик Чернин оказались в уборной в одно и то же время. Чернин заметил, что из дедовой кабинки шел дым. Сначала он испугался, но потом догадался: дед там курит, чтобы никто его не видел, поскольку в субботу евреям курить не положено.

– Мойше, кого ты дуришь? – спросил Чернин.

– Я дурю свою тохес (задницу), – ответил дед.

Старики Чернины были, мягко говоря, аккуратны с деньгами, и молодые люди над ними посмеивались. Однажды кто-то подшутил над Черниными и прислал им доплатное письмо без обратного адреса. Старик Чернин долго вертел его перед почтальоном, ожидавшим платы, а пославшие мальчишки наблюдали за стариком. Что возьмет верх – скупость или любопытство? Победило любопытство. Старик вскрыл письмо, где говорилось следующее: "Как ни крутите, как ни вертите, а за марку платите". Это "как ни крутите..." стало еще одной из поговорок моей семьи.

В одном из флигелей жили Пронины – как и в нашей квартире, три поколения: родители и дочь с мужем и детьми, с которыми мы играли. Старшую Пронину все знали как сварливую бабу и называли Пронихой. К ней на язык лучше было не попадаться – она отличалась изобретательностью на проклятья. В числе прочих доставалось и "жидам пархатым".

Лина, Рита Пронина и брат Миша

Большим другом соседей-евреев была роскошная Шура Касперович. Она была в разводе с мужем и жила с двумя дочками. Шура очень любила бывать у нас, и все радушно встречали эту жизнерадостную женщину со свежим, вкусным голосом.

Когда настала война и евреев гнали на расстрел к Дробицкому яру у тракторного завода, Шура сорвала со старика Чернина талес, которым он покрылся, уходя в последний путь, и толкала его и старуху в спину. По ее доносу угнали и других. После освобождения Харькова Шура была арестована и долго отбывала наказание в лагерях.

А сварливая Прониха, проклинавшая все и вся, включая "жидов", спрятала двух еврейских детей и спасла им жизнь. Сама же она умерла от голода в 1943-м.

ВОЙНА

В августе 1941 года бомбили Харьков. Трое старших двоюродных братьев уже призваны в армию. Через полгода на фронт ушел и четвертый. Остальные не подходили по возрасту. Все вернулись, один с тяжелыми ранениями.

Мы уезжали. Нашу эвакуационную одиссею – всю со всеми остановками от трех дней до трех месяцев – запомнил и рассказал мне старший брат. Эти многочисленные остановки были обусловлены тем, что мы ехали с экспедициями отца, которые делали топографические карты для войск. Войска отступали, и мы двигались впереди них вглубь страны.

Эвакуирующихся было много, и сесть на поезд было очень трудно. Часть пути пришлось проделать на телегах, на крыше поезда, на барже по Волге, и зимой 43-го – на окончательное место эвакуации, в Казахстан – на санях в 30-40-градусный мороз.

Война застала нас в селе Алексеевка, Харьковской области. Там находилась база геодезической экспедиции, в составе которой работал отец от организации “Аэрофотосъемка”. Работникам дали 2-3 дня для сборов и отправки семей в эвакуацию. Экспедицию затем направили к линии фронта для топографических съемок, необходимых войскам.

Мы приехали в Харьков прощаться с родными – бабушкой, дедушкой, сестрами и братьями родителей. Через два дня мы вернулись на базу экспедиции, в Алексеевку, чтобы эвакуироваться вместе с другими семьями работников папиного геодезического отряда.

Поезда были переполнены, сесть на поезд было невозможно, и со станции Лихачево на лошадях мы доехали до города Славянска, который в то время был частью Харьковской области (затем перешел к Донецкой).

В Славянске с большим трудом удалось сесть на поезд до Ростова-на-Дону. По дороге была бомбежка, поезд остановился, люди повыскакивали из вагонов и побежали прятаться в овраг. Когда самолеты пролетели, поезд двинулся дальше.

Во всех этих странствиях и трудностях мне было интересно и весело. Когда я – уже в эмиграции – смотрела замечательный английский фильм 1987 года “Надежда и слава”, то вспоминала свое военное детство: в этом фильме детям было очень интересно и весело играть в разрушенных домах; проблемы войны и мира не тревожили их, пока у них был родной дом или любящие родители. Весь фильм пронизан этим детским восприятием жизни в страшные времена...

Как и у этих детей в фильме, наши любящие родители были с нами – со мной и моим братом – а это необходимое условие счастливого детства. Говорят, что даже дети, побывавшие в лагерях смерти, выросли без особых психологических травм, если они находились там с родителями. Мои родители дали мне ощущение полной защиты от внешнего мира. По крайней мере до начала обучения в школе мой контакт с внешним миром был для меня как чтение книги: никакие тяготы или невзгоды не пугали мое воображение и вызывали у меня не страх, а только живой интерес. И этот интерес познавания, испытываемый в раннем детстве до окончания войны, и сохранился в моей памяти на всю жизнь. Это значит, что родители никогда не передавали ощущения страха за жизнь. Я росла в коконе их любви. А между тем причин для страхов и беспокойств было у них предостаточно.

В Ростове мы ночевали на вокзале. Мы часто ночевали на вокзалах, под открытым небом, на груде вещей вместе с другими людьми. Иногда не было даже радио, чтобы узнать, что творится на фронте. Кажется, так и было в Ростове. Хотя это был вокзал большого города, пробиться к радио оказалось невозможно, и ни у кого не было времени остановиться и рассказать, что происходит.

Помню, у кого-то нашлись наушники – одна пара на всю большую группу людей. Родители попросили дать наушники моему брату, чтобы он послушал известия. Они уверяли всех, что брат повторит известия слово в слово. После первого раза все поверили. Брат не только пересказывал, но еще и говорил абсолютно дикторским тоном: “От советского информбюро...”

Мне очень хотелось, чтобы и мне что-то досталось от популярности старшего брата. И вот однажды, когда он закончил пересказывать, по-видимому, печальные новости, я громко сказала тоже дикторским голосом: “Говорит Москва! Наши войска оставили город ...” Не помню, какой именно город оставили наши войска в тот день, только бедные эвакуирующиеся разразились неудержимым смехом и долго не могли успокоиться.

Успех вдохновил меня и внушил мне уверенность, что торжественные слова людям нравятся. Однажды между какими-то станциями мы ехали на крыше вагона. Мы сидели на маминых ногах, и она вцепилась в нас руками, чтобы мы не скатились с крыши. Но мне езда на крыше показалась интересной – не то что верхом на палочке. На одной из остановок поезда отец взял брата с собой на крышу другого вагона, и я кричала ему: “Мишка, тюви! Орджоникидзе! Наши летчики!” Я не знаю, откуда взяла это “тюви”, не знала кто такой Орджоникидзе. Но люди смеялись.

Как сказал мне брат, это было под Сальском, в Ростовской области. Немцы бросали бомбы нам вслед, поезд остановился, и взрывной волной сильно качнуло последний вагон. Бомбежка продолжалась, и люди побежали в поле в надежде найти овраг и спрятаться. Многие падали на бегу – вероятно, от волнения. Мы остались под насыпью: отец думал, что можем не добежать до оврага.

На одной из станций, в ожидании поезда, спонтанно возник концерт самодеятельности. Помню гору мешков и чемоданов, на которой разместились зрители-родители. Мой брат учился играть на скрипке, и его скрипочка ехала с нами; он отвечал за нее в дороге. Он сыграл что-то. Я рассказала “Однажды в студеную, зимнюю пору”.

Наши лавры вызвали к жизни еще одно выступление. Мальчика по имени не то Моня, не то Изя долго упрашивал выступить его отец. Наконец, отец объявил, что Моня “хасскажет” стишок Пушкина. Моня нехотя вышел и с таким же акцентом, как у отца, начал:

Что ты *жрешь*, мой конь ретивый,
Что ты *шейки подпускал*,
Не подма*хаваешь* гривой,
Не грызешь своих удал?
Или **Я** тебя не холю,
Или **Ти** мене не холишь?

Тут наш декламатор, повторив эти строки пару раз, остановился и заплакал: "Я забыл, что дальше", – сказал он, рыдая. Недаром не хотел выступать. Его чем-то утешили, а "или *я* тебя не холю, или *ти* мене не холишь?" стали поговоркой в нашей семье на случай, когда кто-нибудь обижался.

В Ростове сели на поезд и доехали до города Сальска, 180 км от Ростова, где начинаются Сальские степи. Там все семьи прожили вместе три дня в каком-то клубе. В Сальске тоже была бомбежка, но, кажется, в бомбоубежище не ходили. Здесь работников геодезического отряда должны были распределить по партиям в разные районы вдоль линии фронта.

Папу с его партией направили в район Сталинграда, и мы следовали за ним. После Сальска остановились в большом селе Развильное почти на два месяца. Затем в срочном порядке отца направили дальше в Сталинградскую область.

Первой остановкой на этом отрезке нашего пути был небольшой город Суровикино, расположенный в устье реки Чир, притока Дона (в дальнейшем – Цимлянское водохранилище, в стро-ительстве которого участвовал отец после войны), недалеко от границы с ростовской областью, в 155 км от Сталинграда.

До Суровикино мы добрались поездом и пробыли там еще полтора месяца. Приближался декабрь 1941 года. Здесь мы расстались с тетей Аней, ее мужем и сыном, которые уезжали из Харькова вместе с нами и которых удалось устроить на поезд, идущий в Таджикистан. Это был товарный состав, и они погрузились *на* вагон без крыши, заполненный зерном, прямо на зерно; это было лучше, чем ехать на крыше вагона. Их сына в начале 1942 года мобилизовали на фронт. Он прошел войну на передовой и оставался в армии до 1950 года.

Из Суровикино мы приехали поездом в Сталинград, где пробыли два дня. Линия фронта приближалась, и отцу пришлось отправить нас в Астрахань. Туда мы добирались по Волге на грузовой барже. На этот раз грузом были люди – множество людей в трюме, где всегда был сумрак, полутемно. Члены семей жались друг к другу, чтобы не потеряться. Есть было нечего. Детям три раза в день выдавали по кусочку черного хлеба, посыпанного сахаром. Хлеб был тяжелый как глина.

В Астрахани мы с матерью остановились у папиного дяди в маленькой комнате, а большую снимала другая семья. Этот дядя оказался недобрым человеком, нам у него было очень трудно. У него была привычка каждый раз заканчивать свои тирады словами "коротко и ясно". Он часто отчитывал маму за что-нибудь и в конце добавлял: "Кажется, я сказал коротко и ясно". У нас в комнате было холодно, а тут мы с братом заболели корью, оба в тяжелой форме, с температурой 40. Соседи и помогали маме советом, и немного подкармливали нас с братом. Квартира отапливалась как-то так, что в их комнате было теплее, чем у нас, они за это извинялись. А дядя ворчал, что отец навязал ему больных детей.

ХАРАБАЛИ

В Астрахани мы жили без отца, он работал в городке Харабали (точнее, тогда это было село), куда и мы переехали в феврале 1942 года.

Харабали расположен на левом берегу реки Ашулук, притока реки Ахтубы, которая, в свою очередь является притоком Волги. Его название пошло либо от названия холма, разделяющего село на две половины, – Харабали, что по-калмыцки означает "черный бугор", либо от одного из названий изобилующей рыбой местной реки – Харабалык, что значит "черная рыба" или "много рыбы".

Сегодня окрестности города популярны среди рыболовов-любителей, здесь имеется несколько рыболовных турбаз. А тогда это было небольшое село, реку Ашулук дети называли "Вонючкой".

В Харабалях мы прожили большую часть 1942 года. Поэтому Харабали и другой город, Челкар, где мы прожили около полутора лет, я называю "моими городами войны". А наши скитания – сначала до Харабалей, потом до Челкара – заняли в целом год.

В Харабалях отец сначала снял для нас жилье на горе ("бугре"). Это была большая комната с голландской печью, которую топили днем, а за печью находился альков, где стояла довольно большая кровать; на ней мы спали втроем, – мама, брат и я, – иначе было не согреться. Была там большая веранда, куда выносили на ночь еду, чтоб не испортилась.

Хозяин квартиры был на фронте, а его жена не очень-то скучала без него. Бывало, она угощала своих гостей нашей едой с веранды. Главной и самой богатой едой была рыба сазан, вид карпа, когда удавалось ее заполучить. Очень хорошая рыба. Одну рыбину мама строго делила на два дня. Мы очень огорчались, когда на второй день не находили оставленной порции. Хозяйка говорила, что ангел унес.

В этой квартире я узнала о Зое Космодемьянской. Отец показал нам "Правду" с фотографией Зои

на виселице. Я очень боялась этой фотографии, а отец говорил, что Зоина храбрость и преданность родине – пример для нас: “Надо быть такими, как Зоя”.

Эта квартира была для меня особым миром, вроде дедушкиной столовой. Хотелось постоянно озираться, как будто кто-то мог там вдруг появиться. Харабали были деревней, и я знала украинские деревни в свои пять лет, но никогда не видела там таких жилищ. Большая комната с ее голландской печью была городской, а для меня была другим пространством. Читая в “Белой гвардии” описание гостиной Турбиных с голландской печью, я вспоминала эту комнату, а затем снова вспомнила ее, читая Трумена Капоте “Другие комнаты, другие голоса”.

В этой квартире вечерами мама и мы с братом стояли, прижавшись к круглой голландской печи (мне казалось, она “голландская”, потому что такая гладкая). Мама читала нам по памяти стихи из своего репертуара, с которыми она выступала совсем юной в любительских театральных группах. Мы без конца просили ее читать поэмы Никитина “Портной” и “Ссора”. Обе поэмы, каждая по-своему, были нам близки. Печальные песни из “Портного” в ту военную пору похоронок, горя, сиротства напоминали о нашей жизни... А “Ссора” кончалась отмщением обидчику, и это нас подбадривало, хотя в общем-то и в этой поэме, где речь шла о неверной жене, ничего такого уж утешительного не говорилось. Но подсознательно мы ощущали, что ситуация в доме, где мы живем, напоминает описанную в поэме.

Мама также и пела для нас, особенно запомнились “Буря мглою” и “Я помню чудное мгновенье” на стихи Пушкина. “Буря мглою” перекликалась в памяти с суровыми зимами и буранами, пережитыми в годы войны, а “чудное мгновенье” откликнулось по возвращении в Харьков в доме чудесной женщины, Ольги Александровны. Этот “отклик” описан в главе о маме.

Зимой в Харабалях мне исполнилось 5 лет, и помню, что тогда же меня впервые поразили сны, поразило, что ночью, когда не двигаешься и ничего не слышишь и не видишь, происходит цветная жизнь, которой никогда не было наяву, с “волнениями” и необычайными цветами и животными, как в сказке. И легко летать, а вот бежать и кричать, когда это так нужно, – трудно; невозможно оторваться от места, на котором стоишь. “Как эта жизнь получается? Ведь я же не придумала это,” – все время спрашивала я. Кажется, этим вопросом я занимаюсь всю жизнь и наяву...

Ближе к весне вернулся с фронта хозяин, которого демобилизовали по какой-то причине. Нам пришлось съезжать с этой квартиры и перебраться в дом под горой, который мы сняли вместе с семьей папиного сослуживца Яровых. Эта семья и наша соответствовали друг другу по возрасту, только у них было два мальчика: Олесь, старший, и Сережа, мой ровесник. Их мать звали тетя Леля.

У дома было обожаемое мной крыльцо и вход в коридор, где стояли примуса, на которых мама и тетя Леля готовили. В доме, особенно в самое жаркое время, пахло сухим деревом и еще каким-то устоявшимся жильем, и это каждый раз вызывало чувство уюта и покоя после оставшихся в памяти переездов и коротких стоянок. Я и Сережа хорошо играли вместе. Двор дома был весь в песке, растений не было. Мама и тетя Леля ходили на гору-бугор, в какой-то двор, где они месили тесто и пекли хлеб. Они брали с собой нас с Сережей. В огромную, как избушка, печь загружали особой лопатой круглое тесто для хлеба. Отверстие печи было все черное от сажи, и требовалась немалая ловкость, чтобы сбросить тесто с лопаты куда надо. Мама и тетя Леля быстро научились.

Напротив печи стоял под навесом большой стол, а возле навеса росло большое дерево – редкость в степных краях. Жаль, что невозможно сфотографировать картину из человеческой памяти – этого дерева, стола, печи... Но кожа помнит упоительную прохладу щедрого дерева и ласковый, прохладный песок в тени под босыми ногами. Когда хлеб выпекался, нам с Сережей давали по куску свежей корочки, что делало ожидание еще более прекрасным.

Тем летом в Харабалях у меня случился солнечный удар. Мне нужно было поменять книги в библиотеке, а маме все было некогда со мной пойти. Я уговорила маму, что в свои пять с половиной лет я уже и сама могу справиться, что помню дорогу очень хорошо, и рассказала ей весь путь. Мама, наконец, согласилась. Но почему-то на обратном пути я что-то перепутала среди однообразных песчаных улиц, заблудилась и долго шла под палящим солнцем. А когда заявилась домой, мне было плохо, все поминутно трогали мой лоб, и я сказала, что он “распух от вас”. Все засмеялись, и на этом приключение закончилось. Больше меня одну не отпускали. А вскоре пришлось снова уезжать.

В июле в небе появились немецкие самолеты. Мы видели их с крыльца нашего дома. Самолеты летели так низко, что можно было рассмотреть на них “фашистский знак” – свастику. Прятаться было некуда. Недалеко от Харабалей был военный аэродром, и немцы бомбили все вокруг. Приближалась Сталинградская битва. Нужно было опять куда-то бежать.

Папина организация прислала за нами и Яровыми машину, мы погрузились и поехали на север, в Саратовскую область, которая на востоке граничит с Казахстаном, где нам надлежало быть все оставшееся

время войны. По дороге у Баскунчака мы снова попали под бомбежку и снова уцелели.

Первый привал был в селе Перелюбы, вблизи казахстанской границы. Брат Миша пошел там в школу, в 4-й класс. Помню, там были очень красивые и вкусные помидоры. Мы там немного отъелись. И еще помню, у хозяйки был очень большой и злой белый петух. Нрава он был непредсказуемого, не боялся людей, а маленьких детей клевал своим острым клювом, и дети его боялись. Жили мы там два месяца, пока не был "дан приказ" отправляться в Казахстан.

Сначала снова ехали на машинах. Остановились на одну ночь в селе Тепловка. Эта ночь растянулась почти на весь ноябрь 42 года. В Тепловке еда тоже была получше, чем в Астрахани или Харабалях, но каждый день ждали отбытия в дальнейший путь, и от этого было очень тревожно и неуютно.

Из Тепловки на лошадях началось наше путешествие в Казахстан. У брата начался сильный авитаминоз, его руки покрылись нарывами, которые долго не заживали, а лечить было нечем. Дезинфекция была сомнительная (точнее, просто отсутствовала), а инфекции сколько угодно.

Уже в Саратовской области стали попадаться казахские поселения. Мы увидели юрты, но больше было строений с плоской крышей, которые назывались кибитками. Останавливались на ночь в какой-нибудь кибитке или юрте, где хозяева соглашались нас принять. Однажды большая группа остановилась одновременно в одном ауле в какой-то огромной комнате, вроде школьного зала, и спали все вповалку, как это часто бывало в то время.

Но мне было интересно: много всяких необычных для меня людей. У меня был плохой аппетит, и от отсутствия еды я не страдала. Зато помню до сих пор чудеса каких-то неожиданных угощений. Так, в эту большую комнату кто-то из местных принес кубышку сливок, которые разделили на всех детей. Кто-то еще дал пшенной каши, но не из обычного пшена, а из обработанного каким-то особенным образом "проса", как его называли местные жители, и эта каша была совершенно замечательного вкуса, запомнившегося на всю жизнь, ─ особенно вместе со сливками.

В этой большой группе была одна пара из Украины. Оба были молоды и красивы и говорили по-украински. Они везли с собой своего кота, за что многие их осуждали. Они, как видно, любили и друг друга, и своего "котыка". Их звали Пэтя и Галя (украинское "г", пожалуйста). Мои родители, подмечавшие всякие разговорные штучки, потом пересказывали их диалог, свидетелями которого были многие:

– Пэтючок, поцемай мэнэ (поцелуй меня).

– Та пишла ты у с..аку.

– Ну, так ты дурный (или г..но), – ласково отвечала Галя.

…

Отец должен был ехать в Казалинск ,[1] а семью поселить в городке Челкаре, Актюбинской области Казахстана. Был конец ноября, и уже стояла суровая, резко континентальная зима со средней температурой минус 30 по Цельсию. Каждой семье, включая нас, Яровых, Петю с Галей и еще нескольких, выдали по санной подводе, запряженной лошадьми.

На санях была брезентовая палатка для защиты от ветров и метелей. Лошадьми нашей подводы управлял казах Ундаган. Яровые и мы направлялись в Челкар, а куда поехала украинская пара со своим "котыком", не знаю.

Первой остановкой на этом пути был поселок Кара-Тюбе, где пробыли два дня. Холод здесь лютый, а снега выпадает немного. Зато много ветров, и очень сильных. Когда ветер поднимает этот тонкий слой снега, поднимается также и песок, образуя песчано-снежный буран. Сквозь такой буран невозможно ничего увидеть, да и глаза открыть трудно: мелкая пыль разъест. В Кара-Тюбе остановились переждать буран и последовали дальше.

Мы все сидели под палаткой, а нас с братом мама еще закутывала в ватное одеяло – домашнее, довоенное, красное атласное одеяло; мама как чувствовала, не хотела его бросать в наших переездах, в которых почти все вещи приходилось оставлять в разных местах. Может быть, это одеяло спасло нас от "холодной" смерти. Однажды нашу палатку снесло ветром с саней. Мы вдруг остались под сильным ветром ─ и ─ о ужас! Мамы не было на санях! "Стой, Ундаган!" ─ закричали мы. От ветра и неожиданности Ундаган не сразу нас услышал и не сразу остановился. Мы увидели палатку позади, метрах в тридцати, побежали, отвернули край – мама была внутри, она улыбалась! Показался ли ей этот эпизод комичным? Что пережила она, пока мы подбегали к ней – мы так и не узнали.

Так мы ехали больше трех недель, останавливаясь ночевать в аулах и кишлаках. После дня дороги мы не чаяли, как добраться до какого-нибудь жилья. Брат, который отлично имитировал голоса всяких животных, начинал "лаять", и когда в ответ слышалось собачье лаянье, мы ликовали – жилье близко. Однажды мы уже приехали в какое-то поселение, и брат замяукал под палаткой. Вдруг на палатку кто-то прыгнул, и когда мы отвернули край,

[1] Казали́нск (*казах*. Қазалы) — город в Казалинском районе Кызыл-ордынской области Казахстана. Расположен на правом берегу реки Сырдарья (реки сейчас, как печально известно, уже нет...). На территории Казалинского района был выброшен немецкий десант. Этот факт использован в сюжете художественного фильма "Тройной прыжок пантеры", снятого киностудией Казахфильм в 1984-85 гг. (*Википедия – свободная энциклопедия*)

увидели убегающего рыжего кота. Иногда нам снова приходилось пережидать буран, и брат буквально на второй день уже говорил на местном языке с ребятишками. А языки в разных поселениях были немного разные. Бывало, Ундаган просил: “Мишка, моя помогай”, когда сам не мог справиться.

Мы не раз ели вместе с какой-нибудь семьей, которая принимала нас на ночь. Ели биш-бармак – суп из баранины и домашнего изготовления лапши, точнее, больших ломтей тонкого теста. “Биш” означает пять, а “бармак” – суп. Хозяева варили его в большом котле, потом котел ставили на пол, садились вокруг на кошму (свалявшуюся шерсть) и вылавливали лапшу и мясо руками из котла. Бульон, обогащенный облизанными пальцами всех обедающих, потом вычерпывали из котла маленькими алюминиевыми мисками и пили.

Во многих домах-юртах были колыбельки из черной плотной ткани, подвешенные к центру потолка, как перевернутый зонт. Там спал или кричал прикрытый, но не запеленатый младенец. На ночь укладывались на кошме на глиняном полу, все вместе, под этой люлькой.

Где-то уже недалеко от цели я сильно простыла, и пришлось подъехать к ближайшей железнодорожной станции, где мы попрощались с Ундаганом, с которым успели подружиться. Прощались как с родным, казах плакал.

Родители испугались, думали, что из-за трудной дороги они меня потеряют. Но через три дня температура упала, мы сели в поезд и приехали в Челкар, или Шалкар, ближе к казахскому произношению. Был январь 1943 года.

ЧЕЛКАР (ШАЛКАР)

Челкар я помню хорошо, я была уже постарше. Там родился наш младший брат.

Сначала, как и в других местах, семьи работников геодезической экспедиции жили все вместе в городском клубе, пока каждая семья не снимала себе какое-то жилье. Брат рассказал, что маму там просили варить суп на всех. Суп был немудреный: вода и клецки из муки и воды. Если удавалось достать луковицу, был праздник, суп был вкуснее. Я очень любила клецки и ничуть не переживала по поводу отсутствия лука. Суп ели и работники экспедиции, еще не уехавшие на объекты. Однажды один из них сделал маме замечание по поводу супа. Астраханский дядя был еще в памяти, и я, как говорит брат, вскочила с места и крикнула этому человеку: “Ученых не учат, а мертвых не лечат. Коротко и ясно!”

Потом мы сняли небольшую, с отдельным входом комнату в доме у татарки Мастуры. Нам сказали, что из Челкара уже никуда не двинемся до конца войны, куда бы ни посылали отца. А отец работал в районе Казалинска и приезжал домой редко.

Как бы там ни было, но “никуда не двинемся” было нам очень понятно, и мы этому радовались. Стали осматриваться, где живем. Я помню дом, двор и улицу, на которой мы жили в Челкаре. Улица была довольно широкая, вся засыпанная песком. Песок был и во дворе. Вход в дом был со двора, входили в довольно большую прихожую с желтым глиняным полом.

Летом в той прихожей было прохладно, вероятно, так было задумано: она была на ступеньку вниз от общего уровня дома и окон в ней не было. Мастура стелила кошму на глиняном полу и ставила самовар, любила пить чай вместе с мамой, делиться своими делами и думами. Из разговоров этих я помню одну фразу, которую она часто повторяла: “Райке, Райке, жизн – учител!” Этим, как видно, она подводила итог чему-то, с чем нужно было примириться. У Мастуры было трое детей: старшая дочь Магмура 18 лет, сын Мансур 15 лет и младшая дочка Мнавара̀, на год-два меня старше. Мы с ней хорошо играли.

Мама всегда с хозяевами жила в дружбе. В экспедиции работникам выдавали кое-какие элементарные медикаменты, недоступные большинству местных жителей. Мастура нередко страдала животом, стучалась к нам и жаловалась: “Райке, Райке, курса̀к (живот) совсем пропал”, – и мама давала ей марганцовку.

В комнатах были деревянные полы. В нашу комнату под углом вел крошечный коридор, в котором стояли ведра с водой на скамье, и мусорные – на полу. Слева от входа была печь, ее топили зимой и готовили на ней; за печью стояла узенькая койка, на которой кто-то из нас (брат или я) спал; прямо впритык, перпендикулярно к ней, – кровать родителей, занимавшая почти всю короткую стену, а в длинной стене, напротив печки и койки, было два окна, и между ними стол. Впритык к столу стоял большой сундук, в котором были все вещи. На сундуке кто-то из нас спал. На торцевой части сундука можно было сидеть у стола.

На улице от дома шел забор с калиткой и воротами, почти всегда открытыми. В них въезжали грузовики и входили груженые геодезическими инструментами верблюды, когда отец наезжал к нам из своей экспедиции. Я боялась верблюдов, потому что для такой крохи, как я, они были великанами, и мне еще сказали, что они могут плеваться. Мне вспоминались именно эти, такие близкие моей жизни верблюды, когда мой друг, поэт Борис Алексеевич Чичибабин, через 25 лет в Харькове читал свое стихотворение “Верблюд”, оканчивающееся строчкой “хорошее чудовище – верблюд”.

Во дворе была печь для готовки летом. Если печь была занята нами или хозяевами, частенько готовили и на двух кирпичах, под которыми разводили огонь драгоценными щепками, а потом жгли *кизяки* – окаменевший коровий помет, который собирали где только могли и сушили.

Наша улица была широкая, летом на ней играли в лапту, а зимой катались на лыжах, когда было достаточно снега. Дом, в котором мы жили, да и другие дома были похожи на деревенские дома и хаты, которые я видела на Украине и в России. Почему-то в мою память запали кибитки, особенно самые бедные. Может быть, потому, что я видела мамино напряженное лицо, когда она на них смотрела, опасаясь, как видно, что нам придется в какой-нибудь такой жить.

Пейзаж тоже запомнился степной, пустынный, песчаный. Когда уже в 60 лет путешествовала в Сирии по Библейским местам, перед глазами плыли картины военного детства.

Совершенно неожиданное, как оазис, было в Челкаре большое озеро, тоже называемое Челкар. Мы ходили туда купаться, а брат еще и ловил рыбу, которая в изобилии водилась в озере. Дно было глинистое, купающихся ребятишек множество, и вода была очень грязной. Но это никого не заботило.

Помню железнодорожную станцию в Челкаре, где вдоль путей были устроены навесы, а под ними деревянные столы, за которыми стояли женщины и продавали овощи из своего огорода, чаще всего – чудесные помидоры. Я таких вкусных потом нигде не пробовала, даже на Украине. Вероятно, солнце там было для них, как и для великолепных дынь, самое подходящее.

Мы с тетей Аней, которая приехала к нам весной 1943 года, продавали жареную рыбу. Рыбу брат Миша ловил в озере, а тетя Аня ее обжаривала, целиком каждую рыбешку. Рыба была костлявой, но очень вкусной. Рыбы в озере хватало даже и на эвакуированных.

На вокзале я видела много цыган – и торговцев, и покупателей. Это были беженцы из южных районов Украины, где они обычно жили-кочевали.

В городе был клуб, или Дом Культуры, а также библиотека, школы. В клубе шли кинофильмы, мы часто ходили в кино, и мне запомнились фильмы военных лет: “Александр Пархоменко” с песней “Ты ждешь, Лизавета, от друга привета”, “Жди меня”, “Два бойца”, и другие. Сейчас мне кажутся чудом и эти фильмы, и какая-то, пусть очень бедная, но и обычная жизнь на фоне ужасов войны, которыми также была наполнена наша жизнь. Из детства я вынесла понятие и опыт вот этой “параллельной” жизни. Жизнь – учитель, права была наша Мастура, хоть и не первая заметила...

Школы были для местных и для эвакуированных. Местная школа размещалась в старом кирпичном четырехэтажном здании. Школа для эвакуированных – в длинном, наскоро сколоченном строении барачного типа. В ней учились дети, которые из-за эвакуации много пропустили, и их “подгоняли” эвакуированные учителя, наверстывая программу того или иного класса. Самый старший класс был седьмой. Моего брата приняли в четвертый класс, и эвакуированные учителя в той школе, насколько я помню из разговоров, были очень хорошие.

Брата постоянно ставили мне в пример. Он успевал все: отлично учился в школе, учился музыке, играл в лапту, хорошо катался на лыжах, участвовал в художественной самодеятельности, – просто как пелось в дальнейшем в пионерской песне: “я повсюду успеваю, я усталости не знаю”. В Челкаре он окончил 4-й и 5-й классы с похвальной грамотой (в том же духе продолжал и потом, в Харькове, вплоть до окончания с отличием консерватории). В самодеятельности он играл на скрипке и читал стихи. Со всеми этими доспехами одаренного ребенка он был послан на областную олимпиаду в Актюбинск, где читал поэму “Сын артиллериста” К. Симонова и стихотворение “Две скрипки” В. Гусева и занял первое место (конечно). “Сын артиллериста” был читан столько раз, что родители и я тоже его запомнили. Люди хотели это слышать при каждом подходящем случае, хотели поплакать, излить свои переживания, особенно на строчках “раньше других я должен сына вперед посылать” или “те же глаза мальчишки, но только совсем седой”.

В наших странствиях брат, конечно, не мог заниматься на скрипке. В Челкаре стали искать учителя, и – о чудо! – нашелся прекрасный учитель, Наум Моисеевич Фрумин, и – другое чудо – как и мы, он был из Харькова. Он стал у нас постоянно бывать, в нашей комнатушке, учить брата. Я часто сидела на уроках, на полу, как завороженная, и когда, бывало, Наум Моисеевич говорил, скорее пел: “выше си”, мне казалось, что я точно могу нажать струну в нужном месте. Как-то раз учитель уловил мой алчущий взгляд и сказал: “Попробуй”. Получилось.

Мы оба, брат и я, помогали по дому, но я, как ни старалась, делала все очень медленно. Из-за этой медлительности меня дразнили “коровой”, хотя я была похожа на малюсенькую “божью коровку”. Брат носил воду из колонки, колол дрова и оставался со мной, когда мама должна была уходить. Последнее не считалось – все равно ему надо было заниматься...

Я же должна была тоже что-то делать. Мама очень рано научила меня штопать, и я очень медленно штопала носки-чулки, мечтая скорее кончить и “догонять” молодца-брата в чтении. А читала я в Челкаре две книжки, уцелевшие в наших скитаниях: сказки братьев Гримм и большой

однотомник Лермонтова – академическое издание с множеством портретов современников поэта и иллюстрациями Врубеля к “Демону”. Сказки были читаны и перечитаны по многу раз и в конце каждой подписаны мною словом “темии”; вероятно хотелось щегольнуть “умным”, хотя и непонятным словом перед самой собой. В “Сказки” никто, кроме меня, не заглядывал.

Они были постоянным утешением, но тянуло читать Лермонтова и смотреть на портреты. Особенно меня притягивал портрет Карамзиной, ее облик и платье из прозрачной ткани. Иллюстрации были черно-белые, но это платье всегда виделось мне темно-зеленым – цвет моего самого нарядного довоенного платья.

Я буквально заболела поэмой “Демон” из-за иллюстраций Врубеля, особенно одной – “Демон сидящий”. Я знала поэму наизусть, и во сне говорила вслух: “дух изгнанья”, “дух изгнанья”. Родители стали беспокоиться. Ночью я просыпалась и норовила подлезть к окну, но его загораживал стол, надо было на него взбираться. Простой выход был: отшлепать меня, что и было сделано.

Наваждение прошло, но “дух изгнанья” остался. Приходил и днем.

Как-то, помню, посетил меня на подводе, запряженной верблюдом, когда отец приехал на один день из Казалинска. Я любила карабкаться на что угодно и с удовольствием забралась на высокую подводу, кажется, по колесу и сидела на кромке косой стенки. Как вдруг прилетел “дух изгнанья”, я как бы немного потеряла сознание и упала с подводы. Но ничего не случилось, я не очень ушиблась, и видение исчезло. Выручал “материализм”, преподанный отцом уже в том моем возрасте.

Однажды мне попалась картинка на газетной бумаге – на черном фоне белые деревья и ряд женщин в белом с перьями на головах и в коротких пышных “платьях”. Как попала в мои руки эта картинка, не помню, но она была настолько таинственной и прекрасной, что я инстинктивно не захотела ее никому показывать и решила ничего о ней не спрашивать, чтобы не разрушить волшебную сказку, которая “была, наверное, правдой, раз сфотографировали в газете”; она подарила мне столько видений, грез и образов того, что детский ум и не стремится назвать, но обретенную мечту потом назовет счастьем.

Я играла с младшей дочкой хозяйки Мнавáрой во дворе и на улице. Приходили и другие девочки, подружки Мнавары. Мы жевали жвачку – белую, не знаю из чего, и черную из смолы; ели ягоды паслена и круглые зеленые “калачики”, которые появлялись летом на жестком растении, похожем, на герань, хотя цветов, кажется, на нем никогда не было. Чаще всего мы играли “в больницу”, хотя я никогда таковой не видела. Но на страницах газет и в кино было много фотографий раненых в госпиталях. Мы играли в пустом курятнике.

Я играла и сама. Собирала разноцветные стеклышки и закапывала. Потом раскапывала свое сокровище, промывала и смотрела, как они сверкают. Осенью 43-го я закопала горсть зеленых, коричневых и прозрачных стеклышек в дальнем углу двора, задумав раскопать их весной и предвкушая, как буду радоваться. Удалось в полной мере.

Игрушек никаких не было, и мама решила сделать мне подарок – сшила куклу Катю с вышитыми синими глазами и красными губами. Пышные волосы были “настоящие” – из верблюжьей шерсти. Мама еще сделала косички и пообещала вырастить такие же и мне после войны. Мама научила меня шить для куклы, а заодно и чинить одежду.

В маленькой нашей комнате было уютно. В экспедиции выдавали марлю от комаров, а остатки-обрезки могли брать семьи. Из таких обрезков мама смастерила занавески на окна. Как-то были прибраны и постели. На сундук Мастура дала нам цветную кошму.

Мама каким-то образом приобрела ручную швейную машинку и стала понемногу шить для детей и женщин. Это помогало нам прикупать немного еды. Мастура очень уважала мамино трудолюбие и умелые руки. Сама она пряла ручным веретеном нитки из козьего пуха и вязала платки. Находились все-таки люди, которые это покупали.

Летом 43-го отец привез поросенка. Мусульманка Мастура не возражала, только предупредила, чтобы ее не угощали свининой. Дети же ее, особенно Мансур, ели сало и мясо с удовольствием. Не часто доводилось есть мясо в то время. Поросенка назвали Васькой, и он отлично знал свое имя. Мы его очень полюбили, убирали за ним, по возможности мыли его и чесали за ушами. Мы были убеждены, что у него было индивидуальное “хрю” для каждого из нас. Он вырос в большого кабана, и трагический день приближался с наступлением холодной погоды. Когда этот день настал, нас с братом куда-то услали, но мы знали. Вечером отец говорил с нами о крестьянах, об их любви к своим животным, которых они растят, привязываясь к ним, а затем убивают, едят и продают продукты из них. Мы понимали, что это правда жизни, но принять это было все равно трудно. Отец говорил, что мы и раньше ели мясо и колбасу, которые когда-то были живыми животными, и что надо смотреть правде в глаза, что крестьяне не обманывают ни себя, ни животных на этот счет. Было очень трудно все это принимать и оставаться “хорошими” для себя самих. Нашего умного Васьки не было, были колбасы и всякие изделия, которые выручили нашу семью в зиму 1943-44 года, когда мама очень болела, ожидая ребенка, и на

мясо выменивались лекарства и помощь врачей.

Весной 1943 года у тети Ани в Таджикистане умер муж, дядя Палникич. Она осталась там одна, и было решено, что она переедет к нам, в эту самую комнатушку. Теперь вместе с тетей Аней мы высматривали почтальона и ждали заветного военного треугольного письмеца от ее сына, нашего двоюродного брата Мары, который воевал в пехоте на передовой.

В Челкаре у нас появились друзья – семьи Коган, Корневы и Рыжковы. Корневы жили далеко от нас, а я подружилась с Верой Корневой, девочкой моего возраста, и ходила через весь город играть с ней – у них было больше места. Зимой в сильные морозы и в оттепель весной моей обувью были шерстяные носки и галоши. То и другое приходилось сушить каждый раз, когда я приходила в гости или домой. Помню, Корневы угощали меня ореховым маслом и соленым сливочным маслом из американских посылок, которые как-то им доставались. Это были совершенно немыслимые яства, и я не отказывалась есть. Дома обычно меня заставляли съесть хоть что-нибудь.

Женщины по фамилии Коган были женами двух братьев, воевавших на фронте; у каждой было по сыну. Брат Миша подружился с Толей Коганом, оба были “книжные” мальчики. Толя не мог стать Мише товарищем по спорту – у него был ревматизм, колени опухали. Он часто пропускал школу и приходил делать уроки с Мишей. Как-то раз он хотел посадить меня к себе на колени, и я завопила: “Колено боли-и-ит!” Он испугался и стал гладить мои коленки, а я говорю: “Это у тебя!” Все засмеялись.

Той зимой (в конце 1943 – начале 44 года) объявили конкурс на лучшие стихи и музыку для гимна Советского Союза. Толя был очень музыкален, хотя и не учился играть ни на каком инструменте. Он стал сочинять стихи и музыку для гимна и просил Мишу записывать ноты. Помню одну строчку стиха (“ты родины нашей и гордость, и сила” – про Россию) и музыку к целому куплету. Удивительно, но она напоминает “выигравший” мотив. Очередное доказательство того, что идеи носятся в воздухе.

Мы особенно подружились с одной супружеской парой – Николаем Ананьевичем и Фаней Яковлевной Рыжковыми. Николай Ананьевич был высокий, худощавый, со светло-серыми глазами и высоким теноровым голосом, а Фаня Яковлевна – очень смуглая и маленькая, такая креолочка с контральто. Они часто бывали у нас и помогали нам, когда мама сильно болела во время беременности младшим братом, а отец работал далеко от дома. Когда наш младший родился, они продолжали помогать, родители назвали их “крестными” нашего малыша, и они с радостью приняли это звание. Мы долгое время встречались с ними и по возвращении в Харьков.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХАРЬКОВ, ИЮЛЬ 1944 Г.

Как известно, Харьков был дважды оккупирован врагом и окончательно освобожден 23 августа 1943 года. В июле 1944 года организация отца возвращалась в город, а с нею и семьи работников.

Возвращение было долгим и трудным. Нас было шестеро: родители, тетя Аня, и трое нас, детей. Самому младшему, Гаррику, было три месяца, мне семь лет, а старшему брату тринадцать. Вещей на шестерых было немного, малоимущим легче путешествовать. Из Челкара поездом мы доехали до Актюбинска, там прождали ночь на вокзале и пересели на пассажирский поезд до Куйбышева. Шла война, и дело делалось не так скоро, как теперь сказывается. Посадки были трудные, но наши трудности переносились как должное в сравнении с испытаниями тех, кто еще оставался под огнем. А в этих районах страны война уже прошла.

В Куйбышеве, пока ожидали поезда на Харьков, отец, старший брат и я пошли на рынок подкупить еды. Там мы стали свидетелями такой сцены. В то время была очень распространена игра “в наперсток”: один из “наперсточников” за спиной прятал наперсток в кулак, а другой должен был угадать, в какой руке наперсток. Играли на деньги, делалась ставка, и угадавший выигрывал, а если не угадывал, деньги доставались тому, кто прятал. Каждый новый кон обменивались ролями. Пока отец искал, где бы купить хлеба, мы с братом уставились на одну такую пару игроков. В двух шагах от нас стоял солдат, – несмотря на жару, на нем была шинель, – и тоже смотрел на них. Один из игроков был крепкий и бойкий, а другой – голодный и понурый (мы узнавали голодных так же, как различали цвета), и все время проигрывал. Наконец, он проиграл все свои деньги и взмолился: “Отдай назад хоть немного, это моя стипендия, что я матери скажу!” А другой ответил: “Зачем играть пришел? Игра есть игра, знал, что делал.” Тогда солдат подошел к ним и сказал выигравшему: “Отдай все, не то застрелю на месте как собаку!”

Из Куйбышева до Харькова мы ехали в товарном вагоне “сборного” поезда еще с несколькими семьями. В торце вагона были двухъярусные нары, и нам досталось одно место на нижних для нашего трехмесячного младенца. Меня укладывали вместе с ним. В обычное время до Харькова можно было бы доехать поездом за 14 часов, а мы добирались почти целую неделю. Как справлялись с младенцем, не помню, было очень грязно, не хватало воды, но мама и тетя Аня все силы посвящали малышу, и он, кажется, не болел.

Путь занял так много времени потому, что поезд останавливался часто, почти что на каждой станции и полустанке, и надолго. Но было для нас в этом и преимущество. Если на станции была вода, мама и тетя Аня выходили с ребенком, мыли его и быстро простирывали пеленки. Да и походить и подышать было в охотку: в вагоне можно было только стоять, держась за что-нибудь, или сидеть на полу. Все поезда в то время подолгу стояли на остановках. Ждали проверки путей, которые после боев и бомбежек были в плохом состоянии; ждали пополнения воды и топлива для поезда. На одном разъезде около Воронежа стояли особенно долго. Брат Миша и еще несколько мальчишек отошли немного от поезда в поле. К счастью, за ними шел один демобилизованный фронтовик. Брат остановился, нагнулся над чем-то и сказал: "По-моему, это снаряд." Фронтовик быстро подбежал, глянул вниз, схватил брата и отшвырнул его в сторону поезда. Остальные ребята остановились. Фронтовик закричал: "Не подходить, ничего не брать в руки! Это смерть! Здесь полно невзорвавшихся снарядов и мин." Он пошел доложить начальнику поезда.

Во время этого долгого пути я была совершенно счастлива: смотрела в открытую дверь вагона (окон не было) и наслаждалась убегающими картинами новой для меня, после Казахстана, природы. Долгие стоянки нравились мне, потому что можно было гулять вдоль поезда и с удовольствием вдыхать новые запахи земли и растений, и даже запах паровоза и дыма нравился мне. И нравились женщины на маленьких станциях, подносившие к поезду фрукты и овощи, которые я отказывалась есть, но любила рассматривать.

РОДНОЙ РАЗРУШЕННЫЙ ХАРЬКОВ

Харьков встретил нас руинами и комендантским часом. В городе можно было встретить почти одних только женщин, стариков и детей. Мужчины попадались крайне редко – демобилизованные военные, в большинстве инвалиды.

Радио уже работало – такое же, как в эвакуации: конусообразная тарелка из плотной черной бумаги. Она еще долго нам служила. Каждый день на украинском языке объявляли о наступлении темноты и напоминали занавешивать окна: "Горомодяны, тэмние" – "Граждане, темнеет", – напоминал радиодиктор серьезным, взволнованным голосом, запомнившимся на всю жизнь. Город погружался в полную тьму.

Отец получил квартиру напротив того дома, вернее, двора, где мы жили до войны на Ивановской улице. Теперь мы жили на третьем этаже, в угловой квартире с полукруглым балконом вокруг угла.

Электричества не было. Вечерами и зимними утрами жгли коптилки – фитилек, опущенный в бутылочку или баночку с керосином, поддерживаемый металлической пластинкой с маленькой трубочкой в центре для фитиля. Одежду мать шила из тряпья, которое покупала (или подбирала выброшенное) на толкучке. Не было не только электричества, но и всех остальных удобств. В квартирах многоэтажных домов строили печи, и трубы выводили в форточки. Воду приносили из колонок, которые часто были далеко от дома. Один туалет на весь многоквартирный дом стоял во дворе. Эти туалеты сооружались по типовым проектам тех времен, когда до ватерклозетов человечество еще не додумалось. Зимой поход в туалет был весьма опасным предприятием, так как убирать было некому и туалеты стояли обледеневшие; летом в них невозможно было войти.

Через месяц после возвращения в Харьков меня записали в школу, в первый класс. Школа была на Клочковской улице. Тогда это было единственное многоэтажное здание на всей улице. Улицу к 1944-му году прибрали. Но воды и туалетов в 1944-45 учебном году в школе не было. Зимой в классах сидели в пальто. Из 45 учениц первого "А" класса отцы были живы только у 18…

Это был первый год, когда школы разделили на мужские и женские. Старший брат пошел в шестой класс мужской школы. Младший брат со своими большими серыми глазами и кольцами русых волос становился все более похожим на ангелов с немецких открыток, которые стали приходить из Германии.

Вслед за нами стали возвращаться из эвакуации и наши родственники. Пока не находили жилье, все останавливались у нас. Спали на стульях и на полу. Для спанья на стульях требовались выдержка и некоторое удальство, так как стулья были весьма разных "луев" и почти все сильно шатались.

Но было тепло от узнавания родственников, от проявлений их привязанности и ласки, от их воспоминаний, юмора и разнообразия характеров, от чувства защищенности в большом клане.

Война продолжалась, но исход ее становился все более близким и обнадеживающим.

Галина Курляндчик

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ

(Записки для своих)

Если все, с чем нельзя смириться,
Сделать песней или рассказом, —
Перелитая в строгую форму
Боль от сердца отхлынет сразу...

Маргарита Алигер

В 2008 году я случайно нашла спасение от боли, с которой каждый раз возвращаюсь из Москвы в Калифорнию. Записки об увиденном и пережитом в России помогли и в дальнейшем обрести равновесие, превратились в терапию. Перед вами мой второй рассказ из серии «Записки для своих».

РОССИЙСКИЙ ПАЗЛ

Москва, Новосибирск. Лето 2009 года

Введение

Я летела из Москвы в Сан-Франциско в начале сентября и пыталась разобраться, на что были похожи последние три месяца мой жизни. И вдруг поняла: пазл! Да, пазл. Не ровные кубики, из которых я собирала в своем детстве картинки, не лего, которое любили мои дети и обожал старший внук, а пазл, который сейчас собирают внучки. Именно из таких неровных по форме и по эмоциональной окраске фрагментов складывалось мое лето в общую картинку.

И, конечно, пазл был «российским», но не «русским», так как он складывался в общественном пространстве России 2009 года. «Русский», с одной стороны, имеет более широкое значение (много «русского» мы можем найти в любой части света), а с другой, — означает и более конкретные понятия, как, например, в названии первого фрагмента пазла.

ФРАГМЕНТ 1

Русская словесность из окна
московского троллейбуса. Начало

«Словесность» как школьный предмет преподавалась, когда в школе ещё учился мой папа. Его учительница, будучи бывшей преподавательницей этого предмета в Елизаветинском Институте благородных девиц в Москве, советских школьных предметов «русская литература» и «русский язык» не признавала. Моя внучка сейчас тоже изучает в школе «словесность». Но я хочу рассказать не о школьном предмете, а о другом явлении.

«Словесность – творчество, выраженное в слове (как устном, так и письменном)» – первое определение этого слова в толковом словаре. Для меня такое словесное творчество – это всевозможные названия, вывески, рекламы, которые бросаются в глаза, когда передвигаешься наземным транспортом по Москве и по другим городам и дорогам России. В Москве первые дни я пользовалась в основном троллейбусом. Именно из окна троллейбуса и были получены эти яркие впечатления, ведь они увидены человеком, отсутствовавшим в России какое-то время; внимание постоянных жителей эта «словесность», вошедшая в обычный пейзаж городских улиц, не столь притягивает.

Поскольку слово «пейзаж» уже появилось, то здесь я прервусь на «лирическое отступление».

ФРАГМЕНТ 2

Пейзажно-лирическое отступление

Первые впечатления от России в начале июня – пейзажные. Зелёная дорога из аэропорта «Домодедово» до Кольцевой дороги, затем по Купавенскому проезду с шоссе Энтузиастов вдоль Измайловского лесопарка, мимо Лебедянского пруда к Измайловскому и Сиреневому бульварам. Бульвары и соединяющие их Парковые улицы поразили своей не городской, а скорее деревенской буйной растительностью. Газоны еще никто не постриг, кусты тоже. Природа ожила и брала своё в полную силу. Этим летом главную красоту создала сирень. Говорили, что так пышно она не цвела уже много лет. Да и само название «Сиреневый бульвар» связано с тем, что неподалеку от начала улицы (между бульваром и Щёлковским шоссе) находятся сиреневый питомник и сад, а вдоль самой магистрали посажены кусты сирени. Не тронуть мои глаза и душу это не могло. Мне казалось, что я попала даже не в Москву, а в подмосковную усадьбу лет эдак сто назад, словом прямо в «Серебряный

век».

Молодые дубки, березы. Сирень и романтическая, и гордая, полная собственного достоинства.

ФРАГМЕНТ 3

Русская словесность из окна московского троллейбуса. Продолжение

Итак, я еду в троллейбусе и пытаюсь разобраться в смысле новых для меня названий бизнесов, возникших во время российского бума рыночной экономики. Многие говорят сами за себя, некоторые намекают, а кое-какие явно кричат. Делю их по назначению. Прежде всего то, что мне наиболее актуально.

Моя мама попала в больницу по скорой в ночь моего приезда. Переволновалась, переработала в преддверии моего визита, в результате – гипертонический криз, с которым даже скорая не справилась; маму увезли в кардиологическое отделение 36-й городской больницы. Поэтому, главное сейчас – аптеки. Их много, даже есть сети аптек, видимо, имеющих разных владельцев: «Сердечко» (заботливо), «Стар и млад» (солидно), «Старый лекарь» (доверительно), «36-6» (остроумно), «Будь здоров» (наглядно), «Здоровье» (просто и понятно), «Таблеточка» (почему-то повеяло наркотиками). А вот чем они отличаются друг от другу, непонятно. Названия разные, а ассортимент и цены?

Дальше – супермаркеты, универсамы, продовольственные магазины. Их тоже много разных, тоже сети. Замечаю супермаркеты: «Седьмой континент», «Город изобилия», «СамБери», «Азбука вкуса», «Покупай» (в народе «Покупайка»), «Пятёрочка» и «Копейка» (видимо, дешёвые), «Лукошко» (продукты), «Станем друзьями» (универсам), «Снежинка» (продукты), «Ням-ням» (доходчиво), «Квартал» (какое доверительное название для жителей своего квартала! Мой папа любит этот магазин). Супермаркеты «Сирень» и «Ландыш». Названия рассчитаны на нашу сентиментальность. А вот от «Магнолии» веет чем-то южным, притягательным. «Свежий» – магазин продуктов. Почему-то настораживает, как-то двусмысленно.

Смотрю ещё: «Разлив» – магазин свежего разливного пива; «Живое пиво». Эти легко пропускаю. Киоск «Пирожки из печки». Беру на заметку. Все может быть, вдруг проголодаюсь по дороге. А вот и торговая галерея «Семеновская слобода» на Семеновской площади.

«Дочки-сыночки» – магазин для новорожденных и дошкольников. У меня двухлетняя внучка. Надо запомнить это место. «Почемучки» – это тоже детские товары.

«Перестройка», «То, что надо!» – магазины стройматериалов. Сейчас мне не до ремонта. «Кухнеград» – любопытно. «Тёплый дом» – отопительные приборы. Всё может быть. «Хозяйки» – все для дома. «Всё, что надо» – хозяйственные товары. «ТвойДоДыр» – для дома, «Антураж». Эти могут пригодиться.

Кафе, бары, рестораны: «Благуша», «Лакомка», «Замок встреч» (очень двусмысленно – Дом свиданий или Замок Синей Бороды?), «Голодные утки», «Парковка», «Ясный перец», «Вкуснятина», «Вкуснолэнд», «Кофемания». Вряд ли зайду, просто не будет времени. «Якитория», «Япономама», «Япоша», «Покорители суши» – рестораны японской кухни. Похоже, японская кухня пользуется большой любовью у москвичей. Хотя есть и другие: «Хивинская кухня» – ресторан восточной кухни, «Му-му» – ресторан русской кухни, кафе «Менора» – видимо, еврейская кухня. «Малахит» – это, оказывается, не ювелирный магазин, а кафе. Где-то замечаю вывеску: «АнтиКРИЗИСное пивное меню». Не хочу! Кафе «До-Си» – для музыкантов? Кафе «Хлеб насущный». Это всем нужно. Ресторан «Грабли» – это, конечно, по-русски!

«БЭСТ-недвижимость» – агенство недвижимости. Русских слов владельцам показалось недостаточно, надо взять английское «для тех, кто понимает», the best, то есть самое лучшее, то есть для самых-самых. Ну-ну... «Ол гуд» – этим тоже английским язык в русской транскрипции понятней. И думаете, что это «Всё хорошее»? Хозтовары! «Энтузиаст» – спорттовары. Название для спортсменов годится. «Фанат спорта» – спортивные товары однозначно.

«Золотой стиль» – ювелирный магазин. Не до него. Обойдемся легко. Хотя умные люди говорят, что инвестировать надо в золото. Но это для тех, у кого есть что инвестировать.

«Кризис? – Мы справимся!» – реклама мытья окон. Те, кто заказывают мыть окна, вряд ли сильно ощущают кризис. «Кризис – это не беда, у нас низкая цена» – реклама на мебельном магазине.

«Стародог», «Крошка-картошка» – киоски быстрой еды (фастфуд).

Новые троллейбусы с электронной информацией бегущей строкой: время, температура воздуха, дата, название остановок. Это приятно, кто-то заботится обо мне.

Изучаю вывески дальше. «Леди Икс» и «Три толстяка» – магазин одежды больших размеров для

женщин и мужчин. «Шарм» – салон-парикмахерская. «Штирлиц» – трактир! «Очкарик» – оптика. «Фан-фан» – игровой клуб. «Первомайский» – кинотеатр. «Барбос» – зоомагазин (фото собак в витрине). «Гуд-вин» – сеть подарочно-парфюмерных магазинов. «Sela» – магазин одежды из Израиля.

Хватит. Всё равно не запомню все.

ФРАГМЕНТ 4

Русская словесность. Сибирский вариант

На десять дней я летала в Новосибирск. Жила, конечно, в родном Академгородке, но ездила и в Новосибирск, или, как все тут говорят, «в город». Сибиряки не уступают столичным остроумам в своем словотворчестве, чем-то они добродушнее москвичей, а в чём-то – изобретательней. Встречаются вывески с названиями, где всего два слова, либо дополняющие друг друга, либо противоположные по значению. Вот примеры сибирских вариантов, которые я сгруппировала не только по целевому назначению, но и по географическому признаку.

Пример первый: тематические названия. «Просто Ойл» – заправочная станция, понимай: «просто бензин» (видимо, по аналогии с «Лукойлом»). «Skyport Hotel» – гостиница в новосибирском аэропорту «Толмачево». «Просвет» – строительная компания. «Стук-стук» – двери, полы. «Товарищ» – автозапчасти. «Квартирный вопрос» – сантехника. «Крепёж-маркет» – хозяйственный магазин. «ЛЕНТА. 24 часа» – гипермаркет. «МЕГАС» – супермаркет. Слово «маркет», похоже, очень полюбилось сибирякам.

Пример второй: названия, определяющие местонахождение. «Золотая роща» – магазин в Академгородке, построенный в Золотой Долине, «Матвеевский» – магазин продуктов по дороге из Академгородка в Новосибирск в поселке Матвеевка, «Горожанка» – универсам в Новосибирске, «Подорожник» – кафе на шоссе между Новосибирском и Академгородком.

Пример третий: сибирский юмор. «День-ночь» – не поняла, то ли кафе, то ли продуктовый магазин, то ли.... «Вилка-ложка» – ресторан, «5NIZZA» – ресторан. Знай наших! «UNO Ristorante» – кафе в центре Новосибирска. Понимай как «Единственный ресторан», то есть единственный в своем роде, а проще – уникальный. Согласна. Хороший итальянский ресторан в центре Сибири – конечно, уникален. Uno! «Простокапитал» – банк или финансовая компания. Одним словом – просто и доходчиво. «Мой банк» – новосибирский банк. Доверительно. А в продолжение финансовой темы: «С продуктом от «Толстяка» кризис пролетит незаметно» – реклама на автобусе. Это реклама пива. Вполне по-русски «заливать» проблемы алкоголем.

«ZACHISTOTU.RU» – урны в Академгородке. «Чистый город» – тоже урны с таким названием. Любят сибиряки свой город, это приятно.

И, конечно, все, кому небезразлична история Академгородка, не пропустят новое кафе «НИИ КУДА». Это спустя сорок лет над таким названием и в новом месте на улице Терешковой возобновил работу знаменитый клуб «Под интегралом», который в 60-е годы был символом «Хрущевской оттепели».

ФРАГМЕНТ 5

«Земля в иллюминаторе», или полёты «наяву». Воздушное отступление

Полёт первый. Одиннадцать часов из Сан-Франциско до центра Европы. «Полётов во сне» не получилось. Не умею я спать в самолетах, поэтому все полёты были «наяву». Рейс из Сан-Франциско во Франкфурт был ну очень «международный», то есть абсолютно интернациональный по составу пассажиров. По-моему, на борту были представители всех континентов. Арабы и евреи, поляки и немцы, индусы и китайцы, чернокожие и белые, желтые и коричневые, в чалмах, в парандже, в кипах, в шляпах, в платках, в золоте и люриксе, в кроссовках и ветровках и т.д. и т.п. Например, в моем среднем ряду нас сидело пять женщин: белая американка, я, полячка, индуска и черная дама из Конго. Перед нами сидела семья арабов с младенцем, слева, похоже, скандинавы, дальше китайцы. Справа – пожилая французская пара. Всех, конечно, не помню.

Полет второй. Во Франкфурте пересела на рейс до Москвы. Там были уже и соотечественники, но все же преобладали иностранцы, спешащие в Москву и по делам, и на отдых, и просто на пересадку на рейсы уже в свои страны. Запомнился немец с лаптопом, сидевший передо мной через проход, изучая изображения пульсирующего головного мозга. Картинки казались мне страшноватыми. Видимо, этот пассажир был врачом-нейрохирургом. Хорошо, что полёт длился всего три часа.

Полёты третий и четвертый. Землю в иллюминаторе видела только в полётах из Москвы в Новосибирск и обратно. Четыре часа полёта показались такими короткими, устать не успела. С удовольствием смотрела на землю: нити дорог, блюдца озёр, ленты рек, темно-зелёные пятна лесов и рощиц, светло-зелёные квадраты полей, игрушечные крыши поселковых домиков. Простор, красота, умиротворение и радость от увиденного.

А еще хочется сказать добрые слова об

авиакомпании «S7» (бывшая «Сибирь»). Весёлый зелёный цвет самолётов, элегантная форма экипажа, интересное оформление интерьеров, прекрасное обслуживание – за последние годы это была единственная авиакомпания, которая вызвала положительные эмоции: А какие красивые стюардессы! И еду приносили хорошую в своих зеленых коробочках. Спасибо, сибиряки!

ФРАГМЕНТ 6

Русская словесность из окна московского троллейбуса. Окончание

Очевидно, что новое словотворчество в русском языке волнует не только меня, так как, вернувшись в Калифорнию, с интересом нахожу ссылку в интернете: «Минобрнауки готовит к изданию словарь новых русских слов», то есть уже в следующем году Министерство образования и науки намерено издать нормативный словарь, в котором будет собрано около 25 тысяч слов и выражений, вошедших в русский язык в начале XXI века.

Примечание 2013 года В этом году я привезла из Москвы новую книгу на тему русской словесности: *Максим Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва. 33D (+CD-ROM). Москва, издательство Астрель. Corpus, 2013.* Автор много внимания уделяет словотворчеству, рекламе, влиянию английского языка и Интернета на современный русский язык. Читала с интересом и находила в книге мысли, схожие с моими.

ФРАГМЕНТ 7

Спасибо, доктор!

В прошлом году я много рассказывала о медицине в Москве. Главное в тех заметках была боль от пережитого, вызванная вовсе не уровнем медицины, а вмешательством «человеческого фактора», вернее фактора «нечеловеческого». В этом фрагменте мне хочется привести несколько более «человеческих» примеров и рассказать о докторах и ситуациях, где пациентами были мои родители.

Напоминаю. Мама накануне моего приезда попала с гипертоническим кризом в 36-ю городскую больницу Москвы, в 1-е кардиологическое отделение. Прихожу к ней в часы посещения. Она усталая, перепуганная. Палата на шестерых. Туалет в конце коридора. И это – кардиологическое отделение, где лежат тяжелобольные, в большинстве своем, пожилые люди. Врачи есть, медицинские сестры есть, а сиделок нет. То есть ухода за больными в больнице не предусмотрено. Есть, правда, палаты на двоих. Там, наверное, лежать полегче. Но выясняется, что эти палаты особые. В них – один тяжелобольной, как правило, после инфаркта, а второй, якобы не «тяжелый» ухаживает за «тяжелым». Чтобы вызвать медсестру, нужно стучать в стену. Этот вариант нам, само собой, не годится, так что мама остается в шестиместной палате до выписки. Коммерческих палат, которые сейчас бывают в некоторых городских больницах, здесь тоже нет. Таковы внешние условия в отделении. А внутренние? Собственно говоря: кто здесь работает? Знакомлюсь с маминым лечащим врачом Игорем Вячеславовичем Рихтером. Милый, молодой симпатичный блондин, но главное – он ДОКТОР. Это чувствую с первого взгляда, с первой его фразы, обращенной ко мне, потому что не я за ним бегала, а он, увидев меня в коридоре отделения, спросил о том, кто и что меня волнует. А ведь он был после ночного дежурства, как я знала, но явно посчитал, что до того, как уйти отдыхать, он должен успокоить хотя бы одну взволнованную родственницу пациентки его отделения. Он сразу назвал мамин диагноз, примерный срок лечения в их отделении, пообещал, что обязательно подберет ей к выписке необходимое лекарство на будущее и т.д. Никаких просьб ко мне не было, сказал, что все необходимое для обследования и лечения в отделении есть. Потом я узнала от мамы и ее соседок по палате, насколько он внимателен к каждой из них. Я поняла, что у них от одного его вида, внимания, успокаивается сердцебиение, снижается высокое давление и появляется надежда. Он, действительно, подобрал хорошее лекарство, мама ему поверила.

А недавно я опять вспомнила 36-ю городскую больницу Москвы. Там сейчас лежит журналист Олег Кашин, избитый какими-то подонками. Надеюсь, что его там поставят на ноги. Есть еще доктора, встречи с которыми не только принесли физическое облегчение, но и внушили уверенность в том, что бывают доктора-маги. Вот таким магом я бы назвала Тимура Михайловича, окулиста-протезиста в Центре глазного протезирования. Тимур Михайлович – высокий брюнет с манерами аристократа (в смысле воспитания, а не высокомерия), с мягким голосом. Судя по его обхождению со своей постоянной пациенткой, моей мамой, он не только ее лечит (уколы в глаза – дело тонкое), но и передает ей свою энергетику. На явное желание доктора помочь как можно лучше душа больного, а затем и его тело, реагируют положительной динамикой. Второй доктор в этом Центре, Виктор Васильевич, тоже кудесник, но мама – больная Тимура Михайловича, поэтому и речь в основном о нем. Спасибо за маму, Тимур Михайлович. Еще готовясь к поездке в Москву, я прикидывала, на что в первую очередь нужно обратить внимание. Я была уверена:

маме пора к кардиологу, что и подтвердилось в день моего приезда. Папа уже давно серьезно не лечил астму, и, видимо, пора было ее лечить. Так и случилось. В середине лета ему стало хуже, участковый доктор дал направление в аллергологическое отделение 57-й городской больницы. Папе приходилось лечиться и в госпитале имени Бурденко, но после того, как однажды с тяжелым приступом астмы он попал по скорой в это отделение 57-й больницы, он больше нигде лечиться не хочет. Отделение сотрудничает с кафедрой аллергологии одного из Московских медицинских институтов. Видимо, медицинский персонал здесь внедряет новые методы диагностики и лечения. Да и этот корпус относительно новый: боксы на две палаты с туалетом и душем, палаты на двоих. Врачи меняются, а заведующая отделением Изабелла Ефимовна Фурман всегда на месте. И я знаю, что ей папу можно доверить. Помогают они и на этот раз. Года на два ему этого лечения хватит.

Спасибо, доктор!

ФРАГМЕНТ 8

Образы и образчики

Речь, конечно, пойдет о религии. Россияне очень изменились в своем отношении к религии за последние пару десятилетий: восстанавливаются старые и строятся новые храмы, руководители страны в первых рядах на молебнах и религиозных праздниках в Храме Христа Спасителя и т.д. Но сейчас хочется сказать о том, что просто бьет по глазам, от чего возникает то недоумение, то раздражение, а порой, просто обида за истинно верующих людей, но не религиозных фанатиков, конечно.

Образ – икона, образец – пример, а образчик – это пренебрежительное от слова «образец». Корень у слов один. Пытаюсь понять, где все же «образ» – истинный, а где и не «образ» вовсе, а какой-то «образчик». Да простят меня истинно верующие. Им предписано прощать. Если люди истинно верят (примеров знаю много), то это прекрасно и для них, и для окружающих. А вот когда на каждом шагу видишь коммерцию от религии, то невольно думаешь: ну зачем же так «всуе»? Бесчисленные киоски с религиозными атрибутами в метро, на улице совсем не влекут к Богу, так как в том же ряду торгуют и бельем, и овощами, да и вообще чем попало, поэтому такая торговля вряд ли кого-то наставит на путь истинный. Другое дело – Храм. Около Храма те же иконки, крестики, молитвенники все же, на мой взгляд, несут больше духовности, да, пожалуй, и качество изготовления этих предметов другое. Хочется верить, что люди, которые их создают, копируют и распространяют, получают на это дело благословление от священника и делают это с Богом в сердце.

Вижу в окно из своего дома: женщина идет по двору и крестит перед собой машины, крестит неистово, демонстративно (когда что-то делается демонстративно, всегда настораживает: а искренне ли?). Потом открывает одну из машин, садится на водительское место и уезжает. Вся эта сцена выглядит совершенно нелепо. Что это: образ или образчик? Я не поняла, осталась в недоумении. У многих водителей в салоне висит иконка. Это для меня тоже ново.

А молодежь в своем большинстве носит крестики. Мне это напомнило, как во времена моего детства носили значки ГТО (кто забыл или не знал: «Готов к труду и обороне» (ГТО) — *программа физкультурной подготовки(...) в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодежи. Существовала с 1931 по 1991 г. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет.) (Википедия).* Так вот что просто витает в воздухе: быть патриотом в России в наши дни – это демонстративно носить крестик на шее, чтобы общество тебя не заподозрило в непатриотических настроениях. Если не православный – значит, подозрительный, как бы и не патриот России вовсе. Если ты без креста, то тебе выносят приговор – НЕ НАШ. Я это просто почувствовала.

ФРАГМЕНТ 9

«Лица нерусской национальности»

Пожалуй, вернусь к словесности. На этот раз речь пойдет про объявления, расклеенные у входов в подъезды, досках объявлений и просто на столбах. Читаю: «Русская семья (русский/русская) снимет квартиру...», «Славяне (вариант – славянская семья) снимут....», «Сдам квартиру (комнату) русским». Я постоянно чувствовала унижение, читая эти объявления.

В доме, где живет семья моей дочери, дворник Саша явно из какой-то бывшей среднеазиатской республики СССР, то есть из ближнего зарубежья, говоря сегодняшним языком. Он хорошо говорит по-русски, то есть, по возрасту, в школе он уже не учил русского языка, а в семье или в окружении явно имел разговорную практику. Саша постоянно в работе. Двор, заборчики, газон, клумбы в идеальном порядке. А Саша всегда улыбается, здоровается, он – большой друг нашей младшей внучки. Дети всегда чувствуют доброту.

Мы с папой иногда заходим в магазин

«Снежинка», где рабочий-узбек всегда радостно кидается к моему отцу с приветствием: «Отец!» и всегда готов помочь пожилому человеку.

Еду с друзьями в маршрутном такси, где шофер «лицо кавказской национальности». Он постоянно останавливает маршрутку и звонит по мобильному телефону, разговаривая на своем родном языке. Похоже, он просто не знает маршрута. Одна из пассажирок делает ему замечание, на которое он реагирует бранью и оскорблениями в адрес местного населения, называя нас всех алкашами, невеждами, хамами и пр. Ужас! Хорошо, что нам уже выходить. Мы все, а среди нас были и россияне, и бывшие россияне, живущие теперь в разных странах, чувствуем себя оплеванными. Это «лицо» явно купило себе автомобильные права, работу на маршрутке от своих же «лиц».

В ближайшем от нашего дома продовольственном магазине хозяева – азербайджанцы. Три отдела – овощной, гастрономический и напитки. Там работают каждый день с 8 утра до 10 вечера без перерывов и выходных одни и те же три женщины-продавщицы. Все они – приезжие, а не москвички. Иногда они на неделю-две уезжают в отпуск навестить семьи. Наташа, которая работает в овощном отделе, из Ростовской области. Недавно выдала замуж дочь, то есть сама уже не юная особа. Наташа, приветливая красавица, работает ловко и быстро, сама таскает тяжелые ящики с овощами и фруктами. Она очень дорожит своим местом, дома так заработать не может. Прекрасная русская женщина-казачка, которая «коня на скаку остановит», работает на предпринимателей с Кавказа. Вот так повернулась ее судьба, они как-то уживаются.

Еще один примерчик. Приехала на метро из театра, подхожу к машинам, которые выстроились у метро в ожидании клиентов. Сажусь в первую. За рулем – молодой азиатский парень, который ни слова не говорит по-русски. Показывает мне написанный на картоне прейскурант цен по направлениям. Цены я знаю, все совпадает. Жестами показываю, куда ехать, куда повернуть. Доехали благополучно.

Все это сложно. И им, приезжим, и нам, местным (они же думают, что я москвичка, да и в Москве я ведь живу со своей семьей). Поэтому, когда в декабре 2010 в Москве случились межнациональные стычки, дочь рассказала, что и в метро страшно было спуститься из-за беспорядков, и машины, дежурившие у метро, все исчезли. Они ведь тоже боялись...

Однажды слышала радиопередачу на «Эхо Москвы» с членами Общества иммигрантов в России. Тема болезненная. Люди из разных стран живут в России уже и по 20 лет, и никуда уезжать не собираются. Иммигранты пытаются помочь друг другу.

Никаких обобщений не делаю. Каждый сам разберется в силу своих убеждений и своего разнообразного опыта.

ФРАГМЕНТ 10

Московский дворик

Дворы в Москве летом, в своем большинстве, ухоженные, чистые, с детскими площадками, клумбами, цветами. Уже весной оградки, скамейки, качели, горки выкрашены свежей краской. У некоторых домов разбиты настоящие палисадники. Эти палисадники, конечно, дело рук жильцов-энтузиастов. Все любуются. Это радует.

Лето – дачная пора, поэтому маленьких детей на площадках немного. Их по традиции москвичи стараются вывезти на дачи. А вот подростки, молодежь и любители выпить – тут как тут. Они-то и оккупируют под вечер детские площадки, лавочки во дворах. Если лавочка со спинкой, то компания молодежи садится на спинку, а ноги ставят на сидение. От их компаний несется шум, нецензурная брань, а после их ухода вокруг лавочек валяются пустые бутылки, банки, окурки, хотя рядом стоят урны. Сидения лавочек, естественно, грязные. (Последние годы повсеместно стали устанавливать лавочки без спинок. Видимо, хозяйственные люди устали от «беспредела лавочников».) Дворникам, в большинстве, таджикам, всегда есть работа после вот таких «культурно отдыхающих» во дворе жильцов, а часто и не жильцов данного двора, а просто пришедших сюда провести время забулдыг. Это, как вы догадались, не радует.

Постоянные обитатели московских дворов – пенсионеры. Иногда со двора они перемещаются на бульвары. Пожилые люди парами, пожилые люди с палочками. Их, похоже, никто на дачи не вывозит. По дворам, по бульварам, где пенсионеры отдыхают на лавочках, ходят коммивояжеры (мужчины и женщины). Торгуют книгами, различными медицинскими приборами. Старички иногда покупают. Приборы себе, книги в подарки внукам и правнукам. Самим им до магазинов не добраться, да и растеряются там от обилия ассортимента. А тут выбор небольшой, да и продавец охотно расскажет все достоинства своего товара.

Очень много в московских дворах и на бульварах также собачников с собаками. Иногда даже по две-три у одного на поводках. А соседка по подъезду собирает всех бездомных кошек. К ней в квартиру, наверное, страшно зайти. Запах стойкий. Хорошо, что

она живет несколькими этажами выше нас.

В некоторых дворах стоят старые привычные голубятни. Голубей все также много, наверное, не одно поколение голубиных стай сменилось за последние десятилетия. А вот голубятники – все те же, уже очень не молодые, но, как прежде, увлеченные. Ни мальчишек, ни молодежи среди них не видно. Похоже, что голубятникам просто некому будет передать своих питомцев, когда эти немолодые люди уже не смогут подниматься по шатким и крутым лесенкам на голубятню. Некоторые пенсионерки специально покупают в ближайших магазинчиках крупу на корм голубям. Одну такую женщину я встречаю каждый день во дворе, и она всегда с кормом.

Достопримечательностью нынешнего двора являются и мусорные контейнеры. Места для контейнеров оборудованы хорошо. Не это поражает. Дело в том, что контейнеры каждый день переполняются строительным мусором. Похоже, что ремонтируют квартиры и офисы просто все подряд. Это наводит на мысль, что раз ремонтируют, то деньги есть, значит, экономический кризис не так уж силен.

Словесность и во дворе чувствует себя по-домашнему. На асфальтированных дорожках, под окнами можно прочесть ничем не смываемые сообщения: «Дорогая, спасибо за сына (дочь)!», «Мой ангел! Вернись ко мне!», «Катерина! С днем рожденья любимая!»

Но все же **главным** в сегодняшнем московском дворе является автомобиль. Машины занимают все дорожки, тротуары, каждый свободный кусочек пространства. Московские автомобилисты ювелирно паркуют свои «Тойоты», «Опели», «Мазды», «Шевроле», «Форды», «Кийи», «Ниссаны», «Хонды», «Фольксвагены», «Мерседесы» и «Жигули» вплотную друг к другу. Кажется, за рулем сейчас все, кто никогда об этом и не думал. Несколько соседок, женщин предпенсионного и уже пенсионного возраста, у которых мужья за рулем давно, тоже приобрели красивые маленькие «женские» машинки и теперь не зависят от мужей. Вот и получается, что во дворе стоят две-три машины, хозяева которых живут в одной квартире. Словесность и тут нашла себе место. «Опель» под окном у соседа взывает к коллегам-автомобилистам надписью на заднем стекле: «Дороги хватит на всех!» А другому соседу друзья на день рождения прикрепили к его автомобилю металлическую надпись «Михалыч». Выглядит как марка автомобиля. Сосед рад. А в соседнем дворе такая надпись на бампере: «Христос хранит тебя в пути».

Но у меня в Москве автомобиля нет. Моя «Мазда-3» ждет меня в Калифорнии, а я, лавируя между автомобилями, бегу к метро.

ФРАГМЕНТ 11

Московское метро

У каждой станции метро располагаются киоски с прессой: «Коммерсантъ», «Биография», «Вокруг света», «Красота и здоровье», «Караван историй», «Туризм и отдых», “In Style”, “OK!”, “Elle”, “Sur la terre” («Роскошь без купюр»), “Weekend” (Коммерсантъ). Пассажиры метро читают все это, а также книги – Анны Гавальда (модная французская писательница), Натальи Александровой (популярные детективы), молитвенники, журналы – «Фитнес» «Здоровье», «Огонек», «Наука и жизнь», «Криминал», «Тайны звезд (Ваш антикризисный журнал)», фэнтэзи, глянцевые журналы, газеты – «Московский комсомолец», «АиФ», учебники-пособия: иностранные языки, компьютерные игры, и т.д. Читают! Все еще читают! Это радует. И это – главное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно, я назвала и описала не все фрагменты моего российского пазла. Их было очень много. Была конференция в Академгородке, куда съехались из разных городов и стран люди, с которыми связаны годы совместной работы, совместных радостных и печальных событий. Были там и общения с сыном, внуком, близкими и старыми верными друзьями. В Москве были мамин мастер-класс по вышивке лентами в Центре социальной помощи (аналог американских «садиков» для пожилых людей), выставка маминых вышивок в галереи «Измайлово», посвященная Дню города. Были посещения театров, музеев, парков и прогулки по Москве с внучками. И несмотря на то, что не все фрагменты моего российского пазла оказались радостными, хочется верить в хорошее... Ведь там, в России, моя семья.

Александр Трегуб

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Ироническая автобиография

«…Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины… – Вы созданы природой для служения науке, – говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

…Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика…»

А.М. Горький

Идея создать всеобъемлющую автобиографию под этим неоригинальным названием родилась у меня в 1995 году в Сан-Диего. Алексей Максимович, правда, прибегнул к аллегории. Мои же университеты были реальными учебными или академическими заведениями и стали источником как ценного опыта в науке (в отличие от горьковских), так и бесценных жизненных уроков (подобно горьковским).

В 1995 году я думал отложить написание автобиографии до времени поближе к пенсии, предполагая, что в моей жизни будет еще не один университет. Но оказалось, что University of California San Diego (UCSD) стал моим единственным университетом за последние 18 лет, и других пока не предвидится. Поэтому я решил, что время подводить итоги университетского опыта наконец настало, а если новые университеты еще появятся в моей жизни, можно будет издать дополнение к автобиографии.

К 1995 году мой университетский стаж включал в себя работу в трех академических институтах Украинской Академии наук в Киеве, одном университете в Израиле, одном в Германии и двух в Америке. Такой большой и разносторонний опыт давал мне заманчивую возможность не только зафиксировать свидетельства слабеющей памяти, но, как и положено ученому, провести детальный сравнительный анализ университетов разных стран.

Начнем с Академии Наук в Киеве. Функция этих заведений в Советское время и мотивы, побуждавшие людей работать в них, были не слишком понятны даже в те далекие исторические времена. В Академии Наук работали разные люди: инженеры, принявшие маленькую зарплату в обмен на относительную свободу; уже защитившиеся научные сотрудники; молодые выпускники ВУЗов, стремящиеся сделать первый шаг в научной карьере – защитить кандидатскую диссертацию; и даже немногочисленные энтузиасты, готовые бескорыстно служить науке... Сама по себе защита прибавки к \зарплате не гарантировала, но давала право на участие в конкурсе на вожделенное звание старшего научного сотрудника (с.н.с.). С.н.с-у, помимо красивого диплома кандидата наук, уже полагалась вполне солидная зарплата, сопоставимая с зарплатой хорошего токаря/слесаря из институтской лаборатории. Весь процесс для экспериментатора занимал в среднем лет 8-10. Теоретикам, которые сами экспериментов не ставили, а паразитировали на данных трудолюбивых экспериментаторах, хватало и 5 лет.

Защита открывала две широкие научные перспективы: наконец-то расслабиться и спокойно жить на зарплату с.н.с-а, или же, наоборот, немедленно начать работу над следующей степенью – доктора наук.

Мне до сих пор интересно, какую из двух вышеописанных перспектив выбрал я сам. Но выбирать так и не пришлось, потому что ко времени моей защиты открылась совершенно новая, революционная перспектива – эмигрировать сразу после защиты, что и было сделано. Хотя, вероятно, еще более удачным вариантом могла бы стать эмиграция до защиты, но это нестандартное решение как-то не приходило мне в голову, – что, кстати, очень плохо говорит о моих научных способностях, поскольку наиболее значительные научные открытия совершаются учеными, способными мыслить нестандартно.

Как бы то ни было, моя подготовка к защите проходила параллельно с подготовкой к отъезду, причем некоторые их фазы удивительным образом совпадали. Например, для защиты требовались отзывы на реферат диссертации, а для эмиграции – вызовы из Израиля. Два процесса настолько переплелись в моем сознании, что как-то на вопрос секретаря Ученого Совета, как идут дела с отзывами, я уверенно ответил, что дела идут замечательно, и уже получено два вызова. (Один – от подложного дяди жены из Тель-Авива, а другой – от ее настоящего родственника, хотя в эти детали я секретаря уже посвящать не стал и, может быть, напрасно – настолько он был заинтригован моим ответом). Подготовка к отъезду также повлияла и на окончательную тему диссертации: мой научный руководитель (блестящий ученый и талантливый

человек, рано ушедший из жизни)[1] предлагал объединить мою основную, но оторванную от практики тему по термоэластике полимеров с работой по трубопроводным покрытиям, которые уже были внедрены в производство. Хотя покрытия не слишком способствовали защите трубопроводов от коррозии, но зато были бы полезны для защиты диссертации на Ученом Совете. Однако на Семейном Совете идея объединения была категорически отвергнута, поскольку включение закрытых изобретений в диссертацию автоматически сделало бы и ее закрытой, а новоиспеченного кандидата – невыездным. Я понял, что, как молодому ученому, мне еще надо серьезно поработать над развитием своих способностей к стратегическому мышлению, и согласился. К счастью, защита прошла успешно и без защитных трубопроводных покрытий.

Моим следующим университетом стал University of Jerusalem. Другая страна, иные порядки, нравы и обычаи, в том числе и в академической среде. Мой путь был предрешен после защиты диссертации в Киеве: в Израиле меня ждала научная карьера. Причем не потому, что израильская наука не могла позволить себе упустить выдающегося советского ученого. Предрешен мой путь был благодаря щедрым пожертвованиям американской еврейской общины на трудовое устройство в Израиле научной алии (эмигрантов) из Советского Союза. Благодаря этим пожертвованиям, любая израильская компания могла нанять ученого-олима на двухгодичную стипендию Министерства Абсорбции. Такое положение дел сразу определяло потенциального нанимателя советских ученых – израильские университеты; для больших компаний маленькое двухгодичное пособие Министерства Абсорбции интереса не представляло, а маленькие компании не хотели платить даже небольшую сумму на покрытие налогов.

В отличие от советских академических институтов, в израильских университетах основную работу выполняли не кадровые профессиональные сотрудники, а старшекурсники, докторанты (аспиранты), пост-докторанты (недавно защитившиеся), или временно приглашенные на работу ученые. В этих условиях профессора, на которых вся эта масса работала, становились непререкаемыми авторитетами – иногда в силу своего опыта в данной области, но прежде всего потому, что они давали деньги из своих грантов и стипендий. Наемные кадры приходили и уходили, а профессора с квиютом (статусом постоянного работника) оставались на своих местах. Стена кабинета моего профессора была увешана традиционными ежегодными фотографиями его маленькой группы, и эта коллекция давала ясное представление о динамике смены поколений в университете. Профессор, всегда в центре фото, был незыблем, хотя с каждым годом немножко старел, а сотрудники вокруг него постоянно сменялись. Но, поскольку Израиль – страна маленькая, отношения там неформальные, обращение на "Вы" отсутствует как таковое, и все всегда готовы отстаивать свое мнение – даже если оно еще не успело хорошо сформироваться – в оживленных дискуссиях с кем угодно, то это неравенство де-юре не особенно бросалось в глаза. Хотя такой повсеместной расслабленной атмосферы, какая существовала в советской академии, в Израиле не было, иногда люди останавливались поболтать о том о сем (дети растут, очередной теракт в Иерусалиме, всех членов Кнессета давно пора гнать в шею), и собирались пару раз в день выпить традиционный кофе и рассказать последний анекдот.

Советским олимам поначалу было трудно привыкнуть к мысли, что, как бы хорошо ты ни работал и каких бы успехов в своем исследовании ни добился, по истечении контракта тебе предстоит искать новую работу. Очевидно, советские люди привыкли мыслить в стратегических масштабах пятилеток и других долгосрочных планов; что касается израильтян, то они, как никто другой, привыкли к жизненной динамике, – динамики в Израиле со времен Саула и Давида было всегда больше, чем достаточно, – и даже один год устроенной жизни их радовал своей определенностью. Мой начальный контракт истекал через два года, поэтому, как человек, еще не проникшийся (в том, что касалось жизненных планов) хладнокровием нормального израильтянина, я стал предпринимать ряд взаимоисключающих шагов за год до его истечения. В итоге мне удалось получить новую стипендию от Министерства Науки на продление контракта в университете и одновременно стипендию Александра фон Гумбольдта от правительства Германии на работу в любом немецком университете по моему выбору. Моим спонсором (academic host) стал профессор Килиан из Ульмского университета, известный специалист в области физики каучуков. Профессор Килиан был человеком неординарной судьбы. Очень энергичный, в ранней юности он успел дорасти до небольшого руководящего поста в организации Гитлерюгенда, воевал на Восточном фронте, попал в плен, работал где-то в Сибири, но выжил, вернулся в Германию, и с тех пор испытывал особо теплые чувства к русским ученым. Думаю, этим во многом объясняется мое везение в получении Гумбольдтовской стипендии,

[1] A. Tregub. Obituary: Professor Valery Privalko, Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, Volume 45, Issue 3, 2006. *Прим. Автора*

хотя мой израильский профессор ехидно утверждал, что стипендию я получил исключительно как тезка великого немца.

Как бы то ни было, моим следующим университетом стал университет Ульма имени Альберта Эйнштейна. В Германии – в первый и последний раз за все время моей университетской карьеры – мне довелось осознать себя значительной личностью. Никакого логического объяснения этому чувству не было: в Германии действовала та же система, что и в Израиле: постоянные профессора, раздающие фонды и стипендии, – и работающие на них временные группы студентов, докторантов и приглашенных специалистов. У меня, правда, была определенная свобода в выборе научной темы и небольшой командировочный бюджет, но это дела существенно не меняло. Просто немцы всегда отличались особым пристрастием и почтением к разнообразным званиям, дипломам и рангам; если вы бывали в Германии, вы должны были обратить внимание на то, с какой гордостью носят свою униформу различные кондукторы и уборщики, или на таблички на дверях квартир, с гордостью оповещающие, что здесь проживает "Дипломированный Инженер Такой-то". В университете ко мне обращались исключительно на "Вы", или "Герр Доктор Трегуб"; при этом для жены "Герра Доктора" использовалось обращение "Фрау Доктор Трегуб" – и это даже не зависело от наличия у фрау ученой степени. Хотя мне всегда казалось, что более точным обращение к фрау, которая сама обладала докторской степенью, было бы “Фрау Доктор Трегуб", или даже "Доктор Фрау Доктор Трегуб". Апогей этой немецкой вежливости был достигнут Профессором Доктором Мартином Пиетраллой во время товарищеской футбольной игры нынешних сотрудников кафедры физики против ее бывших сотрудников. Профессора Доктора Пиетраллу, автора широко цитируемой теории физики каучуков, настолько разозлили мои частые попытки атаковать противни-ка с предписанной мне позиции правого защитника, оголявшие нашу оборону, что он окончательно потерял всякие остатки вежливости и прокричал с противоположного конца поля: "Герр Доктор Трегуб! На какой позиции Вы играете???" Только с большим трудом и по прошествии определенного времени мне удалось поменять это ненормальное обращение на простое дружеское "ты", бывшее в ходу между сотрудниками помоложе. Кстати, эту товарищескую игру мы проиграли с разгромным счетом, и, хотя я знал о высоком уровне футбола – даже любительского – в Германии, мне до сих пор кажется, что в том матче против нас играли не ветераны отдела физики, а ветераны Бундеслиги.

Работа в отделе физики университета города Ульм была организована с немецкой пунктуальностью: два раза в день, ровно в десять часов утра и в три часа дня, все сотрудники собирались в большой конференционной комнате выпить вместе кофе, обсудить новости или просто почитать газету. Ровно в пять работа заканчивалась, и практически все сотрудники покидали университет, исключая приглашенных ученых и Гумбольдтовских стипендиатов из России и Израиля. По пятницам к концу дня в комнате открывали большой холодильник, и оттуда извлекались и распивались купленные вскладчину бутылки пива. Правда, этот педантичный распорядок нарушался во время многочисленных немецких праздников, от 1 Мая до дней разнообразных святых, которые своими страданиями заработали выходной для последующих поколений. Удивительней всего было то, что в оставшиеся от досуга часы работа делалась быстро, споро и эффективно. Возможно, этому способствовало не только немецкое трудолюбие и профессиональное отношение к работе, но и правильное соотношение числа опытных сотрудников и молодых студентов или докторантов. В отличие от израильских университетов, где сотрудники на длительных контрактах были очень редки, в Ульмском университете на каждой кафедре работали ветераны с десятилетним или даже большим стажем, у которых постоянной профессорской позиции не было, но чьи контракты постоянно продлевались. Свою роль играла и жесткая конкуренция на рабочем рынке. По неписанным законам, немецкие компании не принимали на работу докторов наук, защитившихся после 30 лет; подобная дискриминация по возрасту была бы абсолютно немыслима в Америке, но допускалась в Европе. (На моей памяти недавно защитившийся 29-летний парень получил работу в фирме за неделю до своего тридцатилетия и пребывал на седьмом небе от счастья).

В университете поддерживались давние хорошие научные традиции помимо обычных семинаров и дискуссий: раз в год сотрудники снимали на выходные загородную виллу и проводили там выездной научный семинар, абсолютно не связанный с тематикой научных исследований; например, профессор Вильке – второй "полный" профессор на кафедре – читал доклад о философии Канта, докторанты готовили доклады на темы, варьирующиеся от астрономии до художественной фотографии.

Мой академический спонсор, знаменитый профессор Килиан, дорабатывал последние годы перед отправкой на пенсию, но был полон сил, энергии и новых идей. Главная идея состояла в создании универсальной теории термоэластичности

каучуков; теория уже была близка к воплощению, и для решающего прорыва оставалось лишь решить систему из пяти уравнений с шестью неизвестными. Поскольку решение такой системы невозможно в принципе, не отступающий перед трудностями герр Килиан разработал матрицу из десяти параметров, произвольная подстановка которых в систему пяти уравнений приводила к разнообразным решениям. Самые дикие результаты профессор Килиан отвергал, полагаясь на свой здравый смысл; из множества других он выбирал наиболее полюбившиеся ему решения и писал статьи в научные журналы. Таких решений было практически бесконечное множество, поэтому профессор нанимал молодых аспирантов, которые писали компьютерные программы и целыми днями просчитывали уравнения очередного варианта Килиановской теории термоэластичности. Эта деятельность удивительным образом напо-минала работы Эйнштейна по созданию Общей Теории Относительности, так никогда и не завершенной, – с той разницей, что на Энштейна работали талантливые волонтеры, покоренные и вдохновленные магией его имени, а на профессора Килиана – Гумбольдтовский стипендиат с опытом работы в советской Академии, так никогда и не научившийся программировать. Но зато вышеупомянутый опыт научил этого стипендиата независимости – результат маленькой, но надежной зарплаты и практической невозможности увольнять инженеров – так что, к огорчению герра Килиана, безумные подсчеты на компьютере были окончательно заброшены, а взамен появились глубоко им презираемые экспериментальные работы.

Приблизительно через год после начала моей работы в Ульме профессора Килиана отправили на пенсию. Его сменил молодой швейцарский профессор, полностью поменявший научную тематику. Швейцарец устроился в кабинете профессора Килиана; рядом был кабинет профессора Вильке, которого оттуда бесцеремонно выдворили, а на его место, поближе к новому боссу, перевели секретаршу отдела. Килиану, по старинной традиции (хотя уже и отмененной для последующего поколения профессоров), полагался отдельный кабинет и возможность заниматься научной работой в университете после выхода на пенсию. Ему нашли заброшенную комнату в подвале, и он переселился туда вместе с черновыми набросками своей так никогда и не завершенной общей теории термоэластичности каучуков. Весь старый отдел участвовал в переселении профессора на новое место работы в подвале. Было немного грустно... А через короткое время новый завотделом уволил всех старых сотрудников, кого только мог уволить по немецким законам, и привел новую команду. Так закончилась история отдела физики профессора Килиана в Ульмском университете.

Поскольку Ульмский университет в частности и Германия в целом не рассматривались как постоянное место работы и жизни, к концу первого года стипендии началось планирование моей дальнейшей университетской карьеры. Возможностей было две с половиной: возвращаться в университет Иерусалима, искать позицию в одном из американских университетов или добиваться продления стипендии на второй год. Половинная возможность – продление стипендии – была реализована относительно легко, но рассматривалась только как запасной выход.

Еще в Ульме я познакомился на конференции с доктором Вундерлихом – знаменитым американским профессором в области физики полимеров, немцем по происхождению. Он занимал должность Distinguished Professor в университете города Ноксвилл (штат Теннесси), где была позиция и для меня. Другая университетская позиция была в группе молодого профессора в штате Делавар, но она предполагала последующий переезд в город Сан-Диего, штат Калифорния. Мои представления об Америке в то время были не очень точны, несмотря на чтение подписного американского еженедельника Times Magazine, – а, может быть, и благодаря ему. Из Times Magazine я совершенно точно знал, что в Калифорнию ехать нельзя ни в коем случае: этот штат отличался высоким уровнем преступности, уличными беспорядками и вандализмом, пожарами, наводнениями, землетрясениями и слишком жарким климатом. С другой стороны, гостивший в Ульме московский профессор несколько раз побывал в Ноксвиле по приглашению Вундерлиха и давал городу весьма высокую оценку: там все было очень дешево, и можно было хорошо закупиться перед возвращением в Москву. Поэтому было принято единственно правильное решение: переезжать в Ноксвилл, штат Теннесси, – несмотря на то, что в Калифорнии жили родители жены и ее сестра с семьей.

В университете Ноксвилла меня ждал захватывающий научный проект: изучение кристаллизации полимеров в условиях невесомости. Практическая ценность этого исследования была неочевидна, но доктор Вундерлих, благодаря своим связям и высокой научной репутации, сумел получить небольшой грант от NASA[1] на этот футуристический проект. На первом этапе

[1] National Aeronautics and Space Administration (NASA) – Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства; ведомство, принадлежащее федеральному правительству США и ответственное за гражданскую космическую программу страны. *Прим. Ред.*

проекта надо было разработать способ очень чистой кристаллизации полимерного монослоя и потом сбросить колбу с монослоем с очень высокой башни NASA, чтобы колба пробыла нескольких секунд в состоянии невесомости. На втором этапе колбу предстояло загрузить в самолет NASA, в котором на большой высоте она могла бы пребывать в невесомости в течение нескольких минут. Наконец, на третьем, решающем этапе, мою колбу должны были отправить в космос на борту космического корабля, затем вернуть на Землю и разобраться, как там прошла кристаллизация монослоя. Деньги под этот безумный проект доктору Вундерлиху удалось получить только благодаря умению заморочить мозги чиновникам от NASA и безразмерному (в то время) бюджету федерального агентства. Что касалось исполнителя этого проекта, то я никогда никакой кристаллизацией не занимался, так что для пользы проекта на его первом этапе было бы гораздо разумнее сбросить с башни NASA меня самого вместе с моей колбой, а на мое место нанять знающего специалиста.

Переезд в Ноксвилл из благоустроенного Ульма был настоящим культурным шоком для всей семьи. Мы привыкли к большим кирпичным домам, к улицам с ухоженными тротуарами, уютными магазинами и кафе. Ноксвилл на европейский город похож не был. В особенности это относилось к району, где мы поселились, состоявшему из очень длинной пыльной дороги с романтическим названием Chapman Highway,[1] вдоль которой располагались неприглядные одноэтажные постройки с дешевыми магазинами и забегаловками. Люди по дороге не ходили; вместо них носились машины допотопных моделей. Наш сын (которому в то время было девять лет) задал тогда очень резонный вопрос, почему это мы таскаем его по всяким странам, каждый раз выбирая все худшую, в хронологическом порядке: Украина – Израиль – Германия – Америка.

Логичного ответа на этот вопрос не было. В определенном смысле Ноксвил оправдал ожидания – это действительно был очень дешевый город. И немудрено: найти там работу было практически невозможно. Единственными крупными работодателями были университет и расположенная по соседству Oak Ridgee National Lab (ORNL). К сожалению, именно в это время Конгресс «зарезал» финансирование Министерства Энергетики, к которому относилась лаборатория, так что в ORNL устроиться было нереально.

Первое же посещение университета и встреча с моим профессором существенно усилили первоначальный культурный шок. Оказалось, что между университетами Америки и университетами остального изведанного нами мира существует огромная разница в отношениях между нанимателями (профессорами) и исполнителями (студентами, докторантами, пост-докторантами, и т.д.). В полном соответствии с американской исторической традицией, хорошо знакомой нам с детства по роману «Хижина Дяди Тома», в американских университетах процветает система откровенного научного рабства. То есть профессор рассматривается как абсолютный и неподконтрольный хозяин, а исполнители, в особенности несчастные студенты, абсолютно бесправны и просто должны работать день и ночь, претворяя в жизнь замыслы своего хозяина. «Моим» хозяином стал молодой и своенравный профессор греческого происхождения и средиземноморского темперамента. К сожалению, хотя доктор Вундерлих и пробил проект сам, исполнение его он доверил своим более молодым коллегам. На первой же встрече мне было сказано, что мяч теперь на моей половине поля, и только от меня зависит, до какой стадии запускания полимеров в космос проект дойдет. Это было как раз неплохо, но, к сожалению, потомок необузданного Ахиллеса постоянно пытался влезть в детали моего проекта. Я, в свою очередь, возомнил себя потомком восставших Маккавеев... Результатом такого исторического несоответствия стали частые оживленные ненаучные дискуссии между профессором и мною. Дополнительными проблемами были недостаток реактивов, вызванный мизерным бюджетом проекта, и почти полное отсутствие современных приборов на кафедре химии. Наличествующие же приборы большой научной ценности не имели, зато представляли собой уникальнейшую коллекцию научного оборудования девятнадцатого века, которая могла бы стать гордостью любого исторического музея. Как удалось сохранить это уникальное оборудование в университете города Ноксвилл? Как известно, во время гражданской войны между Севером и Югом Ноксвилл находился как раз на линии фронта, разделявшей враждующие стороны. Согласно моей личной гипотезе, научные работники того времени закопали свое оборудование, которое было затем случайно обнаружено, очищено от исторической пыли и установлено на кафедре химии университета города Ноксвилл.

Однако самым большим разочарованием, ожидавшим нас в Ноксвилле, оказалось полное отсутствие перспектив получить вид на постоянное жительство, вожделенную «green card». Суровая действительность не оставила камня на камне от мифа, гласящего, что достаточно попасть в Америку, и вопрос о виде на жительство решится сам собой. По правилам

[1] Chapman – странствующий торговец; коробейник; Highway – скоростное шоссе (англ.). *Прим. Ред.*

иммиграционной службы, условием получения green card для «особо ценного ученого» было подписанное университетом письмо, гарантирующее двухлетний контракт на работу. Подписать такое письмо университет не мог в принципе, поскольку все контракты, даже продлеваемые, официально заключались только на один год. Мое дальнейшее пребывание в университете города Ноксвилл потеряло всякий смысл, и даже перспектива запустить полимерный кристалл в космос утратила свою привлекательность.

В очередной раз встал вопрос о поиске ново-го места работы. Круг поиска, согласно моей визе, был ограничен только университетом Ноксвилла, или, в крайнем случае, каким-либо другим университетом в Америке. Я начал рассылать письма, и неожиданно оказалось, что позиция, когда-то мной отвергнутая в Германии, снова свободна: делаварский профессор уже переехал в Сан-Диего, и у него есть вакансия на место приглашенного ученого (visiting scientist) в UCSD (University of California San Diego). Более того, оказалось, что вакансий уже две, и опыт моей жены подходит для работы на второй должности! Естественно, чудес в природе не бывает, и мне, как научному сотруднику со стажем, следовало бы задуматься о причинах появления большого числа вакансий в группе этого профессора, – но лучшей перспективы все равно не было. В марте я отправился на интервью в Сан-Диего. Я улетал из заснеженного, холодного, неприглядного города посредине одноэтажной Америки, а приземлился в чудесном, немыслимо нарядном, солнечном городе на берегу океана. По широким тротуарам в тени пальм прогуливались красивые женщины в открытых платьях. Белый шпиль Мормонского храма, казалось, плыл по синему небу. Кричали залетевшие с океана чайки. Кампус[1] университета Сан-Диего я до сих пор считаю одним из самых красивых, когда-либо виденных мною. Мой профессор тоже не испортил картины – обаятельный молодой индус встретил меня исключительно приветливо, подтвердил, что обе позиции для нас открыты, и даже обещал, что подпишет письмо для иммиграционной службы о контракте на два года, как только мы начнем у него работать. Во второй половине дня я отправился посмотреть жилой комплекс, где сотрудники университета могли снять квартиру. В Ноксвилле мы жили в унылом одноэтажном бараке посреди большого поля, а тут моим глазам предстал окрашенный в яркие цвета многоквартирный комплекс в мексиканском стиле, с теннисным кортом и бассейном. На корте играли в теннис; в бассейне плавало несколько человек; сидевшая в джакузи стройная молодая женщина приветливо мне улыбнулась и сказала: "Hola"[2]. Прямо через дорогу от комплекса находилась начальная школа, куда можно было записать нашего сына. Решение переехать в Сан-Диего было принято тут же, на территории комплекса.

В понедельник я сообщил своему ноксвильскому профессору, что собираюсь переехать в Сан-Диего. Почему-то мне казалось, что он должен меня поздравить и пожелать успехов на новом месте работы, как сделал бы любой здравомыслящий человек. Однако я ошибся. Профессор вышел из себя, стал угрожать мне неким письмом в иммиграционный офис о нарушении иммиграционных законов (!), и торжественно поклялся, что никогда больше не примет в свою группу ни единого русского ученого (израильских ученых, к счастью, это решение не затрагивало, хотя я-то по всем официальным бумагам был чистым израильтянином). Профессор отказался подписать письмо о моем переводе из университета Ноксвилла в университет Сан-Диего. Это немножко задержало наш отъезд, но когда я записался на прием к проректору, бумага была получена, и в повести о моих университетах началась новая глава под названием "Сан-Диего".

В университете Сан-Диего нашей задачей было внести посильный вклад в гигантский проект штата Калифорния по реконструкции всех мостов и скоростных шоссе. При реконструкции предполагалось использовать полимерные композиты: традиционные металл и бетон со временем корродировали, ржавели, и мосты приходилось постоянно ремонтировать. На этот проект университету Сан-Диего удалось выбить неслыханный пятилетний контракт в 20 миллионов долларов! Предприимчивые университетские профессора немедленно создали свои частные компании, чтобы выполнять подряды университета, и сами же перечисляли фонды на их выполнение в свои собственные или "дружеские" компании. Кстати, это совершенно легально, если следовать букве закона. Кроме того, по контракту были наняты многочисленные инженеры, руководители проектов, рекламные эксперты, а также студенты, докторанты, и "visiting scientists" (приглашенные ученые). Деньги были настолько большие, что университету удалось рекрутировать “нормальных" американских специалистов, предложив им приличные ставки; остальных набрали из студентов или иностранных ученых, готовых работать за маленькую зарплату ради возможности защитить диссертацию или

[1] Кампус (англ. campus)— университетский городок. *Прим. Ред*

[2] Hola – привет (исп.) – *Прим. Ред.*

просто осесть в Америке.

Такая многослойная структура – профессора-работодатели, независимые американские специалис-ты и студенты-докторанты в самом низу социальной пирамиды – не вписывалась в четкую схему "хозяева – рабы", типичную для Ноксвилла. Стиранию граней между кастами способствовала также постоянная солнечная погода, великолепные виды на город, горы, океан, и некоторая неформальность в обращении. Представители всех каст могли между собой общаться, вращались в одном социальном кругу, а иногда даже приглашались на шикарную виллу Главного Профессора.

Наш профессор оставался приветливым и обаятельным ровно 2 недели. На третьей неделе приветливый хозяин вдруг изменился и в резкой форме заявил о своих хозяйских правах. Он стал требовать немедленных результатов и пытаться давать задания, которые мне казались совершенно дикими. Главным образом требовались сводные таблицы результатов экпериментов, причем особо ценились таблицы, насыщенные большим количеством ничего не говорящих цифр. Мои отношения с профессором быстро ухудшались. К сожалению, я не понимал – а он не хотел объяснить – основной задачи задачу нашей лаборатории: заморочить голову заказчикам из промышленности большим количеством квазинаучных данных, чтобы оправдать часть денег, отпущенных на проект. Мои попытки подвести под результаты эксперимента какую-то научную базу были действительно совершенно ни к чему.

Увы, в 1995 году я еще не дорос до понимания той роли, какую в стратегии бизнеса играют красиво составленные таблицы с убедительно выглядящими данными, и наши с профессором отношения стали напоминать отношения нынешнего Президента и нынешнего же Спикера Конгресса. Подобно Президен-ту и Спикеру, общаться друг с другом напрямую мы уже не могли. К счастью для нас обоих, профессор принял на работу в ту же лабораторию и мою жену Инну для выполнения не определенного пока проекта. Но довольно быстро проект определился, а именно: играть роль посредника между мной и профессором. Обычно обмен информации непосредственно между профессором и мною происходил примерно следующим образом.

Профессор, мне: "К концу недели мне нужны результаты измерения параметра X". Я, профессору: "Вистасп, результаты измерения, которые ты хочешь получить, не имеют никакого смысла, а если бы даже имели, то их можно получить только через 3 месяца напряженной работы. В любом случае, я этой чушью заниматься не собираюсь".

После искусного вмешательства Инны содержание переговоров оставалось прежним, но тон немного менялся.

Профессор, Инне: “Скажи Александру, что к концу недели мне нужны результаты измерения параметра X". Инна, мне: "Вистасп просит тебя разобраться в этом проекте и порекомендовать ему параметры, которые стоит измерить". Я, Инне: "Легче всего было бы измерить параметр X, но сам по себе он не имеет никакого смысла. Скажи Вистаспу, что я измерю X, Y, и Z, но это займет 2 месяца". Инна, профессору: "Вистасп, ты такой умный! Александр просто в восторге от твоего предложения. Более того, он настолько проникся твоим проектом, что, помимо параметра X, он собирается измерить два дополнительных параметра, Y и Z! Но на это может уйти немножко больше недели. Скажи, пожалуйста, ты этот план утверждаешь?"

Подобное искусное посредничество в переговорах восходит к истокам истории нашего народа. Например, наш патриарх Абрахам использовал своего умного раба Элиезера в переговорах с семьей Ревекки, будущей жены Исаака. Самого Исаака встречаться с братом Ревекки, Лаваном, и другими ее родственниками Абрахам не посылал. По-видимому, мудрый патриарх подозревал, что переговоры Исаака с Лаваном приведут к таким же результатам, как мои переговоры с профессором, и решил использовать более гибкого Элиезера. Элиезер, как известно, не подкачал: путешествуя между Ханааном и Месопотамией, он передавал сообщения высоких, но упрямых договаривающихся сторон, каждый раз немного корректируя передаваемое, что в итоге и привело к успешному заключению брачного контракта.

Помимо своего главного проекта – достойно продолжать миссию Элиезера – Инна получила также и научный проект, слабо связанный с реконструкцией мостов, зато также имеющий самое прямое отношение к древней истории. Ей было поручено исследовать свойства композитных материалов, сделанных из… грязи. Еще в глубокой древности строители Месопотамии и Египта обнаружили, что прочность глины, наполненной соломой и другими подручными материалами, значительно усиливается. Так возникла идея создания композитных материалов. Творческое воображение нашего профессора породило замечательный замысел: наполнять глину и другую грязь не какими-нибудь там допотопными водорослями, а современными химическими волокнами. Преимущества такого композитного материала были очевидны, особенно с точки зрения экономии расходов на материалы: грязи на Калифорнийских просторах было... как грязи. К сожалению, никудышные механические свойства

усиленной волокнами грязи не позволяли использовать новый композит в строительстве калифорнийских мостов.

Усердное собирание мудреных параметров для обоснования бюджета на университетский проект не отвлекало меня от моей основной научной задачи: подготовки документов для получения green card. Оказалось, что университет Сан-Диего тоже не мог официально подтвердить двухлетний срок моего контракта, как этого требовала иммиграционная служба. К счастью, ушлые калифорнийские юристы знали альтернативные пути, для которых письмо из университета вообще не требовалось. Мне предложили действовать одним из двух способов. Я мог бы доказать необходимость своего участия в важнейшем государственном проекте и получить green card как ВЫДАЮЩИЙСЯ ученый, вносящий решающий вклад в американскую промышленность. Или выбрать другой путь, еще более надежный: доказать, что сам по себе являюсь ЭКСТРАОРДИНАРНЫМ ученым, приблизительно на уровне Эйнштейна (но без его подозрительных связей с миротворческими организациями), и green card мне должны выдать просто ввиду моему огромного потенциала для американской науки и техники.

В обоих случаях требовались одни и те же документы, главными из которых были рекомендации коллег. Мне удалось собрать обширную коллекцию рекомендательных писем от ученых из разных стран. С некоторыми из них мы работали вместе, другие просто согласились мне помочь. Украшением моей коллекции были две рекомендации от членов Американской Инженерной Академии, одна из Ноксвилла от израильского профессора, семья которого нас очень поддержала в Теннесси, и одна из университета Сан-Диего от иранского профессора, который написал ее мне просто по доброте душевной. Каждая новая рекомендация волшебным образом укрепляла мое собственное мнение о моих выдающихся научных успехах, несмотря на то, что нередко была написана по "козе", мной же и составленной. Даже мой профессор написал мне очень хорошую рекомендацию, призванную убедить иммиграционную службу, что успешная реконструкция мостов в Калифорнии едва ли возможна без моего участия. К сожалению, никто не послал копию этой замечательной рекомендации правительству штата, и в мае там зарезали предполагаемый пятилетний двадцатимиллионный контракт на втором году его жизни.

Из университета начался массовый исход контракторов, докторантов, и приглашенных ученых. Естественно, нам тоже пришлось немедленно заняться поисками новой работы. Однако теперь поиски не были ограничены исключительно университетами, поскольку в том же мае иммиграционная служба прислала положительное решение на получение вожделенной green card! На красивом бланке с печатью совершенно официально заверялось, что носитель сей бумаги является экстраординарным ученым, и посему он и вся его семья имеет право на постоянное жительство в Америке. А через неделю оттуда пришла дополнительно и вторая бумага, которая, хотя и снижала мой статус экстраординарного до просто выдающегося, но все равно давала мне разрешение на постоянное жительство, дабы я мог вносить незаменимый вклад в жизненно важный для Америки проект реконструкции мостов – к тому времени уже зарезанный правительством штата. Однако вот что интересно и даже обидно: едва я получил две красивые бумаги, официально заверяющие мои незаурядные научные заслуги, как мне было строго указано никогда больше не заикаться о своем статусе экстраординарного или хотя бы даже просто выдающегося ученого – в противном случае меня ожидают серьезные семейные неприятности. Sic transit gloria mundi. Но две бумаги из иммиграционной службы до сих пор хранятся в моем архиве.

Подведем итоги Моих Университетов. С одной стороны, общая универсальная теория термоэластичности каучуков разработана не была, мономолекулярные кристаллы так и не дождались своей кристаллизации в условиях невесомости, а калифорнийские мосты по-прежнему сооружаются в основном из традиционных стали и бетона.

Но с другой стороны, была защищена кандидатская, получены пять правительственных грантов, поддержавшие существование моей семьи в трех странах в течение пяти лет, был задуман и осуществлен переезд в Америку, а впоследствии и в нашу прекрасную Калифорнию. А главное, мои университеты позволили повидать мир, познакомиться с интересными и талантливыми людьми совершенно другой культуры и ментальности, поработать со многими известными в своих областях учеными и приобрести определенный научный и, что еще более важно, жизненный опыт. О роли последнего в моем выживании в условиях корпоративной Америки можно написать отдельную повесть – но, в силу высоких требований корпоративной конфиденциальности[1], время для написания подобного опуса еще не наступило.

Киев-Иерусалим-Ульм-
Ноксвилл-Сан-Диего-Сан Хосе.

---

[1] А. Трегуб. “Руководство для инженеров хай тек компаний”. Апраксин Блюз, N 23, 2013

Инна Трегуб

ИЩУ РАБОТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Новое тысячелетие мы встречали со всеми почестями, однако 2000 год не оправдал моих ожиданий. Поначалу ничто не предвещало катаклизмов. Жизнь текла размеренно: мы с мужем трудились, сын учился. Работа давала нам стабильный доход, позволявший жить в хорошем «спальном» районе на северо-западе Лос-Анджелеса и оплачивать многочисленные факультативы нашего обожаемого ребёнка. Даже признавая это, мы оба не любили и не ценили свою работу. Я – за то, что моя квалификация оставалась невостребованной. Муж – за то, что позиция была нестабильна и до работы было сложно добираться: компания-работодатель находилась в южной части Лос-Анджелеса, а наш дом – в северной, и муж проводил в пробках по нескольку часов в день. Поэтому, получив весной от большой, известной в Северной Калифорнии фирмы приглашение на интервью, он с готовностью на него откликнулся. На заданный в ходе интервью резонный вопрос, что будет делать его семья, ЕСЛИ ему предложат работу в большой компании, он отвечал, что будет думать над этим, КОГДА ему предложат работу. («Сначала надо ввязаться в драчку, а потом будет видно»). В середине лета ему пришлось-таки задуматься, как и нам с сыном, поскольку предложение было сделано и принято.

Нам не впервые приходилось выбирать, где работать и чем жертвовать. В 1990 году (мы тогда жили в Израиле) муж отказался от хорошей должности в Технионе (Хайфа)[1], потому что я хотела жить в Реховоте[2], вблизи от родственников, и работать в институте Вейцмана[3]. В результате он принял не столь высокую должность в Иерусалимском университете. В 1991 году я получила стипендию от Британского консульства в Израиле, позволявшую мне работать в любом университете Великобритании по моему желанию. Я выбрала университет Манчестера, известный работами по фотохимии синглетного кислорода. Мы могли уехать туда всей семьей на год, денег в обрез, но хватило бы, однако в Англии у мужа работы не было, а в Израиле была. Я проработала в Манчестере только два месяца (меньше не разрешалось), страшно тосковала, и поняла, что без семьи больше никуда не поеду. В 1993 году муж получил стипендию Гумбольдта, дававшую возможность работать до двух лет в любом университете Германии. К тому времени мой контракт в институте Вейцмана заканчивался, и, конечно, я поехала с мужем в Германию, в город Ульм. Мнения восьмилетнего сына мы не спрашивали. А если бы и спросили, в те годы с ним еще можно было договориться. Помаявшись без дела, я приняла приглашение знакомого мюнхенского профессора поработать шесть месяцев на грант Европейского сообщества в Мюнхенском Институте ботаники. Мюнхен и Ульм расположены не так уж далеко друг от друга. На машине до Института ботаники можно было доехать за час, а на поезде и двух автобусах – за два с половиной часа. В поезде я вязала себе свитер. Знакомый проводник подходил поинтересоваться, как продвигается работа. Ко времени окончания контракта поставленная передо мной задача была решена, статья написана, свитер связан, а я, к великой своей радости, получила работу в Ульмском институте лазерной медицины, расположенном на территории университета.

В октябре 1994 года мы с грустью покинули Германию и уехали в Штаты, в Теннесси, где муж получил пост-докторат в университете города Ноксвилл. Мы единодушно следовали плану, принятому несколько лет назад: пробиваться в Америку. Теннесси был нашей (увы, не оправдавшейся) надеждой на будущее.

Через восемь месяцев, в мае 1995 года, до последней минуты не веря своему счастью, мы открепились от Ноксвилла и переехали в Сан-Диего, где нас обоих приняли на работу в Калифорнийский университет.

---

[1] Технио́н (Израильский технологический институт) — университет в городе Хайфа в Израиле. *Прим. Ред.*

[2] Реховот — город в Центральном округе Израиля. *Прим. Ред*.

[3] Институт имени Вейцмана в Реховоте — высшее учебное заведение и многопрофильный научно-исследовательский институт. *Прим. Ред*.

Работали мы в одной лаборатории, на одного профессора, на зарплату, положенную одному сотруднику, которую профессор разделил между нами, как Соломон: мужу положил немного больше – 60% ставки, а мне немного меньше – 40%. Муж занимался термоанализом, а я была химиком при лаборатории, следила, чтобы студенты, иногда там появлявшиеся, не смешивали щелочь с кислотой и ничего не сожгли. Сама лаборатория принадлежала очень уважаемому и известному замечательными работами инженерному факультету, но имела достаточно независимый статус. Она вела работы по хозяйственным договорам и давала факультетским профессорам возможность еще подзаработать. Делалось это так. Выиграв конкурс на выполнение проекта, лаборатория получала деньги от заказчика. Некоторая их часть выделялась на зарплаты студентов, оборудование, накладные расходы; остальные переходили через субподряд нескольким частным компаниям, принадлежавшим самим профессорам или их приближённым; работы же выполнялись в лабораториях и на оборудовании университета. Кто только там не кормился!

В 1995 году университету и лаборатории удалось получить очень большой проект по укреплению калифорнийских мостов – заказ правительства штата. Проект был рассчитан на пять лет, но деньги должны были поступать ежегодно – при условии, что работа за предыдущий год выполнена и что у заказчика (штата Калифорния) не изменились планы.

Вместе с заказом университету достался некий Молодой Профессор, которого взяли – дабы сделать личное одолжение кому-то из власть имущих и деньги распределяющих – на должность не очень высокую, но позволявшую расти и бороться за постоянство. Ко всеобщему удивлению, его назначили ведущим исполнителем проекта.

Это был молодой индус, сам только недавно получивший статус постоянного жителя США. Злые языки говорили, что он пытался остаться в университете Делавара, где проходил постдокторантуру, и университету якобы даже давали под него позицию; но там его настолько не хотели, что и позицию не приняли. Зато Калифорнийский университет в Сан-Диего не пренебрёг грантом с учёным в нагрузку. Новоиспечённому профессору с малосимпатичной американской женой пришлось переехать в Сан-Диего, ссылаясь на любовь к местному климату. В отличии от всегда надутой жены, Молодой Профессор много и обаятельно улыбался улыбкой плейбоя или политического деятеля. Правда, как мы вскоре узнали, он очень легко раздражался, и мы нередко с интересом наблюдали громкие свары между ним и кем-нибудь из сотрудников.

Формируя команду, Молодой Профессор искал людей знающих, но бесправных и бессильных. Он нанял мужа, а потом и меня. Как странно переплетаются судьбы. Вынужденный переезд индуса помог нашей семье вырваться из ненавистного Ноксвилла.

Кроме нас, в группе работали два китайца. Один, по имени Лей, прибыл из Делавара вслед за Молодым Профессором. Он учился на магистра и одновременно выполнял для начальника разнообразные поручения – был, как у нас когда-то говорили, шестёркой, а заодно и информатором. Второй китаец, называвший себя для простоты ДеКю, появился через пару месяцев после нас. Это был симпатичный расчетчик, пост-докторант; мы подружились и впоследствии вместе искали работу.

Молодой Профессор, как и его начальник, Большой Профессор, получали ставку от университета. Остальные участники проекта по ремонту мостов работали в лаборатории в качестве контракторов. Мы подружились с венгром Гезой. В Америку Геза попал ребенком: он рассказывал, как они с мамой и сестрой уехали из Венгрии в туристскую поездку в Югославию, а оттуда пешком, перейдя границу, пробрались в Италию. Их никто не остановил. Хороший специалист, Геза мог бы найти лучшую работу в другом городе, но даже не мыслил себе жизни вдали от Сан-Диего. У него было четверо детей и жена-домохозяйка, он подрабатывал где только мог и даже имел собственную компанию с амбициозным названием Intelligent Solutions (Intelsole). Это название не понравилось другому предприятию, расположенному в Силиконовой долине и именовавшему себя просто и незатейливо – Intel. Гезе предложили десять тысяч долларов за то, чтобы он поменял название своей компании. Это была самый большой доход последней за все годы её существования. Впоследствии компания обанкротилась, жена ушла, Геза занялся продажей домов, но по-прежнему наслаждается жизнью в Сан-Диего.

Кроме Гезы, к нам часто заходила поболтать пресс-секретарь лаборатории – высокая и эффектная ярко-рыжая Ванда. Она переехала в Калифорнию с Восточного побережья вслед за молодым мужем. У нее были две задачи – держаться в хорошей форме и зарабатывать деньги; муж был очень красив и с большими долгами. От Ванды я впервые услышала термин «шмузить»[1]. Она объяснила его следующим образом: «Надо подойти к А, поулыбаться и что-то сказать, выслушать ответ и пойти к Б., там тоже поулыбаться и что-то сказать, и так далее». Она не только объяснила нам теорию «шмуза», но и нередко давала возможность наблюдать этот процесс на практике. Специалистка по «шмузу», Ванда была

[1] Русифицированная форма английского глагола «schmooze», означающего «по-дружески, неформально разговаривать с кем-то, часто с целью добиться расположения или какой-либо выгоды». *Прим. Ред.*

со всеми в хороших отношениях, но ей это не помогло, когда у лаборатории меньше чем через год кончились деньги.

Мне было хорошо в Сан-Диего. Я обожала город, мне нравился университет, а работа была легко выполнимой. Конечно, мне хотелось бы заниматься настоящей научной работой по специальности, как до переезда в Америку. Но между мной и наукой стоял год, проведенный в Ноксвилле без работы и денег, и я хорошо помнила тогдашнее состояние бедности и безысходности. Теперь я наслаждалась относительно спокойной жизнью в самом прекрасном на свете городе. Работать в одной лаборатории с собственным мужем – ситуация, имеющая и плюсы, и минусы. Плюсом были его помощь и поддержка. Я всегда имела возможность отлучиться по нашим общим семейным делам и не беспокоиться, что кто-то пожалуется на моё отсутствие. Минусом было то, что в любое время суток муж имел возможность учить меня жить.

Существовала, однако, и другая проблема. Отношения между моим мужем и нашим начальником ухудшались с каждым днем. Как я уже писала, Молодой Профессор был очень самолюбив, но не очень грамотен и совершенно не терпел возражений. Если с ним спорили, он немедленно впадал в ярость. Но если вы выполняли его не всегда разумные указания, то могли жить вполне сносно. К сожалению, муж тоже быстро заводился, начинал спорить и периодически угрожал всё бросить и уехать обратно в Израиль. Это был бессовестный блеф, а Молодой Профессор принимал его за чистую монету, расстраивался и ожидал от меня дипломатических действий. Кончилось тем, что я стала участвовать почти во всех обсуждениях результатов, стремясь погасить конфликт в зародыше. В тех случаях, когда двое учёных встречались без меня, я старалась держаться поблизости, и, услышав повышенные голоса, под каким-нибудь предлогом заходила и разряжала обстановку.

Ссориться с Молодым Профессором нельзя было ни при каких обстоятельствах. Мы были бесправными обладателями виз. В начале января муж подал бумаги в иммиграционную службу для получения «грин-карты»[1].

По ряду технических причин университет-работодатель не мог или не хотел помочь нам ее получить. Адвокат, с которым мы работали, посоветовал мужу подавать прошение от себя как от «ученого экстраординарных способностей». В этом случае, хотя рекомендация с места работы была бы очень полезна, поддержка работодателя не требовалась.

Требовалось только убедить чиновника иммиграционной службы в наличии экстраординарных способностей у подавшего прошение человека. Адвокат объяснил, что это можно сделать при помощи третьих лиц: выдающихся учёных, докторов, академиков, которые пишут хвалебные рекомендации, прилагая список собственных регалий и заслуг. Участие в различных научных обществах и организациях тоже очень желательно. Чем больше рекомендаций и организаций, тем больше шансов на успех.

На подготовку бумаг ушли месяцы. Муж вступил в несколько научных обществ и нью-йоркскую Академию наук (куда принимали каждого, кто был знаком с каким-нибудь членом этой Академии и готов был заплатить деньги). Затем мы занялись добычей рекомендаций. Обратились за помощью ко всем знакомым учёным; большинство откликнулось на нашу просьбу, незамедлительно прислав очень хорошие рекомендации. По сей день я им признательна. Часто рекомендующие просили «козу» – краткий список достижений и успехов рекомендуемого. В процессе этой деятельности я с изумлением наблюдала, как работает в жизни учение Станиславского: чтобы убедить зрителя, надо убедить себя. С каждым днем муж всё больше входил в образ ученого экстраординарных способностей, и через несколько месяцев я начала чувствовать себя женой Нобелевского лауреата.

Да здравствуют МХАТ и Станиславский! Если начать с себя и хорошо перевоплотиться, можно убедить и иммиграционного чиновника. Положительное решение пришло через три недели! Ещё три месяца заняло оформление бумаг, и к концу апреля мы получили штампы в паспортах и право на постоянное жительство. И вовремя! Уже несколько месяцев по лаборатории ползли слухи, что финансирование нашего проекта не продлили и деньги закончатся к лету. У штата начались финансовые проблемы, и финансирование, рассчитанное на пять лет, не продлили. Наш начальник, Молодой Профессор, по-прежнему клялся, что всё замечательно, но мы понимали, что он врёт и что надо интенсивно искать работу.

Найти еще одну позицию в том же университете оказалось несложно. В отличие от Теннесси, в Калифорнийском университете Сан-Диего был хороший химический факультет и несколько фотохимических групп, в одну из которых меня охотно брали в пост-докторантуру. После двухлетнего перерыва я могла вернуться в фотохимию. Но сколько

[1] Грин-карта (англ. green card, официальное название United States Permanent Resident Card) —удостоверение личности подтверждающее наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, но постоянно проживающего на территории США, и предоставляющее право трудоустройства на территории этой страны. *Прим. Ред.*

нужно пост-докторантур на одну жизнь? Я уже устала от временных низкооплачиваемых университетских позиций. Одной из наших иллюзий того времени была уверенность, что в промышленности рабочие позиции более стабильны. К сожалению, мои таланты и знания подходили для работы лишь в узкой области науки, а в индустрии не пользовались спросом. Сначала я долго и безуспешно пыталась попасть в биотехнологическую компанию. Мама, перенявшая убеждённость здешних эмигрантов в том, что нужно «скрывать кандидатский диплом, как членство в КПСС», очень уговаривала меня убрать из резюме упоминание о кандидатской степени. Я решила этого не делать: «шила в мешке не утаишь».

Но вот однажды мне посоветовали поискать работу в компаниях по производству чернил, и я ухватилась за эту идею. Специалисты в этой области пользовались спросом в Южной Калифорнии.

В то время популярно было проводить «рабочие ярмарки» (Job Fairs), куда съезжались работодатели и рабочая сила. Мы с мужем и с нашим коллегой ДеКю посетили несколько таких ярмарок, доехав даже до Южного Лос-Анджелеса. Если на ярмарках присутствовали представители компаний, изготовлявших принтеры, я непременно подходила и спрашивала, не нужен ли им химик для разработки состава чернил. Обычно представитель компании внимательно читал моё резюме, быстро понимал, что опыт в производстве чернил у меня нулевой, и отвечал, что специалист моей квалификации его компании не требуется. Но иногда компанию представляли сотрудники отделов кадров, не разбиравшиеся в технических подробностях. Кадровик из принтерной компании Dataproducts из Simi Valley (район Лос-Анджелеса), к которому я подошла, неожиданно ответил, что да, химик им очень нужен. Он пригласил меня приехать к ним в следующий выходной на «День открытых дверей». Я пообещала, но потом решила никуда не ехать, понимая, что, как только моё резюме попадет к специалисту, станет ясно, что у меня нет необходимого опыта. Поэтому я хоть и приехала в тот выходной в Лос-Анджелес, но… к родителям, а день провела на пляже с сестрой и обнаружившейся у меня в городе одноклассницей. Однако, к моему удивлению, в понедельник мне позвонили из Dataproducts и пригласили на интервью. Пришлось опять ехать в Лос-Анджелес.

Интервью, хотя и продолжалось целый день, было весьма формальным, поскольку ни один химик на нем не присутствовал. Говорили со мной инженеры, и вопросы по существу задавать было некому. Меня возили на ланч в хороший ресторан, но так как я должна была отвечать на вопросы, я почти ничего не ела, чем ужасно расстроила своего потенциального будущего начальника, симпатичного пожилого (так мне тогда казалось) японца Аки. Последней меня интервьюировала Доина, местная «железная леди», вице-президент компании. Я в очередной раз повторила историю своей жизни: где родилась, где училась, где работала. Она почти не задавала вопросов, только сказала, что выросла в Румынии и поэтому ценит советское образование, что компании нужны хорошие специалисты, а специфике, изготовлению чернил, я научусь без труда. Позже я узнала, что это именно к ней попало моё резюме от представителя отдела кадров, и она заинтересовалась. Через несколько дней мне предложили работу, хорошую зарплату, и я с радостью согласилась. Мое классическое советское образование в который раз по-могло мне выстоять, найти место под солнцем. Как часто я благодарила и благодарю своих старых учителей, профессоров, научных руководителей, давших мне знания и научивших работать и анализировать.

И все-таки грустно было прощаться с университетом Сан-Диего. Еще грустнее было покидать сам город. Нигде не встречала я такого органического сочетания красоты природной и архитектурной, хорошего климата, вкусной еды, и замечательного качества жизни. То же самое чувствовали и многие мои знакомые тех дней, которые, как Геза, могли получить прекрасные академические или промышленные должности где-нибудь в глубинке, но выбрали временную ненадёжную работу в университете Сан-Диего.

Правда, уезжали мы всё-таки не за тридевять земель, а только за какие-то 150 миль – в Лос-Анджелес. После года в Сан-Диего, где почти все районы очень красивы и удобны для жизни, выбрать в Лос-Анджелесе место, где хотелось бы пустить корни, оказалось непросто. Не поймите меня превратно: в этом городе есть очень красивые районы, но их не видно за уродливым беспорядком коробок и чуланов-магазинов, забегаловок, многоквартирных комплексов. При этом малопривлекательные квартиры в таких комплексах стоили больше, чем наша просторная, светлая, с высокими потолками квартира в Сан-Диего. Добавьте к этому пробки и полное отсутствие тротуаров. Поиск жилья был долгим и утомительным, но увенчался успехом. После серии неудач мы сосредоточили поиски на северо-западных районах. Там, затерянный между холмами, спрятанный между престижными поселениями, находился маленький красивый городок с поэтичным названием Oak Park (Оак-Парк). Он покорил нас с первой минуты просторными улицами, широкими тротуарами, живописными холмами, обилием цветов и парков. Мы нашли всё, что искали, включая хороший маленький самостоятельный школьный округ, имевший две младшие школы, одну среднюю

и одну высшую (8-12 классы средней школы, не путать с нашей советской высшей школой, предполагавшей высшее образование). Городок еще строился, его заселяли люди среднего достатка – врачи, владельцы небольших предприятий – серьезно относившиеся к образованию и готовые вкладывать деньги в развитие школы и внешкольных образовательных и спортивных программ. Нам так понравился Оак-Парк, что мы немедленно внесли депозит за квартиру в единственном на весь город (!) многоквартирном комплексе. Через год мы купили там первый в нашей жизни дом, красивый и просторный, как все дома в городе, с небольшим садом, обращенным в сторону каньона. Казалось, мы наконец обрели «место под солнцем».

Несколько недель спустя муж тоже нашёл работу, которая была всем хороша, но находилась на самом юге Лос-Анджелеса, в семидесяти милях от Оак-Парка. Наверное, можно было бы найти место посередине и переехать еще раз, но муж сказал, что кто-то должен быть возле ребёнка и что ему нравится возвращаться вечером в Оак-Парк, поэтому я легко подавила в себе угрызения совести, и мы остались.

Последующие четыре года мы жили обычной, размеренной трудовой жизнью. Обзавелись друзьями, с которыми праздновали Новый Год и дни рождения; познакомились с соседями. По выходным принимали у себя родителей, которые ездили к нам из пыльного Голливуда, как когда-то на дачу. Сначала они приезжали с бабушкой, потом уже без неё (бабушка умерла в 1998 году, ей было 92 года). В том же 1998 году муж потерял работу, а через полгода нашёл другую, расположенную ещё дальше от нашего дома.

Я проработала в Dataproducts четыре года. Компания занималась в основном производством больших и сложных лазерных принтеров, которые могли печатать, копировать, рассылать факсы и многое другое. Как не вспомнить по этому поводу старый анекдот времён распада Советского Союза: «Во время перевода военной промышленности на мирные рельсы в 1991 году была создана новая линия замечательных стиральных машин, которые стирали, отжимали и сушили бельё, а при необходимости могли по тревоге подняться в воздух и поразить цель». Не сомневаюсь, что принтеры нашей компании тоже можно было бы так усовершенствовать. К сожалению, моё «рацпредложение» было встречено прохладно – американцы не всегда понимали мой юмор.

Единственным недостатком наших замечательных машин была очень большая себестоимость и убыточность. Обычно за торжественным собранием, посвященным выпуску и отправке нового принтера, следовало очень болезненное увольнение, под которое подпадали не только славные инженеры, создатели большой машины, но и сотрудники не в чем не повинного, приносившего доход, но не считавшегося ключевым подразделения, которое производило печатные головки принтеров и чернила.

Поскольку я не занималась большими машинами, то с большинством инженеров не была знакома лично. Однажды один из них появился у меня в «кубике» и представился: «Энгельс». Наверное, я не очень быстро отреагировала, произнесенное по-английски имя John Engels, ничего не затронуло в моей душе. «Ты же из России, правда? – настаивал он. – Тебе знакомо имя Энгельс?» Я поняла, что он имеет в виду классика марксизма; конечно, это имя мне было хорошо знакомо. «Я его правнучатый племянник». *Вау.*[1] Конечно, после этого Джон получил всю подобающую ситуации реакцию с моей стороны. Насколько мне известно, Фридрих Энгельс не оставил прямых потомков. Американский правнучатый племянник Джон мало что о нем знал. В отличии от знаменитого дяди, он был ничем не примечательным человеком: средних лет, среднего роста и средней наружности. Работал инженером среднего звена. Наверное, это и к лучшему.

Наше подразделение было интернациональным, американцы занимали в нём только высокие позиции директоров и стратегов. Еще более разношерстным был коллектив входившей в него химической лаборатории.

Трехэтажное здание, которое снимала наша компания, когда-то принадлежало банку. С тех времен там сохранилось большое количество пропускных пунктов и хорошо укреплённый, с отдельной лестницей, подвал-бункер – бывшее денежное хранилище. В этом подвале без окон, с единственной дверью, с толстыми стенами и располагалась химическая лаборатория. Связь с внешним миром отсутствовала. Нас было пять женщин-химиков, очень разных по происхождению, возрасту, мировоззрению и образованию. Летами старше всех была занимавшая самую низкую должность, но обладавшая высоким самосознанием Августа. Яркая, статная, темноглазая, очень темпераментная, с красиво вьющимися волосами брюнетка, почти не тронутая сединой и годами, она походила на слегка постаревшую Кармен. Первым сюрпризом для меня оказался ее подлинный возраст: 60. Вторым – ее происхождение: голландка. Когда мы лучше познакомились и подружились, я уговаривала ее признаться, что она скрывает семитские корни. Ничего не вышло. Она настаивала, что у них в Голландии есть целый район, жители которого, смешавшись с цыганами, превратились в

---

[1] Вау (англ. Wow) – здесь: «поразительно», «вот это да!». *Прим. Ред.*

кудрявых брюнетов. От первого брака у Августы была дочь лет сорока, натуральная голубоглазая блондинка, выглядевшая на двадцать с небольшим. Она жила в Парагвае, куда Августа переехала из Голландии со вторым мужем, американцем. От второго брака у неё было четверо пасынков (тоже в Латинской Америке) и один родной сын, проживавший в Миссури. Я долго не могла понять, как она оказалась в Калифорнии, да еще и в нашей химической лаборатории. Она объяснила, что, когда у мужа пошатнулось здоровье, они вместе с младшим сыном перебрались сюда, на родину мужа. Когда он через несколько лет умер, оставив жену без средств и доходов, она продала все, что было, вернула банку хорошую новую машину, за которую не могла платить, купила дешёвую и старую и устроилась на работу лаборанткой. Ко времени нашего знакомства Августа заканчивала университет (училась по вечерам, работала днем) и владела мобильным домом в Canoga Park. Была шумная, веселая, много курила и имела по любому поводу собственное мнение. Через два года после моего прихода в лабораторию Августа потеряла работу и найти другую уже не смогла. Ей пришлось уехать к дочери в Парагвай, где она, по слухам, хорошо живет на небольшую пенсию от нашей компании.

Самой старшей по должности и стажу работы в компании была китаянка Шен. Она была нанята в счастливые восьмидесятые, (когда рабочих мест в Калифорнии было больше, чем рабочей силы), ещё не успев закончить местный колледж. Шен жила в большом красивом доме в с двумя дочерьми, ее муж работал в Северной Калифорнии, в Окленде. Шен поражала меня качеством, которое здесь называют emotional intelligence.[1] Она умела устанавливать правильные отношения и с начальством, и с сотрудниками по лаборатории. Не заискивала, не давала наступать себе на горло, но в то же время ни с кем не конфликтовала. Ей одной удалось доработать в этой компании до пенсии. Мы встречались семьями, я гостила у нее в Северной Калифорнии, а в 2000 году, когда нас неожиданно отправили в отпуск, мы даже вместе ездили в Китай с китайской туристской группой.

Полька Барбара, третья сотрудница нашей группы, была полной противоположностью Шен. При очень неплохим образовании – физический факультет Краковского университета – она была совершенно неспособна использовать свою квалификацию и довольствовалась позицией лаборантки, в то время как ее муж, выпускник того же университета, стал один из наиболее ценных сотрудников нашей компании. Мы могли бы подружиться, но этого не произошло, так как все силы и свободное время Барбара отдавала правильному питанию и спорту. Высокая, светловолосая, она была бы очень привлекательной, если бы не изможденный вид, вызванный постоянным недоеданием и чрезмерной физической активностью. Красота и диеты не всегда хорошо сочетаются.

Труднее всего складывались мои отношения с иранкой Заремой. Мы находились в одном звании, занимались одним проектом, и никто нам не объяснил, как мы должны разделять обязанности. Я считала ее вздорной и недостаточно квалифицированной, однако недооценивала её умение хорошо разговаривать с заказчиками и с высоким начальством.

В 1998 году наша компания в очередной раз поменяла приоритеты и остановила разработку собственных чернил. Сразу резко уменьшилось количество проектов, а интересной, заставлявшей думать работы и вовсе не стало. Как многие окружавшие меня американские матери, не работавшие или не удовлетворенные собственной жизнью, я начала «присасываться» к жизни ребенка и подменять ею свою. Старалась не пропускать его соревнований, награждений, выступлений, – любых мероприятий, куда допускались родители.

Наверное, именно тогда мой ангел-хранитель посчитал, что я разленилась, а ведь способна на большее. Или, возможно, он решил, что я недостаточно ценила то, что имела. А может быть, ему просто стало скучно. Как бы то ни было, он надолго прервал уютный травоядный период моей жизни.

В 2000 году, как я говорила в начале своего рассказа, муж принял предложение большой компании, находившейся в Санта-Кларе. Не помню, советовался ли он со мной и с сыном. Скорее всего просто поставил нас в известность: меня – до подписания бумаг, сына – после.

Я и по сей день пытаюсь понять – что было причиной? Неудовлетворенность карьерой? Семейной жизнью? Боязнь опять потерять работу и надежда, что большая компания окажется более стабильной? Езда семьдесят миль в один конец и пробки? Всё, вместе взятое? Надежда на то, что, поставленные перед свершившимся фактом, мы с сыном тоже соберём пожитки и переедем?

К сожалению, все обстояло не так просто. Сын к этому времени закончил девятый класс и по праву считался одним из самых блестящих учеников своей школы. Переезд и перемена школы свели бы на нет все немыслимые усилия, которые он приложил, чтобы этого добиться. Со мной даже разговаривал завуч и объяснял, как важно для сына оставаться в той же школе. Я и сама это понимала. Для моего очень способного и любознательного, но не пользовавшего-

[1] Emotional intelligence (англ.) – эмоциональный интеллект, способность человека понимать эмоции и управлять ими. *Прим. Ред.*

ся популярностью среди сверстников ребенка учеба была единственной возможностью выделиться. Он себя не щадил, работал по ночам, почти не пропускал школу даже по болезни, отказывался ездить с нами в отпуск. Позднее к учёбе добавились бег и многочисленные немыслимые кружки. Ещё год назад сын вместе с завучем составили план на все предстоящие четыре года. Дальше планировалось поступление в какой-нибудь очень хороший университет. Перемена школы и переезд были бы для сына бедой, от которой он бы вряд ли оправился.

Я пообещала сыну, что он останется в Оак-Парке. Если оставался он, оставалась и я. Вынужденная выбирать между мужем и сыном, я выбрала сына, которому была нужнее. В те дни выбор дался мне легко. Сомнения пришли через месяц, с потерей работы.

Я только один раз до этого была в Северной Калифорнии – в гостях у Шен. Отдала должное красивым городам, ни сном, ни духом не предполагая, что меня, как и Шен, в недалеком будущем ожидает жизнь на два дома.

Но сначала второй дом надо было найти. Поиск квартиры на съем был долгим и мучительным. После нескольких недель бесплодных поисков муж прочитал объявление, предлагавшее дом за разумную цену. Муж подготовился к встрече с домовладельцем очень серьезно. Когда-то в Израиле в условиях жилищного бума мой родственник учил нас, новичков, что, собираясь покупать или снимать жильё, для встречи с владельцем надо одеваться официально и брать с собой документы, характеризующие тебя с самой лучшей стороны. Мы и тогда, и впоследствии с благодарностью пользовались его советом. Симпатичный двухкомнатный дом с садом в Кэмпбелле достался нам.

Готовясь к интервью в большой компании, муж купил себе новый костюм. Его старый, финский, из салона для новобрачных, доставшийся по случаю от нашего друга Володи Кременчугского, за годы странствий потерял презентабельность. Новый, бежевый, из Macy's [1] послужил мужу дважды: во время интервью и при встрече с хозяином квартиры. В качестве аксессуаров муж захватил с собой меня и сына (показать, что он серьезный семейный человек), копии своего и моего кандидатских дипломов в переводе на английский, списки наших научных трудов, контракт с большой компанией, а также многочисленные грамоты нашего сына и его табели со сплошными отличными оценками. Тактика помогла. Пока мы разговаривали с хозяином, в дверь позвонил другой претендент, по-видимому, не знающий правил и одетый в повседневные джинсы и футболку. Он получил отказ и ушёл недовольный. Симпатичная двухкомнатная квартира в Кэмпбелле досталась нам.

Дальше события стали развиваться совсем не так, как мы планировали – мой ангел-хранитель совсем пошёл вразнос. В начале августа, ровно через четыре года с начала моей работы в Dataproducts, меня сократили.

Это во всех отношениях прискорбное событие не было неожиданным. Я работала в убыточной компании, известной способностью принимать неправильные решения и совершать неправильный выбор. За последние два года у нас дважды поменялось руководство. Каждый новый маршал приводил своих генералов, а они, в свою очередь, набирали свою команду. Недостаток опыта эти люди компенсировали чрезмерной активностью, ускоряя неизбежный конец. Жертвой политической борьбы стала покровительствовавшая химикам Доина, последний технически грамотный вице-президент. Пришедшее ей на смену руководство делало ставку на готовые чернила, выпускаемые большими компаниями. Наша маленькая химическая группа и разработанная ею технология за несколько лет были полностью уничтожены. Я стала жертвой третьего за два года массового увольнения. Мой непосредственный начальник, Аки, который меня очень любил и отстоял бы, находился в командировке. Решение принял другой человек, бывший спортсмен, известный безграмотностью как в технике, так и в правописании.

Мои надежды быстро найти новую работу не оправдались. Несмотря на то, что экономика находилась в самом расцвете, я ничего не могла найти. Вначале я ещё бодрилась, пыталась заниматься спортом, придумывала себе какое-нибудь занятие, но это продолжалось недолго. Постепенно я стала проводить целые дни за компьютером, бесконечно совершенствуя резюме и ожидая, что вот-вот найдётся какая-нибудь компания, которая это резюме еще не получала.

Как сейчас помню мамины слова: «Воспользуйся свободным временем, пойди на пляж, в музей, в кино, наслаждайся жизнью, пока есть возможность. Её ведь потом не будет». Она была совершенно права, но я, увы, не воспринимала ситуацию как отпуск. Скрепя сердце я включила в сферу поисков Силиконовую долину, которую не любила: меня раздражали дороговизна, скученность и невероятные, невиданные даже в Лос-Анджелесе пробки. Помню, на одно интервью я опоздала, потому что плохо рассчитала время. Компания, куда я ехала, находилась в 7 милях от нашего дома. Интервью было назначено на 9 утра, я вышла из дому в 8 – и не успела!

Каждые две недели я заполняла формы для

[1] Macy's – общее название для сети универмагов в США. *Прим. Ред.*

получение пособия по безработице. Каждую неделю ездила встречаться со специальным консультантом, который должен был научить меня правильно искать работу. Её услуги, оплаченные моим бывшим работодателем, в основном сводились к критике качества бумаги моих резюме и расстановке абзацев. а Просто удивительно, сколько нахлебников кормится на чужих бедах! Эти бесполезные занятия давали только ощущение, что я всё делаю неправильно. Чтобы успокоиться, после встреч с консультантом я обычно ездила на кладбище и проводила некоторое время, сидя в тишине на бабушкиной могиле. Меня успокаивали красота и покой Маунт-Синайского кладбища и незримое присутствие бабушки. Однажды по дороге на кладбище я чудом избежала аварии и восприняла это как знак, что с консультантом надо заканчивать.

Вскоре я всё-таки нашла работу, правда временную, на полгода, совершенно не по специальности и не в Лос-Анджелесе, а в Северной Калифорнии. Опять сыграл роль случай и странная комбинация совпадений.

У мужа в лаборатории купили новый прибор. Устанавливал его пожилой разговорчивый ирландец, давно обеспеченный материально, но продолжавший работать скорее из любви к общению. В ходе установки прибора и неотъемлемого общения выяснилось, что я ищу работу, а некая Элизабет из фармацевтической компании в городе Фримонте ищет человека на временную позицию. К концу дня новый прибор был установлен и отлажен, а моё резюме с рекомендациями от ирландца отправлено Элизабет. Через несколько дней я сидела в её кабинете и рассказывала свою трудовую биографию. Элизабет, красивая болгарка моего возраста, руководила в компании составлением формул лекарств. Я испытывала чувство, именуемое *дежавю* – повторялся разговор пятилетней давности. Элизабет сказала, что выходцы из Болгарии ценят классическое советское образование и мои знания её вполне устраивают. Она уверена, что я быстро научусь специфике лаборатории. Мне предложили контракт на полгода. К сожалению, между ситуацией прошлой и нынешней была существенная разница: во-первых, работа была временная, рассчитанная на несколько месяцев, – подменить ушедшую в декретный отпуск сотрудницу, во-вторых, я не могла ни забрать с собой сына, который учился, ни оставить его одного. Я также не могла проигнорировать эту возможность, так как жизнь на два дома требовала второй зарплаты; а главное, сидя дома, я сходила с ума от тоски и безделья.

Как всегда, когда больше некуда было идти за помощью, я обратилась к маме. Попросила родителей переехать ко мне на время моего отсутствия и быть при сыне. Для них, уже очень пожилых людей, новые обязанности не могли не стать большой нагрузкой. Родители хотели было отказаться, но потом мы одновременно вспомнили о моей замечательной прабабушке, маминой бабушке. Согласно семейной легенде, в 1938 году, узнав об аресте своей старшей дочери в Москве (зять был арестован и расстрелян на год раньше), моя семидесятилетняя прабабушка оставила в Днепропетровске мужа и работу и уехала в Москву растить внуков и беречь квартиру (зять до ареста занимал крупный пост в Метрострое). Пример подействовал, родители дали согласие на переезд. Я навечно им благодарна.

После этого в течение семи месяцев родители приезжали к нам в воскресенье вечером и уезжали в пятницу, отправив внука в школу. Мы с мужем в пятницу вечером заканчивали работу и отправлялись в утомительный путь из Сан-Хозе в Лос-Анджелес. Выходные пролетали быстро, надо было переделать несметное количество дел, которые в нормальной жизни можно было бы растянуть на неделю. В воскресенье вечером пора было возвращаться назад в Северную Калифорнию. Постоянная тревога за сына и усталость от поездок меня, конечно, выматывали, но мне очень нравилась моя временная работа, сотрудники и, главное, начальница. Она относилась ко мне очень тепло, учила, поддерживала, разрешала иногда работать из дома. Она также позволяла мне уезжать в Лос-Анджелес на интервью, хотя считала, что я должна быть более разборчивой, когда соглашаюсь на оные. Она, конечно, была права. Часто я отправлялась на интервью, хотя компания и должность мне явно не подходили, с единственной, тайной, целью – провести лишний вечер с сыном.

Элизабет продлевала мой контракт, пока он не достиг максимально дозволенного в компании срока. К этому времени, я, наконец, нашла работу в Лос-Анджелесе.

Моим следующим работодателем стала Олимпийская лаборатория, формально принадлежащая Калифорнийскому университету Лос-Анджелеса, которая разрабатывала методы обнаружения запрещённого допинга у спортсменов. Хотя у меня не было никакого полезного для лаборатории опыта, я сумела произвести благоприятное впечатление на директора, единолично решавшего вопросы кадров.

Работу в лаборатории оказалось отнюдь не идеальной. Меня ожидали тяжелый, до изнеможения, труд, бесконечные пробки на дорогах, существенно более низкая, чем прежде, зарплата. Мне предстояло испытать на себе плохой характер директора. Но всему своё время. А пока я чувствовала себя на седьмом небе и очень собой гордилась. Впервые за долгие месяцы я просыпалась по утрам в хорошем настроении. Я возвращалась к сыну. Я возвращалась домой с победой.

Александр Трегуб

ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ О ВЕЛИКИХ ФИЗИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЯХ 20-ГО СТОЛЕТИЯ

Посвящается писательнице и знатоку городского фольклора Марине Золотаревской

НИЛЬС БОР

Великий датский физик Нильс Бор был заядлым альпинистом. Он вскарабкался на все холмы своей Дании, облазил все вершины в Западной Европе и, в конце концов его занесло на Кавказские горы. Как-то, спускаясь с очередного покоренного Кавказского хребта, он очень устал, и ему смертельно захотелось пить. Как назло, ручей с живительной водой никак не попадался, но зато случайно Бор вышел к горному аулу и попросил стакан воды у девушки, которая пасла стадо баранов недалеко от аула. "Генацвале, какой стакан воды," – сказала местная красавица Сулико, – для дорогого гостя я не пожалею самого ценного, что есть в моем доме". И она пошла в свой дом и, согласно местной традиции, вынесла на своих плечах самое дорогое, что было в ее доме: любимую корову своей семьи. Сулико спустила корову с плеч перед Нильсом Бором, подоила ее, и подала Бору стакан замечательного молока от горной коровы. Хотя Бор просил не молоко, а воду – потому что он знал, что от молока у него бывает расстройство желудка – великий физик не мог отказать красавице Сулико и выпил стакан молока. Тут же у него началось расстройство желудка, и он вынужден был быстро отбежать за ближайшую скалу. И вот, сидя за скалой и глядя вверх на горные склоны, Бор заметил горных козлов, прыгающих по горным тропам. И тут великого физика осенила гениальная идея: Бор отождествил горные тропы с электронными орбиталями, а козлов, скачущих с тропы на тропы – с электронами, переходящими скачкообразно с орбиты на орбиту. Так родилось великое открытие квантовых элетронных переходов в атомах! Закончив свое наблюдение горных вершин, Бор бросился в аул, отыскал Сулико и попросил немедленно найти какую-нибудь ручку, чтобы записать гениальную идею. Хотя ручка в горном ауле была явлением еще более редким, чем хорошая дойная корова, самоотверженная Сулико сумела отыскать ручку, да еще и не простую, а с надписью "Inventor", что на грузинском означает "Изобрэтатэль". Нильс Бор немедленно записал гениальную идею в походном дневнике и, вернувшись в Данию, опубликовал основополагающую статью о квантовых переходах, за которую он впоследствии получил Нобелевскую премию по физике и миллион шведских крон. А через какое-то время немного повзрослевшая и еще больше похорошевшая красавица Сулико получает письмо из Дании. В конверте она находит чек на 450 тысях шведских крон, и короткую записку на чеке – «Компенсация за ручку "Инвентор"». А чуть пониже короткой записки, она находит еще и приписку: "Должно было быть 500 тысяч, но 50 тысяч пришлось потратить на излечение моего желудка, расстроенного молоком горной коровы".

ЭРВИН ШРЁДИНГЕР

Знаменитому немецкому физику Эрвину Шрёдингеру, бежавшему из Германии после прихода к власти нацистов, в поисках места на университетской кафедре пришлось поездить по всему свету. Он жил и работал в Англии, Америке, Австрии, даже Польше. И вот как-то он добрался и до Кавказских гор. Будучи человеком разносторонним, физиком, философом и большим поклонником женщин, Шрёдингер, натюрлих, не мог позволить себе упустить возможность покорения величественного Эльбруса перед тем как подать заявку на профессорскую позицию на кафедре физики Тбилисского университета. К этому времени Шрёдингер уже получил Нобелевскую премию по физике за открытие своего уравнения Шрёдингера, (которое никто из физиков не понимал, но все широко им пользовались) поэтому он считал, что его шансы получить позицию в Тбилиском университете достаточно высоки и мог позволить себе расслабиться. Но спускаясь с Эльбруса, он немного заблудился и оказался рядом с высокогорным аулом. К счастью, неподалеку пасла стадо баранов девушка необычайной красоты по имени Сулико. Потрясенный красотой девушки и количеством баранов в ее стаде, Шрёдингер приблизился к ней и спросил, где проходит тропа на спуск. На что Сулико сказала: "Генацвале, как можно отпустить дорогого гостя, не накормив его настоящим кавакзским шашлыком!"– и пригласила физика в свой симпатичный аул, заметно похорошевший с момента получения чека на 450 тысяч шведских крон от физика Бора. Немедленно самые ловкие джигиты аула отправились на охоту. Изловив замечательного барана, они же немедленно приготовили шашлык для Шрёдингера. И тут Шрёдингер задумался о знаменитом принципе неопределенности физиков

Копенгагенской школы во главе с Бором, которые договорились до того, что провозгласили электрон одновременно и существующим, и несуществующим, а если и существующим, то как бы даже размазанным в пространстве. И тогда Шрёдингер мысленно представил себе только что разделанного барана в виде электрона и сказал: " Бэээ, – а потом добавил – В смысле, вот, например, баран, натюрлих, не может одновременно существовать и как баран, и как шашлык: или он баран и пасется в горах, или он шашлык, и я его поедаю!" Так родился знаменитый принцип "Шрёдингеровского барана" (по ошибке, вошедший в историю под именем "Шрёдингеровского кота"), опровергающий принцип неопределенности. И хотя Шрёдингер не получил вторую Нобелевскую премию за открытие принципа "кота-барана", но прославился он именно этим принципом, и, если бы не принцип, имя Шрёдингера было бы всеми давно забыто, за исключением малого числа физиков, все еще пользующихся его уравнением. А через какое-то время в горный аул приходит письмо на имя девушки Сулико, проштемпелеванное почтамтами Флориды, Кембриджа, Вены и Вроцлава. И Сулико, окруженная самыми красивыми женщинами, самыми смелыми джигитами и самыми почтенными старцами, вскрывает конверт и находит в нем чек на 250 тысяч шведских крон и короткую записку на чеке: "Компенсация за шашлык". А чуть пониже записки она находит еще и короткую приписку: “Должно было бы быть 500 тысяч шведских крон, но премию пришлось поделить с Полем Дираком, так что сумма сократилась, натюрлих, в 2 раза”.

ПОЛЬ ДИРАК

А тем временем знаменитый английский физик Поль Дирак, известный своей рассеянностью и полным отсутствием внимания к прекрасному женскому полу, вышел на традиционную прогулку в пригороде Кембриджа, где он жил и работал в Кембриджском университете. Дирак не любил занятий спортом, но был известен своим пристрастием к длинным прогулкам, в ходе которых он обдумывал важные физические теории. На этот раз он обдумывал гипотезу под названием Lamb Shift (смещение Лэмба), которая пыталась объяснить разницу между теорией самого Дирака и результатом эксперимента по определению энергии электронных уровней в атоме водорода. Прогулка получалась очень долгой, но Дирак не смотрел на часы, а производил в уме вычисления разницы энергий электрона на S и P-орбиталях атома водорода. Через какое-то, довольно продолжительное время, ему удалось вычислить эту разницу, – которая, кстати, оказалась ничтожно малой, – и он, наконец, остановился. К своему удивлению, он обнаружил, что находится в окружении могочисленных баранов, которые внимательно и серьезно на него глядели. Вначале Дирак решил, что, вследствии напряженной работы над гипотезой, у него произошел сдвиг на почве баранов (lamb shift). Но оглядевшись вокруг, он заметил также и девушку удивительной красоты, необычайно эффектно смотревшуюся на фоне окружающих диких скал и баранов. "Где я?",– спросил Дирак. "На Кавказе, генацвале"– ответила красавица Сулико. Дирак невольно сравнил Сулико со своей женой – и поразился их абсолютной несхожести. Стройная, высокая, смуглая, стремительная черноглазая красавица Сулико была совершенным антиподом маленькой, неторопливой, округлой голубоглазой блондинке – супруге Дирака, (которую он, к тому же, обычно представлял друзьям не как свою жену, а как сестру теоретика Вигнера). И тогда в голове Дирака родилась совершенно гениальная идея: а не могут ли элементарные частицы, подобно людям, быть полной противоположностью друг другу? Иными словами, не может ли у электрона быть античастица под названием, к примеру, позитрон? Но пытливый ум Дирака на этом не остановился. Он живо представил себе, как бы отреагировала его супруга, если бы нашла его в обществе прекрасной Сулико, – и концепция взаимной аннигиляции противоположных частиц была рождена! Сулико терпеливо дожидалась, пока Дирак сделает в уме свои гениальные открытия, а когда, он, наконец, закончил их делать, она предложила Дираку ручку, чтобы их записать. С недавних пор предусмотрительная Сулико, собираясь на выпас, вместе с кувшином молока, хлебной лепешкой и козьим сыром всегда брала с собой несколько функционирующих ручек. Дирак записал гениальное открытие об античастицах, и, закончив, спросил, что делает и где живет Сулико. "Я пасу баранов,– ответиле красавица, – а живу тут рядом, в ауле". "В ауле! – воскликнул Дирак, – я с детства мечтал об аулах, а также о баулах, есаулах, саксаулах и аксакалах! Давай жить вместе в ауле и вместе пасти твоих баранов!" Но умная Сулико понимала, что, если Дирак останется жить с ней в ауле, никто не узнает о замечательном открытии, и некому будет получить за него Нобелевскую премию. Поэтому она посадила Дирака на лучшего барана в своем стаде, подробно объяснила дорогу к Кембриджу, –

причем баран понял, – и отправила Дирака домой.

И кстати, именно после этого приключения, к многочисленным анекдотам о Дираке добавилась история о том, что Дирак был заядлым альпинистом и даже покорил вершину Эльбрус. Вернувшись в свой Кембриджский университет, Дирак, первым делом, подарил барана девочке Мэри, – потому что ее оригинальный барашек из известной песенки к этому времени издох, – а затем опубликовал гениальную работу об античастицах и аннигиляции. Довольно быстро Дирак получил за нее Нобелевскую премию, которую ему, правда, пришлось разделить со Шрёдингером. А через некоторое время красавица Сулико получает конверт из Кембриджа. Открыв его, она находит чек на 225 тысяч шведских крон, а внизу маленькую записку: "Компенсация за твою красоту". А еще ниже, она также видит и небольшую приписку: "Могло бы быть и все 500 тысяч, но, во-первых, пришлось разделить премию со Шрёдингером, а, во-вторых, 25 тысяч ушло на прокорм барана на пути из Кавказа в Кембридж".

ПЕТР ЛЕОНИДОВИЧ КАПИЦА И ЛЕВ ДАВЫДОВИЧ ЛАНДАУ

Однажды два выдающихся советских физика, Петр Леонидович Капица и Лев Давыдович Ландау, отдыхали в Сухумском санатории на Черном море. Устав от безделья и ленивого пляжного образа жизни, они решили перейти через горный перевал, отделяющий Черноморское побережье от Северного Кавказа. Переход был несложный и проходил по широкой тропе, проторенной многочисленными горными туристами, направляющимися как раз в противоположную сторону, от покоренных Северокавказских вершин на отдых к Черному морю. По дороге, вдохновленные красивыми видами горных водопадов, физики активно обсуждали проблемы текучести, и настолько этим увлеклись, что сбились с тропы и оказались на ложном перевале. Тропа вначале круто пошла вверх, а затем совсем исчезла. Физики карабкались вверх по скалам, ориентируясь по солнцу, и неожиданно вышли к леднику. Солнце стало спускаться за горизонт, в горах сильно похолодало. Физики продолжали путь уже по наитию и, в конце концов, им чудом удалось спуститься с ледниковых вершин к покрытым травой возвышенностям. Оба жутко замерзли, и поэтому очень обрадовались, повстречав неожиданно стадо баранов. Стадо, сопровождаемое изумительной красоты девушкой в национальных кавказских одеждах, возвращалось с горного выпаса. "Как нам поскорее пройти к человеческому жилью и хоть как-то согреться?",– вскричали физики. "Нет проблем,– ответила прекрасная Сулико, – но не нужны ли вам случайно ручки, чтобы записать ваши гениальные идеи?" И с надеждой добавила: " У меня как раз есть две замечательные и полностью функциональные ручки фирмы "Inventor". Но замерзшим физикам было не до гениальных идей, и поэтому Сулико быстро привела их к своему аулу. Узнав, что аул посетили два замечательных физика, все население вышло встречать дорогих гостей. Пока джигиты аула готовили шашлык, старейшины угощали гостей крепчайшей чачей, чтобы гости поскорее согрелись. И чача помогла! Отогревшийся Капица, запивая шашлык чачей, заметил: "Ландау, еще никогда мясо не поглощалось мной так легко и свободно, почти как чача, – как будто бы оно само находится в полутекучем состоянии". И добавил: "А не связана ли такая повышенная текучесть с жуткой холодиной, испытанной нами на леднике?" Оба задумались, и Капица воскликнул: " А если экстраполировать температуру на леднике к температуре жидкого гелия, то этот шашлык перешел бы не только в полутекучее, но и в сверхтекучее состояние!" Ландау ничего не оставалось, как согласиться с данными опыта выдающегося экспериментатора Капицы, но из чисто научного интереса он спросил ближайшего джигита: “Из мяса какого барана приготовлен этот замечательный шашлык?” На что огорченный джигит ответил: “Обижаешь, генацвале,”– и объяснил, что для дорогих гостей шашлык был приготовлен не из какого-нибудь там заурядного барана, а из очень ценного и редко встречающегося в природе кавказского БИЗОНА, выращенного на специальной ФЕРМЕ. И тут уже Ландау осенила гениальная идея, – и модель сверхтекучести для БОЗОННЫХ и ФЕРМИОННЫХ жидкостей была рождена! Так, благодаря счастливой случайности, на глазах у изумленных горцев далекого кавказского аула, было экспериментально показано и теоретически объяснено явление сверхтекучести.

Капица и Ландау вернулись в свой Сухумский санаторий, а для жителей аула началась пора нетерпеливого ожидания очередного конверта из европейской столицы. И конверт не заставил себя долго ждать! Довольно скоро в аул прибыл большой пакет, адресованный Сулико, с обратным адресом Отделения Физики Академии Наук СССР. Для торжественного открытия конверта абсолютно все жители аула собрались на просторном пастбище аула; более того, были приглашены гости из всех

окрестных аулов, так что в результате на пастбище собрался полный кагал всех аулов.

Сулико открыла коверт и осторожно извлекла огромного размера грамоту, которая гласила: "От Академии Наук СССР: Жителям Горного Аула за выдающийся вклад в развитие Советской физики". А после этого, из глубины пакета, она извлекла небольшую бумагу размером с обычный чек, – но которая при внимательном рассмотрении оказалась билетом лотереи ДОСААФ, – внизу которого была небольшая записка: "Компенсация за чачу". А еще ниже она нашла и короткую приписку: "Весь гонорар за Нобелевские премии был перечислен в Фонд Мира". А затем Сулико также извлекла и несколько маленьких плакатов с загадочными надписями, которые никто из жителей аула так и не смог расшифровать: "Вступайте в члены ДОСААФ!", и "Покупайте билеты денежно-вещевой лотереи!", и "Будь готов к труду и обороне!", и даже "Летайте самолетами Аэрофлота!" Хотя жители аула и были немножко разочарованы содержанием пакета, но своего разочарования показывать не стали, а наоборот, послали самых бравых своих джигитов укрепить Грамоту на самой высокой скале, так, чтобы была она видна всем пасущимся баранам своего и соседних аулов.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

Гениальный физик Альберт Эйнштейн приобрел неслыханную для физиков мировую популярность благодаря созданию своей специальной теории относительности. Однако Нобелевскую премию по физике он получил не за теорию относительности, а за ранее открытый закон фотоэлектрического эффекта. Но и за это открытие свой Нобелевский гонорар ему пришлось отдать своей первой жене Милеве Марич – и не потому, что она, по слухам, помогла ему в работе над фотоэлектрическим эффектом, а просто потому, что немецкие физики плохо разбирались в юридических тонкостях, и не заключали перед браком "Prenuptial Agreement". (Брачный договор – анг.– Прим. ред.) Конечно, если бы он послушался свою еврейскую маму, которая с самого начала была категорически против брака с гойкой из далекой Сербии, все могло бы сложиться иначе... Но, как бы то ни было, гонорара за Нобелевскую премию Эйнштейн не получил, а профессорского жалованья в Принстоне ему едва хватало на поддержку членов семьи от двух браков, на времяпрепровождение с интересными женщинами и на тяжелую неблагодарную работу над созданием общей теории относительности. И вот как-то Альберт Эйншетейн получает письмо со странным обратным адресом на конверте: "Деревня Каракерт, Армения". Вначале выдающийся физик решил, что это письмо очередного сторонника мира в поддержку пацифисткого Манифеста, написанного им самим в соавторстве с его другом, философом Бертрандом Расселом, и хотел выбросить письмо в корзину, – но что-то его остановило. Он открыл конверт и извлек из него две бумаги, одна из которых оказалось коротким письмом, а вторая – чеком на 1 миллион шведских крон, выписанным на его, Альберта Эйнштейна, имя. Необычайно заинтригованный, Эйнштейн начал читать письмо. А в письме было написано следующее: "Уважаемый Герр Профессор Эйнштейн! Мы, жители армянской деревни Каракерт, расположенной неподалеку от великой горы Арарат, всегда очень интересовались вопросами современой физики. Мы узнали много интересного и поучительного об этой науке от сотрудников Армянской Академии Наук, которых к нам каждый год присылает наш любимый райком для помощи в сельскохозяйственных работах по острижке баранов. Но одного мы не могли понять, – почему все великие открытия физики XX века совершаются в каком-то далеком Эльбрусском ауле, жители которого понятия не имеют о физике, а не у нас в деревне Каракерт у подножия вершины Арарат, где каждый жених, чтобы получить согласие родителей невесты, должен вывести у них на глазах уравнение Шрёдингера! Но вот недавно наши старейшины ознакомились с Вашей теорией относительности,– и все поняли! В то время, как для независимого наблюдателя, находящегося на горе Эльбрус, все великие открытия, – ошибочно, – кажутся сделанными в богом забытом кавказском ауле, для другого независимого наблюдателя, сидящего на горе Арарат, великие открытия, – совершенно справедливо, – видятся изобретенными в деревне Каракерт под вершиной Арарат! Поэтому мы дали объявление в армянское радио, и общими усилиями нам удалось собрать немножко денег, чтобы восстановить справедливость и вручить Вам гонорар от имени всего армянского народа за выдающееся открытие специальной теории относительности".

Прочитав письмо, Альберт Эйнштейн так обрадовался и вдохновился, что тут же вывел три новых уравнения своей общей теории относительности, каждое из которых, как обычно, противоречило предыдущему.

Александр Зевелев
в содружестве с Натаном Щеглом

ВЕЛИКАЯ ТУСОВКА

Для тех, кто к ночи
пропустить любил стаканчик,
на Стайнер Стрит
открылся новый ресторанчик,
его держал интеллигентнейший иранчик,
и назывался ресторанчик “Брю-ха-ха”.

Поскольку больше было некуда деваться,
сюда богемка собиралась тусоваться.
Одних художников тут было
штук пятнадцать,
А композиторов –
так просто пруд пруди!

Тут был Иосиф, популярный и усатый,
страдавший ямбом,
многословьем и простатой.
В одной руке стакан пивка,
в другой – сосиска –
известный вэлферщик
красавца Сан-Франциско.

Среди красавиц там была красотка Роза,
легко страдавшая от раннего склероза:
она и конному и пешему давала,
а поутру про это напрочь забывала.

Иосиф двинул к ней походкой пеликана,
хлебнул шампанского у Розы из стакана,
и умыкнув себе за щёку три конфеты,
сказал такое, что поймут одни поэты.

Но Роза не отозвалась на голос тела.
Она и так уже порядочно вспотела
в объятьях толстого и жирного хирурга,
в далеком прошлом –
шансонье из Петербурга.

Хирург сказал ему: “Послушайте, Иосиф,
Вы, вероятно, не забыли, где мой офис.
Зайдите завтра, я вам так задвину в тохес,
что от простаты не останется следа”.

И трехэтажным отвечал Иосиф ямбом:
“Кому про тохес говорить,
так уж не вам бы.
Вас вместе с тохесом,
апломбом и деньгами
отсюда вынесут сейчас вперед ногами”.

Побочный сын аятоллы с Шехерезадой,
наш ресторатор дядя Моня из засады,
пока усатого
дубасил толстозадый,
все набирал заветный номер
“найн-уан-уан”.

А в ресторане шла Великая Тусовка.
Передрались и режиссеры, и массовка.
А кто-то кассу вскрыл,
изящно так и ловко,
что дядя Моня даже пикнуть не успел.

Тут в ресторанчик ворвались
четыре капа.
В бараний рог они скрутили эскулапа,
а вместе с ним –
уже без всяких церемоний –
скрутили всех,
включая Розу с дядей Моней.

А утром те,
кто отбрехался от легавых,
пришли на место
боевой вчерашней славы.
Сказали хором:
“Дядя Моня мы – неправы!”
И похмелились на руинах Брю-ха-хи.

Игорь Ильин

О ГЛУПОМ КРОКОДИЛЕ

Что сказать: красива река Кунене! Красивы ее берега, поросшие тростником. На многие мили тянутся сочные луга в ее пойме. Прямо к воде спускается по песчанику лопоухий кактус "заячьи уши", высвечивая желтыми огоньками. По лугам, как ожившие цветы каллов, важно вышагивают белые цапельки *онголоконьянга*. А в пору дождей и туманов, когда распускаются сами каллы, берега убираются в белое, сверкающее до боли в глазах одеяние. Удивительно красива река Кунене!

Ни на миг не затихает жизнь у реки. Утренний гомон, чириканье, щебет и кряк подхватится в час полуденного зноя и затишья звоном цикад, шелестом стрекозьих крыльев и прочей насекомой трескотней, а ближе к ночи сменится пронзительными трелями сверчков, вздохами ночных птиц, бормотаньем лягушек, невнятным фырканьем и грозным рыком у водопоя.

Молчит только самый грозный обитатель реки – *Ongadu*, крокодил. Тихо подкрадывается он к добыче. Захлопает вдруг утка крыльями, взмоет с криком молодой выводок; а по воде только и того, что шлепнет огромный зеленый хвост, расползутся круги, и опять... тишина и покой. Немного погодя выползет крокодил на отмель, уткнется мокрой мордой в теплый сухой песок и греется себе на солнышке, зевая, как ни в чем не бывало. А вот неосторожной утки – той и впрямь как не бывало. И лишь нет-нет, да и скатится на песок печально известная даже тому, кто сам и в глаза не видал крокодила, "крокодилья" слеза. Это он добычу "оплакивает".

* * *

Племя кваньяма почитает крокодилов. Один из родов племени так и называется *овакуанангаду*, то есть, "крокодильим". Мужчины этого рода не раз побеждали крокодилов и могут поведать немало и любопытного, и поучительного о тех же крокодильих «слезах», и повадках, и нравах.

Великой честью для юноши любого другого рода было получить в жены дочь того, кто сам одолел крокодила. Считается, что именно к дочери должны были перейти его отвага, сила и ловкость. А сыновья – сыновья всему должны научиться сами.

* * *

Впрочем, несмотря на внешнее и вместе с тем вполне понятное почитание невидимого обитателя реки – а даже имя оного крайне нежелательно было произносить вслух, дабы ненароком не накликать напасть на голову себе или кому-нибудь из близких – средь кваньяма ходит великое множество «крокодильих историй», над которыми и самому-то впору пролить «крокодилью» слезу. Рассказчик же всенепременнейше добавит, что все истории, какую не возьми, как ни крути, а донельзя правдивы. Поскольку даже если их и занесло в наши газельи края случайным ветром или дождиком, куда попали с каплями и крокодильи слезы, то только потому, что далеко отсюда у сонного костра подобную историю уже поведал людям другой рассказчик. Такой же, как и мы.

Конечно, вы можете сказать (и тут правда ваша), что он и сам, приглядывая за костром ненастной ночью, ее подслушал тоже – в шепоте дождя и шуме ветра в тростниковой крыше. Но что с того? Ведь был же кто-то, кто, невзирая на табу, не побоялся первым рассказать о.... И этот «кто-то» знал, *что* говорит.

Откуда? Да оттуда, что жил он у реки. И потому не понаслышке знаком ему прощальный хлоп крыльев, протяжный стон быка, стремительный, как смерч, водоворот и.... безответные круги на темной глади. И все же... Ну, а кому ж еще, как не живущим-у-реки, знать толк и толковать со знанием тела о тех, кто-в-этой-же-реке-живет?

Так вот, уж если эти самые, что знают толк в тех самых, в ком они знают толк, со знанием тела утверждают, что видали, а если не видали, то слыхали, а если и не то и не другое, то это потому, что им и без того известен, Глупый (попробуйте-ка догадаться, кто), то можете поверить: все это истинная правда. Ну, может, приукрашена слегка. Итак...

* * *

Итак, как *водится*, *водился* в мутных *водах* реки Кунене... хм...кх-...кх-...крокодил. Но не такой, как все, а – глупый. Его так и прозвали: *Глупый Крокодил*. Даже его родная тетя, которая больше всех намаялась с ним, пока выходила, и та величала его не иначе, как "*глупым*" (с большой, разумеется, буквы). Ну разве она не учила его уму-разуму и разным крокодильим хитромудростям? И залечь бревном у водопоя, и, подавив инстинкты, подождать, пока самим теченьем не снесет почти что под ноги утиной стае; и метнуться наперерез антилопе, что в поисках лучших пастбищ как раз вовремя (а именно: к завтраку, обеду или ужину) затеяла переплывать реку, – нет, ничего не получалось! То "бревно" зашевелится в нетерпении, то утки переполошатся, завидев, как на них – словно лодка в неумелых руках, что шлепает веслом и гоняет волну – несется зубастая грозная туча; то антилопа успеет выскочить на берег, еще издали заметив недвусмысленно разинутую пасть. В общем, не выжить бы Глупому Крокодилу, когда б не тетушка, что успевала охотиться и за себя, и за того-который-Глупый.

Но прошли годы – тетушка состарилась.

Все дольше грелась она на песке или дремала в камышах в надежде на нечаянную лягушку. Ни чутья на добычу, ни тех сил, что прежде были. И тут уж пристыдили Глупого почтенные и пожилые, видавшие виды, но не видавшие такой натуры, крокодилы. Да пристыдили *так*, что он (по слухам) даже покраснел. И вышел он на первую самостоятельную охоту, чтобы неголословно отблагодарить тетушку за прошлое и существенно поддержать на будущее.

Целый день *носился* Глупый Крокодил по реке то *вдоль*, то *поперек*, то *по* течению, то *против*, пока не *опротивело*. И тут он понял, что, кажется, весьма *поизносился*. Зато под вечер, когда, намаявшись впустую, он слегка прилег на отмели у водопоя, с верхушки баобаба, что высился как раз неподалеку, спустилась настоящая макака. От умиления у крокодила сама собой уж подкатила и слеза:

– Увидит меня тетушка с добычей и тоже прослезится! И никто, никто-никто не скажет теперь, что я глупый – еще не всякий умный похвастать может тем, что ухитрился обвести хвостатую вокруг хвоста!

А макака у самой воды вдруг остановилась.

– А это еще что за бревно?! Не было его днем!

– Было! Было! – не растерявшись, рявкнул что есть духу крокодил. Глядь – а макаки уж и след простыл. Сидит, как и сидела, на верхушке, и только рожи корчит.

Так ни с чем и воротился крокодил к заждавшейся под вечер тете.

Выслушала она его и сказала:

– Ах, глупенький ты мой, мой Глупый Крокодильчик! Да разве бывают говорящие бревна!

Подумал крокодил, подумал, и решил: и впрямь о говорящих бревнах не только не слыхал он сам, но даже не слыхал, чтобы слыхал о них кто-либо из бывалых и сведущих в макаках и непритворных бревнах крокодилов.

На другой день он снова навострился к водопою, устроился на отмели и притаился в ожидании. И не напрасно: как только спала дневная жара, вчерашняя макака вновь спустилась с насиженного места.

– А что это за бревно? Не было его днем...

Хотел было крикнуть крокодил, что было, но удержался. И даже глаза закрыл, чтоб не блестели.

– ...но что за странное бревно, другие бревна на волнах качаются, а это – ишь, как затаилось, что твой крокодил...

«Ай-ай-ай, – подумал крокодил, – вот так оплошность!" И давай лапами по воде колотить, на волнах качаться, чтобы больше на бревно походить. Качался он, качался, пока не укачало. А макака давно уже на баобабе сидит. И снова рожи корчит. Так и вернулся крокодил к своей тетушке, ничего понять не может. А она его выслушала, и говорит:

– Ах, где ж это видано, чтобы бревна(!) лапами (!!) махали?!! Тем более – на отмели...

* * *

И снова крокодил на прежнем месте. На баобаб глядит, ждет не дождется.

– А это что там за бревно? – слышится голос еще с баобаба.

Но крокодил - ни звука.

– Странное все-таки это бревно, другие на волнах качаются, а это – ни-ни...

Но крокодил - ни всплеска!

И чует он шорох по песку и сладкое посапывание у воды. Хвать! Чуть сердце от радости не выскочило.

– Наконец-то обрадую свою тетушку!

А макака – в слезы:

– Ах, бедная, бедная тетушка! Неужто опять ей спать на голодный желудок?

– Почему? – удивился крокодил. – А ты?

– Да что я, – вздохнула макака, – разве ты не знаешь, что самое вкусное, нежное и доброе у макак – это сердце. Любому, даже самому *зеленому,* крокодилу должно быть хорошо известно, что нет ничего хуже *бессердечной* макаки и потому, и только потому, мы всякий раз оставляем сердце в дупле на дереве, когда идем на водопой.

Нет, никак не хотелось крокодилу признаваться, что он такой зеленый: до сих пор не знает, что самою вкусное, нежное и доброе у макак – это сердце. И что они оставляют его в дупле на дереве, когда идут на водопой. Поэтому он только тяжело вздохнул. И поинтересовался, как бы ненароком:

– И что же делать?

– А что поделаешь, – вздохнула горестно макака. – А делать-то и нечего – в дупло придется лезть. Хочешь, я подожду, пока ты слазишь?

– Нет уж, – приобиделся крокодил. – Я вам не какая-то макака! Я – крокодил! Слыханное ли это дело, чтобы крокодилы по дуплам лазили?!

– Неслыханное, – согласилась макака. – Ну что ж, придется, видно, мне. Тогда я слажу, пока ты подождешь. Я мигом: не успеешь оглянуться, а я уже... как говорится, одна нога там, другая ... тоже там...Ты только никуда не уходи.

И макака заковыляла к дереву. А Глупый Крокодил остался ждать. И долго-долго ждал. Но так и не дождался. Потому что...

…**нет ничего хуже бессердечной макаки**.

* * *

Теперь это точно известно.
Любому крокодилу.
Даже глупому.

Юрий Золотаревский

ОБРАЗЫ МИРА

Софи Кейв
Парящие головы

Художественная галерея и музей Глазго

Кардиффский замок в Уэльсе

Инспектор Лестрейд?..

Призрак в Тауэре

Юлия Шапиро и Кристофер Пал

ПРОГУЛКИ ПО ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

Параллели

1. Искусство граффити на улицах Боготы, Колумбия

Переведи меня

2. Искусство граффити на улицах Боготы, Колумбия

Дмитрий Янушкевич[1]

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА

Игрушечная лошадка и скрипка

Натюрморт с игрушками

Ваза и виноград. Компьютерная графика

Violin trend. Компьютерная графика 2009

Мост золотые ворота на закате. Акрил

Old Man. Компьютерная графика

[1] См. статью Б. Бернштейна "Дмитрий Янушкевич, художник". *ОЖ-2012*

Михаил Голубовский

СОСТУКИВАНИЕ СЛОВ В ЖАНРЕ АНАГРАММ И ПАЛИНДРОМОВ

Слова изобретаются человеком, но затем они начинают жить в языке непредсказуемой самостоятельной жизнью. Они манят и дразнят этой своей самостоятельностью, вызывая невольные ассоциации и приглашая к игре. Об этом прекрасно пишет кембриджская языковая энциклопедия «Language»: *«Игра словами – универсальное занятие человека… Людей восхищает придание отдельным словам нового облика, комбинирование их в ином искусном контексте, поиск внутри них скрытого смысла и манипуляция словами по специально изобретенным правилам».*

Слово, пожалуй, – главное эволюционное достижение человека. Каждое слово имеет свое семантико-звуковое поле. Однако границы этого поля бахромчаты и размыты, перемежаются и переливаются синонимами и омонимами. При этом вольная или невольная замена, утрата, перестановка одной-двух букв внутри данного слова или фразы ведут к новому и неожиданному смыслу.

«Боже мой! Простое состукивание слов, и какие кладези премудрости. Например, слово – и слава», – записывает в дневнике Марина Цветаева.

Слава падает так, как слива: / На голову, в подол.../ Слава падает так, как слово / Милости на топор…

Здесь поэт прибегает к парономазии – преднамеренному семантическому сближению сходных по звучанию слов, необязательно имеющих общую этимологию. В других случаях автор намеренно разделяет одно слово на составные части, имеющие самостоятельный смысл (как при создании шарады) – и неожиданно извлекает на свет целую семантическую цепочку.

…Сентябрь 1938 года, позорное Мюнхенское соглашение. Англия и Франция уступили диктату Гитлера и согласились на передачу чешских Судет Германии. Затем была проглочена и вся страна, с которой Цветаеву многое связывало (*«там растила сына я»*). Рождается трагический цикл стихов о Чехии и в слове «Германия» поэт прозревает зловещие оттенки: *«О мания! О мумия / Величия! /Сгоришь, / Германия! / Безумие, / Безумие / Творишь!..»* Фонетический диагноз точный, пророчество подтвердилось.

В середине 1930-х Осип Мандельштам оказался в ссылке в Воронеже. Нищенская жизнь, духовная изоляция. Редактор газеты, которому он приносил стихи в надежде их напечатать, брал листы со стихами и сортировал их так: «треба – не треба». Трагическое мироощущение поэта вылилось в звуковые трансформации лексемы Воронеж: *«Пусти меня, отдай меня, Воронеж, / Уронишь ты меня иль проворонишь, / Ты выронишь меня или вернешь – /Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож!»* В названии города всплыли грозные признаки беды: ворон – символ тюремного «воронка», откуда не вернешься, и нож – символ смерти.

Пример из классики. Сходные ощущения охватили Пушкина в 1828 г. (угроза преследования за «Гаврилиаду»), и в стихах возникает «анчар» – древо яда, символ зла. Откуда возникло это странное слово, не бытовавшее до Пушкина в русском языке? На эту тему написаны десятки статей пушкиноведов. Изучен круг научных и литературных источников, (включая Байрона и Эразма Дарвина), где Пушкин мог встретить легендарные описания ядовитого дерева острова Явы под названием «упас». Но упас, растущий в тропических дождливых лесах Явы, не пушкинский анчар из пустыни *«чахлой и скупой, на почве, зноем раскаленной».* Тайна остается. Известный филолог-славист Омри Ронен предложил неожиданно простое и правдоподобное анаграммное решение загадки. По его мнению, «анчар» таится в слове «саранча». В южной ссылке Пушкин находился под «опекой» крымского наместника графа Воронцова.

Отношения у них не сложились. Однажды[1] граф повелел Пушкину выехать в причерноморские степи для описания нашествия саранчи. Поэт, будучи выслан, оставался формально на службе в Министерстве иностранных дел. Он посчитал приказ Воронцова самовластным унижением и оскорблением. В черновой редакции «Анчара» говорилось: «*Но человека человек послал к анчару самовластно»*. Пушкин вынужден был поехать в *«зноем раскаленные»* степи, но, вернувшись, написал язвительный стиховой отчет [2] и прошение об отставке. Старая обида и новые угрозы и выточили, видимо, слово «анчар» – символ зла – из слова «саранча»[3]. О. Ронен сказал, комментируя свою догадку: *«Поиски анаграмм – художественная работа: нужно, чтобы после тебя уже нельзя было ее не заметить»*.

Набоков в «Даре» описывает процесс поэтического поиска и возникновения в подсознании неожиданных ассоциативных словесных образов: *«Благодарю тебя, Россия, за чистый и.... Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин?»* Призрак римлянина воскурился у главного героя – поэта Чердынцева – из свободного состукивания *«и крылатый = икры, латы»* и мгновенного порождения новой ассоциации. Набоков был особенно виртуозен в игре плотью слова: «*Я не мешаю словам играть. Я даю им порезвиться. Некоторые из моих персонажей любят взять с поличным какое-нибудь выражение, ведь каламбур определяется как пара слов, застигнутые врасплох. Перестановка слогов зачаровывает и воодушевляет моих героев больше, чем меня самого*». Язвительно звучит в «Даре» брошенное вскользь замечание, что Чернышевский постоянно писал о *космическом и умозрительном*, но при этом выпадала одна буква (получалось *комическое и уморительное*).

Расскажу о собственной проделке в стиле Набокова с выпадением букв. В СССР в период господства партократии повсюду можно было встретить лозунг, которым зомбировали народ: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». Лозунг страшный, ибо он передавал ум, честь и совесть индивида во власть партии. В Академгородке, где я работал, этот лозунг был крупно выложен пенопластными буквами у входа в институтскую библиотеку и каждодневно мозолил глаза. Я приходил в институт рано и однажды не выдержал – отломал мягкий знак в слове «честь». Неделю никто не замечал. Тогда я отломал букву «ч» в начале того же слова. И высветился истинный смысл лозунга: *«Партия ум ЕСТ и совесть нашей эпохи»*. В таком варианте лозунг провисел всего пару дней, выпадение второй буквы заметили.|

В науках о человеке наиболее известное фонетико-семантическое состукивание слов принадлежит известному биологу, одному из основателей генетики Френсису Гальтону (1822-1910 гг.), кузену Чарльза Дарвина. Это противоположение *Nature or Nurture* (то есть наследственности и среды обучения, воспитания), оценка их относительной роли в становлении способностей и интеллекта у человека. Дискуссии по этому поводу происходят и ныне. Оценки меняются, но удачное название дилеммы, изобретенное Гальтоном, остается неизменным.

Мгновенное наступающее удовольствие от каламбура зависит от степени владения языком. Давным-давно для пополнения словесного запаса своей старшей дочери я придумал фразу-каламбур: У ЛОШАДИ БЫЛА ПОВАДКА ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА НЕ СЛУШАТЬСЯ ПОВОДКА. Это забавная фраза оказалась чем-то вроде лакмусовой бумажки. Как я впоследствии заметил, ребенок, который лет до двенадцати рос в русскоязычной среде, легко понимает эту фразу. Однако большинство детей, попавших из русскоязычной среды в иноязычную ранее критических двенадцати лет, испытывает трудность в понимании всей фразы.

В поэзии особую выразительность строке придает инкрустация повторяющимися – или симметричными (палиндромными) – слогами или словами. Этот прием завораживает у Пушкина: *«Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой»*. Состукиваются прямые *(ипень – пени)* и обратные слоговые созвучия *(ш-п-ал – п-ш-ла.)* Для лиц, чутких к поэтическому языку, такие фонетические и ритмические созвучия самоценны и даже стоят выше содержания. Нина Берберова

[1] В мае 1824 г. — Прим. ред.

[2] Достоверность исторического анекдота, приписывающего поэту этот «отчёт» («Саранча летела, летела и села; сидела, сидела, все съела, и вновь улетела»), вызывает сомнения у многих пушкинистов. – Прим. ред.

[3] Здесь, однако, уместно привести и альтернативную гипотезу: в словарь языка Пушкина слово «анчар» попало как производное от латинского «antíaris» («антиарис»), обозначающего род вечнозеленых растений или кустарников семейства тутовых. Это название дал растениям указанного рода (действительно весьма ядовитым) французский путешественник и ботаник Жан Батист Лешено де ла Тур (1777-1826 гг.). Редакция предлагает компромисс: признать «антиарис» столь же полноправным родителем слова «анчар», что и «саранча». — Прим. ред.

(«Курсив мой») вспоминает забавный случай из своего гимназического отрочества. Она вдруг разочаровалась в пушкинской Татьяне. Мол, та влюбилась в Онегина, не сказав ему и двух слов, просто за его пресыщенный вид. Затем вышла замуж за толстого генерала по просьбе матери, а потом, признавшись, что любит Онегина, гонит его от себя: *«какие-то старомодные и безответственные проделки».* Этой тайной она не без опаски поделилась с подругой – юной поэтессой Наташей Шкловской – и услышала в ответ: «Разве это важно? Не все ли равно? Важно, что *«Морозной пылью серебрится / Его бобровый воротник»,* важно, как бегут enjambements из строчки в строчку, из строфы в строфу. А язык! А ирония!». И к потрясенной Нине Берберовой поэзия и литература *повернулись «новым уровнем значений и смыслов».* Она впервые, видимо, ощутила красоту бегущих слогов-созвучий в этих двух онегинских строчках: *оро-ебр – обр-оро.* Подобными же созвучиями пленяют нас известные блоковские строчки: *«И веют древними поверьями / Ее упругие шелка».* Здесь протяжными воющими гласными обрамлены симметричные созвучия: *ею-рев – вер-ее.*

АНАГРАММЫ

Анаграммы – новые слова, возникающее из исходного слова при перестановке букв. Сознательный поиск анаграммы или её неожиданное явление из глубин подсознания зачаровывает, подобно рождению Афродиты из пены морской. Это сотворение красоты. И одновременно – игра, счастливое возвращение в мир детства. В анаграммах апельсин – это заколдованный спаниель, анаконда выползает, когда гремит канонада, слепень превращается в плесень, синоптик влияет на погоду как истопник, а ребенок, надевший валенки, обнаруживает, что он великан, хористка сочиняет акростих, или возникает логичная триада нищета-тщание-щетина.

Density and Destiny – так в духе анаграммы был назван редакционный комментарий в журнале «Nature» (1998) к серьезной статье о возрасте звезд во Вселенной. Речь шла идёт о том, что destiny, то есть судьба Вселенной, зависит от плотности звезд, density.

С позиции генетика замечу, что анаграммы лежат в основе жизни. Ведь гены – это слова из четырех букв-оснований в молекуле жизни ДНК. По их линейной матрице-копии строится аминокислотная нить белка. Простые перестановки или пропуски оснований ведут к новому молекулярному смыслу. Это своего рода анаграммы – мутации. Природа создает анаграммы-изомеры, варьируя расположение функциональных химических групп в одинаковых по составу макромолекулах. Так, глюкозе соответствует «анаграммная», но более сладкая фруктоза. Давно замечено, что словотворчество и новации на уровне молекул жизни имеют много общего.

Двенадцатилетняя нимфетка Ада, героиня одноименного романа Набокова, по прихоти автора проявляет не только страсть к энтомологии и ботанике, но и особое мастерство в игре «Эрудит», обладая феноменальной способностью «сооружать аппетитно длинные слова из ни на что, казалось бы, не годных обглодков алфавита». Волею автора именно Ада придумывает забавную фразочку с ключевым семантическим рефреном романа: «Dr. Entsic was scient in insect». Здесь сразу три слова-анаграммы ведут к четвертому – INCEST, (инцест), означающему «близкородственная связь». В инцест причудливо вовлечены Ада, ее единокровный брат Иван (Ван) и сестра Люсинда. Любопытна высказанная однажды догадка: Набоков считает науку, которая отделяет себя от философии и поэзии, формой инцеста, или близкородственного скрещивания, ведущего к вырождению. На это намекает ключевая анаграмма insect – scient – nicest – incest. В жизни самого Набокова занятия энтомологией (insect – scient) прекраснейшим образом (nicest) сочетались с художественным творчеством. Недаром бабочкам посвящены в романе вдохновенные художественные вставки.

Набоков пересыпал свои произведения анаграммами так щедро, как, пожалуй, никто другой из современных писателей. В комментариях к «Аде» Vladimir Nabokov скрывается за изящной анаграммой Vivian Dark-Bloom. В русском переводе анаграмму сохранили как Вивиан Дамор-Блок (Владимир Набоков). Среди одноклассников Лолиты попадается Виола Миранда, скрывающая Владимир Н. В романе «Король, дама, валет» встречается Блавдак Минамори – другая анаграмма Владимир Набоков.

Этими анаграммами Набоков как бы возродил традицию, которая была распространена в европейской культуре в XVI-XVII веках. Тогда в ходу были анаграммные псевдонимы. К примеру, лионский врач *Rabelais Froncois* – Франсуа Рабле – выпустил свои сатирические книги «Панта-

грюэль» (1532 г.) и «Гаргантюа» (1534 г.) под анаграммным именем *Alcofribas Nasier*. Мода на анаграммы особенно процветала при дворе французского короля Людовика XIII (1601-1643 гг.), того самого, который приблизил к себе знаменитого кардинала Армана Ришелье (1585-1642 гг.), врага мушкетеров у Дюма. Людовик XIII ввел при дворе даже особую должность – королевский анаграммист. Здесь прославился Томас Бийон, создавший десятки и сотни анаграммных трансформаций имени короля и имен его приближенных. Как пишет венгерский эссеист Иштван Рат-Вег, в тот период *«зараза анаграмм косила людей с той же мощью, что и чума кроссвордов»*. Анаграммную трансформацию имени стали связывать с судьбой человека. К примеру, имя *William Shakespeare* имеет такие анаграммные версии: *«I swear he is like a lamp» (Клянусь, он как светильник)* или *I ask me, has Will a peer (Я спрашиваю, имеет ли Уилл равных себе),* или *We all make his praise (Мы все поем ему славу)*.

Вернемся к современности. В 1998 году журналист М. Крушинский в газете «Комсомольская правда» организовал словесную игру-конкурс «Анаграмма-98». Сколько оказалось страстных любителей этой лингво-забавы, какие обнаружились искусники и таланты! Сельская учительница Н. Белова иронически зарифмовала описание своего нового увлечения: *«Увлекательное дело – время за полночь давно, /Составляю анаграмму, не смотрю теперь кино. / Спать ложусь, а ночью встану, мысль в тетрадку запишу. / Может быть, умнее стану, труд ученый напишу»*. Одна пенсионерка в возрасте 83 лет призналась: *«То, что учила в школе, я давно забыла. Анаграммы помогли мне вспомнить забытое. Они мои друзья, вдохновляют, ободряют, помогают забыть о проблемах»*. Молодая киевлянка В. Краковная, инженер по специальности, нашла более 1700 анаграмм и образно сравнила страсть к их поискам с грибной страстью. В этом образном ряду простые анаграммы *фара-арфа*, *выдох-выход* подобны часто встречающимся простым сыроежкам; далее идут более редкие «лисички»: *альбом-мольба*, *приказ-каприз*; затем попадается семейство опят: *сетка-аскет-тесак-секта-стека*, и, наконец, идут под-березовики и боровички: *логика-иголка*, *кариес- секира*, *вокалист-листовка*, *артистка-каратист*.

В ходе игры «Анаграмма-98» объявился 12-летний вундеркинд этого жанра Андрюша Петров из Ульяновска. Он отыскал более 2000 анаграмм. Среди нихбыли такие самоцветы как *светобоязнь-обезьянство*, *автодорога-дороговата* и *ячество-светоч я.*

Поэт Дмитрий Авалиани возвысил анаграммную забаву до уровня самостоятельного жанра мини-поэзии, создав изящные семантически близкие ряды анаграмм: *форма амфор*, *мученик ни к чему*, *левизна низвела*, *русалки красули*, *весело на сеновале, низменное неизменно*. Здесь же красивые фразы-анаграммы: *«С мая, весной, сам я не свой»* или *«Пушкина слово – волос, пушинка»*. Авалиани сочинил отточенные 4-х строчные строфы, где у каждого слова чётной строчки есть свой анаграммный аналог в предыдущей:

Ангелы пропали /Наглые пропали/ Анге-лов отмена /Главное – монета.

Аз есмь строка, живу я, в мире остр. / За семь морей ростка я вижу рост / Я в мире сирота / Я в Риме Ариост.

Андрей Битов рассказывал, что однажды, едучи в поезде с названием «Красная стрела», он попробовал составить слова из входящих в эту лексему букв. Получилось: *страна, трасса, стакан, расстрел* – полное описание тридцатых годов, когда была введена «Красная стрела» и командировочные ездили из Москвы в Ленинград и обратно то за чином, то за приговором. Продолжив эту игру, Битов заметил некий скрытый и как бы провидческий смысл слов, которые можно извлечь из имен писателей.

Лев Толстой – слово, тело, ствол. *Скиф, Фрейд, крест* сокрыты в лексеме *Федор Достоевский*. *Михаил Лермонтов* вмещает слова *храм, вера, молитва*, а *Владимир Набоков – дар, родина, драма*. *Пушкин* – единственный автор, из имени которого выводится *душа*. В этом действительно есть нечто полумистическое.

НОВАЯ ИГРА: СОСТАВНЫЕ АНАГРАММЫ И ИХ ПРИЧУДЫ

Однажды я заметил, что из слова *одалиска*, используя все его буквы, можно составить серию коротких фраз, семантически близких обольстительному оригиналу: *«Ласки? О да! / Сила кода / Силок ада / Искал дао? / Да, и оскал / О, сада лик! / И сладка. О / И сок дала»*.[1]

И тут мне пришла в голову идея новой игры

[1] Редактор альманаха Марина Золотаревская нашла забавные дополнения: «*Лиса – дока /Силок? Да-а..../А кадило-с?»* Видимо, *одалиска* так же неисчерпаема, как атом. – Прим. автора

– **составные анаграммы**. Своего рода гибрид популярной игры в «наборщика» (кто больше придумает слов из одного исходного) и шарады. Требуется из данных двух (трех) слов, обычно коротких, составить одно, использовав все до единой буквы исходных слов. Например, надо в сочетании слов *банк* + *тариф* увидеть *фабрикант,* а из комбинации *краб* + *ниша* должна выйти *банкирша*, из фразы *рок не спи* должен получиться *соперник*.

Увидеть в комбинации двух коротких слов одно длинное, включающее все буквы – гораздо более сложная задача, чем разложение длинного слова на осмысленные короткие слова. Успешность поиска зависит от умения преодолевать некоторые лингвистические преграды, от рода занятий и психического склада личности, и от наличия особых «анаграммных способностей» (подобно дару набоковской нимфетки Ады, это совсем не связано с общим уровнем интеллекта). Поделюсь некоторыми своими наблюдениями.

На одном домашнем вечере, где собрались относительно молодые русскоязычные эмигранты из научной среды, хозяин дома, математик, развлекал гостей всякими играми. Я предложил провести простое состязание – найти составную анаграмму из двух простых слов *сом* + *катет* и отметить время, понадобившееся для поиска. Молодая «биологиня» за 10 минут нашла искомую анаграмму *отместка*, тогда как профессор математики застрял здесь надолго и за весь вечер так и не смог найти ответ. Видимо, жесткий математический смысл термина «катет» наложил ограничения на его свободные вербальные ассоциации. Если бы вместо слова «катет» была предложена его анаграмма «тетка» [1], возможно, профессор математики быстро справился бы с задачей.

Ещё одно наблюдение с оттенком фрейдизма. Поиск составной анаграммы, куда входят слова *песни* +*рок* =? или *песни* + *дитя* =? обычно занимает 20-25 минут (ответы: *соперник* и *стипендия*). Но вот я чуть видоизменил задачу, заменив слово «песни» его анаграммой «пенис», и затем предложил создать одно слово-анаграмму из сочетания *пенис* + *аттик*.

К моему удивлению, один образованный молекулярный биолог за несколько часов так и не сумел найти искомое слово *антисептик*. Видимо, его, биолога, смутила анатомия, как «катет» смутил математика. Зато он узрел спрятавшийся орган в глаголе *«остеПЕНИСь»,* где мало кто слышит сокрытую внутри лексему *«пенис».* Вот такой парадокс.

Время, затрачиваемое на поиск определенной составной анаграммы, различается у людей с одинаковым уровнем образования в 10-20 раз, а некоторые люди вообще испытывают непреодолимую трудность в этой игре. Наблюдается и сильный разброс мнений относительно того, какие анаграммы считать трудными и какие – красивыми. Игра могла бы стать элементом генетического самопознания, если бы удалось собрать статистику и выяснить: а) в какой степени люди со сходным и разным складом ума и интересами различаются по легкости «состукивания слов»; б) как влияют пол, возраст, род занятий на эту способность; в) зависит ли скорость нахождения составной анаграммы от ее структуры, числа входящих в нее букв, принципа их сочетания.

Эту забаву я предложил запустить на страницах газеты «КМ», где в 1998 г. журналист М. Крушинский проводил конкурс «Анаграмма-98». М. Крушинский воспринял идею с энтузиазмом, и игра с его режиссурой была успешно «запущена в производство». Он сообщил мне в письме: *«Из читательской почты видно, что потребность в легкой, не требующей душевных затрат умственной гимнастике приобрела у нас характер интеллектуального зуда. Отсюда великая популярность, например, кроссвордов. Но большинство других головоломок не приживаются по причине своей чисто технической процедурной затрудненности: отталкивает необходимость вникать в условия, да еще что-то там чертить, рисовать. Игра, возникающая на основе Ваших идей, от этого недостатка избавлена. Она вообще не требует «снаряжения»: при известном навыке каждый может искать анаграммы «в уме», не отвлекаясь от кухонной плиты или автомобильной «баранки»... И при этом интригует, задевает самолюбие («как это я не смогу»!), выполняя роль интеллектуального автотестера. Что там пресловутый «кубик Рубика»! Думаю, что при хорошей рекламной раскрутке новая игра могла бы стать «кроссвордом XX1 века». Надо лишь чуточку ее «довести».»*

М. Крушинский предложил дать игре броское название, предложив «бирюльки». Многие слова можно разложить «анаграммно», поэтому придумывать составные анаграммы нетрудно. Куда труднее их отгадывать. Это похоже, заметил Крушинский, на запихивание фарша

[1] Буквы е и ё в анаграммных играх считаются взаимозаменяемыми. – Прим. ред.

обратно в дырочки мясорубки с целью восстановить исходный кусок мяса. Тут требуются и терпение, и воображение, и не слишком резкое, т.е. не выходящее за грань приятности, интеллектуальное напряжение. Читатель, разгадавший очередной предложенный газетой список, будет, гордясь собой, пересказывать его друзьям и родственникам, ибо осмысленные фразы врезаются в память надолго. Например, *Привет, о власть! = Правительство*

Я также послал на пробу Крушинскому, как ведущему конкурса, несколько «бирюлек». Среди них, помимо *банк + тариф = фабрикант*, были: *пари + метро; тисс + санки; длина + катет; артист + откуп*; и, наконец, задуманное длинное слово *экспериментатор* из 14 букв, разлагаемое на три составляющие: *пенис + мэр + теократ*. Большинство этих составных анаграмм были отгаданы мэтром менее чем за 10 минут («глаз-то у меня наметанный»). Дольше всего, чуть ли не битый час, сообщил Крушинский, он возился с *императором (пари + метро*), и еще почему-то с *синтаксисом (тисс + санки)*. *Экспериментатор* из 14 букв был им расколот легко, как грецкий орех, ибо сразу стало ясно, что литера «э» должна стоять в начала слова; набор латинских суффиксов, сочетающихся с этой буквой, невелик: либо «ция», либо «тор», остается чуточку напрячь воображение. *«Забавно, однако, – сообщил Крушинский, — что жена мучилась с этим словом три дня, извела кучу бумаги, «типичная правополушарница», конкретный, не склонный к отвлеченным построениям женский ум»*. Хотя она же мгновенно разгадала другие анаграммы.

Причуды разгадывания составных анаграмм подтвердились и моими наблюдениями. Во-первых, любителей словесных игр охватывает азарт: как это, вот даны два слова, скрывающие третье с этими же буквами; ну, сейчас найду. Все равно что игра в прятки: указано, в общем, где спрятался игрок, надо только внимательней посмотреть, подумать и чуть напрячь воображение. Но некоторые ответы легко находятся, а другие вызывают затруднения у самых разных людей. Далее, есть и определенная фонетико-семантическая трудность. Так, извлечение лексемы *император* из слов *пари + метро* неспроста оказалось самым трудным и для мэтра Крушинского, и для всех, кому я предлагал серию составных анаграмм.

Вот интересное сообщение редактора альманаха «Образы жизни» Марины Золотаревской. Она со страстью принялась разгадывать анаграммы, быстро с большинством расправилась, но тоже застряла на *императоре***.** Цитирую ее признание: *«**Метро + пари** оказалось чуть не роковой для меня комбинацией. Отбросив один за другим **параметр**, **периметр** и такой многообещающий, но слишком куцый **пирометр**, я поняла, что должна погрузить задание на дно сознания. Там оно и пребывало, пока в самый неожиданный момент вдруг явился **император**! У меня на это ушло... три с лишним недели! «О стыд, о горе мне!»»* Конечно, три недели задача крутилась на дне сознания. Но посыпать голову пеплом вовсе не стоит. Я специально составил эту забаву по принципу трудности, осознавая последнюю интуитивно. Марине удалось сформулировать, в чем здесь дело: *«Трудно разорвать устойчивое сочетание букв – **метр** – в оригинале*».

Моя знакомая Екатерина Платонова (преподавательница немецкого языка и переводчица) оказалась чемпионом по скорости отгадывания и азартным игроком. Она придумала прекрасную анаграмму *земля + иврит,* на которой я застрял; так и не сумел за пару недель найти правильный ответ, пришлось спрашивать... Возникали разные шутливые варианты вроде *лимит зверя, вязиметрил* (выдуманный прибор для измерения вязкости), *ревмязилит* (мифическое ревматическое заболевание по типу *тонзилит*) и даже воскурилась *ревизия ТМЛ* (где ТМЛ – Труды Маркса-Ленина, выдуманная аббревиатура). Зато Марина не только быстро нашла правильный ответ *релятивизм***,** но и сочинила другой семантически близкий вариант: *и время злит = релятивизм*. Это, по моему, удачная находка. Действительно, время злит в период политкорректности, когда в силу релятивизма все идеологии и моральные ценности считаются равноправными.

ПАЛИНДРОМЫ

Шахматы сочетают в себе элементы игры, искусства и спорта. Так и палиндромы, выявляющие какие-то глубинные свойства симметрии в окружающем нас мире, в языке и человеческом восприятии неотделимы от поэзии и игры. Обратное прочтение и осмысление фразы нарушает правила грамматики, снимает препоны и приятно поражает своим неожиданным вторым смыслом. Палиндромы, пожалуй, древнее анаграмм. Они были известны уже в античной Греции. А в древнем Риме был сотворен магический квадрат из пяти клеток, где каждая

строчка и по горизонтали, и по вертикали «палиндромно» повторялась.

Палиндромная присказка *«Уведи у вора корову и деву»* служила в русском языке чем-то вроде заклинания. Известный культуролог Ю.М. Лотман дал интересное семиотическое истолкование магии палиндрома: «*Текст при «нормальном» чтении отождествляется с открытой, а при обратном – с эзотерической формой культуры. Показательно использование палиндромов в заклинаниях, магических формулах, надписях на воротах и могилах, т.е. в пограничных и магически активных местах культурного пространства… Зеркальный механизм имеет столь широкое распространение…, что его можно назвать универсальным, охватывающим молекулярный уровень и общие структуры вселенной».*

В русской поэзии появление палиндрома связывают с известной загадкой Державина (1805 г.) где первые две строчки образуют палиндромы, а зашифрован Бог: *«Я разуму уму заря / Я иду с мечом судия. /С начала тот же и с конца / И всеми чтуся за Отца».*

Вошел в фольклор и палиндром, озвученный А.Н. Толстым в сказке о Буратино: «*А роза упала на лапу Азора»*. Авторство приписывают А. Фету, и недавно я нашел этому косвенное подтверждение. В 1860 г. лирический поэт Фет стал помещиком. Он купил на юге Мценского уезда 200 десятин пахотной земли и недостроенный хутор Степановка. Поэт погрузился в сельское хозяйство. О том, как он выводил свое поместье из запустения, о сложных взаимоотношениях с крестьянами, Фет написал книгу «Жизнь Степановки, или лирическое хозяйство» (переиздана в 2001 г.). Главы из книги Фет регулярно печатал в журналах, и они читались обществом, как бестселлер. Особенно колоритно описаны отношения с крестьянами, ибо это был период отмены крепостного права. И вот в одном эпизоде автор рассказывает о своём бывшем кучере по имени Азор: «отъявленный негодяй и ленивец», тот исподволь завел в деревне водочную продажу, а потом пришел просить «усадебной земельки под избу». Как же далек реальный Азор от романтического палиндромного! Палиндром про Азора привлекает своим звучанием, песенным повторением восьми звуков «а», и некоей размытостью смысла.

Палиндромы и звуковые повторы искусно включены в знакомые со школьной скамьи строчки Некрасова: *«Мороз-воевода дозором /обходит владения свои»*. При звуковой тонировке строки *«**Мороз** во-е-во ...да-до-**зором»*** мы замечаем, что на концах ее – длинный обратный повтор (палиндром), а слоги *во-е-во* образуют короткие прямые повторы. Благодаря этому строка звучит и воспринимается совершенно особенно и сразу запоминается. Опять аналогия с генетикой. Сегменты нити ДНК, которые обрамлены повторами *(«мороз-воевода дозором»)* опознаются особыми белками-ферментами. В итоге эти сегменты могут вырезаться из исходных мест расположения и перемещаться в другие места (прыгающие гены и некоторые встроенные в геномную ДНК вирусы, типа злостного вируса СПИД). Таким образом клетка может перестраивать свой геном и быстро эволюционировать. На это обратил внимание молекулярный биолог Б. Н. Гольдштейн из Пущино. В 1978 году он опубликовал превосходную статью, где детально проанализировал это удивительное сходство обычного и генетического языков. Статья была иллюстрирована авторскими палиндромами, многие из них вошли в фольклор:

Не гни папин (мамин) ген.
Изредка так дерзи.
Рислинг сгнил, сир.
Отчаян я, а что?
Ум за рамки и к маразму.
Уж редко рукою окурок держу.

Другое свойство палиндрома аналога в языке генов не имеет. Оно воплощено в удивительно красивых по смыслу и звучанию палиндромных фразах поэта Дм. Авалиани: *«Дорого небо, да надобен огород»* или*: «Ах, у печали мерило, но лире мила чепуха».* Чепуха, озорство роднит палиндромы с поэзией нонсенса в духе Э. Лира.

В начале XX века столетия, в серебряный век русской поэзии бурно расцвели новые поэтические жанры, включая сочинительство палиндромов. Здесь первенство принадлежит В. Хлебникову Он не только играл палиндромами, но и придавал этому «двойному течению речи» философский смысл. Своего рода попытка сократить путь от подсознания к сознанию по принципу зеркального отражения. Такую догадку высказал С. Бирюков – критик и знаток этого жанра в русской и европейской поэзии.

Блистательные палиндромные миниатюры созданы В. Брюсовым в его опытах стихосложения. Приведу лишь два четверостишия из опыта «Голоса луны»:

Я – око покоя, / Я – дали ладья, / И чуть озарю розу тучи /Я, радугу лугу даря!

Тина манит... / Туча чуть... / А луна тонула… / И нет тени!

В 1960-е годы плодотворно работал в палиндромном жанре тамбовский художник Николай Иванович Ладыгин (1903-1975 гг.). Но его палиндромные стихи и поэмы не были, однако, опубликованы при его жизни: провинциальное начальство слишком боялось формализма. Ладыгин страдал от невозможности публикации, от непонимания людьми: *«Мумии им ум – /как нож он».*

Если Ладыгин создавал свои палиндромы в несобытийном Тамбове, то другой мастер этого жанра – Владимир Львович Гершуни (1920-1994 гг.) – находился в самой гуще политической жизни. Настоящий мученик советского режима, он провёл в тюрьмах, лагерях и «психушках» 18 лет (1947-1954 гг., 1969-1974 гг., 1982-1987 гг.) при всех советских правителях после Ленина. Последний раз Гершуни арестовали 17 июня 1982 года по статье 190, ч.1, и выпустили лишь в начале 1988 года после предъявленного Горбачеву ультиматума академика А. Сахарова. Обладая феноменальной памятью, Гершуни консультировал Солженицына в период написания «Архипелага ГУЛАГа». Он был соредактором философского и политического самиздатного журнала «Поиски» (хорошо помню выпуски этого журнала 1970-х, напечатанные на тонкой папиросной бумаге).

Гершуни обладал даром исследователя, лингвиста и был захвачен творческим недугом «палиндромомании». Об этом можно судить по его словам, предваряющим палиндромные поэмы в книжке «Суперэпус»: «*Сочинитель перевертней, независимо от собственного желания, не ведет за собой слово, а сам идет за словом, как за сказочным клубком... Работая в этом жанре, автор почти никогда не знает, куда катится клубок ... В период триумфального шествия нашей политпсихиатрии (1969-1974 годы) автор убедился, что для здорового человека, надолго помещенного в желтый дом, составление перевертней – лучший способ спастись от сумасшествия. Эти упражнения, интеллектуальные, почти как шахматы, и азартные, почти как карты… стерилизуют сознание от всего, что могло бы ему повредить...».*

Вот трагичные палиндромы Гершуни на лагерную тему, возвышенные до уровня подлинной поэзии:

Ропот древ. Тверд топор / – И летят ели. /Умыло Колыму / Алым. Омыла /Воркуту кровь. / Мы доломались. Сила молодым. / Они – вино, /Мы –дым.

Или лагерный перевертень о Сталине, названный «Джо-Вождь» (палиндром):

Вот идол гор, тренер троглодитов / Сосо – вор, кровосос, /Туподум и мудопут.

Поэма Гершуни «Тать» близка и тематически, и по стилю хлебниковской палиндром-поэме «Разин». Пессимистична концовка поэмы о судьбе попавшего в беду народа: *«Неодолим он, но мило доен, / Нечесан, а сечен, / Надзору роздан, /Надолго оглодан, / Натупо опутан, / Утоп в поту...»*

ПАЛИНДРОМЫ КАК СЛОВЕСНАЯ ИГРА: ИЗБРАННОЕ

Конечно, палиндромы, как и другие мини-произведения (лимерики, частушки, анекдоты) пронизаны мотивами и другого рода – эротическими, сексуальными. Вот пример авторской удачи этого рода – длинный монопалиндром, где осмысленное обратное прочтение идет с последней строки до первой:

О, вижу деву! Но коли не жена?
Шорох… Она не жена ведь!
Тяну за руку к себе
Скуку раз унять:
Дева не жена, но хороша!
Нежен и локон… Уведу живо!
(В. Скворцов).

У одного поэта — сочинителя палиндромов мне встретилось забавное сочетание палиндромной и обычной строки в шутливой рифмовке*: «Акт у нимф – минутка / Ай да прибаутка!»* Озорные закоулки палиндромного ландшафта вдохновили и мэтра этого жанра поэта Дм. Авалиани: *«Анна лежала, желанна, / Соловела в овале волос / Увило оливу / Золото лоз».* Здесь пикантный 4-х строчный палиндром дополнен ритмикой и рифмой.

Найти совершенно новые и удовлетворительные по смыслу и звучанию (а не застревающие комом в горле) отдельные палиндромные фразы уже довольно трудно. Но иногда это удается. Красива и глубока по смыслу палиндромная новация поэта А.

Вознесенского «Аксиома Самоиска» – так назван один из его сборников стихов. В 2002 году в Москве вторым изданием вышла поистине замечательная книга «Новый палиндромический словарь» поэтессы Елены Коцюбы. Запустив в литературный обиход около 8000 слов и их палиндромных аналогов или заготовок, Коцюба девальвировала простые находки многих любителей, заставив искать новые возможности. Ей даже удалось в несколько строк создать «палинДРАМЫ», как она их иронично назвала. Вот два изящных образца ее творчества. В первом, с юмором озаглавленном «Основной вопрос философии», даже знаки препинания вовлечены в такой диалог:

– Мир – зрим?
– Мир – грим/
– Мир зрим!
– Мир – dream….

Вторая прелестная вещица в виде короткого диалога названа «А ля Золя»:

ОН: – *Усладил и дал су.*
ОНА: – *Услада… А дал – су!*

Для меня самого палиндромы – прежде всего интеллектуальная игра, возможность представить какую-либо тему в парадоксальной форме. Поэтому я снабжаю палиндром тематическим эпиграфом – своего рода постаментом. Вот некоторые такие однострочия:

Учёный – философу — *Нет, не нам мир имманентен.*

Охрана природы — *Я солидарен! и не ради лося.*

Грезы эмигрантов — *А с утра кумиров творим у карт USA.*

Надежды оттепели 1950-х — *И лепет той оттепели.*

В стиле новых русских — *Скобарю Нюра-бакс!*

В Госдуме — *Мал-де, бедлам, а мудаку мука дума.*

Товарообмен в России — *Три пса за спирт!*

Границы подхалимажа — *Мил, ах, до паха подхалим.*

Гладиатор и рыцари — *О гладиатор, как рота идальго.*

Рецензия на женский мемуар — *У фрау – мемуар.*
Фу!

Вопрос в однополом браке — *Я на вид не денди, Ваня?*

Психология евнуха — *Цепок скопец.*

Мужчины о разнице полов — *О! Леди – маникюр,*
брюки нам и дело

Генетика — *Неглиже жил ген.*

Дама и мадонна — *Не мадонне сапог опасен, но даме N.*

Оригинальный однострочный палиндром теперь трудно создать, особенно после выхода словаря Е. Коцюбы. Поэтому меня более привлекают палиндромные трехстрочия, напоминающие внешне хокку. Здесь больше простора для игры, комбинации тематически сходных палиндромов в единое целое.

Палиндромные трехстрочия в стиле хокку

Социология

Шику – кукиш.
У!.. жри биржу
И маклера тарелками!

Экономика

Голо едим, идеолог.
Мал указ акулам,
Харя гола, налог яр, ах!

Дружба народов: два мнения

И манси с нами!
Ингуша шугни.
Чеченец в цене — чеч.

Укажу чужаку:
У! нам Русь, а
басурману — Шиш!

Генетика

Тема гамет:
Неглиже жил ген.
Вижу, жив Моне геном.

Античные забавы

Сел лихач Ахиллес,
А Бахус летел с ухаба.
Венер хотят, охренев.
(по Дм. Авалиани)

Кинотрюки

Лег на храм архангел,
Лапсердак в кадре спал,
Морда казака за кадром.

Музыкальное попурри

Урони миски – и к си минору.
Рожа мерина – ни ре мажор.
Не порти пюпитр, о пень!

Разговор трех мушкетеров

– Миледи делим?
– Как?
– Мало пополам!

Девы и матросы

Ведь у дев
Буча за чуб.
А сорт амулета – баба телу
матроса!

По мотивам Маяковского
(«Я планов наших люблю громадье»)

Я и громадье дам – оргия.
Ишь, оргия и гроши.
Ишь, оргазм за гроши.

В польской сауне

На полке пекло, пан!
Кинь, Ева, веник.
Ура пару!

Женские судьбы

Наде ген в неге дан.
Увяла Хана на халяву.
Маша – клад алкашам.

На семейные темы

А тещ тщета:
Зять и витязь —
Доход и доход...

Не жене нежен!
Кара тещи — нищета, рак.
Но не реви, верен он!

Сериал «Секс в городе»

Петр – Еву? Ну, вертеп!
Адюльтер – треть люда.
А кто кокотка?

Из жизни животных

Укусили суку,
Тонет енот,
Ежу хуже.

Коза рада разок.
Азарт раза:
Еще, еще!

Романтика
(Монопалиндром)

А на пухе туч
Она зачала палача
За ночь утех у пана.

***

Мне хочется закончить одним из миниШедевров Дм. Авалиани. Конечно, палиндромной лире «мила чепуха». Но это отнюдь не значит, что она всегда легкомысленна и пренебрегает разумом:

Муза! Ранясь шилом опыта, / Ты помолишься на разум.

Борис Бернштейн

НАДЯ ВИНОГРАДОВА. «ИГРОКИ»

Выставить серию картин под названием «Игроки» – предприятие рискованное. Уж очень много игроков накопилось в истории живописи. Память предлагает длинный список, который сию минуту возглавляет Сезанн: в минувшем году одна его картина из знаменитой серии «Игроков в карты» была выставлена на народное обозрение в Эрмитаже, другая, купленная на аукционе властителями Катара, оказалась самым дорогим произведением искусства, когда-либо приобретенным за деньги – за нее было уплачено 250 миллионов долларов с небольшим.

Другие великие творения, вдохновленные игрой в карты, оказались в тени новейших сенсаций, но забыть о них было бы неверно. За Сезанном выстраивается впечатляющий ряд: Павел Федотов, Уильям Хогарт, Адриан Броувер, Жорж де Латур, Валантен де Булонь, Микельанджело да Караваджо, Лука Лейденский... Особенно дальнозоркие вспомнят «Дискобола» Мирона, загадочные игры с быками, украсившие стены Кносского дворца, или даже древнеегипетский папирус с комическим изображением осла и льва, играющих в игру, похожую на шахматы.

Я не собираюсь утверждать, что отныне к этому списку следует добавить имя Надежды Виноградовой. Но – если ты, живописец, снова обращаешься к сюжету со столь пышной биографией, ты получаешь на это право, если найдешь собственный ракурс, изгиб жанра.

Первая своеобычность серии «Игроки» заключается в ее жанровой увертливости. Все упомянутые только что живописцы карточной игры сочиняли картины, без сомнений относимые к бытовому жанру – как бы в каждом случае ни были поставлены акценты: на интригу ли, характеры, на живописные ценности, или на все вместе. Но тут, в цикле Нади, нам приготовлено разное: «карточные» натюрморты, портреты играющих – в эту группу затесался даже портрет с затылка, – вырезанные из целостной сцены фрагменты, портреты, казалось бы, не имеющие отношения к картам, и, наконец, и не портреты вовсе, а так себе – фигуры. Согласиться с тем, что этот пестрый сбор можно обозначить общим именем «Игроки», совсем непросто. Сама карточная игра есть у нее не столько предмет, сколько повод для целого веера сюжетов. Остается заключить, что Надя не жанровыми признаками озабочена, тут нечто другое.

Обычно она пишет картины, чья жанровая принадлежность не вызывает сомнений. В этом множестве уже написанного отчетливо различимо, где центр, а где периферия. По своей главной склонности Надя – живописец-антропофаг, она питается человечиной. Ей нужны все новые и новые люди, лица, движения, характеры. Усадив их перед собой и придирчиво ощупывая взглядом, она оказывается в своей стихии. Это не значит, что ей не дано писать другое – первые ее живописные работы, которые я увидел, были пейзажи, а на стенке у меня висит подаренный ею портрет лошади. Тем не менее, человеческий облик – ее главная страсть.

Портретист должен читать лица, как дирижер партитуру – схватывая характер целого, соображая неповторимое соотношение частей, выделяя доминантные мотивы, темпы, тембровые краски... Надины портреты подкупают видимой легкостью и быстротой схватывания. Кисть руки можно обозначить несколькими демонстративно небрежными мазками, ибо ответственность за характер, личность, биографию несет целое. Воссоздать немногими точно найденными касаниями кисти голову, лицо – магнетический полюс портрета – и возглавленное лицом целое в его неповторимой характерологическй экспрессии – вот вызов, на который она должна ответить каждый раз, когда перед нею очередная модель.

Цикл «Игроки» и есть еще одна манифестация ее портретной страсти. Сюжетная гравитация игры притянула в

свое поле множество образов, создав зону наивысшей плотности там, где предметом сделан *человек играющий* – играющий не только в карты или в домино. Персонаж ее нового цикла это человек играющий *вообще*. В этом смысле ее цикл – намеренно или по совпадению – перекликается со знаменитой книгой Й.Хёйзинги «Homo ludens»; сопоставление напрашивается само собой. Именно у Хёйзинги понятие игры расширяется до пределов человеческого: «...Категория игры может рассматриваться как один из самых фундаментальных духовных элементов жизни», – писал он.[1]

По словам Нади, дело началось просто: любители игры в покер пригласили ее на свои встречи и разрешили писать, будучи куда более озабочены ходом игры, нежели актом ее живописного запечатления. Это была, казалось, подаренная – живая и бесплатная – натура. Далее работа над серией стала ветвиться в нескольких направлениях, подчиняясь собственной логике. Опыт наблюдения карточной игры повлек за собою развертывание всевозможных аспектов игрового начала, доступных живописцу. И тут оказалось, что живописец в своих интуитивных обобщениях может быть смелее признанного философа игры.

Как ни странно, но в своей книге, ставшей классической, Й.Хёйзинга явно недооценил игровой аспект пластических искусств. В мире живописи или скульптуры, по его мнению, игра начинается тогда, когда произведение завершено. «Если игровой фактор в области пластических искусств, в общем, меньше выступает на передний план в самом процессе созидания искусства, чем это было в мусических искусствах, картина меняется, едва лишь мы обратимся от способа репродуцирования к способу функционирования искусства в социальной среде».[2] И далее Хёйзинга показывает, как искомый фактор реализуется в виде одного из унверсальных признаков игры – в состязательности.

Надя своими картинами словно бы спорит с именитым автором. Ее «Игроки» настоятельно – ибо наглядно – напоминают, что игровой элемент деятельно присутствует едва ли во всех фазах создания живописного произведения. Игра начинается еще за пределами творческого акта, как его предварительное условие – ибо играет, как правило, сама модель. Безликая модель («Модель Мишель») уселась в кресле так, чтобы сыграть состояние вольного, расслабленного отдыха (а тонкая кисть художницы шаловливо выводит контурные завитушки, напоминая нам, что кисть руки и ступня заканчиваются пальцами). Оригинал портрета играет себя (с той или или иной степенью правдоподобия) – и в этом смысле модели включенных в серию «неигровых» портретов с полным правом могут быть названы игроками («Владимир», «Дмитрий Быков»...). Тем временем подлинные игроки настолько поглощены карточной игрой, что играть себя забывают («Игрок 1», «Игрок 2» ...)

Людический мотив подхватывает художник. Игровой элемент проявляет себя везде – в способах фрагментации сцены, в выборе ракурса, в колористических комбинациях, и наконец, что особенно важно, он воплощен в самой живописной субстанции образа – в том, как можно одним протяжным или лаконичным мазком схватить пластическую интенцию живой, целостной формы...

Глядите, в новом цикле картин Надя радостно и весело играет с самим понятием игры.

---

[1] Йохан Хёйзинга. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс, Прогресс-Академия, 1992, с. 41.

[2] См.: там же, сс. 187-196.

Надежда Виноградова

ЖИВОПИСЬ

Дебра ждет двойню. 22х42 дюйма

Витя. 42х48 дюймов

Владимир. 40х45 дюймов

Илья в красном халате с северными оленями. 30х40 дюймов

Илья с компьютером. 18х24 дюймов

Дмитрий Быков. 18х24 дюйма

Затылок игрока в покер. 28х32 дюйма

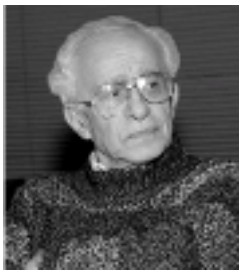
Зеленый круглый стол. 45х54 дюйма

За зеленым сукном. 32х54 дюйма

Игрок в покер. 1,19х28 дюймов

Модель Мишель. 20х37 дюймов

Идет игра. 37х57 дюймов



Борис Бернштейн

ДРУГОЕ НАЧАЛО[1]

ПРЕМУДРЫЙ ГРЕК

Раннеренессансный профильный портрет был рассчитан на потенциального зрителя и указывал ему его зрительское место. Вернее, не только указывал, но – прежде всего – создавал; и не только портрет, но и картины других жанров. Само изобретение иллюзорного пространства ренессансной картины с ее прямой перспективой сотворило новую ситуацию смотрения и установило позицию смотрящего. Это давно известно и хорошо исследовано. Но тут всего лишь половина дела. Другая половина, пожалуй, более важная – ответ на вопрос: а кто же это новое место заполнил? Кто тот современник, которому предстояло заселить новую культурную и эстетическую нишу? Зачем? С какими намерениями?

Трудность, с которой сталкиваешься, думая о зрителе, это его, зрителя, молчаливость. Смотреть-впитывать и говорить-выражать – разные вещи, далеко не у всех они совместимы. Тем интересней и дороже спорадические свидетельства.

Один из ранних бесценных проговорившихся зрителей был грек Мануэль Хризолорас. Византийский аристократ и интеллектуал, он в 1390 г. был послан императором в Италию – в поисках поддержки для Византийской империи, испытывавшей нарастающее давление со стороны наступавших на нее турок. Империю Хризолорасу спасти не удалось. Как известно, в середине следующего века турки овладели Константинополем; в истории великой империи, «второго Рима», была поставлена точка. Но роль Мануэля Хризолораса в становлении итальянского Возрождения трудно переоценить: это он обучал итальянских гуманистов греческому языку, написал первый на Западе учебник греческого, переводил Гомера и Платона... К этим справочным данным я бы добавил, что мудрый и трудолюбивый грек был настоящим зрителем, одним из первых. В 1411 г. он описал в письме к брату в Константинополь свои прогулки по Риму.

Он признавался, что, бродя по Вечному городу, заглядывал в окна дворцов, чтобы рассмотреть собранные там произведения древних скульпторов – вопреки своему обыкновению.[1] «Вопреки своему обыкновению» – ибо благовоспитанный грек знал, что заглядывать в чужие окна дурно. Но желание видеть, чистая жажда вкусить от эстетического совершенства оказывались сильнее хорошо усвоенных приличий. Ничего ему не нужно было от этих античных остатков, он ни о чем не собирался просить у давно изваянных и давно упраздненных богов, ему до них и дела было мало; ему дорого было искусство и только искусство.

Мануэль Хризолорас

Образ Хризолораса несет в себе соблазн. Хочется назвать этого грека, ускорившего созревание Возрождения в Италии, прообразом «ренессансного зрителя». Это было бы логично и сразу бы готовило картину последовательного, линейного развития занимающей нас роли. Целью и результатом этого развития был бы готовый, завершенный «ренессансный зритель».

Такой идеальный персонаж, скорей всего, был бы искусственным продуктом нашего воображения. В лучшем случае ему соответствовали в реальной истории только некоторые персонажи,

[1] Продолжение. См. Б.Бернштейн. Разговоры о зрителе. ОЖ-2011, Б. Бернштейн. Другие смотрящие. ОЖ-2012.

[1] См.: Baxandall, M. Giotto and the Orators. Humanist observers of painting in Italy and the discovery of the pictorial composition. 1350-1450. Oxford: Clarendon Press, 1971, p. 81.

ну, скажем больше того, – некий тип зрителя, но отнюдь не доминирующий. На самом деле в Италии XIV – XVI вв. можно было наблюдать чрезвычайное разнообразие способов, коими люди того времени видели, понимали, оценивали то, что мы принимаем сегодня за произведения искусства. И, как следствие, – многообразие способов, какими они поступали с художественными предметами. Если попытаться выстроить спектральный ряд таких отношений, то прежде всего следует установить полярные точки.

Попробуем.

ЭТИ ВЕНЕРЫ

На одном краю такого спектра окажется только что упомянутый византийский гость, грек Хризолорас. Он не одинок. Нечто подобное словам Хризолораса, но более развернутое, можно найти у его современника, ученика и друга Петрарки, Джованни Донди; этот рассказывал о скульпторе, который самозабвенно восхищался уцелевшими в Риме античными остатками.

Ну, а что на другом полюсе?

Лоренцо Гиберти (1378 – 1455 гг.), один из блистательных мастеров флорентинского Раннего Возрождения, сберег для нас в своих «Комментариях» такую поучительную историю. Жители соседней с Флоренцией Сьены как-то выкопали из земли античную статую Венеры. Ничего удивительного, почва Италии была буквально начинена античными остатками, там еще и сейчас их хватает. Поначалу находка вызвала у многих горожан энтузиазм. Древнее изваяние решено было поставить на площади для всеобщего обозрения. Вскоре, однако, верх взяла консервативная партия: стали говорить о том, что языческая статуя богини приносит несчастье, что все неудачи, постигающие Сьену, происходят от нее. Такая позиция не была новостью: средневековые христианские мыслители учили, что в языческих идолах ютятся демоны. В конце концов традиционное мнение возобладало: статую убрали, разбили на множество кусков, а обломки тайно, ночью, закопали на территории ненавистной соседки и соперницы, Флоренции. Видимо, обыватели Сьены полагали, что демонические силы, заключенные в статуе, сохраняются в любом ее фрагменте и будут теперь гадить соседям.[1]

Примерно в то же время похожую статую удалось извлечь из земли жителям Вероны. Там, однако, судьба мраморной богини была иной. Веронцы поставили статую на городской площади, и долгие годы она считалась украшением и славой города.[2] Каждый веронец и каждый гость города – пусть тот же Хризолорас, если бы попал в Верону – мог стать зрителем.

Таков разброс: от фанатичного «антизрителя» до «протозрителя», способного к высокому художественному наслаждению. Но непохожие, полярные судьбы античных изваяний открывают лишь один ракурс многомерного пространства, где обретались живописные и скульптурные образы. Присмотримся к нему попристальней.

ТОГДА И ПОТОМ

В обеих историях речь идет о древних скульптурах, созданных в далекую, исчезнувшую культурную эпоху. Их когда-то создавали с некой целью и по правилам, принятым и актуальным в ту эпоху. В соответствии с верованиями, обычаями, понятиями, интересами, страстями, маниями и фобиями времени их использовали и воспринимали современники: ими любовались, им поклонялись, их похищали, их ненавидели и разрушали...

Но та эпоха ушла в небытие, миновала добрая тысяча лет, пришли другие времена. И вот в христианскую Италию XIV-XV веков из подземного укрытия является античный фрагмент – нагой не только в буквальном, но и в переносном смысле слова – без породившего и окутывавшего его исторического и культурного контекста, является как чистая пластика: прекрасная, хотя и слегка попорченная статуя богини, а то и просто прекрасный по пропорциям и отделке фрагмент...

Вероятно, на такие фрагменты тайком засматривался Хризолорас.

Представим себе гипотетическую, но вполне возможную ситуацию. Заступ искателя античных остатков натыкается на мраморный обломок; по мере извлечения его из земли обнаруживается, что это ступня монументальной статуи. Где остальная фигура – неизвестно, но сама по себе ступня являет образец совершенного классического вкуса и мастерства. Такую гигантскую ступню однажды изобразил английский живописец Фюсли; рядом с гигантским античным фрагментом он нарисовал современного скульптора – или себя? – в позе отчаяния от недостижимости античного совершенства.

---

[1] Ghiberti, Lorenzo. Denkwürdigkeiten (I Commentarii). I. Berlin: J.Bard, 1912. S. 63.

[2] Alsop, J. The Rare Art Traditions. New Jork: Princeton Univ. Press, 1982. P. 305.

Иоганн Генрих Фюсли. Художник, ошеломленный величием древних руин. 1778. Цюрих. Кунстхауз.

Персонаж Фюсли нарисован в семидесятых годах XVIII века, когда восхищение античным наследием переживало новую кульминацию. Но нечто подобное переживали и ренессансные поклонники античного совершенства.

Так вот, вообразим себе, что ступня раскопана искателями древних остатков где-нибудь в окрестностях Рима. Чья она – неизвестно, обломок гигантской статуи, вот и все. А что, если это была статуя римского императора? А что, если это был император Домициан, тот самый, который первым велел себя называть «государь и бог», *dominus et deus,* – последний император династии Флавиев, убитый заговорщиками в 96 г. н.э.?

Его современник, Плиний Младший, описал расправу с изваяниями только что убитого и уже не опасного императора в таких выражениях.

Статуи, «... *раззолоченные и бесчисленные, среди ликования народного, были низвергнуты и разбиты в качестве искупительной жертвы. Народу доставляло наслаждение втаптывать в землю надменные лики этих статуй, замахиваться на них мечами, разрубать их топорами, словно бы каждый такой удар вызывал кровь и причинял боль*».[1]

Так может быть, это ступня гигантской статуи Домициана, отрубленная топором какого-нибудь разгневанного римлянина в горячие дни народного негодования? А может быть, это вовсе след расправ со статуями, предпринятых примерно за полвека до Домициана императором Калигулой? Об этом рассказывал Светоний:

«*Статуи прославленных мужей, перенесенные Августом с тесного Капитолия на Марсово поле, он ниспроверг и разбил так, что их уже невозможно было восстановить с прежними надписями...*»[2]

Так это или не так, но поклоннику античной красоты – будь то восемнадцатого, будь то пятнадцатого века – до этих страстей никакого дела нет. Для него существует только чистая форма совершенной, идеально прекрасной мраморной ступни или мраморного торса – форма, выполненная с недостижимым знанием и мастерством. Именно так ренессансный любитель, знаток и поклонник античного наследия любуется найденными обломками.

Но так обстоит дело с наследием классической древности и расположением по отношению к нему продвинутого ренессансного зрителя. Тут «позиция зрителя» кристаллизовалась прежде всего. Менее продвинутый его современник все еще продолжает богоугодную работу своих пассионарных христианских предков и готов дробить прекрасные формы ради изгнания темных духов. Так осциллирует восприятие античных остатков на экранах ренессансного сознания. Еще более сложно обстоят дела с созданием и восприятием произведений современных, т.е. ренессансных художников.

“IS PERFECIT OPUS”

В этом месте я должен бы принести извинения нескольким поколениям моих студентов: некогда я вводил вас в заблуждение, хотя и невольно. Меня утешает надежда, что мало кто из вас помнит мои давние лекции. Но я-то помню.

Я рассказывал вам о художниках Раннего Возрождения, точнее – о замечательном мастере, монахе-живописце фра Филиппо Липпи. Готовя лекцию о фра Филиппо, я пристально рассматривал репродукцию его большой картины «Коронование Богородицы», находящейся в галерее Уффици. Я не буду разъяснять, почему я не мог рассматривать самое картину, съездив ради нее – а заодно ради других знаменитых картин – во Флоренцию. Пусть читатель догадается об этом сам. Спасибо, что я имел возможность разглядывать черно-белую репродукцию в знаменитом, но труднодоступном тогда многотомном немецком альбоме Propyläen Kunstgeschichte, ибо с репродукциями тоже было непросто. Словом, у меня были основания всматриваться в репродукцию внимательно и вдумчиво.

В этой густонаселенной картине, в правом нижнем ее углу, изображен молитвенно сложивший руки коленопреклоненный монах. Перед ним помещен поклоняющийся этому монаху ангел. От головы ангела к сложенным рукам монаха тянется лента с латинской надписью “is perfecit opus”, что

---

[1] Плиний Младший. Панегирик императору Траяну. // Письма Плиния Младшего. Книги I – X. Москва: Наука, 1982. С. 242-243.

[2] Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М.: Наука, 1964. С 117.

Фра Филиппо Липпи. Коронование Богородицы. 1440-е гг. Уффици, Флоренция.

означает «он (этот) сделал (выполнил, исполнил, изготовил) произведение». Нетрудно заключить, что фра Филиппо включил в картину автопортрет, поскольку создал этот опус он. Так поступал не он один – портреты живущих, в том числе автопортреты, художники Возрождения нередко включали в сакральные композиции. Но тут, в случае с фра Филиппо, была некая пикантность, позволявшая мне, молодому лектору, сделать эффектный (и эффективный) риторический ход. Кармелитский монах Филиппо славился своим неукротимым женолюбием, живо описанным его биографом, Джорджо Вазари:

«*Был же он, как говорят, настолько привержен Венере, что, увидя женщин, которые ему понравились, он готов был отдать последнее ради возможности ими обладать... И это вожделение настолько сбивало его с толку, что, находясь в таком состоянии, он мало или вовсе не уделял внимания тем работам, за которые брался*».[1] Известно, что он в 1461 г. похитил из монастыря в Прато юную и очаровательную Лукрецию Бути, которая не только подарила ему двоих детей, но и хорошо позировала для образа Богородицы. Этот скандал улаживал сам римский папа... Контраст между показным благочестием автопортрета и реальным распутством монаха-живописца позволял лектору обратить внимание аудитории на вызывающее лицемерие старого греховодника. Глядишь, так и картина лучше запомнится.

Так вот, я информировал вас неверно. Монах, на которого указывает надпись как на создателя картины – вовсе не Филиппо Липпи. Автопортрет фра Филиппо в картине есть, но преподнесен он куда скромнее: присмотритесь, вон он, в первом ряду, чуть в глубине, второй слева. И глядит он на нас – поскольку писал себя, конечно, смотрясь в зеркало.

А монах, к которому обращен ангел и которого особо выделяет в качестве создателя алтаря латинская надпись, – вовсе не художник, а заказчик алтарного образа, священник церкви Сан Амброджо и патрон

[1] Дж.Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. II. М.: Искусство, 1963. С. 321.

Фра Филиппо Липпи. Автопортрет. Фрагмент алтарного образа «Коронование Богородицы». Флоренция. Уффици.

алтаря[1].

Все это я выяснил существенно позже, когда мне стали доступны фундаментальные зарубежные исследования о ренессансном мастере. Но что означает надпись на ленте и почему она так легко может ввести в заблуждение?

Все дело в том, что нам, воспитанным в другой системе культурных координат, трудно себе представить, будто художник, написавший картину, не является ее создателем. Поскольку мы часто бываем к тому же и нелюбопытны, нам не приходит в голову представить себе другую ситуацию; мы склонны описывать исторически отличное положение дел с помощью привычных выкроек.

Привычная выкройка вошла в обиход куда позднее времен фра Филиппо. Это в XIX веке художник творит исключительно по внутреннему побуждению и сам, собственным разумением, умением и творческой волей определяет в будущем произведении всё – всё решительно, от генерального замысла и до последней детали.

А художник XV века – наследник средневековой цеховой системы – всё еще по статусу своему цеховой мастер, и создает он свое произведение на заказ. Это радикальным образом меняет всю диспозицию: у автора – живописца или скульптора – оказывается соавтор. Ибо заказчик, прежде чем заключить контракт с мастером-исполнителем, так или иначе определяет, что он желает видеть на фреске, которая украсит фамильную капеллу в церкви, или в картине, которая будет висеть в зале его палаццо. Заказчик проектирует себя в качестве будущего зрителя – и в этом опережающем видении в большей или меньшей мере руководит кистью или резцом мастера. Соль, однако, в том, что в качестве будущего зрителя спроектирован не только заказчик. В некоторых случаях – и вовсе не заказчик.

КОМУ АДРЕСОВАНО?

Тут вступает в действие весь разнородный сбор идей, мировоззренческих формул, верований, предрассудков, фантомов, интересов, надежд, целеполаганий, страхов, страстей – и чаще всего трудно бывает отделить одно от другого. Тут нет еще вполне сложившихся, непреодолимо отделенных друг от друга ролей. «Заказчик», «автор», «зритель», случается, совмещаются в одном лице или замещают друг друга, эстетическое созерцание отодвигается в сторону ради практических мотивов, художественное послание адресуется одним, а попадает к другим...

В специальной литературе эпоху Возрождения часто называют переходной. Для этого есть веские основания. Переходная эпоха порождает переходные формы, не определившиеся еще в своей окончательной функции и заключающие в себе, подобно стволовым клеткам, широкий веер потенциальных возможностей. В ренессансном культурном персонаже, которого следует считать «протозрителем», смешиваются, совмещаются, слипаются сразу несколько ролей. Он выступает и как заказчик, и как соавтор, часто – как будущий обладатель и, следовательно, зритель. Но тут, в этом перспективном проекте не все так просто. Заложенные в него концепции будущего зрителя – адресата послания – бывали многообразны.

Попробуем присмотреться к мотивам, которые воодушевляли ренессансных меценатов. Можно начать со слов, которыми кончается предыдущее предложение.

«Ренессансные» – от слова «ренессанс», «возрождение»; этим словом обозначила себя сама эпоха в пору своего завершения: первым его употребил Джорджо Вазари, живописец и первый историк ренессансного искусства. Он имел в виду возрождение античности – античной культуры, античного духа, античной образованности и античного миропонимания. Отсюда – и только отсюда – могло родиться второе слово – «меценатство»: оно произведено от имени легендарного покровителя искусств эпохи императора Августа, Гая Цильния Мецената. Для эпохи возрождения античности это образцовая модель.

Однако не только идеальная тень влиятельного друга императора, покровителя Вергилия и Горация, звала за собой блистательных меценатов Возрождения. Были и другие стимулы.

---

[1] Договор на исполнение алтарного образа был заключен со священником Франческо Маринги. Пока шла работа над огромной доской (200 х 285 см), Франческо покинул этот мир. В дальнейшем дела с Филиппо вел уже его племянник Доменико. Исследователи до сих пор не уверены, который из них изображен на картине. В любом случае, однако, латинская надпись приписывает честь создания образа заказчику, а не художнику.

Франческа Косса, Козимо Тура и др. Роспись «Зала месяцев» в палаццо Скифанойя. 1476-84. Феррара.

Флорентинское семейство Медичи стало хрестоматийным образом ренессансного меценатства. Первым из них был Козимо – Козимо Медичи «Старый» (il vecchio), который с 1434 г. стал некоронованным властителем Флоренции. Он был щедрым до расточительности покровителем искусств и гуманистической мысли. Однако его щедрость объяснялась не только бескорыстной любовью Козимо к высокой культуре. Медичи в то время были самыми богатыми людьми Европы; одним из главных источников их богатства было банковское дело. Между тем, как известно, Христос не любил ростовщиков – недаром христиане вынуждены были уступать это прибыльное занятие иудеям. Как видим – до поры до времени, отнюдь не навсегда. Банк Медичи, чьи отделения были разбросаны по всей Европе, пользовался огромным влиянием. С точки зрения строгого христианства, богатство семьи было получено сомнительным путем. К тому же политическая деятельность Козимо совсем не была безупречна в нравственном отношении. Словом, Козимо не мог не испытывать чувства вины перед Верховным Судией. Вину следовало загладить. Современник Козимо рассказывал, как «отец отечества», мучимый угрызениями своей христианской совести, обратился к папе Евгению IV за советом – и папа велел ему истратить 10 000 флоринов на перестройку монастыря Сан Марко во Флоренции.[1] Что и было сделано: Козимо не экономил на делах благочестия. Таким образом, созданные на деньги Козимо творения ренессансного художественного гения, помимо всего прочего, были посланием – и прежде чем стать посланием современникам и потомкам, они были адресованы Небу. Первый и Главный Зритель был там.

Следует признать, что мотивы ренессансных меценатов были разными и со временем эволюционировали. Патронат внука Козимо Лоренцо Великолепного имел причины и характер, во многом отличные от тех, которые присущи были патронату деда. Но и там, как мы увидим вскоре, дела обстояли не так просто.

Знаменитую роспись в «зале месяцев» палаццо Скифанойя в Ферраре герцог Борсо д'Эсте заказал нескольким живописцам, из которых главным был

Франческо Косса. Художники безусловно следовали пожеланиям герцога. Но замысловатую аллегорически-астрологическую программу росписи разрабатывало вовсе третье лицо – ученый гуманист и придворный астролог Пеллегрино Пришани. Авторство было поделено на троих... Но зачем герцогу понадобился образованный звездочет?

«Зал месяцев» был частью приватных покоев герцогского палаццо. Росписи мог видеть сам герцог, его семья, приближенные. В парадном, украшенном фресками зале должны были проходить придворные церемонии. Какое впечатление фрески производили на допущенных зрителей – мы не знаем. Но вот что важно. Когда Борсо д'Эсте при помощи своего ученого советника продумывал программу росписи, наслаждения зрения были для него по меньшей мере на втором плане. Известно, что он даже уплатил живописцу за работу постыдно малую сумму. Первый и важнейший эффект фресок – по замыслу заказчика – должен был развертываться в плоскости магии. Астрологическая символика была предназначена не столько для созерцаний, сколько для магического обеспечения герцогского благополучия и успеха его правления под покровительством небесных светил. Тайное знание, сокрытое в «герметической» традиции,

[1] См.: Gombrich E. The Early Medici as Patrons of Art. // Gombrich on the Renaissance. Vol. I: Norm and Form. London: Phaidon, 1999, p.38.

восходящей к мифическому Гермесу Трисмегисту, увлекало ренессансных гуманистов, включая главу флорентинской Академии Марсилио Фичино. Не чужды были этому интересу и власть имущие.

Вот что пишет об этом в своем классическом труде выдающаяся английская исследовательница:

«*На протяжении средних веков магия никогда не исчезала, несмотря на усилия церковных властей как-то ее обуздать и запретить самые крайние ее формы. И отнюдь не в одной Флоренции, под покровом неоплатонизма Фичино, возрождался интерес к магическим образам светил. По другую сторону Апеннин, в Ферраре, герцог Борсо д'Эсте огромное помещение у себя во дворце украсил циклом каритн, изображающих месяцы года*».[1] Хозяин дворца, без сомнения, хорошо знал о тайном содержании и магической силе росписей. В конце концов, таков был его заказ. Не исключено, что он рассказывал об этом менее осведомленным гостям дворца. Но таким образом они в меньшей степени оказывались зрителями, а в большей – посвященными. В конечном счете образ адресата послания видится нам размытым: то ли это посетители «нескучного дворца»[2], то ли

Франческа Косса и др. Фрагмент росписи «Зала месяцев» в палаццо Скифанойя. Феррара.

тайные планетарные силы, влияющие на земные дела, то ли, на худой конец, и те, и другие.

Случай с феррарскими росписями – отнюдь не единственный. Увлечение астрологической магией, освященной герметической традицией, затронуло многих наиболее образованных людей того времени. Просвещенные властители, покровительствуя гуманистам, разделяли их влечения. Лоренцо Великолепный, блистательный меценат и коллекционер, заказывая Боттичелли для своей коллекции картины с замысловатой программой, в частности – знаменитую «Весну», имел в виду благоприятное магическое воздействие живописных образов на зрителей, а в особенности – на владельца, ибо они предохраняли его от зловредных влияний Сатурна, оказывая только здоровые, омолаживающие воздействия.[3]

Это не значит, что Лоренцо, человек утонченного вкуса, не знал, какого масштаба мастером был Алессандро Филипепи, по прозвищу Боттичелли. Знал.

Сандро Боттичелли. Весна. 1482. Флоренция. Уффици.

Закодированные послания магическим субъектам встречаются в ренессансных картинах постоянно, нередко – в самых неожиданных для нынешнего зрителя местах. Иногда – на размытой границе между магией и поклонением христианским святым.

СВЯТОЙ СЕБАСТЬЯН И СТРЕЛЫ БОГА

Один из излюбленных персонажей ренессансных художников – святой Себастьян. По церковному преданию, Себастьян был офицером преторианской гвардии при императоре Диоклетиане – это конец III в. Он был тайным христианином. Когда его приверженность христианскому учению была обнаружена, преторианец не пожелал отречься от своей веры и был казнен – солдаты расстреляли его из луков. Казнь была выполнена небрежно, Себастьян выжил; его нашла и выходила благочестивая вдова по имени Ирина. Позднее, однако, власти обнаружили выздоровевшего праведника; на этот

[1] Йейтс, Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция. Москва: Новое литературное обозрение, 2000. С. 56.

[2] «Schifanoia» произведено, по-видимому, от «schivar la noia», «презирать скуку».

[3] См.: Gombrich, E.H. Botticelli's Mythologies. A Study in the Neo-Platonic Symbolism of his Circle. // E.Gombrich. Symbolic Images. Studies in the art of the Renaissance. II. New York: Phaidon, 1972; Йейтс, Ф.А., цит. соч., с. 73.\

Сандро Боттичелли. Святой Себастьян. 1474. Берлин. Государственные музеи.

Пьетро Перуджино. Св. Себастьян.1495. Париж. Лувр.

Андреа Мантенья. Св.Себастьян. Ок. 1480. Париж. Лувр.

Пьеро Поллайоло. Святой Себастьян. 1574. Лондон. Национальная галерея.

Антонелло да Мессина. Святой Себастьян. 1476-77. Дрезден. Галерея.

Тициан. Святой Себастьян.1575. Санкт Петербург. Эрмитаж.

раз он был приговорен к побиению камнями, и тело его было выброшено в Большую Клоаку, куда стекались римские нечистоты. Из жизнеописания следует, что этот мученик за веру вполне заслуживал изображения в благочестивых картинах. Однако не больше, нежели многие другие христиане, принявшие муку за веру! Имя им легион, стойкую приверженность вере в раннехристианские времена карали изобретательно и нередко массово: нам известно о казни посредством утопления в ледяной воде Сорока Мучеников Севастийских, посредством распятия было осуществлено Мученичество Десяти Тысяч, не говоря уж о несчетном количестве индивидуальных пыток и жесточайших убийств. Многие и многие из них были запечатлены художниками во времена торжества христианской веры.

Тем не менее в деле изображения страданий за веру наблюдается некоторое неравенство. Живописное запечатление, скажем, казни десяти тысяч праведников найти можно, но для этого придется предпринять известные усилия.

Витторе Карпаччо. Казнь десяти тысяч мучеников. 1515. Венеция. Академия.

Зато святой Себастьян превосходил популярностью большинство святых равного с ним ранга.

Вот примечательная статистика.

В каталоге датированных живописных произведений, созданных в Италии в промежутке между 1420 – 1539 гг., около 87% составляют произведения религиозного содержания; из них примерно половина – изображения Богородицы, примерно четверть – изображения Христа и чуть менее – изображения святых. Это, разумеется, не новость, но далее следуют полезные детали. Среди святых, которых насчитывается ровно сотня, на первом месте – Иоанн Креститель (изображен 51 раз), за ним следует Св.Себастьян (34), Св. Екатерина Александрийская (22), Св.Иероним (22), Св.Антоний Падуанский (21), Св. Рох (19), Св. Петр (18) и т.д. [1] Святому Себастьяну, как видим, досталось почетное второе место после самого Иоанна Крестителя. Частота обращений к образу того или иного святого имела, очевидно, многие и разные причины. Некогда в отечественной литературе одна из таких причин была истолкована в качестве основной: изображая сюжет со святым Себастьяном, ренессансный художник получал возможность представить обнаженным прекрасное человеческое тело, столь ненавистное аскетической средневековой эстетике. Возможно, тут была известная доля правды, но отнюдь не вся правда. В числе причин, побуждавших снова и снова заказывать изображения святого преторианца, была одна важнейшая. Она сию минуту должна нас занимать более всего: Иоанн Креститель был святым патроном Флоренции и покровителем могущественного флорентинского цеха суконщиков – Калимала, а Св.Себастьян был небесным защитником от чумы...

Беноццо Гоццоли. Святой Себастьян. Сан Джиминьяно. Церковь Сант Агостино.

В этом и было решающее преимущество святого военачальника перед многими другими мучениками. Европа хорошо помнила страшную чумную эпидемию середины XIV века, унесшую во многих регионах от трети до половины населения; волны пандемии прокатились тогда по Европе трижды. Накатывались они, хоть и с меньшей жестокостью, и в следующем, XV веке. В 1464 г. эпидемия пора-

[1] См.: P. Burke. The Italian Renaissance. Culture and Society in Italy. Princeton NJ. Princeton Univ. Press.1991, pp. 162-164.

зила итальянский город Сан Джиминьяно. По заказу горожан известный флорентинской живописец Беноццо Гоццоли написал после этого на стене тамошней церкви Сант Агостино фреску, которую, выражаясь по-современному, можно было бы назвать противочумной.

Беноццо представил Св. Себастьяна охраняющим город от стрел чумы, направленных свыше – Богом-Отцом и ангелами.

То же. Фрагмент.

В верхней части картины сам разгневанный Бог-Отец, несколько склонившись на троне, направляет на грешную землю карающую стрелу. У подножия трона Христос и Богородица молят Его о милосердии: Иисус – указывая на кровоточащую рану, а Мария – обнажив грудь, выкормившую Сына Божьего. Их мольбы еще не подействовали, Творец устремляет вниз очередную чумную стрелу, вслед за Ним мечут вниз смертоносные стрелы ангелы.

Тут нет ничего странного: о чуме как наказании Божием за грехи писал Бокаччо во вступлении к первому дню в Декамероне, это общее место. Главное чудо, однако, свершается внизу. Святой Себастьян стоит на алтарном возвышении, его окружают коленопреклоненные граждане города, молящие о защите. А ангелы на облаке вокруг головы святого ловят и ломают посланные свыше стрелы! (Кстати, легендарный мученик-преторианец времен Диоклетиана представлен тут совершенно одетым; о любовании прекрасной наготой речи быть не может).

Замечательно, что ренессансное сознание без колебаний допустило такой «конфликт интересов», надеясь более на покровительство святого, нежели на милость Творца. Это, однако, не наша проблема. Нам следует понять одно: кто, собственно, адресат этого взволнованного, драматичного живописного послания?

На постаменте, где утверждена огромная фигура святого, есть надпись. Это обращение к святому как небесному заступнику: «Святой Себастьян, – просят они, – заступись за твой преданный тебе народ!»

То же. Фрагмент.

Так вот, кто же адресат послания – зрящий фреску житель старинного города Сан Джеминьяно или святой, вечно пребывающий в небесных сферах?

Поскольку обращения подобного рода к святому покровителю недалеко ушли от изобразительных или символических призывов к небесным светилам или к иным, не входящим в христианский пантеон, потусторонним силам, мы вправе переформулировать вопрос следующим образом: где, собственно, кончается магическая процедура и начинается художественное послание? Еще проще: магическое управление жизненными процессами или эстетическое наслаждение?

Особенность ренессансной ситуации в том, вероятно, и состоит, что этот вопрос не имеет однозначного ответа. Если бы мы могли задать его наивному, напуганному чумой обывателю Сан Джиминьяно или, напротив, мудрому и просвещенному гуманисту Марсилио Фичино, главе Флорентинской Академии – в любом случае напрасно было бы рассчитывать на внятные разъяснения.

НЕРАЗУМНЫЕ И ПРОСВЕЩЕННЫЕ

Впрочем, великий переходный период замечателен тем, что там встречаются, взаимно притягиваются, накладываются, синтезируются, отталкиваются и разделяются концы и начала. Наше дело – высмотреть начала, не забывая о сложности и многосоставности целого. Это значит высматривать вектор движения истории.

Пусть нам поможет отрывок из «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», написанных Джорджо Вазари. В нем биограф середины XVI века рассказывает о делах

столетней давности. Герой повествования – Андреа дель Кастаньо, живописец (1421-1457).

«*Но совершенно поразила художников та фреска, которую Андреа написал в новой обители этого монастыря, в челе, прямо против входа, превосходнейше изобразив бичевание Христа у колонны: он нарисовал на ней лоджу, колонны в перспективе, крестовые своды с постепенно уменьшающимися клиньями, и стены, перспективно сжимающиеся; и сделал это с таким мастерством и так старательно, что было ясно, что Андреа умеет преодолевать трудности песпективы так же хорошо, как рисунок в живописи. В этих стенах прекрасно и с полной свободой в движениях изображены фигуры тех, кто бичует Христа: на их лицах написана ярость и ненависть, а на лице Христа – терпение и смирение; в теле его, крепко связанном и притянутом веревками к колонне, Андреа пытался, по-видимому, показать страдания плоти и вместе с тем некий блеск благородства, которое таит в себе и проявляет божественность Спасителя, так что даже Пилат, восседающий среди советников, словно бы тронут этим зрелищем и ищет способа освободить страдальца. Словом, картина сделана так, что, если бы она не была исчерчена и измазана, вследствие плохой охраны, мальчишками и другими неразумными людьми, которые исцарапали головы, руки и почти целиком все фигуры евреев, как бы желая отплатить им за мучения Спасителя, – она была бы лучшим из произведений Андреа*». [1]

Этот отрывок примечателен тем, что в нем запечатлены два типа зрителей.

Один – это мальчишки и неразумные обитатели Флоренции, колыбели Возрождения, которые в течение десятков лет портили фреску Андреа дель Кастаньо, не отдавая себе отчета в том, что между изображениями палачей и реальными палачами нет иной связи, кроме предполагаемого зрительного сходства, да и то – крайне сомнительного, поскольку художник этих своих персонажей видеть не мог. В неясном сознании неразумных флорентинцев никак не сложилось еще понятие об искусственности искусства.

Другой зритель, отпечатавшийся в приведенных строках – сам Джорджо Вазари, выдающийся живописец, полностью посвященный в проблемы и тайны ремесла, а к тому же – гуманитарно образованный писатель, принадлежавший к итальянской интеллектуальной элите своего времени. Он великолепно, всесторонне оснащен пониманием живописного искусства именно как искусства. Он компетентно оценивает мастерство перспективного построения пространства (лишь незадолго до появления Кастаньо изобретенного), восхищается качеством рисунка, свободой расположения фигур, умением визуально представить психологические состояния персонажей... Для него фреска коллеги это картина – и только картина.

Разумеется, между восприятием бесхитростного флорентинского «человека с улицы» и восприятием знатока подобное различие возможно даже в том случае, если они – современники. Можно не сомневаться, что во времена Вазари во Флоренции, как и в других итальянских городах, нетрудно было бы отыскать неразумных зрителей (в сущности, и не зрителей вовсе), готовых наказывать изображения за грехи изображенных. Тем не менее культурное время двигалось в одну сторону. Людей, способных ценить художество именно как художество становилось все больше. Не каждый из них был подобен Вазари. Но мы говорим не о ранге, а об особом типе культурного поведения.

***

А умер Андреа дель Кастаньо молодым, от чумы. Святой Себастьян не помог.

ИЗАБЕЛЛА Д'ЭСТЕ, ПЕРВАЯ ДАМА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Ей повезло родиться в изрядной семье: ее отец, Эрколе д'Эсте, был герцогом Феррары, мать – дочерью неаполитанского короля. Герцогиня-мать позаботилась об отличном образовании дочери: Изабелла знала древние языки, латынь и греческий, хорошо ориентировалась в классической литературе, виртуозно играла на лютне, прекрасно пела. Ибо, кроме всего, была щедро одарена природой – талантлива, обаятельна, умна, остроумна... В возрасте шести лет она была помолвлена с пятнадцатилетним Франческо Гонзага, будущим маркизом Мантуи. Спустя десять лет она вышла за него замуж и стала маркизой Мантуанской. Франческо I, помимо управления Мантуей, во взрослой жизни был еще и кондотьером, т.е. наемным военачальником; он командовал войсками Милана, могущественной Венеции, служил королю Франции... Это были драматические для Италии времена, войны следовали за войнами, полководцы не простаивали. Франческо часто покидал Мантую ради все новых походов и битв, однажды попал в плен; править страной во времена его долгих отлучек приходилось супруге. Она и тут обнаруживала недюжинные дарования и, говорят, в делах государственного управления была успешней бесстрашного мужа-солдата. Она оказалась к тому же превосходным дипломатом – и это умение сослужило ей ценнейшую службу.

[1] Дж. Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. I. Москва-Ленинград: Academia, MCMXXXIII, сс.429-430.

Тициан. Изабелла д'Эсте. 1534-36. Вена. Музей истории искусств.

Наконец, – и это главное, – она была страстной любительницей искусств, меценатом и коллекционером в одном лице. В блистательном созвездии подобных ей собирателей и покровителей искусств в Италии XV – начала XVI вв. ей принадлежит особое место: с ними у нее много общего, а то, что ее от них отличало, предвосхищало позднейшие времена.

Изабелла, как и другие, коллекционировала древние памятники; если не удавалось раздобыть подлинники «антиков», она заказывала копии – так в ее собрании появилась отливка знаменитой эллинистической группы «Лаокоона», найденной незадолго до того, в 1506 г., на Эсквилинском холме в Риме и ставшей сразу украшением папской коллекции; заказала она и уменьшенные бронзовые копии других античных памятников, хранившихся тогда в папском Бельведере.[1]

Наибольшей страстью Изабеллы были, однако, современные ей художники. При этом, заказывая картины, она, подобно многим патронам, слишком хорошо знала, что именно хочет видеть на стенах своих покоев, как первый и главный зритель будущих картин. Она – посредством переписки или с помощью своих агентов – заранее определяла, что следует изобразить, сколько должно быть персонажей, кто они, каков их аллегорический смысл и что им надлежит в картине делать, какого формата должна быть картина, какого размера должны быть фигуры первого плана и даже – откуда на картину будет падать свет. И такой мастер, как Андреа Мантенья, этим условиям подчинялся.

Андреа Мантенья. Парнас. 1497. Париж, Лувр.

В сочинении замысловатых аллегорических сюжетов, где античные боги служили олицетворениями человеческих добродетелей и пороков, ей возможно, помогал придворный знаток; впрочем, она и сама была хорошо осведомлена в этих вещах.

Вот что, однако, отличает Изабеллу от иных знатных заказчиков. Картины, которые она выдумывает и заказывает, никак не связаны с надеждой на какие-либо выгоды, на чью-то защиту, помощь или покровительство. Ее даже не особенно занимают христианские сюжеты; она не чувствует себя обязанной зарабатывать у неба прощение за грехи, она не просит защиты у специально уполномоченных на то святых и не рассчитывает на помошь небесных светил. Картины, которые она продуманно развешивает в своих покоях, предназначены для изысканных наслаждений зрительного и интеллектуального созерцания. Ничего привходящего. Максимум практической пользы, какую можно извлечь из проектируемых ею картин – это нравственное поучение, никаких иных выгод от них получить нельзя.

Зато эстетическое качество – на первом месте. Маркиза мантуанская гоняется за самыми славными именами Италии: Перуджино, учитель Рафаэля, и его великий ученик, Джованни Беллини – отец венецианской школы, учитель Джорджоне и Тициана, и сами Джорджоне и Тициан, автор известного ее портрета, да, наконец, и сам Леонардо, которому она тоже позировала для портрета... Ей требуется самое лучшее, она рассылает десятки писем, ее агенты усердно хлопочут. Особенно заманчиво бывает, если какой-нибудь известный мастер или собиратель покидает этот мир – расторопный покупатель может

1 Ныне они хранятся в венском Музее истории искусств. См.: N. von Holst. Creators, Collectors and Connoisseurs. The anatomy of artistic taste from antiquity to the present day. New York: G.P.Putnam's Sons, 1967, p. 74.

там чем-нибудь поживиться, и агенты Изабеллы получают распоряжение немедленно действовать. Так, в 1510-м году погибает молодым – тоже от чумы – гениальный Джорджоне, и с помощью его младшего друга Тициана Изабелле, кажется, достанется его знаменитая впоследствии картина «Сельский концерт»[1], та самая, которая окажется в Лувре и спустя три с половиною века вдохновит Эдуарда Мане на его «Завтрак на траве».

Джорджоне (и Тициан?). Сельский концерт. 1509-11 (?). Париж, Лувр.

Но времена меняются, и настойчивое соавторство просвещенной мантуанской маркизы встречает нарастающее сопротивление. Художники все более осознают себя суверенными творцами своих произведений. Воля и проекты заказчиков оказываются не столько стимулом, сколько рамкой, ограничивающей автономию творческого воображения. Мастера старшего поколения оказывают учтивое, но настойчивое сопротивление диктату патронессы. Перуджино бесконечно тянул с исполнением заказа – маркиза подробно описала главных действующих лиц и даже указала требуемые размеры первопланных фигур, которые были заметно меньше привычных для мастера. В конце концов требуемая картина была получена, но исполнение оказалось заметно ниже возможностей мастера.[2] Еще труднее оказалось получить желаемое от Джованни Беллини: старый мастер принял заказ, получил аванс, долго тянул, а затем заявил, что послушное исполнение подробного описания будущей картины, посланное Изабеллой, не позволит ему «показать лучшее, на что он способен»[3]. И маркиза сдалась! Она отказалась от привычного для себя сложного и многофигурного аллегорического сюжета и согласилась, после долгих проволочек, на предложение Беллини написать традиционную Богородицу с младенцем Иисусом и Св. Иосифом.

Это был знак. Маркиза ревниво относилась к собственному замыслу: заказанные ею картины были частью четкого плана; по сюжетам, аллегорическим комплексам, композициям они должны были соотноситься друг с другом и складываться в смысловые и формальные ансамбли внутри дворцовых покоев. На этот раз ей пришлось отступить. Воля художника перетягивала волю заказчика, творец оказывался важнее, это он создавал *опус* – от начала и до конца. Но и воля самого заказчика-патрона меняла вектор – желание иметь в своем собрании картину Джованни Беллини становилось сильнее всех прочих планов и желаний. Самое главное – вот он, подлинный Беллини, его творение, его рука, как тогда принято было выражаться.

Это не единичный случай, это культурный сдвиг, который будет иметь неисчислимые последствия. Такое время настало, и не одна маркиза мантуанская почувствовала его приход.

В 1481 году, когда недавно обрученной Изабелле шел седьмой год, другой, уже взрослый богач, меценат и собиратель, Джованни Ручеллаи, описал коллекцию, которая хранилась в недавно построенном флорентинском дворце семейства, знаменитом доныне Палаццо Ручеллаи. Джованни не называл сюжеты картин, не рассказывал, что там изображено и кто изображен. В списке только имена художников: Доменико Венециано, Филиппо Липпи, Вероккио, Полайуоло, Андреа дель Кастаньо, Паоло Учелло... Это значит, что самым важным для собирателя стала индивидуальность художника, его особая умелость, его персональный стиль, личностное начало – его рука.

А МЕЖДУ ТЕМ...

У истории – истории чего угодно – есть не только разветвленные узоры развития, но и своя «толщина»: ее образуют другие линии и узоры, причудливо изгибающиеся, самостоятельные и взаимно переплетающиеся, да так, что поворотные события одной истории неожиданно откликаются в другой. Судьба зрителя в мире пластических искусств внезапно резко меняется в зависимости от неожиданных событий в таких областях культуры и техники, до которых художникам и зрителям, казалось бы, и дела никакого нет.

Вот один из таких узоров.

Древние греки классической поры писали заостренной палочкой – «стилосом» – на дощечках,

---

1 Там же.

2 См.: J.Alsop. The Rare Art Traditions. Princeton University Press, 1982, p. 437-38.

3 Там же, с. 439.

покрытых тонким слоем воска. Такая запись была непрочной и для хранения длинных текстов не годилась вовсе. Книги переписывали на специально обработанных, разрезанных на полоски и склеенных стеблях одного растения – папируса. Такая книга представляла собой длинную и широкую полосу, которая естественно сворачивалась в свиток – и античная библиотека выглядела, как хранилище свитков, к каждому из которых был прикреплен ярлычок с названием. Там, где ритуальные правила требуют сохранения древних форм, свиток живет до сего дня – таков свиток Торы. Папирус рос в одном месте – в Египте, по берегам Нила.

Когда распалась империя Александра Македонского, наступила новая фаза развития античной цивилизации – эпоха эллинизма. На развалинах империи возникли новые государства, чьи правители – посреди других забот – стремились сделать свои владения ведущими культурными центрами. Одним из таких центров стала Александрийская библиотека, гигантское по тем временам собрание рукописей и сообщество ученых. Другую библиотеку стали собирать правители Пергама – могущественного государства в Малой Азии. Властителям Египта, Птолемеям, эта конкуренция оказалась не по душе – и они, будучи монополистами, запретили вывоз папируса в Пергам. В Пергаме не на что стало переписывать рукописи. Тогда там изобрели пергамент. На обработанной шкуре телят или ягнят писали в конце античности, в раннем и зрелом средневековье. Свитки делать из шкур было неудобно, шкурки стали разрезать на прямоугольные листы и сшивать. Так появилась новая форма книги – кодекс; она дожила до наших дней.

Между тем в далеком Китае, в самом начале II века, был изобретен один из великих китайских секретов – бумага. Сохранить тайну навеки не удалось, секрет узнали арабы. В XI-XII вв. бумага попала в Европу.

Мы не знаем, кому и когда в Европе пришло в голову сделать на бумаге отпечаток с деревянной или металлической доски. Самые древние известные ныне отпечатки датируют концом XIV века. Первая датированная гравюра на дереве относится к 1423 году; на ней изображен святой Христофор, переносящий через реку младенца Иисуса. Вот она.

Изобретение было прежде всего использовано для неотложных практических нужд: новым способом стали печатать иконки и игральные карты. Но не только. Другой полезной идеей стало печатание книг: на доске вырезали целиком страницу текста и затем оттискивали на листе бумаги. Так делали книги до Гутенберга, их называют блокбухами.

Святой Христофор. Гравюра на дереве. 1423.

И наконец, last not least, техники печатания изображений с досок открыли новые, неслыханные перспективы для художников. Это было рождение нового вида искусства, ближайшего родственника существующих и в то же время весьма отличного от них. В частности, новый вид искусства – печатная графика – создал новую зрительскую ситуацию. До сих пор все – все почти без исключения, с палеолита начиная – произведения художества были уникальны. Конечно, с оригинала можно было сделать превосходную копию – в позднеантичные времена индустрия копий процветала и техника копирования бывала блистательной. Но только сейчас, в XV веке стало возможным получить тираж совершенно одинаковых и практически равноценных произведений искусства. Ибо каждый правильно сделанный отпечаток с деревянной или медной доски есть оригинал. Этот оригинал, ко всему, мобилен – и зритель может наслаждаться им в самых разнообразных ситуациях. Собственно, искусство эстампа предусматривает свою, особую ситуацию общения с графическим листом – индивидуализированную, сепаратную, интимную. И еще – посредством печатной графики стало возможно создавать репродукции уникальных произведений...

Короче, это была еще одна революция в мире распространения и восприятия пластических искусств.

Впереди была другая революция, которая, казалось бы, к искусству изображений касательства не имела.

ЕЩЕ И РЕФОРМАЦИЯ

31 октября 1517 г. молодой священник, доктор теологии Мартин Лютер вывесил на дверях церкви в Виттенберге своего рода манифест – знаменитые 95 тезисов, где он оспаривал право римских пап давать отпущение грехов и тем более торговать индульгенциями, т.е. давать отпущение грехов за деньги. Тезисы Лютера положили начало Реформации. Последствия этого события трудно подсчитать: Реформация развертывалась лавинообразно. Лавина

Эрхард Шен. Иконоборцы. Гравюра на дереве. Ок 1530.

своим краем затронула судьбы искусства. Сам Лютер никак не мог предвидеть, что его богословская полемика относительно индульгенций как-либо скажется на характере, скажем, голландской живописи сто лет спустя. Да вот, так получилось.

Критика католической церкви и папства должна была раньше или позже вернуться к древнему спору об изображениях. «Не сотвори себе кумира» было написано в выполненном Лютером немецком переводе Библии точно так же, как в принятых к тому времени повсеместно латинском и греческом переводах и, разумеется, в самом оригинальном тексте. «Не изображай...»

Реформация, распространяясь по европейским странам, подняла новую волну иконоборчества. Иконоборческие идеи иногда получали отражения в ересях, но такого размаха и ожесточения христианский мир не видел со времен византийской иконоборческой эпопеи. Церковное искусство снова стали приравнивать к языческому идолопоклонству. Церкви и монастыри подверглись погромам и разграблениям. Особого ожесточения иконоборческие эксцессы достигли в странах, где получил распространение наиболее суровый вариант Реформации – кальвинизм: в Швейцарии, в Нидерландах.

Так погибли многие выдающиеся произведения нидерландского искусства. В конце бурного XVI века нидерландский художник Карель ван Мандер, следовавший примеру великого Джорджо Вазари, взялся писать биографии художников Северного Возрождения, нидерландских и немецких; ему не раз пришлось упоминать о испорченных или безвозвратно утраченных произведениях. Вот одна из таких историй, на этот раз – с относительно благополучным концом. Ван Мандер восторженно описывает запрестольный образ, исполненный для одной из церквей Брюгге рукою замечательного мастера Гуго ван дер Гуса.

«*Упомянутая картина*, – продолжает он – *за свои высокие достоинства была пощажена иконоборцами, но когда эта самая церковь стала служить местом проповедей протестантов, ее сняли и, по совету одного живописца, принимавшего в этом участие, написали на ней золотыми буквами по черному фону Десять заповедей*».[1] Ван Мандер не может сдержать негодования по поводу того, что идею этого вандализма предложил художник, и отказывается назвать его имя. «*Живопись*, – восклицает он – *не может смотреть, не проливая слез, на этот поступок, составляющий для нее великий позор*».[2] Запись, правда, была сделана небрежно, золото и черная краска со временем облупились и оригинальную живопись удалось очистить. Но такие повороты судьбы случались редко. О других случаях ван Мандер меланхолически замечает просто: «*Эта картина была уничтожена иконоборцами*».[3] Или о работах еще одного мастера:

«*К несчастью, многие его произведения, как Распятие в Амстердаме, прекрасные створки в церкви коллегии в Утрехте, а также превосходная картина в Гуде, созданные им в самую цветущую пору его деятельности, были в 1566 году уничтожены безумной толпой иконоборцев*».[4]

Такие дела.

Но это еще не все дела. Сильнодействующие иконоборческие лекарства от языческого идолопоклонства, как оказалось, обладают побочным действием.

---

1 Карель ван Мандер. Книга о художниках. Москва – Ленинград: Искусство, 1940. С.50. Не надо забывать, что вторая из Десяти заповедей как раз и содержит запрет на изображения!

2 Там же.

3 Цит. соч., с. 152

4 Цит. соч., с.165.

Когда в VIII веке в Византии верх взяли иконоборцы, они, разумеется, уничтожили множество икон, фресок, мозаик; великие памятники доиконоборческой поры сохранились лишь на периферии, там, куда иконоборцы не смогли добраться. Но оголенные стены храмов константинопольские мозаичисты стали заполнять светскими картинами. Есть все основания предполагать, что будь иконоборцы посильней и порасторопней – и средневековая наследница Римской империи стала бы средоточием внесакрального искусства. Но иконоборцы в конце концов были побеждены, и на стены снова вернулись христианские образы и символы.

На этот раз, в Европе XVI – XVII веков, ситуация повторилась – с неизбежными вариациями. Католическая церковь не была повержена, но понесла невосполнимый урон. Реформация в конце концов устояла и осталась доминировать в нескольких странах Европы. Соответственно сложились и судьбы изобразительных искусств.

Возможность такого поворота событий, как и некогда в Византии, была заложена в самой сути спора. Раздражение и ненависть иконоборцев вызывали именно сакральные изображения: в исходном библейском тексте было запрещено изображать и поклоняться; в зависимости от чтения акцент можно было ставить либо на изображение, либо на поклонение, а лучше всего – на то и на другое. Но тем более широкие перспективы открывались для внесакральных, светских сюжетов, которые по природе свой быть предметом поклонения не могли – если не считать извращений. Тогда, в Византии, не получилось.

А сейчас?

Замечательно, что эта альтернатива была намечена в сочинении самого сурового и непримиримого из реформаторов – Жана Кальвина. В его главной книге, «Наставление в христианской вере», проблеме изображений посвящена отдельная глава. Ее стоит прочесть каждому, кто хотел бы уяснить себе суть спора. Кальвин, этот «женевский папа», был прекрасно эрудирован и умел внятно и темпераментно формулировать свои идеи. Изложив все возражения против «идолов» и «идолопоклонства», он, тем не менее, сделал чрезвычайно существенную оговорку. Вот она; я выделю наиболее интересные для нас места:

«*Я не настолько придирчив, чтобы считать непозволительными и нетерпимыми всякие изображения вообще. Но поскольку искусство живописи и ваяния — это дар Божий, я требую его осмотрительного и законного применения, дабы то, что Бог даровал людям для его прославления и для их блага, из-за беспорядочного использования не подверглось извращению и осквернению. Более того, не стало бы нашей погибелью. Я считаю непозволительным изображать Бога в какой-либо зримой форме потому, что Он запретил это делать, а также потому, что тем самым оскверняется божественная слава и извращается божественная истина. Тот, кто читал древних учителей, признает, что я не расхожусь с ними во мнении, ибо они осуждали любые изображения Бога как мирские поделки. Если же непозволительно представлять Бога в телесном облике, то еще непозволительнее поклоняться образу как Богу или Богу в образе.*

Пусть люди изображают кистью и высекают из камня лишь те вещи, что видимы оком. *Но недоступное человеческому зрению величие Бога недопустимо искажать выдуманными образами, не имеющими с ним ничего общего.* ***Дозволено же изображать достойные памяти события, людей, животных, города, страны***. *Увековеченные в образах события послужат зрителю предупреждением или напоминанием.* ***Что же касается всего остального, то единственное назначение этих изображений я вижу в том, чтобы доставлять удовольствие***».[1]

Доставлять удовольствие! Люди, вы слышали? Картины и статуи должны служить для удовольствия! Для удовольствия, вам говорят!

Историки искусства справедливо подметили, что в одной строке Кальвина была заключена едва ли не вся программа голландской живописи XVII века – века Рембрандта, Хальса, Вермера, де Хооха, Остаде, Стена, Рейсдаля, Хоббемы, Хеды...

Мейндерт Хоббема. Аллея в Мидделхарнисе. 1689. Лондон. Национальная галерея.

Продолжение следует.

[1] Жан Кальвин. Наставление в христианской вере, I.XI.12. См.: bookre.org/reader?file=770385.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Абрамович Семен родился, учился, защитился, женился в Москве, где провел первую половину жизни. По специальности инженер-строитель. Живет в Калифорнии, работет корректором в газете «Новая жизнь» (Сан-Франциско). Автор двух книг стихов: «Пущу по ветру слов круженье» и «Родная речь», изданных в Москве (2007).

Арис Сол (Шауль Всеволод Волков), известный по публикациям в Интернете как «Сол», пользуется этим псевдонимом с 1990-х. Живет в городе Яффо, Израиль. У Сола разнообразный жизненный опыт, который позволяет ему заниматься исследованиями в разных областях знаний. Он родился в Украине, вырос в США, закончил университет в Израиле и много лет работал адвокатом, а затем программистом. Одновременно, начиная с 1980-х, выступал как рок-гитарист и певец, а также участвовал в спектаклях и комедийных шоу; для некоторых из них придумал костюмы. В первые годы после университета участвовал в общественной жизни страны. Служил в армиях США и Израиля.
С 2005 года Сол посвящает себя исследовательской и писательской деятельности, главным образом в области альтернативной истории; он пишет на английском языке. Вначале в течение нескольких лет вел в Интернете две философские группы и публиковал свои статьи на сетевых форумах. Затем его статьи стали публиковаться в американских журналах «Atlantis Rising» и «UFO Digest».Сол Арис — автор книг Holistic Detection in the Collective Subconscious (Essays on Alternative Thinking) и The Reston Caper, изданных в Соединенных Штатах.

Бернштейн Борис Моисеевич (р. 1924) – доктор искусствоведения, профессор-эмеритус Академии Художеств Эстонии. Книги, статьи и альбомы по истории русского, эстонского искусства и по всеобщей истории искусства, а также по теории искусства и методологии искусствознания опубликованы на русском, эстонском, английском, немецком, польском, испанском, венгерском, словацком, латышском, литовском и др. языках.

Бертин Лев – инженер, поэт и журналист. Автор нескольких сборников стихотворений и многих публикаций в изданиях США, Израиля, Белоруссии, Канады, а также на литературных сайтах в Интернете. В настоящее время занимается книжным бизнесом. Живёт в Атланте, США.

Голубовский Михаил Давидович (р.1939) – генетик, историк науки, эссеист. Окончил кафедру генетики Ленинградского университета. С 1963 по 1988 работал в Новосибирском Академгородке в области генетики популяций, мутационного процесса и теории эволюции. Затем в Санкт-Петербурге в Институте истории естествознания и техники РАН. Доктор биологических наук, автор более двухсот работ, в их числе книга «Век генетики: эволюция идей и понятий» (2000). В 2002 г. награжден Дипломом журнала «Звезда» за статью «Библия и Ген». Работал во Франции, Австралии, различных университетах США; в последние годы аффилирован в университете Калифорнии, Беркли. Увлекается словесными играми. (Анаграммы, лимерики, палиндромы. Некоторые из палиндромов М. Голубовского вошли в российскую антологию палиндромов.) Публикации в журналах «Природа», «Звезда», «Нева» С. Петербург), «Вестник» (Балтимор), альманахе «Средний Запад» (Ст. Луис), «Мосты» (Германия), «Образы жизни» (Сан-Франциско). Проживает в г. Беркли, Калифорния.

Александр Грич – автор пяти поэтических сборников, многих переводов из азербайджанской и английской поэзии и прозы, опубликованных в десятках книг в Баку и Москве. Член Союэа Писателей СССР. Двенадцать лет вел телевизионный литературный альманах «Баяты» (совместно с Интигамом Касумзаде). Автор и продюсер ряда телевизионных документальных фильмов. С 1992 г. живет в Лос-Анджелесе. За эти годы работал в газете «Панорама», возглавлял газету «Контакт» и телевидение «Радуга», был соиздателем журнала «Факт», вел передачу «Факты и комментарии» на телевидении «Орбита».

Дашевский Валерий в двадцать три года дебютировал в журнале «Юность» рассказом «Инцидент», затем издал первую книгу в издательстве «Молодая гвардия» тиражом 100 000 экз. За отказ сотрудничать с КГБ в Харькове не был принят в СП СССР. Окончил Литературный институт (1986 г.). Повесть «Чистая вода» была переиздана в сборнике «Поколение. Повести и рассказы молодых русских советских писателей». Рассказы «Инцидент» и «Долгий год» экранизированы на Мосфильме. Фильм «Папа» вышел в прокат «первым» экраном. Создал информационное агентство, работавшее на шестнадцать посольств, руководил конверсионными проектами, сопровождал выборы президента Кравчука на Украине, президента Ельцина в Москве, награжден его персональной благодарностью. Был загранпредставителем АПН на Украине, Генеральным менеджером РТВ-Пресс РФ, Генеральным менеджером медиа-проектов Союза экспортеров энергии РФ, менеджером журнала «Огонёк». На Украине руководил проектом национального издания и тремя проектами, поддерживаемыми Всемирным Банком. Специалист Минфина РФ Первой категории по ценным бумагам и фондовому рынку. Занимается продюсерской деятельностью (шоу-бизнес, масс-медиа), готовит несколько арт-проектов, среди которых интернет-журналы стиля жизни – Art и Fashion.

Жук Вадим Семёнович – поэт, драматург, актёр. Родился в 1947 г. в Ленинграде. Закончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Работал актёром в театрах Сибири. Снимался в фильмах А. Сокурова, И. Масленникова, В.Хотиненко, А. Борщевского и других. Был единственным автором и художественным руководителем ленинградского-петербургского Театра-студии «Четвёртая стена», спектакли которого демонстрировались по Центральному телевидению. Пишет капустники для Центрального Дома Актёра. Был автором и ведущим радиопередачи «Слушать подано!» Радио России. Вел совместно с М. Жванецким передачу «Простые вещи» на РТР. Совместно с С. Плотовым писал куплеты к передачам «Итого» и «Плавленый сырок». Автор передачи канала «Культура» «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым» Был художественным руководителем и ведущим фестиваля «Золотой Остап». Постоянный ведущий и председатель жюри фестиваля капустников «Весёлая коза». Постоянный ведущий премии Конгресса фантастов России «Странник». Председатель или член жюри, автор сценария и ведущий церемоний ряда анимационных и театральных фестивалей. Автор либретто (совместно с И. Иртеньевым) мюзикла «Весёлые ребята». (Комозитор – М. Дунаевский). Автор либретто оперетты «Чайка» на музыку А. Журбина и «Русское горе» на музыку С. Никитина, идущих на сцене Московского Театра Современной пьесы, музыкального спектакля «Лес» с В. Дашкевичем в Санкт-Петербургском театре «Комедианты» и других. Автор сценария (с К. Михайловой) полнометражного мультфильма «Возвращение Буратино». Автор и соавтор сценариев анимационных фильмов «Собачье сердце», «Сказка про Волка», «Лис», «Ваня и Леший» и ряда других. Выпустил сборники лирики «Стихи на даче» (изд. «Зебра») и «Жаль – птица» (изд. «Время») Вадим Жук живёт в Москве.

Зевелёв Александр (р.1958). Родился и жил в Москве. С 1991 года живёт в Сан-Франциско.

В 1983 году окончил экономический факультет МГУ. Первая песня написана и исполнена в 16-летнем возрасте. Песни пишет на свои стихи, пробует себя в прозе, драматургии и публицистике. В мае 2000 года вышел компакт-диск «Пятнадцатый этаж». В мае 2005 года записан второй компакт-диск «Жизнь напролёт». В 2007 году – финалист конкурса радио «Шансон» (Москва). В 2005 – 2008 годах работал ведущим на радио «Русский Голос» (Сан-Франциско). В октябре 1995 года основал в Сан-Франциско русскоязычную творческую тусовку ХЛАМС (художники, литераторы, актеры музыканты сопутствующие), существующую и по сей день.

Золотаревская Марина пишет прозу и переводит с английского. Родилась в 1960 году. Окончила Харьковский политехнический институт. Автор книги «Кто её зовёт?..» (2008, Сан Франциско, иллюстрации Владимира Витковского), включающей оригинальные сочинения и перевод поэмы Д.Г. Байрона «Лара». В 2011 году была издана книга «Переход», составленная из произведений Марины Золотаревской и Аллы Ходос. Марина Золотаревская являлась постоянным автором, преводчиком и членом редколлегии русскоязычного журнала «Terra Nova», издававшегося в Калифорнии. Редактор литературного альманаха «Образы жизни» (Издается в Сан-Франциско). Публикации в журналах «День и ночь», «Радуга», «Новый берег», на литературном сайте «Интерлит». Живёт в Сан-Франциско.

Ильин Игорь. По окончании Харьковского госуниверситета три года служил военным переводчиком в Анголе. По возвращении работал замдекана подготовительного факультета для иностранных студентов ХГУ, затем преподавал на инязе, пока не был выслан в аспирантуру, которую так и не закончил по причине уличного грабежа и отсутствия финансов в лихие 90-е. С конца 90-х преподаёт в International House Kharkov. Печатался

в следующих изданиях: «Азия и Африка сегодня»; «Новый день»; «Universitetas», «Протей» и др.

Клиновой Иван. Родился в 1980 году в Красноярске. Дипломант «Илья-премии», лауреат премии Фонда им. В.П.Астафьева. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Новая юность», «Октябрь», «День и ночь» и др. Автор книг стихов «Шапито» (Красноярск, 2000), «Античность» (Красноярск, 2004), «Осязание» (Красноярск, 2009). Член Союза российских писателей, член Русского ПЕН-центра. Живёт в Красноярске.

Кононова Анна родилась в Минске. Ребёнком выступала на белорусском радио, в передаче «Піянерская зорка» и радиоспектаклях. После окончания Минского радиотехнического института работала внештатным корреспондентом журнала «Рабочая смена». Автор книги стихов «Пляска женская», опубликованной в Минске, и коротких рассказов. Участница литературного объединения «Восхождение», созданного поэтессой Валерией Моргулис. Печаталась в журнале «Рабочая смена» и на русскоязычном международном литературном сайте «Интерлит», в альманахе «Образы жизни» (Сан-Франциско). Живёт в Израиле, работает программистом.

Короткова Екатерина Васильевна – прозаик и переводчик. Дочь писателя Василия Гроссмана. Родилась в Киеве, где прошло почти всё её довоенное детство. После войны жила во Львове, где окончила школу; училась на славянском отделении Львовского университета, затем в Институте иностранных языков. Работала учительницей английского языка в шахтёрском поселке (по семейной традиции выбрала Донбасс), позже – в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Печатается с 1958 года. Переводила английских классиков – Твена, Диккенса, Эллиота, Теккерея, Честертона, Киплинга и других, а также мастеров современной английской прозы. Ей принадлежит первый перевод Агаты Кристи на русский язык. Автор романов и повестей в жанре исторической прозы, рассказов, мемуаров (в том числе воспоминаний об отце). Произведения Е. В. Коротковой опубликованы в России, на Украине, в Англии и США.

Кузнечихин Сергей Данилович (р.1946) Родился в посёлке Космынино Костромской обл. в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт. Работал инженером в Свирске Иркутской области; в Красноярске сторожем. Печатается как поэт с 1977-го года. Автор книг стихов «Жесткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность». Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация», «Омулевая бочка». Постоянный автор и член редколлегии журнала «День и ночь». Член СП СССР (1991). Награжден медалью «За трудовое отличие» (1981). Живет в Красноярске.

Курляндчик Галина родилась в 1949 году у Крыму, выросла в Приморье, окончила факультет русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института. Более двадцати лет проработала в научной библиотеке по программированию в новосибирском Академгородке. Живёт в городе Санта Клара, Калифорния и Москве. Организовала и пополняет сайты: «Живопись иглой» (www.svetart.ru), «Чудеса рукотворные» (www.chudosite.ru) и «Летопись моей семьи» (www.mychronicle.ru).galina.kurlyandchik@gmail.com

Ландауэр Александра Зои родилась в Нью-Йорке, в двуязычной семье. Русской литературой и поэзией увлекалась с детства. Первое стихотворение на английском было опубликовано в антологии "Anthology of Poetry by Young Americans", 2008 Edition. Подборка поэтических переводов с русского вошла в американский журнал поэзии и эссеистики "Talisman", 2013г., выпуск 42. В настоящее время Александра учится в "Ethical Culture Fieldston School" в Нью Йорке.

Лиснянская Инна Львовна родилась в 1928 в Баку. Публиковала с 1948 года оригинальные стихи и переводы из азербайджанской поэзии. Первый сборник стихов «Это было со мною» выпустила в Баку в 1957 году. В 1960 году переехала в Москву.
Участвовала в неподцензурном альманахе «Метрополь» (1979), вместе с Семеном Липкиным и Василием Аксёновым вышла из Союза писателей СССР в знак протеста против исключения из него Виктора Ерофеева и Евгения Попова, в течение 7 лет публиковалась только за рубежом.

Премии журналов «Стрелец» (1994), «Арион» (1995), «Дружба народов» (1996), «Знамя» (2000); Государственная премия России (1998), премия Александра Солженицына (1999) — «за прозрачную глубину стихотворного русского слова и многолетне явленную в нём поэзию сострадания», премия «Поэт» (2009).

Последние годы жила в Хайфе. Умерла 12 марта 2014 года. Похоронена в России на кладбище в Переделкино, рядом с мужем Семёном Липкиным.

Макарова Елена родилась в 1951 году в Баку в семье поэтов Григория Корина и Инны Лиснянской.

Живет в Хайфе, Израиль.Член международного ПЕН-клуба, Союза писателей Израиля, Союза писателей России. Закончила Московский Литературный институт им. Горького и Московский Художественный институт им. В.И.Сурикова. Елена Макарова — автор свыше сорока книг на двенадцати языках, в том числе прозаических сборников «Катушка», 1978; «Переполненные дни», 1982; «Открытый финал», 1989 ; «Освободите слона», 1985 ; «Лето на крыше», 1987 ; «В начале было детство», 1990; «Где сидит фазан», 1993; «Преодолеть страх, или Искусствотерапия», 1996 ; «Терезин: культура против варварства» 1996, в соавторстве с Е. Кешман, «Университет над пропастью» , в соавторстве с С.Макаровым и В.Куперманом; «Как вылепить отфыркивание» и «Цаца Заморская», 2007; «Смех на руинах», 2007. В деятельности Макаровой значительное место занимает изучение и пропаганда художественного творчества узников нацистских концлагерей. Вместе с соавторами ею были подготовлены 4 книги, объединённые серийным названием «Крепость над бездной»: «Терезинские дневники, 1942—1945» (2003), «Я — блуждающий ребенок. Дети и учителя в гетто Терезин, 1941—1945» (2005), «Терезинские лекции, 1941—1944» (2006), «Искусство, музыка и театр в Терезине. 1941—1945». Среди других работ на эту тему — выставки и книги о художнице школы «Баухауз» Фридл Дикер-Брандейс , одной из основателей искусствотерапии ; на ее уроках в концлагере Терезин детьми было нарисовано более 5 тысяч рисунков. Книга «Фридл Дикер-Брандейс. Жизнь во имя искусства и преподавания» вышла сперва на немецком, затем на английском, чешском, французском и японском языках. Недавно издана на русском языке. В период с 1988 по 2011 Елена Макарова курировала 38 выставок на тему «Культура под гнетом нацизма» — в России, Израиле, США, Чехии, Японии, Швеции, Франции, Австрии, Норвегии, Дании и Германии. Проводит мастер-классы по искусствотерапии в Италии, России, Швеции, Израиле и Чехии. С 2007 Е.Макарова ведет он-лайн-семинары http://forum.mykanon.com/ по искусствотерапии для родителей и детей.

Маркова Лина. В Советском Союзе Лина Маркова была диссиденткой, активисткой движения за эмиграцию в Израиль. Она путешествовала по стране, собирая подписи под петициями, обращёнными к правительству СССР. Эти подписи, а также информацию об арестах единомышленников Лина Маркова передавала иностранным СМИ. Агенты КГБ, которые следовали за ней всюду, предупреждали Лину, что она может очутиться не на Ближнем Востоке, а на Дальнем (в Сибири). Она была одной из первых четырех советских граждан, которые подали заявление в Верховный Совет СССР об отказе от советского гражданства. В марте 1971 года Лина эмигрировала в Израиль, а с 1974 года живет в Америке. Л. Маркова участвовала в нескольких поездках к местам библейского и мифического прошлого Земли, возглавляемых ученым-библеистом Захарией Сичиным. Многие годы работала в Интеле, одной из ведущих компьютерных компаний Силиконовой Долины. Являлась членом редколлегии русско-язычного журнала «Terra Nova». Живёт в Маунтен Вью, Калифорния.

Мельницкая Инна Владимировна – поэт, прозаик, переводчик, пишущая на русском и украинском языках. Коренная харьковчанка. В течение многих лет преподавала на факультете иностранных языков ХГУ, руководила литературной студией, воспитавшей целый ряд переводчиков иноязычной прозы и поэзии. Произведения И. Мельницкой переводились на белорусский, мордовский, молдавский и итальянский языки, входили в русскоязычные издания США и Израиля. После выхода в свет книг «Когда не было лета» и «Надпись на парапете» в 1989 году И. Мельницкая была награждена итальянской медалью ASS.NAZ. ALPINI, а в 1999 году была приглашена британской киностудией Би-Би-Си для участия в многосерийном фильме «Война века». За сборник стихов «Опрокинутые облака» автору присуждена премия имени Бориса Слуцкого и звание лауреата конкурса «Русское слово Украины 2002»; за повесть «Украинский эшелон», первую книгу одноименной дилогии, – международная литературная премия имени Юрия Долгорукого и звание «Харьковчанин года 2005», за повесть «Страна моего детства» – юбилейная премия журнала «Радуга».

Мелодьев Мартин Михайлович. Родился в 1953г. в Новосибирске. Окончил экономический факультет Новосибирского университета. С 1990г. живет в Америке. Член калифорнийского клуба авторской песни «Полуостров», клуба русских писателей в Нью-Йорке и клуба поэтов НГУ. Автор книг стихотворений: «Сочетания» (Новосибирск, 1991), «Шлюз» (изд-во Hermitage, Нью-Джерси,1998) и «Цветной проезд» (Новосибирск, 2000). Публикации в газетах и ежегодниках США: «Альманах Поэзии», «Встречи», «Альманах клуба русских писателей в Нью-Йорке», в альманахе «Образы жизни» (Сан-Франциско). В России публиковался в сборниках «Общая тетрадь. Из современной русской поэзии Северной Америки» (Москва, 2007), «Гнездо поэтов» (Новосибирск, 1989), «География слова» (Москва, 2000), «СП: Поэзия новой волны» (Новосибирск, 1993), «К востоку от Солнца» (Новосибирск, 1999-2007),

«Петербургский литератор» (СПБ, 2000), «Время Ч» (Москва, 2001). Страница в интернете www.mmelodyev.narod.ru

Никтитна Алла Моисеевнва. Родилась в Витебске. Там прошло ее детство, отрочество, юность. Закончила школу и уехала в Минск, где училась в университете на факультете журналистики. После окончания вернулась в Витебск и одиннадцать лет проработала на телевидении. Поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, решила сменить профессию, но раздумала. А потом снова Минск – пригласили в молодежный бюллетень "Рабочая смена", где собралась отличная компания молодых и талантливых журналистов. И постепенно молодые сотрудники, развлекаясь под дамокловым мечом партийных и комсомольских органов Белорусской республики, вопреки их грозной воле создали популярный молодежный журнал "Парус". В 90-м году прошлого столетья коллектив «Рабочей смены», устав быть вечно молодым, разбежался, кто куда, строить жизнь дальше. Алла Никитина уехала в Израиль, в Иерусалим, где почти двадцать лет продолжала работать в журналистике, редактировала журналы и служила в русском отделе редакции новостей радио "Коль Исраэль". Редактировала книжки. В 2009-м вышел собранный ею сборник воспоминаний под названием "Эвакуация. Воспоминания о детстве, опаленном огнем Катастрофы". А потом Алла Никитина решила занялась собственным прошлым и написала "Баркесу", вышедшую недавно. Дочь и трое внуков живут в Израиле.

Сундеев Николай. Поэт, издатель, журналист. Родом из Молдавии. Работал в прессе, редактором в книжном издательстве. Был членом Союза писателей СССР.

Живет в Сан-Франциско. Главный редактор еженедельной газеты «Кстати» http://www.ksta-ti.net/ Автор восьми поэтических книг и книги документальной прозы. Стихи печатались в периодике, коллективных сборниках и альманахах ряда стран.

Муфель Ирина. Родилась в 1947 году в Минске. Закончила филфак БГУ, вышла замуж, родила двух дочек. Работала в школе, нотно-музыкальной библиотеке, газете, а с 1998 года – в качестве компаньонки и гувернантки – в Израиле и США. Член Союза художников (Отделение народных мастеров). Хобби – коллекция кукол из разных стран в национальных костюмах – МОЙ НАРОДЕЦ.

Немировский Александр. Пишет с 14 лет. С 1980 до 1986 года выпустил 7 сборников в тогдашнем самиздате. На основании этих сборников в Москве в 1996 вышла книга стихов – «Без Читателя». В 1989 одно стихотворение просочилось в еженедельник «Собеседник». Входил в литературный клуб «Постскриптум» (1989). С 1990 года живет в Калифорнии. В 2007 подборка стихов печатались в журнале Terra Nova (2007 Август). Вторая книга «Уравнение Разлома» вышла в Сан-Франциско в 2009, третья книга вышла в 2012. Домашний сервер: http://www.nomer.us. Постоянно печатается в Альманахе «Под Небом Единым». Специалист по базам данных в Силиконовой долине. Начинал программистом, а последние 18 лет ведет свой небольшой бизнес на основе им созданной и патентованной технологии. Проживает в Калифорнии.

Новиков Вячеслав Анатольевич

Родился в 1955 г. в Брянской области. Ранее детство провел в средней полосе России среди лесов (в основном, березовых и смешанных, но были и хвойные) и пчел (у дедушки была пасека). Среднее образование получил в средней школе № 25 г. Донецка, одной из самых средних в городе. В 1972 поступил на переводческое отделение факультета романо-германской филологии Харьковского государственного университета, которое закончил в 1977 году. После этого два года служил бортпереводчиком (была такая должность) в военно-транспортной авиации, летал в разные страны Африки и Азии: Эфиопию, Уганду, Ливию, Йемен, Афганистан и др.. Потом еще два года отслужил военным переводчиком в Эфиопии. После демобилизации работал в деканате по работе с иностранными студентами Харьковского политехнического института. В 1987 г. поступил на курсы переводчиков ООН при Московском институте иностранных языков им. Мориса Тореза и был зачислен в группу синхронистов, где проучился год. После сдачи ооновских экзаменов был направлен на работу в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Там проработал почти 20 лет, переводя синхронно с английского и французского на русский. В 2009 г. был переведен в отделение ООН в Вене, где работает по сей день.

Ольшванг Хельга – поэт, сценарист, режиссер. Родилась в Москве. Окончила сценарный факультет и аспирантуру ВГИК, автор нескольких документальных и художественных фильмов. С 1996 года живёт в США.Стихи и стихотворные переводы Хельги Ольшванг печатались во многих периодических изданиях и поэтических антологиях, были переведены

на английский, шведский и вьетнамский языки, а также вышли четырьмя отдельными сборниками в издательствах "Композитор", "Пушкинский Фонд" и "Русский Гулливер".

Перцова Мария родилась и выросла в Баку. С 1990 года живет в США, в маленьком городке Кемпбелл, неподалеку от Сан Франциско. По образованию – физик, по наклонностям – … Вместе с Жанной Шпиц (музыка и исполнение) стала автором песенного альбома «Понятные и странные». В 2008 году вышла книга стихов Марии Перцовой «По другую сторону обмана».

Саввиных Марина (Наумова Марина Олеговна) 1956 г.р. Родилась в Красноярске. После окончания Красноярского педагогического института работала в школе учительницей русского языка и литературы, преподавала гуманитарные дисциплины в техникуме железнодорожного транспорта и педагогическом колледже, в котором руководила кафедрой культуры. Автор проекта и директор Красноярского литературного лицея. Член Союза российских писателей с 1994 года. Первый лауреат Фонда В.П.Астафьева. Стихи, проза, публицистика печатались в журналах «Юность», «День и Ночь», «Уральский следопыт», «Сибирские Афины», «Москва» и др. Главный редактор журнала «День и Ночь». Живёт в Красноярске.

Саврасова Светлана родилась в русско-немецкой семье в Щецине, где служил ее отец. Юность провела в Минске, десять лет жила в Варшаве, в настоящее время живет в Англии и работает переводчицей славянских языков для британской полиции. В свободное время занимается виндсерфингом, подводным плаванием, водит яхту и самолет. Автор репортажей, эссе и рассказов на русском языке, четырех томиков поэзии на русском и английском. Повесть "С чужого на свой и обратно" была написана на польском, издана в Варшаве в апреле 2011 года в издательстве «Ваза» и была принята Польской Ассоциацией Юстиционных Переводчиков как учебное пособие. Перевод на русский автора.

Полищук Виктория – художник, филолог-лингвист, окончила МГУ. Живет в Москве. С 1996 года соредактор российско-израильского альманаха еврейской культуры «ДИАЛОГ». Живописью занимается с 1994 года. Выставки в Москве: Московский Еврейский Общинный Дом – 1998, 1999 гг. //Музей Коненкова – 2001 г.// Галерея на Фрунзенской – 2003 г. //Библиотека им. И.А.Бунина – 2007 г. //Литературный музей (филиал в Трубниковском пер.) – 2008 г. //Культурный центр «Клуб «Свеча» – 2010 г. // Художественная секция Еврейского благотворительного фонда «Рука помощи» – 2013 г. Работы находятся в частных собраниях в России, Германии, Польше, Израиле, Швеции, США. Стихи («строки», как называет их автор) всегда вплетаются в канву альбомов, буклетов; отдельными подборками печатались в журналах «Литературные незнакомцы», «Эолова арфа», в Интернет-проекте «Россия, далее – везде», в сетевом журнале «Пролог», в альманахах «ДИАЛОГ» и «Складчина».

Полищук Рада – российский писатель, журналист, член Русского ПЕН-центра, Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза журналистов России. Издатель и главный редактор российско-израильского русскоязычного альманаха еврейской культуры «ДИАЛОГ» (издается в Москве). Автор и руководитель проекта «Театр Рады Полищук» и других творческих и издательских проектов, которые стали популярными и значимыми в контексте современной культурной жизни России, Израиля и других стран. Родилась и живет в Москве. Окончила Московский авиационный институт. Первый рассказ написан в 1984 году, первая публикация – в 1985-ом, первая книга – в 1991-ом. Автор 9 книг прозы и 2 сборников стихов (Библиотечка поэзии Союза писателей Москвы) и многочисленных публикаций прозы в различных журналах, альманахах, антологиях прозы XX века, сборниках в России и за рубежом (Франция, США, Израиль, Финляндия и др.), а также множества журналистских публикаций в центральных российских и иностранных изданиях: очерков, эссе, бесед с известными деятелями культуры, литературных портретов друзей – известных поэтов, писателей, артистов.

Саввиных Марина (Наумова Марина Олеговна) 1956 г.р. Родилась в Красноярске. После окончания Красноярского педагогического института работала в школе учительницей русского языка и литературы, преподавала гуманитарные дисциплины в техникуме железнодорожного транспорта и педагогическом колледже, в котором руководила кафедрой культуры. Автор проекта и директор Красноярского литературного лицея. Член Союза российских писателей с 1994 года. Первый лауреат Фонда В.П.Астафьева. Стихи, проза, публицистика печатались в журналах «Юность», «День и Ночь», «Уральский следопыт», «Сибирские Афины», «Москва» и др. Главный редактор журнала «День и Ночь». Живёт в Красноярске.

Трегуб Александр. Учился (инженер-электронщик) и защитился (кандидат химических наук) в Киеве; эмигрировал с семьей в Израиль, работал

в Иерусалимском университете и на Гумбольдтовской стипендии в Германии, затем переехал в Америку, где работал в университете Теннесси, в Калифорнийском университете Сан Диего и в Стэнфордском университете. Последние десять лет работает в компании «Интел» в Северной Калифорнии.

Трегуб Инна родилась в Киеве. Училась на химическом факультете Киевского Университета, защитила кандидатскую диссертацию. В 1990 году эмигрировала в Израиль, там поступила в пост-докторантуру в Институт Вейцмана. Впоследствии работала в университетах в Англии, Германии и США. С 2004 г. работает в Силиконовой Долине в High Tech индустрии. В 2007-2008 годах получила еще одно образование – Life Coach, и эта профессия стала важной частью ее жизни. В качестве хобби организует вечера-встречи бывших соотечественников – «Салон». Писать начала в 2007 для журнала «На здоровье» как Life Coach. («Русские дети», «Саботажница и будущая я» и др.).

Ходос Алла родилась в Минске в 1958 году. Окончила филфак Белгосуниверситета. Работала воспитателем в школе-интернате для детей-сирот, соцработником в Райсобесе, социологом на заводе, учителем в школе. Живёт в Америке с 1994 года. Работала в русскоязычной газете «Запад-Восток» (Сан-Франциско) и в школе. Автор книг стихов и прозы: «Интернат», «Человекоснег», «Воздушный слой».В книге «Переход» собраны прозаические произведения Марины Золотревской и Аллы Ходос. Публиковалась в журналах и альманахах «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Terra Nova», «Зеркало», «Панорама», «Вестник», «Побережье»; на сайтах «Интерлит» и «Другие берега». Редактор литературного альманаха «Образы жизни» (Издается в Сан-Франциско). Живёт в Сан-Леандро, Калифорния.

Хугаев Ирлан — прозаик и поэт. Родился в 1965 году. Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. Коста Хетагурова; доктор филологических наук; старший научный сотрудник и заведующий Отделом культурной антропологии южных осетин Владикавказского научного центра РАН и РСО-А.

Шалев Меир род. 29 июля 1948, — известный израильский писатель. Его произведения переведены на 16 языков. Детство провел в мошаве Нахалаль. Его отец — выдающйся израильский писатель Ицхак Шалев.Служил в Армии обороны Израиля, затем изучал психологию в Еврейском университете в Иерусалиме (1969—1973), в эти же годы работал водителем «Маген-Давид Адом», учился на курсах теле- и радиоведущих при Управлении государственного телерадиовещания. Первой публикацией Шалева были стихи в газете «Маарив» (1969), с 1974 года он начал работать как теле- и радиоведущий, завоевав популярность благодаря юмору, присущему его передачам. В 1987 году Шалев оставил телевидение и радио, всецело посвятив себя литературной работе. Ведёт колонку в газете «Едиот Ахронот».

Янушкевич Дмитрий — художник, график и скульптор. Родился в Москве в 1976 году в семье художников. В 15 лет вместе с родителями эмигрировал в США. Закончил Университет в Дэвисе и Элкинс-колледж. Участвовал в художественных выставках, организованных Калифорний школой для слепых, в выставках имени Хелен Келлер в Вашингтоне и многих других экспозицях, проходивших в Сан-Франциско, Вашингтоне, Пало Алто, Сан-Карлосе, Маунтен Вью. Участник Русского фестиваля искусств в Сан-Франциско, 2005. Участник «Выставки двух художников» в Сан-Франциско, 2007. Награжден специальным призом выставки имени Хеллен Келлер, многочис-ленными наградами Калифорнийской школы для слепых; был избран в жюри Pacific Rim Sculptors Group. Одна из работ Дмитрия Янушкевича «Зима в Москве», написанная в Росии в 1989 году, была отмечена особым вниманием директора Департамента специального образования в Сакраменто Роном Кадишем.

* * *

Редакция, как правило, не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, однако иногда публикуются. В последнем случае редакция в переписку вступает.

* * *

Контакты: **E-mail**: obrazyzhizni@yahoo.com
Вебсайт: www. obrazyzhizni.com

* * *

Стоимость номера, включая пересылку, 25 долларов. Заказать альманах можно по электронной почте: obrazyzhizni@yahoo.com